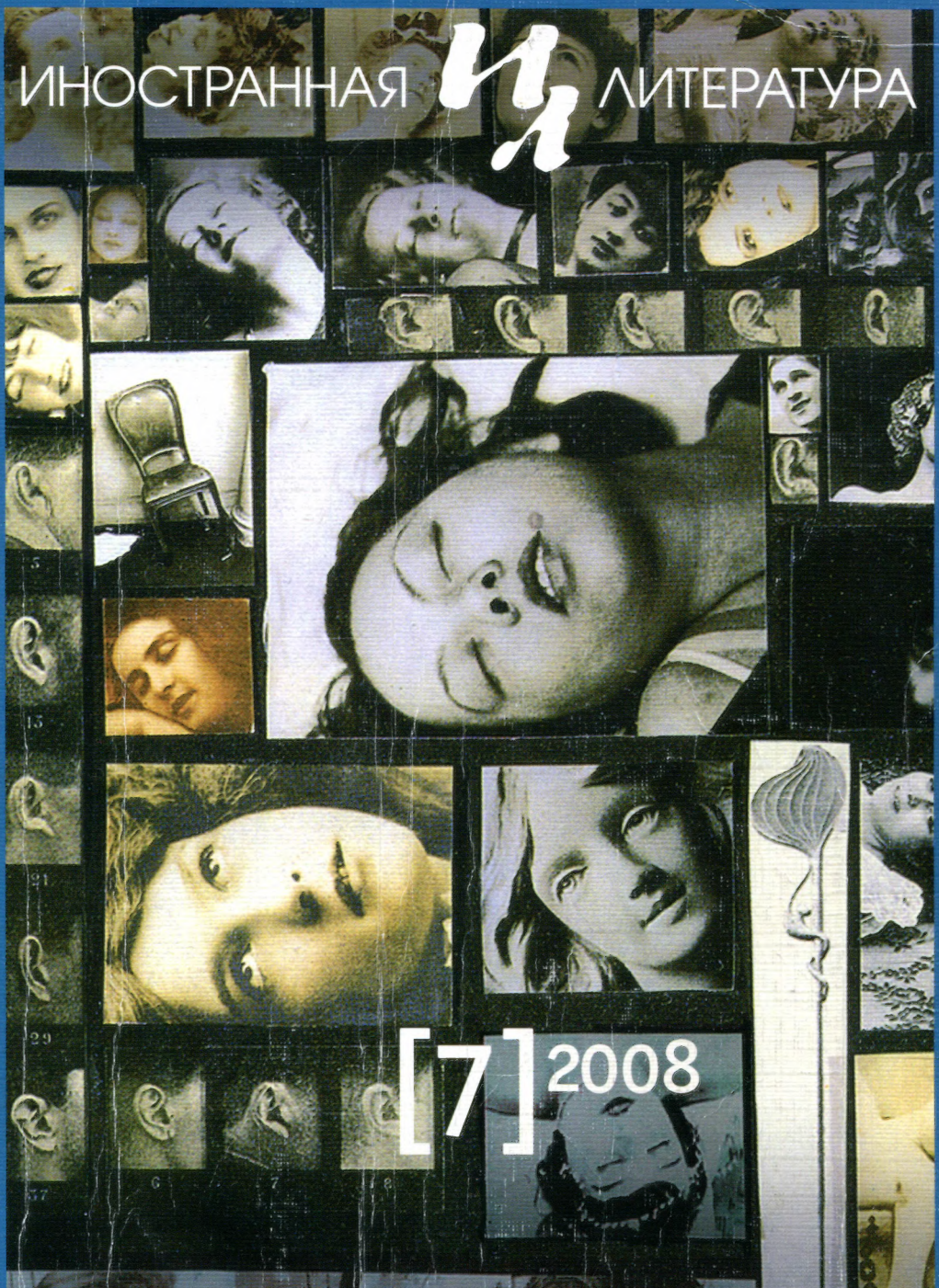
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[7] 2008

РОМАН ИЭНА МАКЬЮЭНА "ЧИЗИЛ-БИЧ" / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД: ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА. XXI ВЕК — ПЬЕСА ДОРОТЫ МАСЛОВСКОЙ, "БУМАЖНЫЙ ТЕАТР" МИЛОРАДА ПАВИЧА И ДР. / "IN MEMORIAM": КУРТ ВОННЕГУТ / РАССКАЗЫ МЕЙВИС ГАЛЛАНТ / МИХАИЛ ШИШКИН В РУБРИКЕ "ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ" / ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ: "КАТЫНЬ" АНДЖЕЯ ВАЙДЫ В МОСКВЕ

Основан в 1891 году

Поздравляем

Ксению Яковлевну Старосельскую
с премией польского Института Книги
Трансатлантик

[7]
2008

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

3 Иэн Макьюэн *Чизил-Бич.* Роман. Перевод с английского В. Голышева

68 Мейвис Галлант *Рассказы.* Перевод с английского Анны Асланян. Зиновий Зиник *Телефонный разговор с Мейвис Галлант*

Литературный гид *Восточная Европа. XXI век*

99 Дорота Масловская *Двое бедных румын, говорящих по-польски.* Пьеса. Перевод с польского и послесловие Ирины Лаппо

134 Дёрдь Драгоман *Белый король.* Главы из романа. Перевод с венгерского и послесловие Ю. Гусева

177 Никита Нанков *Стихи.* Перевод с болгарского и вступление Евгения В. Харитонова

185 Милорад Павич *Бумажный театр.* Фрагменты книги. Перевод с сербского Ларисы Савельевой. Вступление автора

202 *Поэтический фестиваль в Загребе, ноябрь 2007 года*

In memoriam

212 *Курт Воннегут*

213 Александр Ливергант *Курт Воннегут: "служба оповещения"*

216 Курт Воннегут *Два рассказа.* Перевод с английского А. Перекреста

227 Курт Воннегут *Человек без страны.* Фрагменты книги. Перевод с английского Анны Парра

Из будущей книги

237 Михаил Шишкин *Как сделан рай.* Отрывок из книги "Монтрё—Миссолонги—Астапово. По следам Байрона и Толстого. Литературная прогулка от Женевского озера в Бернские Альпы". Перевод с немецкого Ольги Козонковой

Зрительный зал *"Катынь" в Москве*

258 *Разговор с Анджеем Вайдой*

262 *Пресс-конференция Анджея Вайды в Польском культурном центре*

269 Тадеуш Любельский *Смерть отца.* Перевод с польского М. Алексеевой

Письма из-за рубежа

271 Григорий Стариковский *По Ирландии.* Записки путешественника

Культурная инициатива

277 В. Скороденко *Как пропагандировать духовное достояние*

Среди книг

280 Николай Мельников *Прогулки с Мартином Эмисом*

БиблиофИЛ

288 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

292 *По материалам зарубежной прессы.* Подготовили А. Лешневская, И. Мокин

Наша почта

296 *Фосфор или фосфбр*

Авторы номера

297

© "Иностранная литература", 2008

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

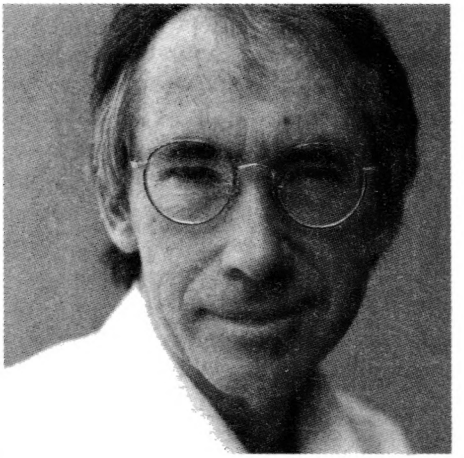
Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Н. В. Елисеева
А. Ю. Лешневская
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации и Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина

Иэн Макьюэн



Чизил-Бич

Роман

Перевод с английского В. Голышева

Анналине

Персонажи этого романа вымышленные и не имеют никакого сходства с живыми или умершими людьми. Гостиница Эдуарда и Флоренс в полутора с лишним километрах к югу от Абботсбери в Дорсете, стоящая на возвышенности над полем позади прибрежной автостоянки, не существует.

И. М.

Глава 1

ОНИ были молодыми, образованными, оба — девственниками в эту их первую брачную ночь и жили в то время, когда разговор о половых затруднениях был невозможен. Но он всегда нелегок. Они только что сели ужинать у себя в номере на втором этаже гостиницы георгианских времен. За открытой дверью в соседнюю спальню видна была кровать с балдахином, довольно узкая, под белым покрывалом, постеленным так ровно, как будто его натянула не человеческая рука. Эдуард не сказал, что никогда не жил в гостинице, а Флоренс в детстве много разъезжала с отцом и повидала разные. Внешне

© Ian McEwan, 2007
© В. Голышев. Перевод, 2008
Роман будет напечатан в издательстве "Эксмо" в августе 2008 года.

они были в прекрасном настроении. Венчание в церкви Святой Девы Марии в Оксфорде прошло хорошо; служба была чинной, прием – праздничным, друзья из школы и колледжа провожали шумно и весело. Ее родители не смотрели снисходительно на его родителей, его мать больших оплошностей не совершила и не совсем забыла о причине торжеств. Молодые уехали на маленьком автомобиле матери Флоренс и ранним вечером прибыли в гостиницу на побережье Дорсета. Погода для середины июля и для такого случая была не идеальная, но вполне приемлемая: без дождя, но недостаточно теплая, по мнению Флоренс, чтобы ужинать на открытой террасе, как они намеревались. На взгляд Эдуарда – достаточно теплая, но, вежливый сверх меры, он и не подумал бы противоречить ей в такой день.

Поэтому они ели в маленькой гостиной перед приоткрытыми стеклянными дверьми балкона с видом на Ла-Манш и бесконечную гальку косы Чизил-Бич[1]. Еду им подавали с тележки, стоявшей в коридоре, два парня в смокингах, и вощеный дубовый пол "апартаментов для новобрачных" комически скрипел в тишине под их ногами. Гордый молодожен чувствовал себя защитником и внимательно следил, не проскользнет ли в их жестах или выражении лиц что-нибудь сатирическое. Он не потерпел бы хихиканья. Но эти парни из соседнего поселка занимались своим делом, почтительно согнув спины, с неподвижными лицами; манеры их были нерешительны, и, когда они ставили посуду на крахмальную полотняную скатерть, руки у них дрожали. Они сами робели.

Это был не лучший период в истории английской кухни, но тогда никого это не смущало, кроме гостей из заграницы. Трапеза началась по обыкновению с ломтика дыни, украшенного засахаренной вишенкой. В коридоре на серебряных тарелках, подогреваемых свечами, ждали ломтики давно поджаренной вырезки в загустевшем соусе, разваренные овощи и голубоватого оттенка картофель. Вино из Франции, но без указания области на наклейке с изображением одинокой стремительной ласточки. Эдуарду в голову не пришло бы заказать красное.

Не чая дождаться ухода официантов, Эдуард и Флоренс повернули стулья и разглядывали широкую мшистую лужайку, густой цветущий кустарник за ней и деревья на крутом склоне, спускавшемся к дороге на берег. Они видели первые слякотные ступеньки спуска, окаймленного растениями неправдоподобной величины, похожими на гигантский ревень или капусту, с разбухшими стеблями двухметровой высоты, гнущимися под тяжестью темных, с толстыми жилами листьев. Садовая растительность перла вверх, чувственная и тропическая в своем изобилии, особенно ярком в рассеянном сером свете, под легким туманом с моря. Море накатывалось на берег с мягким громом и откатывалось, шипя на гальке. У них был план: после ужина переобуться в грубые туфли, прогуляться по косе между морем и лагуной, известной под названием Флит, и, если не допьют вино здесь, взять бутылку с собой и пить на ходу из горлышка, как рыцари с большой дороги.

Планов у них было много – планы головокружительные громоздились в туманном будущем, теснясь, как летняя флора дорсетского побе-

1. Чизил-Бич – галечная коса длиной в 29 км и шириной до 200 м у побережья графства Дорсет в южной Англии. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

режья, и такие же красивые. Где и как они будут жить, кто будут их близкие друзья, он будет работать в фирме ее отца, она — заниматься музыкой, как распорядятся деньгами, подаренными ее отцом, как не похожи они будут на остальных, по крайней мере внутренне. Это все еще была эпоха — она закончится к исходу того славного десятилетия, — когда молодость считалась социальным обременением, признаком несущественности, состоянием несколько неудобным, а женитьба — началом избавления от него. Почти чужие, они стояли в странной близости друг к другу на новой вершине существования, радуясь тому, что новый статус обещает избавление от бесконечной молодости, — Эдуард и Флоренс, свободны наконец! Одной из любимых тем было у них детство — не столько его радости, сколько туман ошибочных представлений, из которого они выбрались, разнообразные родительские промахи и устарелые порядки, которые они могли теперь простить.

С этих новых высот они все видели ясно, но не могли описать друг другу некие противоречивые чувства: каждого по-своему беспокоил близкий уже момент, когда их новая зрелость подвергнется испытанию, когда они лягут на кровать с балдахином и откроют себя друг другу. Вот уже больше года он мечтал о том, как вечером назначенного июльского дня самая чувствительная его часть погрузится, пусть ненадолго, в естественную полость внутри этой веселой, красивой, изумительно умной женщины. Беспокоило же его — как достигнуть этого без нелепостей и разочарования. Конкретнее, после одного неудачного опыта он опасался чрезмерного возбуждения или, как кто-то выразился при нем, "прибежать слишком быстро". Опасение это почти постоянно присутствовало в его мыслях, но, как ни велик был страх перед неудачей, желание восторга, разрешения было гораздо сильнее.

Тревоги Флоренс были более серьезны, и по дороге из Оксфорда ей временами хотелось набраться мужества и высказать их. Но то, что ее тревожило, было непроизносимо, да и для себя это сформулировать она едва ли могла. Если он просто нервничал перед первой ночью, то она испытывала животный страх, беспомощное отвращение, такое же несомненное, как морская болезнь. Все эти месяцы радостного приготовления к свадьбе ей по большей части удавалось не обращать внимания на единственное облако, омрачавшее счастье, но, когда ее мысли возвращались к тесным объятиям — иного названия она избегала, в животе рождался спазм, к горлу подкатывала тошнота. В современном передовом справочнике молодожена, с его жизнерадостным тоном, восклицательными знаками и нумерованными иллюстрациями, она наталкивалась на фразы и слова, вызывавшие чуть ли не рвотные потуги: *слизистая оболочка*, зловещая, голая *головка члена*. Иные фразы оскорбляли ее интеллект — в особенности касающиеся *вхождения*: *перед тем, как он входит в нее*, или: *теперь, когда он, наконец, вошел в нее*, или: *радостно войдя в нее*. Она что, обязана в эту ночь стать какой-то калиткой или гостиной, через которую он прошествует? И почти так же часто встречалось слово, не сулившее ничего, кроме боли, раскрытия плоти под ножом, — *проникновение*.

В оптимистические минуты она пыталась убедить себя, что страдает всего лишь повышенной брезгливостью и это пройдет. Конечно, при мысли о яичках Эдуарда, подвешенных за *гиперимированным* пенисом —

еще один жуткий термин, — у нее вздергивалась губа, а представить себе, что до нее кто-то дотронется "там", даже любимый, было так же невыносимо, как представить себе хирургическую операцию на глазу. Но на младенцев брезгливость не распространялась. Малышей она любила и, случалось, с удовольствием ухаживала за маленькими сыновьями двоюродной сестры. Думала, что будет счастлива носить ребенка от Эдуарда, и абстрактно, во всяком случае, совсем не боялась родов. Если бы только могла достигнуть этого разбухшего состояния, как мать Иисуса, волшебным образом.

Флоренс подозревала, что в ней что-то очень неправильно, что она всегда была не такая, как все, и сейчас, наконец, это выйдет наружу. Ее проблема глубже и серьезнее, чем простое физическое отвращение; все ее существо восставало против плотской близости; ее самообладание и совершенное счастье будут насильственно нарушены. Она попросту не желала, чтобы в нее "входили" или "проникали". Секс с Эдуардом не может увенчать ее счастье, а будет ценой, которую она должна за это счастье заплатить.

Она понимала, что надо было давно это высказать, как только он сделал ей предложение, — задолго до визита к искреннему и ласковому викарию, до ужинов с ее и его родителями, до приглашения гостей на свадьбу, до списка подарков, отправленного в универсальный магазин, до аренды шатра и найма фотографа, до всех остальных необратимых приготовлений. Но что она могла сказать, какими словами выразить, если себе не могла объяснить? А ведь она любила Эдуарда, не с жаркой, влажной страстью, о которой читала, а душевно, тепло, иногда — как дочь, иногда почти по-матерински. Она любила прижаться к нему, любила, когда он обнимал ее громадной рукой за плечи, когда целовал ее, но не любила его язык у себя во рту и молча дала это понять. Считала его оригиналом, не похожим ни на кого из известных ей людей. В кармане пиджака у него всегда лежала книжка, обычно по истории, — на случай, если он окажется в очереди или в приемной. В прочитанном он делал отметки огрызком карандаша. Из знакомых мужчин он, кажется, единственный не курил. Носки на нем всегда были не парные. Галстук — только один, синий, вязаный; он носил его почти всегда, с белой рубашкой. Она обожала его любознательный ум, мягкий сельский выговор, его невероятно сильные руки, неожиданные повороты его разговора, его доброту и взгляд его карих глаз, окутывавший ее теплым облаком любви, когда она говорила. Ей было двадцать два года, и она не сомневалась, что хочет провести всю оставшуюся жизнь с Эдуардом Мэйхью. Неужели же она рискнет его потерять?

Поговорить ей было не с кем. Сестра Рут слишком молода, а мать, замечательная по-своему женщина, слишком интеллектуальна, слишком холодна — старомодный синий чулок. Столкнувшись с интимной проблемой, мать впадала в ораторский или лекторский тон, употребляла все более длинные слова, ссылалась на книги, которые, по ее мнению, должен был прочесть каждый. И только, когда вопрос был таким образом упакован, могла иной раз расслабиться до доброты, хотя случалось такое редко, да и тогда невозможно было понять, какой совет ты получаешь. У Флоренс были чудесные подруги из школы и музыкального колледжа, но с ними было противоположное затруднение: они обо-

жали задушевные разговоры, с упоением обсуждали проблемы подруг. Все были знакомы между собой, со страстью перезванивались и переписывались. Доверить им секрет она не могла, но не ставила им это в вину, потому что сама принадлежала к кружку. Она и себе не доверилась бы. Она была наедине со своей проблемой, не зная даже, как к ней подступиться, и единственным источником мудрости был только этот справочник карманного формата. На вульгарно красной бумажной обложке нарисованные как бы мелом, неумелой детской рукой, держались за руки два тощих, улыбающихся, пучеглазых человечка.

* * *

Они съели дыню меньше чем за две минуты, а парни, вместо того чтобы ждать в коридоре, стояли позади, возле двери, трогая свои бабочки и тугие воротники, одергивая манжеты. Ничего не выразилось на их неподвижных лицах, когда Эдуард комически-претенциозным жестом протянул Флоренс свою вишенку. Она игриво взяла губами ягоду из его пальцев и, глядя ему в глаза, стала жевать, медленно, так что ему был виден ее язык. Она понимала, что, заигрывая с ним, только осложняет свое положение: не надо затеваться с тем, что не готова продолжить. Но была потребность хоть чем-нибудь ему угодить, чтобы не чувствовать себя совсем бесполезной. Если бы только достаточно было для этого липкой вишенки.

Показывая, что ему не мешает присутствие официантов (хотя не мог дождаться их ухода), Эдуард улыбнулся, откинулся на спинку с бокалом в руке и спросил через плечо:

— Еще есть дыня?

— Больше нет, сэр. Извините.

Но рука с бокалом дрожала от внезапного прилива счастья и возбуждения, которого он не мог сдержать. Она будто светилась изнутри, красивая, чувственная, талантливая, добрая до невероятия.

Официант, ответивший ему, просунулся к столу, чтобы забрать пустые тарелки. Его коллега за дверью перекладывал на тарелки второе блюдо, ростбиф. Вкатить тележку в апартаменты новобрачных для обслуживания у стола было невозможно: из-за непродуманной планировки, когда елизаветинскую ферму "георганизовали" в середине XVIII века, была разница в уровнях — две ступеньки.

Молодые на минуту остались одни, хотя слышно было, как скребут ложки по тарелкам и тихо переговариваются официанты за открытой дверью. Эдуард положил ладонь на ее руку и в сотый раз за сегодня сказал шепотом: "Я тебя люблю", она сразу ответила ему тем же, ответила с полной искренностью.

Эдуард получил степень бакалавра по истории в Лондонском университете. Три года он изучал войны, восстания, эпидемии, возвышение и крах империй, революции, которые пожирали своих детей, сельскохозяйственные беды, нечеловеческие условия труда в промышленности, жестокость правящих элит — красочную летопись несчастий, угнетения и несбывшихся надежд. Он понимал, как стеснена и убога может быть жизнь, поколение за поколением. В широкой перспективе мирные, благополучные времена, такие, какие переживала сейчас Англия, были ред-

ки, а в них счастье его и Флоренс — чем-то исключительным и даже единичным. В последний год он специально занялся изучением роли личности в истории — действительно ли устарела теория, согласно которой "великий человек" может определить судьбу страны? Его руководитель считал, что безусловно устарела. Историей с большой буквы движут к неизбежной, необходимой цели неодолимые силы и скоро этот предмет превратится в точную науку. Но биографии, которые Эдуард изучал подробно — Цезаря, Карла Великого, Фридриха II, Екатерины II, Нельсона и Наполеона (Сталин был опущен по настоянию руководителя), — склоняли к противоположной мысли. Безжалостная личность, голый оппортунизм и удача, доказывал Эдуард, могут круто повернуть судьбы миллионов — этот своевольный вывод принес ему четверку с минусом и чуть не оставил без степени.

Попутное открытие — что даже легендарный успех дарит мало счастья — усугубило его беспокойство, честолюбивый зуд. Утром, одеваясь к венчанию (фрак, цилиндр, омывание в одеколоне), он решил, что ни одной из личностей в его списке неведомо было подобное удовлетворение. Его восторг — сам форма величия. Вот он — полностью или почти полностью совершившийся человек. В двадцать два года он затмил их всех.

Сейчас он смотрел на свою жену, в ее глаза, карие со сложным узором крапинок на радужке и легчайшего молочно-голубого оттенка белками. Ресницы у нее были темные и густые, как у ребенка, и в серьезности ее спокойного лица — тоже что-то детское. При определенном освещении в четкой лепке этого лица проглядывало что-то индейское, что-то от благородной скво. У нее был твердый подбородок и широкая безыскусная улыбка с морщинками в углах глаз. Ширококостая (некоторые матроны на свадьбе со знанием дела отмечали ширину ее бедер), а груди, которые Эдуард трогал и даже целовал, хотя весьма периферически, — маленькие. Кисти скрипачки, белые и сильные, и такие же сильные длинные руки — в школьные годы она отличалась в метании копья.

Эдуард всегда был равнодушен к классической музыке, но теперь приобщался к ее звонкому арго: legato, pizzicato, con brio. Постепенно, за счет безжалостного повторения, он приучался узнавать и даже любить некоторые пьесы. Особенно его трогала одна, которую она исполняла с подругами по квартету. Когда Флоренс упражнялась дома, играла свои гаммы и арпеджо, она надевала на волосы ленту — эта милая деталь навевала ему мечты об их будущей дочери. В игре ее была изощренность и точность, и ее хвалили за насыщенность звука. Один преподаватель сказал, что никогда еще не встречал студентку, у которой открытая струна пела бы с такой теплотой. Перед пюпитром в репетиционной комнате в Лондоне или у себя дома в Оксфорде, когда Эдуард лежал на кровати, смотрел на нее и желал ее, она держалась грациозно, с прямой спиной и гордо поднятой головой, и читала ноты с властным, почти надменным выражением, которое возбуждало его. Такая в ее повадке была уверенность, такое знание пути к удовольствию.

Пока дело касалось музыки — натирала ли она канифолью смычок, меняла ли струну, расставляла ли стулья для трех участников студенческого струнного квартета, который был ее страстью, — движения ее были плавны и решительны. Она была несомненным лидером, и в их мно-

гочисленных музыкальных спорах последнее слово всегда оставалось за ней. Но в обычной жизни она была на удивление неуклюжа и неуверенна, вечно сшибала пальцы на ногах, опрокидывала вещи, стукалась головой. Пальцы, умело бравшие двойные ноты в баховской партите, так же ловко проливали полную чашку чая на белую скатерть или роняли стакан на каменный пол. Она цеплялась ногой за ногу, если думала, что за ней наблюдают, и как-то призналась Эдуарду, что идти по улице навстречу знакомому — для нее тяжелое испытание. А когда нервничала или стеснялась, рука ее то и дело тянулась ко лбу, чтобы откинуть воображаемую прядь волос — робким, трепетным движением, еще долго повторявшимся после того, как исчезла причина беспокойства.

Можно ли было не полюбить такую странную, особенную женщину, такую сердечную, глубокую, до болезненности честную, у которой каждая мысль, каждое чувство открывались взгляду обнаженными в жестах и выражении лица, струясь как поток заряженных частиц? Даже без широкостой ее красоты он все равно неизбежно полюбил бы ее. И она любила его, напряженно, с мучительной для него физической сдержанностью. Она пробуждала в нем не только страсть, вдвойне горячую из-за отсутствия надлежащего выхода, но и инстинкты защитника. Хотя так ли уж была она уязвима? Однажды он заглянул в ее папку с табелями успеваемости: показатель умственного развития по тестам — 152, на 17 пунктов выше, чем у него. В ту пору эти показатели считались мерой чего-то такого же осязаемого, как рост и вес. На репетициях квартета, когда у нее возникали разногласия по поводу фразировки, или темпа, или динамики с Чарльзом, самоуверенным виолончелистом, чьи круглые щеки цвели позднеюношескими прыщами, Эдуард дивился ее хладнокровию. Она не спорила, она спокойно выслушивала, а затем объявляла свое решение. Тут никаких поползновений поправить прическу. Она знала, как надо, и была полна решимости руководить, как и полагалось первой скрипке. Кажется, и довольно грозного отца она заставляла делать то, что ей надо. За много месяцев до свадьбы он по ее просьбе предложил Эдуарду место. Хотел ли он этого сам или не осмелился отказать — вопрос другой. И она точно знала, благодаря какому-то женскому осмосу, что требуется для торжеств, — от размеров шатра до количества ягодного пудинга и на какую сумму отец готов раскошелиться.

* * *

— Несут, — шепнула она и сжала его руку, предупреждая возможный порыв интимности. Официанты приближались с тарелками мяса — на его тарелку положено было вдвое больше. Кроме того, они принесли бисквит, пропитанный хересом, чеддер, мятные шоколадки и поставили на буфет. Дав сбивчивый совет насчет звонка возле камина — надо сильно нажать и держать, — парни удалились, с необыкновенной осторожностью затворив за собой дверь. Послышалось дребезжание увозимой по коридору тележки, потом тишина, потом торжествующий вопль, вероятно уже из бара внизу, и наконец молодожены остались одни. Переменившийся ветер или просто порыв его донес шум прибоя, словно где-то далеко бились стаканы. Туман поднимался, частично открылись контуры низких прибрежных холмов, дугой уходящих к востоку. Видна была

светлая серая гладь — то ли шелковая полоса моря, то ли лагуны, то ли неба, понять было невозможно. Через приоткрытые балконные двери прилетел с ветром соблазнительный соленый запах свежести и простора; с ним никак не гармонировала крахмальная скатерть, загустевший соус с кукурузной мукой, тяжелое полированное серебро у них в руках. Свадебный обед был обильным и продолжительным. Они не успели проголодаться. Теоретически, они могли оставить свои тарелки, взять бутылку за шею, выбежать на берег, скинуть туфли и насладиться волей. Никто в гостинице и не подумал бы их остановить. Они стали взрослыми наконец, у них праздник, они свободны делать все что хочется. Через каких-нибудь несколько лет так и поступили бы самые обыкновенные молодые люди. Но сейчас не то было время. Даже когда Эдуард и Флоренс оставались наедине, над ними еще тяготели тысячи неписаных правил. Именно потому, что они взрослые, негоже ребячески убегать от стола, приготовленного для них с такими стараниями. Ребячливость была еще не в почете или не в моде.

Все же Эдуарда беспокоил зов берега, и если бы он знал, как это предложить или оправдать, то позвал бы ее туда сразу же. Раньше он почитал ей из путеводителя, где говорилось, что тысячелетия тяжелых штормов откалибровали и рассортировали гальку на двадцати девяти километрах косы и к восточному краю камни укрупняются. Согласно легенде, местные рыбаки, причаливая ночью к берегу, точно определяли место по размеру голышей. Флоренс сказала, что можно самим это проверить, если набирать по пригоршне через каждый километр. Бродить по берегу было бы лучше, чем сидеть здесь. Потолок, и так низкий, стал казаться ему еще ниже, садился на голову. Мешаясь с морским ветерком, от тарелки поднимался запах еды, затхлый, как дыхание домашней собаки. Возможно, Эдуард вовсе не так радовался, как внушал себе. Ужасный пресс стеснял его мысли, сковывал речь, и он ощущал острый физический дискомфорт: как будто узки стали трусы или брюки.

Так что если бы у стола появился джинн и предложил Эдуарду назвать самое сильное желание, то и речи бы не было ни о каком береге. Единственное, о чем он мог думать, единственное, чего он хотел, — улечься с Флоренс голыми на кровать в соседней комнате и пережить наконец то колоссальное событие, которое представлялось ему таким же далеким от повседневности, как видение в религиозном экстазе или даже сама смерть. Ожидание — неужели это и вправду случится? с ним? — снова запустило свои холодные пальцы в низ живота, и голова его на миг обморочно наклонилась, но он остановил это движение и замаскировал довольным вздохом.

Как большинство молодых людей своего времени — и не только своего, — лишенных раскованности или средств сексуального выражения, он постоянно предавался тому, что один просвещенный авторитет именовал теперь "самоудовлетворением". Эдуард обрадовался, когда встретил этот термин. Он родился достаточно поздно в XX веке, в 1940 году, и уже не надо было верить, что он вредит своему телу, портит зрение или тому, что Бог взирает на него с суровым изумлением, когда он ежедневно принимался за свой труд. Или что все об этом догадаются по его бледному, самоуглубленному виду. Тем не менее какой-то неопределенный стыд омрачал его занятие — ощущение несостоятельности, ущерб-

ности и, конечно, одиночества. А удовольствие было лишь побочным благом. Главное — освобождение от напряженной, стягивающей сознание потребности в том, чего нельзя было немедленно получить. Как удивительно — эта собственного производства ложечка жидкости, выстреливающей из тела, сразу освобождала ум для новых размышлений о решительности Нельсона в заливе Абукир.

Единственным и самым важным вкладом Эдуарда в приготовления к свадьбе было недельное воздержание. Ни разу еще с двенадцати лет он не был так целомудрен с собой. Он хотел прийти к невесте в наилучшей форме. Это было не легко, особенно ночью в постели, но и утром, когда просыпался, и долгими вечерами, и в часы перед ланчем, и после ужина, и перед сном. Теперь они были наконец вдвоем и женаты. Почему он не встал из-за стола, не покрыл ее поцелуями и не повел к кровати с балдахином в соседнюю комнату? Это было не так просто. Он имел длительный опыт столкновений с ее стыдливостью. Он даже стал уважать ее стыдливость, принимая ее за благовоспитанность, уступку сексуально одаренной натуры обществу. В общем, свойством ее глубокой, сложной личности, проявлением ее высоких достоинств. Он убедил себя, что именно такой она ему нравится. Он не отдавал себе отчета в том, что ее сдержанность — как раз впору его неопытности и неуверенности; более чувственная и требовательная женщина, *необузданная* женщина, могла бы его испугать.

Это жениховство было паваной, оно развертывалось величаво, подчиняясь никогда не обсуждавшимся и не согласовывавшимся, но строго соблюдаемым протоколам. Ничто не обсуждалось — они и не испытывали потребности в интимных разговорах. То, что тревожило их, было за пределами речи, вне определений. Язык и практика психотерапии, кропотливый взаимный анализ, обмен валюты чувств были еще не в ходу. Известно было, что людей побогаче пользуют психоаналитики, но еще не принято было рассматривать себя в повседневном смысле как загадку, как сюжет психологического повествования или ожидающую решения проблему.

У Эдуарда с Флоренс ничто не происходило быстро. Важные сдвиги, молчаливые разрешения расширить область того, что допустимо видеть или ласкать, — это достигалось очень постепенно. От октябрьского дня, когда он впервые увидел ее голые груди, до 19 декабря, когда он смог до них дотронуться, прошло изрядное количество времени. Поцеловал он их в феврале — но не соски, которые задел губами только раз в мае. Трогать его тело она позволяла себе еще осмотрительнее. Внезапный ход или радикальное предложение с его стороны — и месяцы честного труда могли пойти насмарку. Тот вечер в кино, на фильме "Вкус меда", когда он взял ее руку и поместил себе между ног, отбросил процесс на несколько недель назад. Она не стала холодна — такого с ней никогда не бывало, — но как-то неуловимо отдалилась, возможно в разочаровании или даже восприняв это как некоторое предательство. Потом, со временем, все пошло прежним порядком: в воскресенье, в конце марта, когда за окном шел сильный дождь и они сидели одни в неубранной гостиной маленького домика его родителей на Чилтернских холмах, она ненадолго положила руку ему на пенис или около. Секунд пятнадцать с надеждой и восторгом он ощущал ее сквозь два слоя ткани. Как только

она отняла руку, он понял, что больше не выдержит. Он попросил ее выйти за него замуж.

Он не представлял себе, чего ей стоило положить руку — тыльную сторону ладони — на такое место. Она любила его, она хотела сделать ему приятное, но для этого ей надо было преодолеть довольно сильное отвращение. Это была честная попытка — Флоренс, может, и была умна, но чужда хитростей. Она продержала там руку сколько могла — пока не почувствовала шевеления и отвердения под серой фланелью брюк. Она почувствовала живое существо, отдельное от Эдуарда, — и дрогнула, и отступила. Потом он выпалил предложение, и в порыве чувств — радости, веселья, облегчения, — в порывистом объятии она на время забыла об этом маленьком шоке. А Эдуард был так потрясен собственной решительностью, так ограничен умственно желанием, не находящим выхода, что плохо представлял себе раздвоенность, в которой она будет жить с этого дня, — тайную борьбу радости с отвращением.

* * *

Итак, они были одни и вольны делать все, что захочется, но продолжали есть ужин, не испытывая никакого аппетита. Флоренс положила нож и пожала Эдуарду руку. Снизу слышалось радио — бой Биг-Бена перед десятичасовыми новостями. Постояльцы постарше, должно быть, сидели в общей гостиной, оценивая мир, с последними перед сном стаканчиками виски — в гостинице был хороший выбор не купажированных, — и кое-кто, наверное, набивал трубку, тоже последнюю за день. Собраться у приемника перед главным выпуском новостей — привычка военных лет, с которой они уже не расстанутся. Эдуард и Флоренс расслышали краткую сводку, прозвучало имя премьер-министра, а минуты через две — и самого его знакомый голос. Гарольд Макмиллан выступал на вашингтонской конференции по поводу гонки вооружений и необходимости договора о запрещении испытаний. Кто бы не согласился, что неразумно и дальше испытывать водородные бомбы в атмосфере и заражать радиацией всю планету? Но никто моложе тридцати, и уж точно ни Эдуард, ни Флоренс, не верили, что британский премьер имеет большое влияние в мировой политике. Империя с каждым годом съеживалась, предоставляя одной стране за другой их законную независимость. Почти ничего уже не осталось, и мир принадлежал американцам и русским. Британия, Англия стала второстепенной страной — в признании этого факта была некая кощунственная сладость. Внизу, конечно, они относились к этому иначе. Все, кому больше сорока, участвовали в войне или пострадали от нее, видели смерть в необычных масштабах и не могли согласиться с тем, что наградой за все жертвы стала роль статиста.

Эдуарду и Флоренс предстояло впервые голосовать на выборах в парламент, и они страстно желали победы лейбористов, такой же решительной, как в 1945 году. Через год-другой старое поколение, все еще грезящее империей, непременно уступит место таким политикам, как Гейтскелл, Вильсон, Кросленд, — новым людям с мечтой о современной стране, где есть равенство и что-то реально делается. Если Америка могла найти себе вдохновенного и красивого президента Кенне-

ди, то и Британия может обрести кого-то подобного — хотя бы по духу, потому что никого такого блестящего в лейбористской партии не было видно. Твердолобые, все еще не расставшиеся с последней войной, все еще скучающие по ее дисциплине и аскетизму, — их время кончилось. И у Эдуарда, и у Флоренс было чувство, что скоро страна изменится к лучшему, что молодая энергия ищет выхода, как пар в закупоренном сосуде, и подогревалось оно взволнованным ожиданием их собственного совместного похода в будущее. Шестидесятые были первым десятилетием их взрослой жизни и безусловно принадлежали им. Трубокуры внизу, в их блейзерах с серебряными пуговицами, с их двойными порциями "Коал Ила" и воспоминаниями о кампаниях в Северной Африке и Нормандии, с их бережно хранимыми остатками армейского жаргона — они не могли претендовать на будущее. Пора на покой, джентльмены!

Туман поднимался, открылись взгляду ближние деревья, зеленые обрывы позади лагуны и клочки серебряного моря. Мягкий вечерний воздух обвевал стол, а они, скованные каждый своей тревогой, продолжали делать вид, что едят. Флоренс просто передвигала еду по тарелке. Эдуард жевал символические кусочки картошки, отламывая их вилкой. Они беспомощно слушали продолжение новостей, сознавая, как глупо с их стороны подключаться к тому же, чем занято внимание постояльцев внизу. Их первая ночь, а им нечего сказать. Из-под ног просачивались невнятные слова, но они расслышали "Берлин" и сразу поняли, что речь идет о событии, последние дни занимавшем всех. Группа немцев из коммунистической Восточной Германии захватила пароход на озере Ванзее и переправилась в Западный Берлин, прячась от пуль восточных пограничников возле рулевой рубки. Прослушали это сообщение и теперь, изнемогая, слушали третье — о заключительном заседании исламской конференции в Багдаде.

По собственной глупости прилипли к международной политике! Так больше не могло продолжаться. Пора было действовать. Эдуард приспустил узел галстука и с решительностью положил вилку и нож на тарелку параллельно.

— Можно спуститься туда и послушать по-человечески.

Он надеялся, что это прозвучит шуткой, иронией, обращенной на них обоих, но слова вырвались с непроизвольной свирепостью, и Флоренс покраснела. Она подумала, что он ее осуждает — предпочла ему радио, — и прежде чем он успел смягчить свое замечание, поспешно сказала:

— А можно и лечь в постель. — И нервно смахнула со лба невидимую прядь.

Чтобы показать ему, как он ошибается, она предложила то, чего он, понятно, больше всего хотел, а сама она страшилась. Ей действительно было бы приятнее или необременительнее спуститься в гостиную и провести время за спокойной беседой с дамами на цветастых диванах, пока их мужья, подавшись к приемнику, ловят бурный ветер истории. Что угодно, только не это.

Ее муж стоял, улыбался и церемонно протягивал ей руку через стол. Он тоже слегка порозовел. Его салфетка прилипла к животу, нелепо повисела там секунду, как набедренная повязка, потом спланировала на

пол. Ничего не оставалось делать — разве что упасть в обморок, но притворщица она была никакая. Она встала и взяла его за руку, понимая, что ее застывшая ответная улыбка неубедительна. Ей не стало бы легче, если бы она знала, что Эдуарду в его полупомраченном состоянии она казалась милой как никогда. Что-то особенное было в ее руках, вспоминал он потом, стройных и беззащитных, которые скоро должны были с любовью обвить его шею. И в ее прекрасных ореховых глазах, сиявших нескрываемой страстью, в слабом дрожании нижней губы, которую она только что смочила языком.

Свободной рукой он попытался взять бутылку и оба полупустых бокала, но это оказалось слишком трудно и отвлекало: бокалы столкнулись лбами, ножки скрестились в его руке, вино пролилось на скатерть. Тогда он взял только бутылку. Даже в теперешнем возбужденном состоянии, внутренне дрожа, он думал, что понимает причину ее всегдашней сдержанности. Тем больше оснований радоваться сейчас, перед этим решающим событием, перед рубежом в их жизни. И потрясающе, что Флоренс сама позвала его в постель. Перемена статуса дала ей свободу. По-прежнему не выпуская ее руки, он обошел стол и придвинулся к ней, чтобы поцеловать. Подумал, что целоваться с бутылкой в руке пошло, и опять поставил ее на стол.

— Ты очень красивая, — прошептал он.

Она заставила себя вспомнить, как сильно любит этого человека. Он добр, чуток, он любит ее и не может причинить ей вред. Он обнял ее, она прижалась к его груди и вдохнула его запах, такой родной, отдававший деревом, успокаивающий.

— Я очень счастлива с тобой.

— И я счастлив, — тихо отозвался он.

Они поцеловались, и она сразу почувствовала его язык — напряженный и сильный, он пролез между ее зубами, как невежа, протискивающийся в комнату. Вошел в нее. А ее язык с инстинктивной брезгливостью отодвинулся, сложился, предоставив еще больше места Эдуарду. Он знал, что она не любит таких поцелуев, и никогда еще не вел себя так напористо. Крепко прижавшись губами к ее губам, он прощупал языком мягкое донышко ее рта, потом провел по нижним зубам до пустого места, где три года назад ей вырвали под общим наркозом криво выросший зуб мудрости. К ямке обычно забредал и ее язык в минуты задумчивости. Так что это была скорее идея, нежели место, воображаемый пункт, а не ямка в десне, и странно было, что туда может забраться еще чей-то язык. Этот твердый узкий кончик чужого, трепетно-живого мускула вызывал неприязнь. Левая ладонь Эдуарда лежала у нее между лопатками, под самой шеей и пригибала ее голову. Флоренс была полна решимости ничем не обидеть его, но клаустрофобия, ощущение духоты все обострялись. Он был у нее под языком, толкал его вверх к нёбу, потом сверху толкал вниз, потом плавно скользил по бокам и вокруг, словно пытался завязать простой узел. Он хотел соблазнить ее язык на какие-то ответные действия, вовлечь в безобразный немой дуэт, но она могла только уклоняться и думала только о том, чтобы не оказать сопротивления, не запаниковать, чтобы ее не затошнило. Мелькнула дикая мысль: если ее вырвет ему в рот, их браку конец, придется вернуться домой и объясняться с родителями. Она прекрасно понимала, что это

предприятие с языком, это проникновение — имитация в малом масштабе, ритуальная tableau vivant[1] того, что будет дальше, как пролог старинной пьесы, в котором говорится обо всем, что в ней произойдет.

Флоренс стояла, дожидаясь конца этого эпизода, для проформы держа руки у него на бедрах. Она понимала, что столкнулась с голой истиной, самоочевидной задним числом, такой же древней и узаконенной, как "дань Дании"[2] или право первой ночи, настолько фундаментальной, что почти не требовала объяснения: решив выйти замуж, она согласилась именно на это. Согласилась, что полагается это сделать и что с ней это сделают. После церемонии, когда она с Эдуардом и их родители перешли в сумрачную ризницу, чтобы расписаться в регистрационной книге, они подписались именно под этим, а все остальное — ожидаемая зрелость, конфеты и торт — было всего лишь вежливым обрамлением. И если ей это не нравилось, то ответственность лежала целиком на ней, потому что все ее решения в последний год вели именно к этому, виновата была она сама, и она действительно думала, что ее стошнит.

Услышав ее стон, Эдуард подумал, что он почти уже на вершине счастья. Возникло ощущение восхитительной невесомости, как будто его ноги на несколько сантиметров оторвались от земли и он приятно высится над Флоренс. Сердце с болезненной сладостью стучало под самым горлом. Радостным трепетом отзывалось в нем легкое касание ее рук не так уж далеко от паха, податливость ее тела в его объятии и шум ее частого, взволнованного дыхания. Она дышала носом; ее язык мягко ответил на его натиск, и Эдуарда это привело в возбуждение, близкое к экстазу; холодное и острое, оно сконцентрировалось почему-то под ребрами. Может быть, однажды, скоро, он убедит ее — может быть, даже сегодня вечером и даже убеждать не понадобится — взять в эти мягкие прекрасные губы его член. Но эту мысль надо было как можно быстрее прогнать, а то в самом деле все могло закончиться прежде времени. Он уже чувствовал, как там назревает, подвигает его к позору. Он вовремя вспомнил о новостях, представил себе премьер-министра Гарольда Макмиллана — высокий, сутуловатый, герой войны, старикан с моржовыми усами, он олицетворял что угодно, кроме секса, и идеально подходил для неотложной цели. Внешнеторговый дисбаланс, ограничение роста зарплат, поддержание розничных цен. Некоторые проклинали его за то, что распускает империю, но другого выхода не было, в Африке дул ветер перемен. От лейбориста никто бы такого не потерпел. И он только что уволил треть кабинета — "ночь длинных ножей". Для этого требовалась отвага. "Мэкки-нож" — назвали его в одном заголовке, в другом — "Макбет!" Серьезные люди сетовали, что он наводнил страну телевизорами, автомобилями, супермаркетами и прочим хламом. Он позволил людям получать то, чего они хотели. Хлеб и зрелища. Теперь он хочет, чтобы мы влились в Европу — и кто с уверенностью скажет, что это неправильно?

Успокоился. Мысли Эдуарда рассеялись, он снова весь превратился в язык, в его кончик, и в ту же самую секунду Флоренс почувствовала,

1. Живая картина (*франц.*).
2. "Дань Дании" или "датская подать" — в средневековой Англии дополнительный налог на землю для выплаты дани завоевателям-датчанам. Впоследствии использовался для других целей.

что больше не выдержит. Ощущение было такое, как будто ее связали и душат; она задыхалась, ее мутило. И слышался звук, постепенно повышавшийся — не ступенями, как в гамме, а плавным глиссандо — не скрипки звук и не голоса, а нечто среднее; он нарастал невыносимо, все время оставаясь в диапазоне слышимости — голос-скрипка, почти осмысленный, говорил ей что-то очень важное гласными и свистящими, более примитивными, чем слова. Может быть, он раздавался в комнате или шел из коридора, или же рождался в голове, как шум крови в ушах. Ей было все равно, ей надо было освободиться.

Она отдернула голову и вырвалась из его рук. Он смотрел на нее удивленно, все еще с открытым ртом, и лицо его постепенно приобретало вопросительное выражение. Тогда Флоренс схватила его за руку и повела к кровати. Это был противоестественный поступок, даже безумный — ей хотелось только выбежать из комнаты, через сад, по улочке, на берег и там посидеть одной. Хотя бы минуту — и то стало бы легче. Но слишком сильно было в ней чувство долга, она не могла ему противиться. Не могла оставить мужа одного. Если бы вся свадебная коллегия гостей и родственников невидимо набилась в эту комнату и наблюдала за ними, эти призраки все приняли бы сторону Эдуарда, сочувствовали бы его горячему законному желанию. Они решили бы, что с ней что-то не так, и были бы правы.

Она сама понимала, что ведет себя жалко. Чтобы уклониться от одного отвратительного дела, ей пришлось поднять ставку и вызваться на другое, создав обманчивое впечатление, что жаждет его. Заключительный акт нельзя было откладывать бесконечно. Он приближался, и она сама глупо торопила его. Она ввязалась в игру, чьи правила не могла подвергнуть сомнению. Не могла противиться логике, которая вынуждала вести или буксировать Эдуарда к открытой двери в спальню, к узкой кровати с балдахином и ровным белым покрывалом. Она понятия не имела, что будет делать, когда они там окажутся, но, по крайней мере, жуткий звук прекратился, и в эти несколько секунд, пока они идут, ее рот и язык принадлежат ей, она может дышать и попытаться совладать с собою.

Глава 2

Как они встретились и почему в современную эпоху эти возлюбленные так робки и невинны? Они считали себя слишком просвещенными, чтобы верить в судьбу, и все же казалось парадоксальным, что встреча, перевернувшая жизнь, произошла случайно и зависела от сотни мелких событий и решений. Страшно представить себе, что это вообще могло не произойти. И в первом приливе любви они часто удивлялись тому, как близко сходились их пути в школьные годы, когда Эдуард, бывало, спускался из своего неопрятного домика на Чилтернских холмах в Оксфорд на ярмарку святого Джайлза в начале сентября или спозаранку на майский праздник (нелепый и раздутый ритуал, соглашались оба)[1]; или чтобы взять напрокат ялик на реке Чаруэлл — хотя это было только раз,

1. Народный майский праздник отмечается в первое воскресенье мая танцами вокруг "майского дерева" — столба с цветами и флажками — и коронованием королевы мая.

или, в старших классах, противозаконно выпить пива в пабе "Тёрл". Он даже думал, что однажды его с другими тринадцатилетними ребятами привозили автобусом в Оксфордскую среднюю школу на викторину, где их разгромили тамошние девочки, до ужаса осведомленные и выдержанные, как взрослые. А может быть, это была другая школа. Флоренс не помнила, чтобы состояла в команде, но призналась, что любила такие состязания. Когда они сравнивали свои оксфордские маршруты и памятные места, обнаруживалось много совпадений.

Детство и школьные годы кончились, и оба выбрали Лондон: он — Юниверсити-колледж, она — Королевский музыкальный колледж, и, естественно, встречи не произошло. Эдуард поселился у вдовой тетки в Камден-Тауне и каждое утро ездил на велосипеде в Блумсбери. Он работал весь день, а по выходным играл в футбол и пил пиво с однокурсниками. Пока самого его не стало это смущать, не прочь был иной раз подраться возле паба. Единственным серьезным не физическим развлечением было у него слушание музыки — энергичного "электрик-блюза", который оказался предшественником и локомотивом английского рок-н-ролла. Музыка эта, по его мнению, была несравненно выше хилых мюзик-холльных песенок из Ливерпуля, на которых через несколько лет помешается мир. Вечерами он часто шел из библиотеки в "Клуб 100" послушать "Пауэрхаус Фор" Джона Мэйолла, или Алексиса Корнера, или Брайена Найта. В эти три студенческих года вечера в клубе были его вершинным культурным впечатлением, и в дальнейшем он считал, что именно музыка сформировала его вкусы и даже определила сюжет жизни.

Немногие знакомые девушки — в те дни их было мало в университетах — приезжали на лекции из пригородов и уезжали в конце дня, видимо, в соответствии со строгим наказом родителей быть дома к шести. Вслух это не выражалось, но все их поведение говорило о том, что они "блюдут себя" для будущего мужа. Никаких сомнений быть не могло: чтобы переспать с любой из них, надо было жениться. Двое друзей, порядочные футболисты, пошли по этому пути, женились на втором курсе и исчезли из виду. Один из этих несчастных являл собой особенно поучительный пример. От него забеременела девушка из университетской администрации, после чего его, по мнению друзей, "потащили к алтарю"; на год он пропал. А потом его случайно встретили на Патни-Хай-стрит с детской коляской — в то время это еще считалось унизительным для мужчины.

Газеты писали о Пилюле — нелепая надежда, очередная сказка об Америке. Блюзы, которые Эдуард слушал в "Клубе 100", создавали впечатление, что всюду вокруг, невидимо для него, сверстники ведут бурную половую жизнь, приносящую всевозможные радости. Поп-музыка была пресной, все еще застенчивой в этом вопросе, фильмы — немногим откровеннее, и в его кругу мужчины должны были довольствоваться похабными анекдотами, корявым сексуальным хвастовством и шумной своей компанией, разогреваемой яростным питьем, что только уменьшало шансы познакомиться с девушкой. Социальные перемены никогда не идут ровным шагом. По слухам, на филологическом и чуть дальше, в Институте Востока и Африки, и еще чуть дальше, в Лондонской школе экономики, мужчины и женщины в тугих черных джинсах и

черных свитерах запросто спали друг с другом, без необходимости знакомиться с родителями партнера. Поговаривали даже о марихуане. Иногда из интереса Эдуард захаживал на филологическое, надеясь обнаружить признаки земного рая, но коридоры, доски объявлений и даже женщины ничем там не отличались.

Флоренс жила на другом краю Лондона, поблизости от Альберт-Холла, в чинном общежитии для студенток, где свет гасили в одиннадцать, гостей-мужчин не пускали вообще и девушки беспрестанно забегали в комнаты подруг. Флоренс упражнялась по пять часов в день и ходила с подругами на концерты. Предпочитала камерные концерты в Уигмор-Холле, иногда посещала по пять в неделю, дневных и вечерних. Она обожала сумрачную серьезность этого места, поблекшие шелушащиеся стены за сценой, лоснистое дерево панелей, толстый красный ковер в вестибюле, главный зал, похожий на позолоченный туннель, знаменитый купол над сценой, символизирующий, как ей объясняли, тягу человечества к великой абстракции музыки, с Гением Гармонии, изображенным в виде шара вечного огня. Она преклонялась перед ветхими господами, которые по несколько минут выбирались из такси, ковыляли с палками к своим местам и в напряженном критическом молчании слушали музыку — кое-кто из них укрыв колени клетчатым пледом. Эти ископаемые с их шишковатыми морщинистыми черепами, смиренно наклоненными к сцене, олицетворяли для Флоренс отшлифованный опыт, мудрость оценок и, может быть, музыкальное мастерство, которому больше не могли послужить артритные пальцы. И одно то уже вселяло трепет, что на этой сцене играло столько всемирно знаменитых музыкантов и начиналось столько великих биографий. Здесь она присутствовала при дебюте шестнадцатилетней виолончелистки Жаклин Дюпре. Музыкальные привязанности самой Флоренс были не оригинальны, но очень сильны. Какое-то время она была одержима первыми шестью квартетами Бетховена, потом его замечательными последними квартетами. Шуман, Брамс, а потом, в последний год, — квартеты Фрэнка Бриджа, Бартока и Бриттена. За три года она прослушала всех этих композиторов в Уигмор-Холле. На втором курсе ей дали работу за сценой — в просторной зеленой комнате она заваривала чай для артистов, смотрела в глазок, чтобы открыть им дверь, когда они уходили со сцены. Иногда переворачивала ноты пианистам в камерных ансамблях, а однажды стояла рядом с Бенджамином Бриттеном, когда исполнялись песни Гайдна, Фрэнка Бриджа и самого Бриттена. Пели мальчик дискант и Питер Пирс — уходя вместе с великим композитором, Пирс сунул ей десятишиллинговую бумажку. В соседнем доме под фортепьянным салоном она обнаружила комнаты для упражнений, где легендарные пианисты, в частности Черкасский и Огдон, с утра долбили по клавишам, как дорвавшиеся до инструмента первокурсники. Холл стал ее вторым домом — она чувствовала себя собственницей каждого темного неряшливого закутка и даже холодных цементных ступенек, спускавшихся к уборным.

Среди прочих ее обязанностей была уборка зеленой комнаты, и однажды в мусорной корзине она нашла ноты, выброшенные квартетом "Амадеус" с их карандашными пометками, бледными и неразборчивыми. Она пришла в восторг, расшифровав, наконец, слова: "На си — атака". Она придумала себе, что получила важное послание или судьбонос-

ную подсказку, и две недели спустя, вскоре после начала третьего учебного года, пригласила трех лучших студентов колледжа составить с ней квартет.

Единственным мужчиной был Чарльз Родуэй, виолончелист, но он не вызывал у нее романтического интереса. Студенты мужского пола, увлеченные музыкой, бешено честолюбивые, ничего не желавшие знать, кроме своего инструмента и репертуара, ее не привлекали. Когда какая-нибудь девушка начинала встречаться с кем-нибудь из студентов постоянно, она напрочь выпадала из общения, точно как футбольные друзья Эдуарда. Как будто уходила в монастырь. Поскольку встречаться с молодым человеком, не теряя подруг, представлялось невозможным, Флоренс предпочла держаться своего кружка в общежитии. Ей нравились шутливые перепалки, доверительность, отзывчивость, общая суматоха по случаю дней рождения, трогательная суета с чайниками, фруктами, одеялами, если ты заболевала гриппом. Годы в колледже были для нее годами свободы.

Карты Лондона у Эдуарда и Флоренс не совпадали. Она почти ничего не знала о пабах Фитсровии и Сохо и, хотя давно собиралась, так и не побывала в читальне Британского музея. А он ничего не знал о Уигмор-Холле, о чайных в окрестности ее общежития, ни разу не бывал на пикнике в Гайд-парке и не катался на лодке по Серпантину[1]. Они были приятно удивлены, выяснив, что в 1959 году в один и тот же день находились на Трафальгарской площади — вместе с двадцатью тысячами других людей, требовавших запретить бомбу.

* * *

Они так и не встретились, пока не закончили учебу в Лондоне, не вернулись к себе домой с застывшим там детством, не высидели две жаркие, томительные недели в ожидании результатов экзаменов. Позже они особенно дивились тому, что ведь вообще могли не встретиться. У Эдуарда этот день мог пройти, как большинство других, — он уходил в конец узкого сада, садился на замшелую скамью в тени гигантского вяза и читал, вне досягаемости для матери. В пятидесяти метрах от него ее лицо, бледное и расплывчатое, как ее акварели, застывало минут на двадцать в окне гостиной или кухни и наблюдало за ним. Он старался не обращать внимания, но взгляд ее был как прикосновение ее руки к спине или плечу. Потом он слышал ее за пианино, спотыкающейся на какой-нибудь пьесе из клавирной книжечки Анны Магдалены[2], — другой классической музыки он тогда не знал. Через полчаса она могла вернуться к окну и снова глядеть на него. Она никогда не подходила поговорить, если видела его с книгой. Много лет назад, еще в его школьные годы, отец терпеливо внушал ей, чтобы она ни в коем случае не мешала занятиям сына.

В то лето, после выпускных экзаменов, он заинтересовался сектами средневековых фанатиков и их одержимыми вождями, которые регу-

1. Пруд в Гайд-парке.
2. Клавирные книжечки Анны Магдалены Бах — сборники клавирных пьес (1722 и 1725 гг.), написанных И. С. Бахом для своей второй жены.

лярно объявляли себя мессиями. Второй раз за год он читал "В поисках тысячелетнего царства" Нормана Кона. Воспаленные Апокалипсисом и видениями Даниила, убежденные, что Папа — Антихрист, тысячные толпы черни шли по сельской Германии, от города к городу, истребляя евреев, где могли их найти, священников, а иногда — и просто богатых. Потом власти жестоко подавляли движение, а через несколько лет в другом месте возникала новая секта. В серой безопасности своего житья Эдуард увлеченно и с легким ужасом читал об этих повторяющихся вспышках помешательства, благодаря судьбу за то, что живет во время, когда религия выгорела до несущественности. Он подумывал, не подать ли в докторантуру, если результаты выпускных экзаменов будут достаточно успешными. Это средневековое безумие вполне годилось как тема.

Гуляя по буковому лесу, он мечтал о том, чтобы написать серию коротких биографий, — это будут полубезвестные персонажи, находившиеся близко к центру важных исторических событий. И первым — сэр Роберт Кэри, человек, который семьдесят часов скакал из Лондона в Эдинбург, чтобы сообщить о смерти Елизаветы I ее преемнику Якову VI Шотландскому. Кэри был интересной фигурой и очень кстати написал мемуары. Он сражался против Непобедимой армады, был известным фехтовальщиком, был лордом-гофмейстером. Утомительная поездка на север должна была возвысить его при новом короле, однако он как-то затерялся.

В более реалистическом настроении Эдуард думал, что надо найти хорошую работу, преподавать историю в классической школе и избежать армии.

Если он не читал, то обычно уходил по липовой аллее к поселку Нортэнд, где жил его школьный друг Саймон Картер. Но в это утро, устав от книг, от птичьих песен и сельского покоя, Эдуард вывел из сарая свой школьный разболтанный велосипед, поднял седло, накачал шины и покатил куда глаза глядят. В кармане у него была фунтовая бумажка и две полукроны, и единственное, чего он хотел, — ехать. На опасной скорости — тормоза почти не держали — он проехал по зеленому туннелю, вниз по холму, мимо ферм Балэма и Стрейси, спустился в долину Стонор и решил доехать до Хенли, еще шесть километров. В городе он направился на железнодорожную станцию со смутным намерением поехать в Лондон и повидать друзей. Но поезд у платформы отправлялся в другую сторону, в Оксфорд.

Через полтора часа, в полуденной жаре, он уже брел по центру города, все еще скучая и злясь на себя за то, что впустую потратил время и деньги. Когда-то это была местная столица, источник надежд и радостных волнений. Но после Лондона Оксфорд казался игрушечным городом, приевшимся, нелепым в своих притязаниях. Когда швейцар в шляпе сердито посмотрел на него из двери колледжа, он чуть не повернул назад, чтобы потолковать с ним. Но вместо этого решил утешиться кружкой пива. На улице Сент-Джайлз, двигаясь к пабу "Игл энд чайлд", он увидел рукописное объявление о том, что сегодня в обеденное время состоится собрание местного отделения Движения за ядерное разоружение. Он не особенно любил эти серьезные сборища — и драматическую их риторику, и скорбную высоконравственность. Конечно, бомба ужасна и ее надо запретить, но он ни разу не услышал ничего но-

вого на собраниях. Однако был членом, платил взносы, делать ему было нечего, и долг глухо нашептывал ему: он обязан участвовать в спасении мира.

Эдуард прошел по выстланному плиткой коридору, и сумрачный зал с низкими крашеными кровельными балками и церковным запахом полироли и пыли встретил его нестройным гулом голосов. Когда глаза привыкли, первой он увидел Флоренс — она стояла у двери и разговаривала с тощим желтолицым человеком, державшим стопку брошюрок. На ней было белое бумажное платье с расклешенной юбкой и туго затянутым на талии синим кожаным поясом. Мелькнула мысль, что она медицинская сестра. В абстракции медсестры представлялись ему соблазнительными, потому что — так ему нравилось фантазировать — они уже все знали о его теле и его нуждах. В отличие от большинства девушек, на которых он глазел на улицах и в магазинах, она не отвела взгляд. Выражение лица у нее было насмешливое или ироническое — возможно, от скуки и желания развлечься. Это было странное лицо, безусловно красивое, но с отчетливым, скульптурным костяком. В сумраке зала, при боковом свете из высокого окна справа, ее лицо походило на резную маску, одухотворенную и мирную, несколько загадочную. Войдя в зал, он не остановился. Он шел к ней, не представляя себе, что скажет. Техникой знакомства он не владел.

Она смотрела на него, пока он подходил, а когда подошел, взяла брошюру из стопки у своего друга и сказала: "Не хотите? Она о том, как водородная бомба упадет на Оксфорд".

Когда он забирал брошюру, палец Флоренс наверняка не случайно скользнул по внутренней стороне его запястья. Эдуард сказал: "Всю жизнь мечтал прочесть об этом".

Ее коллега смотрел на него злобно, дожидаясь, когда он отойдет, но Эдуард не двинулся с места.

* * *

Ей тоже не сиделось дома — в викторианской, готического стиля вилле недалеко от Банбери-роуд, в пятнадцати минутах ходьбы от нее. Ее мать Виолетта, весь жаркий день проверявшая выпускные экзаменационные работы, плохо переносила музыкальные упражнения дочери — бесконечные гаммы, арпеджо, двойные ноты, игру по памяти. У нее это называлось "воплями": "Дорогая, я еще не закончила. Ты не могла бы продолжить вопли после чая?"

Подразумевалось, что это — добродушная шутка, но Флоренс, всю неделю пребывавшая в непривычно раздраженном состоянии, восприняла ее как еще одно свидетельство того, что мать не одобряет ее профессии, враждебна к музыке вообще, а следовательно, к ней самой. Она понимала, что мать стоило пожалеть. Мать была настолько лишена слуха, что не могла узнать ни одной мелодии и даже государственный гимн отличала от "Happy Birthday" только по обстоятельствам исполнения. Она была из тех людей, которые не могут сказать, какая нота выше, а какая ниже. На взгляд Флоренс, это был такой же изъян и несчастье, как косолапость или заячья губа, но после относительной свободы Кенсингтона домашняя жизнь казалась ей мелочным угнетением, и это ме-

шало испытывать сочувствие. Например, ей нетрудно было убирать по утрам постель — она всегда убирала, — но ее возмущало, что каждый раз за завтраком ее об этом спрашивают.

И после того, как она пожила вне дома, отец часто вызывал у нее противоречивые чувства. Иногда просто физическое неприятие — она не могла видеть его блестящую лысину, маленькие белые ручки, выслушивать его беспокойные планы касательно того, как улучшить свой бизнес и зарабатывать еще больше денег. И его высокий тенор, вкрадчивый и вместе с тем начальственный, с причудливыми акцентами. Она терпеть не могла восторженных сообщений о яхте, нелепо названной "Сладкая слива", которую он держал в гавани Пула. Ее раздражали рассказы о парусе нового типа, о судовой радиостанции, о специальном лаке для яхт. В прежнее время он брал ее с собой, и несколько раз, когда ей было двенадцать и тринадцать, они доходили до Картере близ Шербура. Они никогда не вспоминали об этих плаваниях. Больше он ее не приглашал, и она была этому рада. Но иногда в приливе материнских чувств и виноватой любви она подходила сзади к его стулу, обнимала за шею, целовала в макушку и терлась о голову носом, вдыхая его свежий запах. А после сама себе была противна.

И младшая сестра действовала ей на нервы своим новым простонародным выговором, намеренной бестолковостью за роялем. Как они выполнят заказ отца — сыграют марш Сузы, — если Рут делает вид, что не может отсчитать четыре доли в такте?

Как всегда, Флоренс умело скрывала свои чувства от родных. Это не требовало усилий — она просто выходила из комнаты, когда это можно было сделать не демонстративно, и потом была довольна, что не сказала родителям или сестре ничего злого или обидного; иначе она всю ночь не спала бы от огорчения. Флоренс постоянно напоминала себе, как она любит свою семью, еще надежнее загоняя себя в молчание. Она прекрасно знала, что люди ссорятся, и даже бурно, а потом мирятся. Но не знала, как начать, не владела механикой ссоры, очищающей воздух, и не верила, что злые слова можно взять назад и забыть. Лучше всего не усложнять. Винить только себя — когда чувствуешь себя как персонаж из газетной карикатуры, у которого из ушей валит пар.

И были у нее другие заботы. Сесть ей со вторыми скрипками в провинциальном оркестре — она сочла бы большой удачей, если бы ее взяли в Борнмутский симфонический — или еще год прожить на содержании у родителей, точнее, отца, репетировать со своим квартетом и добиваться первого ангажемента? Это значило бы жить в Лондоне, а ей не хотелось просить у Джефри лишние деньги. Виолончелист Чарльз Родуэй предложил ей свободную спальню в родительском доме, но он был хмурый, нелегкий парень и бросал на нее поверх пюпитра продолжительные, многозначительные взгляды. Поселившись у него, она будет в его власти. Она знала еще об одном месте, куда ее возьмут, — ресторанное трио в захудалом Гранд-Отеле к югу от Лондона. Смущала не музыка, которую придется там играть, — все равно никто не слушает, — но какой-то инстинкт или просто снобизм внушил ей, что она не может жить в Кройдоне или около. Она убедила себя, что результаты выпускных экзаменов помогут ей принять решение, и поэтому, так же как Эду-

ард среди лесистых холмов в двадцати пяти километрах к востоку, проводила дни как бы в приемной, нервически дожидаясь начала жизни.

Вернувшись из колледжа, уже не школьница, в некоторых отношениях зрелая, чего дома, кажется, не замечали, Флоренс осознала, что политические взгляды родителей ее не устраивают, и тут, по крайней мере, позволила себе открыто противоречить за обеденным столом — растрепанные споры тянулись долгими летними вечерами. С одной стороны, это давало разрядку, с другой — обостряло общее раздражение. Виолетта искренне интересовалась участием дочери в Движении за ядерное разоружение, дочери же было трудно с мамой-философом. Ее сердило спокойствие матери, а вернее, напускная грусть, с какой она выслушивала дочь, после чего излагала свое мнение. Она говорила, что Советский Союз — бесстыдная тирания, жестокое, безжалостное государство, повинное в геноциде таких масштабов, что превзошло даже нацистскую Германию и покрыло страну сетью каторжных лагерей. Говорила о показательных процессах, цензуре, бездействии законов. Советский Союз попирает достоинство и фундаментальные права человека, оккупировал и душит соседние страны — в университете у нее были друзья из чехов и венгров, — экспансия заложена в его природе, и с ним надо бороться, как с Гитлером. А если нельзя бороться, потому что у нас не хватит танков и солдат, чтобы защитить северогерманскую равнину, то надо действовать устрашением. Месяца через два она укажет на строительство Берлинской стены как на окончательное доказательство своей правоты: теперь коммунистическая империя стала одной гигантской тюрьмой.

В глубине души Флоренс знала, что Советский Союз при всех его ошибках — неуклюжести, неэффективности, психологии осажденного, а отнюдь не злокозненности — по существу, благотворная сила в мире. Он всегда выступал за освобождение угнетенных, противостоял фашизму и пагубе алчного капитализма. Сравнение с нацистской Германией ее возмущало. Во взглядах Виолетты она узнавала все штампы проамериканской пропаганды. Она была разочарована в матери и даже сказала об этом.

А отец придерживался именно таких воззрений, каких и ожидаешь от бизнесмена. Полбутылки вина прибавляли словарю яркости: Гарольд Макмиллан, дурак, что отдает Империю без сопротивления, чертов дурак, не борется с профсоюзами за ограничение зарплат, жалкий дурак, что ломает шапку перед европейцами и просится в их зловещий клуб. Возражать отцу было трудно. Флоренс не могла отделаться от неловкого чувства, что обязана ему. Среди привилегий ее детства было постоянное отцовское внимание, какое оказывалось бы сыну, наследнику. Прошлым летом он регулярно ездил с ней после работы в своем "хамбере", чтобы она могла сдать на водительские права, когда ей исполнится двадцать один. Она не сдала. Скрипичные уроки с пяти лет, летние курсы в специальной школе; лыжные и теннисные уроки, уроки пилотирования, от которых она решительно отказалась. И путешествия: вдвоем, пешие, в Альпах, по Сьерра-Неваде, по Пиренеям, и особые угощения — однодневные деловые поездки в европейские города, где они останавливались в самых дорогих отелях.

Флоренс вышла из дома в первом часу дня после безмолвного спора из-за хозяйственного пустяка — Виолетте не особенно нравилось обращение дочери со стиральной машиной — и сказала, что ей надо отправить письмо и ко второму завтраку она не вернется. На Банбери-роуд она повернула к центру города со смутным расчетом пройти через крытый рынок и встретить кого-нибудь из школьных подруг. Или купить там булочку и съесть на лугу колледжа Крайст-Чёрч, в теньке у реки. Увидев объявление на Сент-Джайлз-стрит, то, которое Эдуард увидит через пятнадцать минут, рассеянно вошла внутрь. Мысли ее были заняты матерью. После общежития, где она была окружена любящими подругами, Флоренс ощутила дома, насколько они с матерью далеки физически. Мать никогда не целовала и не обнимала ее, даже маленькую. Она почти не прикасалась к дочери. Впрочем, это, наверное, не было таким уж большим лишением. Виолетта была низенькая и костлявая, и Флоренс не особенно тосковала по ее ласкам. А теперь уж и начинать было поздно.

Уйдя с солнца в зал, она через несколько минут поняла, что совершила ошибку. Когда глаза привыкли к сумраку, она огляделась со скучающим любопытством, как могла бы оглядывать коллекцию серебра в музее Ашмола. Внезапно из темноты появился худой двадцатидвухлетний парень в очках, тоже оксфордский, имя которого она забыла, — и прицепился к ней. Без всяких предисловий он стал описывать последствия взрыва одной водородной бомбы над Оксфордом. Лет десять назад, когда им было тринадцать, он пригласил ее к себе домой на улице Парк-Таун, всего в трех кварталах от ее дома, чтобы полюбоваться новым изобретением, телевизором — первым в ее жизни. На маленьком, сером, мутном экране с резными, красного дерева дверцами человек в смокинге сидел за письменным столом, похоже, застигнутый метелью. Флоренс решила, что это дурацкая игрушка, без будущего, но с тех пор парень — Джон? Дэвид? Майкл? — кажется, считал, что она должна с ним дружить, и вот опять взыскивал долг.

В его брошюрке, двести экземпляров которой он держал под мышкой, изображалась гибель Оксфорда. Он хотел, чтобы Флоренс помогла ему распространить ее по городу. Когда он наклонился, ее обдало запахом крема для волос. Сухая его кожа отливала в тусклом свете желтизной, глаза, уменьшенные толстыми стеклами очков, походили на две черные щелки. Флоренс, не способная на грубость, изобразила лицом внимание. Было что-то завораживающее в высоких худых мужчинах: в том, как плохо прятались под кожей кости и кадык, в их хищной сутуловатости и птичьих лицах. Кратер, по его расчетам, будет восьмисот метров в ширину, а глубиной в тридцать. Из-за радиоактивности к Оксфорду нельзя будет подойти десять тысяч лет. Это звучало как окончательный приговор. А на самом деле снаружи прекрасный город утопал в листве раннего лета, солнце нагревало медовый котсуолдский известняк стен, луг колледжа Крайст-Чёрч был в полном цвету. Здесь, в зале, за узким плечом молодого человека она видела двигавшихся в сумраке людей — они тихо разговаривали, расставляли стулья, — а потом увидела шедшего к ней Эдуарда.

Через много недель, тоже в жаркий день, они взяли ялик, поднялись по Чаруэллу до паба "Вики Армз", а потом спустились по течению

обратно к лодочной станции. По пути они высадились около боярышника и лежали на берегу, в тени, Эдуард — на спине, жуя травинку, Флоренс — положив голову на его руку. Когда в разговоре наступала пауза, они слушали, как пошлепывают волны по днищу лодки и сама она с приглушенным стуком тычется в причальный пень. Иногда ветерок доносил с Банбери-роуд успокоительный, невесомый шум транспорта. Замысловато пел дрозд, старательно повторяя каждую фразу; потом смолк из-за жары. Эдуард работал на разных временных работах, по большей части ухаживал за площадкой в крикетном клубе. Флоренс все свое время отдавала квартету. Выкроить одновременно часы для встречи было не всегда легко, но тем они были драгоценнее. В тот раз они урвали для себя вторую половину субботнего дня. Они знали, что это последние дни зрелого лета — было уже начало сентября, и в листве, пока еще бескомпромиссно зеленой, чувствовалась усталость. Разговор вернулся к тому дню, уже обросшему частной мифологией, когда они впервые увидели друг друга.

На вопрос Эдуарда, заданный несколько минут назад, Флоренс наконец ответила:

— Потому что ты был без пиджака.

— А в чем?

— М-м. В свободной белой рубашке, рукава засучены до локтей, полы почти вылезли...

— Чепуха.

— И серые фланелевые брюки, зашитые на колене, потрепанные парусиновые туфли — вот-вот попросят каши. И длинные волосы, почти закрывали уши.

— Что еще?

— Потому что вид был всклокоченный, как будто ты дрался.

— Утром ездил на велосипеде.

Она приподнялась на локте, чтобы лучше видеть его лицо, и они стали смотреть в глаза друг другу. Это было новое для них и головокружительное переживание — целую минуту смотреть без стеснения в глаза другому взрослому. "Самое близкое к постели, что у нас было", — подумал он. Она вытащила травинку у него изо рта.

— Настоящий деревенский пентюх.

— Ладно. Что еще?

— Хорошо. Потому что остановился в дверях и оглядывал всех, как хозяин. Гордо. Вернее, нагло.

Он рассмеялся.

— Я на себя досадовал.

— Потом ты увидел меня, — сказала Флоренс. — И решил сыграть со мной в гляделки.

— Неправда. Ты взглянула на меня и решила, что второго взгляда я не стою.

Она поцеловала его, не крепко, но игриво — так ему показалось. Ходили легенды о девушках из хороших семей — что некоторые из них соглашаются легко и быстро; у него была слабая надежда, что она окажется одной из этих легендарных девушек. Но, конечно, не на природе, не возле людной реки.

Он притянул ее к себе, так что почти соприкоснулись носами и лица оказались в тени.

— Значит, ты подумала тогда, что это любовь с первого взгляда?

Тон был легкомысленный и шутливый, но она решила отнестись к вопросу серьезно. Тяжелые ее тревоги были еще далеко впереди, но иногда она уже задумывалась, к чему это все ведет. С месяц назад они объяснились в любви, это был восторг, а потом — для нее — еще и ночь полубессонницы, смутного ужаса оттого, что повела себя импульсивно, чего-то важного не удержала, отдала что-то такое, чего не вправе отдавать. Но нельзя было устоять — это было так интересно, так ново, так лестно, такой бальзам на душу, такое освобождение — любить и говорить об этом, и хотелось все глубже в это погружаться. И теперь на берегу реки, в размаривающей жаре последних летних дней она сосредоточенно припоминала, как он тогда остановился при входе в зал собрания и что́ она увидела и почувствовала, посмотрев в его сторону.

Чтобы подстегнуть память, она отодвинулась, выпрямилась и перевела взгляд с его лица на ленивую, илистую, зеленую реку. Река вдруг перестала быть мирной. Выше по течению, спускаясь к ним, две перегруженные лодки изображали морской бой; они сошлись под прямым углом и, поворачиваясь, прошли излучину с обычным гиканьем, пиратскими выкриками и плеском. Студенты усердно чудили, и это лишний раз напомнило Флоренс, как ей хочется уехать отсюда. Еще школьницами она и ее подруги считали студентов мелкой напастью, придурковатыми оккупантами их родного города.

Она вспоминала дальше. Одет был необычно, но заметила она лицо — задумчивое, мягкий овал, высокий лоб, темные брови вразлет, спокойствие взгляда, обежавшего собрание и остановившегося на ней так, словно он был не в зале, а все это вообразил и ее нафантазировал. Память некстати подсунула то, чего нельзя еще было услышать, — чуть-чуть гнусавый деревенский выговор, слегка отличавшийся от местного оксфордского.

Она снова повернулась к нему.

— Мне стало любопытно.

На самом деле интерес был даже более абстрактным. Тогда ей и в голову не пришло удовлетворить свое любопытство. Она не думала, что они познакомятся, что она может каким-либо образом этому поспособствовать. Как будто любопытство существовало отдельно от нее самой — это ее как будто не было в зале. Влюбленность открыла ей, насколько она странна, насколько закупорена в своих повседневных мыслях. Всякий раз, когда Эдуард спрашивал: "Что ты чувствуешь?" или "О чем ты думаешь?", она затруднялась с ответом. Неужели ей так поздно открылось, что она лишена простой способности, которой обладают все, психического механизма, настолько обыкновенного, что о нем даже не упоминают, — непосредственного чувственного отклика на события и людей и на свои собственные потребности и желания? Все эти годы она жила изолированно внутри себя и, как ни странно, — от себя, не желая или не смея оглянуться. В гулком зале с каменным полом и низкими, тяжелыми кровельными балками ее трудности с Эдуардом обозначились уже тогда, в первые секунды, едва только они встретились глазами.

* * *

Он родился в июле 1940 года, в ту неделю, когда началась битва за Британию. Его отец, Лайонел, скажет ему впоследствии, что тогда на два месяца история затаила дыхание, решая, будет ли первым языком Эдуарда немецкий. К десятому дню рождения он выяснил, что это была лишь фигура речи — в оккупированной части Франции, например, дети продолжали говорить по-французски. Тёрвилл-Хит даже не был деревней — горстка коттеджей, разбросанных вокруг леса и общинного выгона на широкой гряде над поселком Тёрвилл. В конце 30-х годов северо-восточный край гряды Чилтерн-Хиллз — лондонский край — подвергся городскому натиску и превратился в пригородный эдем. А юго-западная часть, к югу от холма Бикон-Хилл, где в один прекрасный день меловую гряду прорежет шоссе и по нему устремится поток машин к Бирмингему, — эта часть оставалась более или менее нетронутой.

Недалеко от коттеджа Мэйхью, если спуститься по ухабистой дороге через буковый лес, за фермой Спинни, лежит долина Уормсли, потаенная жемчужина, как выразился один проезжий автор, — она веками принадлежала одной фермерской семье, Фейнам. В 1940 году Мэйхью все еще пользовались колодцем; воду оттуда носили на чердак и наливали в бак. В семье сохранилось предание о том, что в начале войны, когда страна готовилась отразить гитлеровское нашествие, местные власти сочли рождение Эдуарда чрезвычайной ситуацией, гигиеническим кризисом. Явились люди с кирками и лопатами, довольно пожилые люди, и в сентябре, как раз когда начались бомбежки Лондона, водопроводную воду от Нортэндской дороги подвели к дому.

Лайонел Мэйхью был директором начальной школы в Хенли. Рано утром он садился на велосипед и проезжал восемь километров до работы, а в конце дня вел велосипед вверх по длинному крутому склону холма к Хиту, с тетрадями для проверки, сложенными в корзину на руле. В 1945 году, когда родились сестры-близняшки, он купил в поселке Кристмас-Коммон подержанный автомобиль — купил за одиннадцать фунтов у вдовы морского офицера, погибшего в атлантическом конвое. Тогда он был еще редким зрелищем — автомобиль на этих узких меловых дорогах, протискивающийся мимо повозок и лошадей. Но из-за нормирования бензина Лайонелу приходилось надолго пересаживаться на велосипед.

В начале 50-х его домашний режим был не типичен для работника умственного труда. Он сразу вносил тетради в крохотную комнату у входной двери, служившую кабинетом, и аккуратно складывал. Это была единственная прибранная комната в доме, и ему важно было оградить свою работу от домашней среды. Затем он наведывался к детям — Эдуард, Анна и Гарриет ходили в деревенскую школу в Нортэнде и домой возвращались сами. Потом несколько минут проводил наедине с Марджори, после чего отправлялся на кухню готовить чай и убирать со стола после завтрака.

Домашние работы производились только в этот час, пока готовился ужин. Когда дети подросли, они стали помогать, но без особого толку. Подметались только участки пола, свободные от барахла, и в порядок приводились только вещи, нужные на завтра, — главным образом одежда и книги. Постели никогда не убирались, простыни менялись редко,

раковина в промозглой, загроможденной ванной никогда не чистилась — на твердом сером налете можно было ногтем вырезать свое имя. Достаточно трудно было справиться с неотложными нуждами — принести уголь для кухонной плиты, зимой поддерживать огонь в камине в общей комнате, найти детям не совсем грязную одежду для школы. Стирка происходила во второй половине дня по воскресеньям, для этого надо было развести огонь под медным котлом. В дождливые дни стираные вещи развешивались на мебели по всему дому. Глаженье Лайонелу было не под силу — все разглаживалось ладонью и складывалось. Случались интерлюдии, когда кто-нибудь из соседок помогал по дому — но надолго никто не задерживался. Слишком широк был фронт работ, а этим местным дамам приходилось заботиться еще и о своих семьях.

Мэйхью ужинали за раздвижным сосновым столом, теснимые со всех сторон наступающим хаосом кухни. Мытье посуды оставляли на потом. После того как каждый благодарил Марджори за еду, она возвращалась к очередному своему проекту, дети расчищали стол, выкладывали на него учебники и принимались за уроки. Лайонел уходил в свой кабинет проставлять отметки, заниматься административными бумагами и с трубкой в зубах слушать известия по радио. Часа через полтора он выходил проверить, как дела у ребят, и отправлялся спать. Он всегда им читал, причем разное девочкам и Эдуарду. Часто они засыпали под звяканье посуды, которую он мыл внизу.

Он был мягкий человек, кряжистого сложения, как сельскохозяйственный рабочий, светло-русый в рыжину, с молочно-голубыми глазами и короткими, военного образца усами. Возраста он был уже не призывного — Эдуард родился, когда ему было тридцать восемь лет. Лайонел редко повышал голос, не шлепал и не порол детей, в отличие от большинства отцов в то время. Он ожидал послушания, и дети, вероятно понимая, как он обременен заботами, подчинялись. Свои семейные обстоятельства они, естественно, воспринимали как данность, хотя достаточно часто бывали в домах у друзей и видели заботливых мамаш в фартуках и свирепый порядок в их владениях. Эдуарду, Анне и Гарриет не приходило в голову, что им меньше повезло, чем их друзьям. Ношу эту нес один Лайонел.

Только в четырнадцать лет Эдуард вполне понял, что с матерью что-то неладно, и он не помнил то время, когда она резко изменилась, — ему тогда было около пяти. И у него, и у сестер с возрастом пришло будничное осознание того, что она помешанная. Она была призрачным существом, худым и кротким эльфом с взъерошенными каштановыми волосами, рассеянно проходившим по дому и так же рассеянно сквозь их детство, — иногда общительная и даже нежная, а иногда отсутствующая, погруженная в свои любимые занятия и проекты. Во всякое время дня и даже в полночь можно было услышать, как она ощупью пробирается по одним и тем же простым фортепьянным пьескам, всегда сбиваясь в одних и тех же местах. Она часто выходила в сад и копалась в бесформенной клумбе, которую разбила прямо посредине узкой лужайки. Живопись — преимущественно акварели с далекими холмами и церковным шпилем в обрамлении деревьев на переднем плане — сильно добавляли к общему беспорядку. Марджори никогда не мыла кисти, не выливала зеленую воду из банок, не убирала краски и тряпки, не собирала свои кар-

тины — всегда незаконченные. В рабочем халате она могла ходить целыми днями, хотя приступ живописи давно закончился. Еще одним занятием — когда-то его могли бы назвать трудовой терапией — было вырезывание картинок из журналов и наклеивание в альбом. Во время работы она любила перемещаться по дому, и отброшенные вырезки валялись всюду под ногами, втоптанные в грязь на дощатом полу. Кисточки для клея твердели в открытых банках, оставленных на стульях и подоконниках.

Среди других увлечений Марджори было наблюдение за птицами из окна общей комнаты, вязание, вышивание и составление букетов — этим занятиям она предавалась с такой же мечтательной хаотической страстью. По большей части — молча, но иногда они слышали, как она бормочет, справляясь с особенно трудной задачей: "Так... так... так".

Эдуарду никогда не приходило в голову задаться вопросом: счастлива ли она. У нее определенно бывали тревожные периоды, приступы паники, когда она дышала отрывисто, а ее тонкие руки поднимались и опускались вдоль боков, и она вдруг устремляла внимание на детей, на какую-то конкретную их нужду, которую она должна безотлагательно удовлетворить. У Эдуарда отросли ногти, надо зашить порванное платье, сестер пора выкупать. Она бросалась к ним, бестолково суетилась, ругалась или, наоборот, обнимала, целовала в щеки, иногда — и то и другое одновременно, наверстывая упущенное время. Это было почти похоже на любовь, и они с удовольствием поддавались. Но знали по опыту, что реалии домашнего уклада враждебны ее планам: маникюрные ножницы и нитки нужного цвета не найдутся, а греть воду для ванны надо несколько часов. Вскоре мать отплывала восвояси, в свой отдельный мир.

Эти порывы, возможно, были вызваны какими-то фрагментами ее прежней личности, пытающейся восстановить контроль, наполовину сознающей характер ее нынешнего состояния, смутно вспоминающей прежнее существование и внезапно, с ужасом прозревающей масштаб утраты. Но бóльшую часть времени Марджори довольствовалась представлением, а вернее, сложно сочиненной сказкой, что она преданная жена и мать, что в хозяйстве все идет гладко благодаря ее хлопотам, что она имеет право посвятить немного времени своим делам после того, как выполнила все обязанности. Чтобы свести к минимуму тревожные минуты и не бередить этот остаток бывшего ее сознания, Лайонел и дети подыгрывали ее фантазиям. В начале трапезы она могла поднять глаза от тарелки со стряпней мужа и, отодвинув со лба непослушные волосы, нежно произнести: "Надеюсь, вам это понравится. Я хотела придумать что-то новое".

Это всегда было что-то старое — репертуар Лайонела не отличался разнообразием, но никто ей не возражал, а после еды дети и их отец ритуально ее благодарили. Эта фантазия устраивала всех. Когда Марджори объявляла, что составляет список покупок для рынка в Уотлингтоне или что ей предстоит перегладить уйму простыней, перед семьей открывался параллельный мир ясной нормальности. Но фантазию можно было поддерживать только при том условии, что она не обсуждалась. Они росли внутри нее, обитали среди ее нелепостей, потому что нелепости не были обозначены как таковые.

Каким-то образом они оберегали Марджори от друзей, которых приводили в дом, и от нее друзей оберегали. По общему мнению мест-

ных — во всяком случае, другого они не слышали, — миссис Мэйхью была художественной натурой, эксцентричной и очаровательной, возможно, гением. Детей не смущало, когда они слышали от матери то, что не могло быть правдой. Не было у нее на целый день работы невпроворот, не варила она весь вечер варенье из ежевики. Это была не ложь, это было выражение ее истинной сущности, и они обязаны были оберегать ее — молчанием.

И когда четырнадцатилетний Эдуард, оставшись наедине с отцом в саду, впервые услышал, что у матери повреждение мозга, — эти несколько минут запомнились ему навсегда. Слова были оскорбительны — кощунственное приглашение к измене. *Повреждение мозга.* Голова не в порядке. Если бы кто-то другой сказал это о матери, Эдуарду пришлось бы затеять драку и избить обидчика. Но, слушая враждебно и молча эту клевету, он чувствовал, что с души его спадает тяжесть. Конечно, это была правда, и он не мог сражаться с правдой. И сразу же начал убеждать себя, что всегда это знал.

Был жаркий, влажный день в конце мая; они с отцом стояли под большим вязом. После дождливых дней воздух напитался изобилием раннего лета — гомоном птиц и насекомых, запахом скошенной травы, рядами лежащей на лужайке перед домом, зеленью прущей, рвущейся вверх чащи сада, почти неотделимого от лесной опушки за штакетником, пыльцой, принесшей начало сенной лихорадки отцу и сыну; а на траве у них под ногами пятна солнечного света и тени качались от легкого ветерка. В этой обстановке Эдуард слушал отца и пытался вообразить декабрьский день морозной зимы 1944 года, людную железнодорожную платформу в Уикеме и мать, закутанную в пальто, с сумкой бедных военных подарков к Рождеству. У края платформы она ждала поезд из Лондона, чтобы ехать через Принсес-Рисборо в Уотлингтон, где ее должен был встретить Лайонел. А дома за Эдуардом присматривала дочка соседа, школьница.

Есть такой тип самоуверенного пассажира, который любит открыть дверь вагона еще до остановки поезда, соскочить на платформу и пробежать несколько шагов по инерции. Может быть, покидая поезд на ходу, он утверждает свою независимость — он, мол, не какой-то там пассивный тюк или чемодан. А может, он хочет тряхнуть молодостью или же так торопится, что каждая секунда дорога. Поезд тормозил, возможно, чуть резче обычного, пассажир не удержал дверь. Тяжелый железный край ее ударил Марджори Мэйхью в лоб с такой силой, что проломил череп и в одно мгновение нарушил ее личность, ум и память. Почти неделю она пролежала в коме. Пассажир, по описанию свидетелей, — почтенного вида городской джентльмен лет шестидесяти с лишним, в котелке, со сложенным зонтиком и газетой, сбежал с места происшествия, оставив лежать на платформе среди нескольких рассыпавшихся игрушек беременную двойней молодую женщину, и навсегда исчез на улицах Уикема с неизбывным, как надеялся Лайонел, бременем вины.

Этот странный эпизод в саду — поворотный пункт в жизни Эдуарда — оставил у него особое воспоминание об отце. Отец держал в руке трубку, но раскурил ее, только закончив рассказ. Держал с очевидным намерением закурить: указательный палец обнимал чашку, мундштук находился

сантиметрах в тридцати от угла рта. По случаю воскресенья Лайонел не побрился; он не был верующим, но в школе все формальности соблюдал. Не бреясь по воскресеньям — что для человека в его должности было чудачеством, он намеренно отмежевывался от каких бы то ни было общественных обязательств. На нем была мятая белая рубашка без воротничка, даже рукой не разглаженная. Говорил он сдержанно, даже слегка отстраненно — по-видимому, всю беседу мысленно отрепетировал заранее. Время от времени он переводил взгляд с лица Эдуарда на дом, как будто хотел точнее представить себе состояние Марджори или посмотреть, где девочки. Под конец он положил руку Эдуарду на плечо и так прошел с ним последние несколько шагов до края сада, где покосившийся забор почти исчез под наступавшим кустарником. Дальше начинался луг без овец, два гектара, завоеванные лютиками, которые разбежались по нему двумя расходящимися дорожками.

Они стояли бок о бок, Лайонел наконец закурил, а Эдуард с пластичностью его возраста спокойно переходил от потрясения к осознанию. Понимал он, конечно, всегда. А в состоянии неведения пребывал только из-за того, что не было термина для ее нездоровья. Он даже никогда не думал, что она нездорова, однако для него было очевидно, что она не такая, как все. Теперь это противоречие разрешилось благодаря простому наименованию, способности слов сделать невидимое видимым. *Повреждение мозга.* В этих словах растворялась близость, они холодно оценивали мать по общественным меркам, понятным каждому. Внезапно стала открываться полынья — не только между Эдуардом и матерью, но и между ним и его непосредственными обстоятельствами, и он ощутил, как собственное бытие, скрытое ядро его, которому он никогда прежде не уделял внимания, вдруг жестко определилось, стало светящейся точкой, и он никому не хотел ее показывать. У матери поврежден мозг, а у него — нет. Он не мать, он не семья, и однажды он покинет дом и вернется только гостем. Он вообразил, что он сейчас гость и встретился с отцом после долгого пребывания за морем и вместе они глядят на поле с широкими дорожками лютиков, расходящимися перед пологим спуском к лесу. Эта проба принесла ощущение одиночества и какой-то вины, но вместе с тем сама ее дерзость была волнующей.

Лайонел как будто понял, что скрывается за молчанием сына. Он сказал, что Эдуард замечательно относился к матери, всегда был ласков и готов помочь и что этот разговор ничего не меняет. Это значит только, что Эдуард уже достаточно взрослый и вправе знать факты. Тут в сад выбежали сестры — они искали брата, — и Лайонел успел только повторить: "То, что я сказал, ничего не меняет, совершенно ничего". Сестры подбежали, галдя, и потянули Эдуарда в дом — узнать его мнение о какой-то своей выдумке.

Но в это время для него вообще многое менялось. Он учился в классической школе в Хенли и уже слышал от разных учителей, что ему "дорога в университет". Его друг Саймон в Нортэнде и остальные поселковые ребята из компании ходили в современную[1] среднюю школу и

1. Классическая средняя школа (зд.: государственная) с академической направленностью и изучением классических языков. Современная средняя школа имеет практическую направленность.

вскоре должны были оставить ее и учиться ремеслу или работать на ферме, пока их не призовут в армию. Эдуард надеялся на другое будущее. Уже сейчас в отношениях с друзьями была некоторая скованность, как с их стороны, так и с его. Количество домашних заданий росло, — а Лайонел при всей его мягкости был в этом отношении тираном, — и после школы Эдуард уже не мог бродить с ребятами по лесу, устраивать лагеря, ставить силки и досаждать егерям в поместьях Уормсли и Стонора. В маленьких городках вроде Хенли тоже есть свой городской снобизм, и он учился скрывать, что знает имена бабочек, птиц и диких цветов, растущих в укромной долине под их домом, на родовых землях Фейнов, — колокольчика, короставника, цикория, десятка видов ятрышника, и дремлика, и редкого летнего белоцветника. В школе с такими познаниями недолго зарекомендовать себя деревенщиной.

От того, что он узнал о несчастном случае с матерью, внешне ничего не изменилось, но все неуловимые сдвиги и перемены в жизни как будто кристаллизовались в этом новом знании. Он был внимателен и ласков с ней, продолжал поддерживать легенду, будто на ней держится дом и все, что она говорит, так и есть, — но теперь он сознательно играл роль и тем самым упрочнял новооткрытое ядрышко самости. В шестнадцать лет он полюбил долгие, задумчивые прогулки. Вне дома яснее думалось. Он часто уходил по Холланд-Лейн, меловой дороге в углублении между крошащимися замшелыми склонами, спускался к Тёрвиллу, а потом по долине Хамблден шел к Темзе, пересекая у Хенли возвышенность Беркшир-Даунс. Слово "тинейджер" было изобретено не так давно, и ему не приходило в голову, что ощущение отдельности, и мучительное, и сладостное, может испытывать кто-то другой.

Не спросившись и даже не предупредив отца, он поехал автостопом в Лондон на митинг против Суэцкого вторжения[1]. Там, на Трафальгарской площади, в минуту душевного подъема он решил не подавать в Оксфорд, куда его налаживал отец и учителя. Город был слишком знакомый, недостаточно отличался от Хенли. Он приедет сюда, где люди кажутся больше и ярче, где они непредсказуемы, а знаменитые улицы нисколько не озабочены собственной важностью. Он держал в секрете свой план, не желал заранее вызывать противодействие. Кроме того, он намеревался избежать воинской службы, хотя Лайонел полагал, что она пойдет ему на пользу. В этих замыслах рельефнее становилось ощущение скрытого "я", тугого узла чувствительности, томления и эгоизма. В отличие от некоторых ребят в школе, он не питал отвращения к своей семье и дому. Тесноту и запущенность комнат он воспринимал как должное, состояние матери его по-прежнему не смущало. Ему просто не терпелось начать *свою* жизнь, настоящую, а мир был устроен так, что начаться она не могла, пока он не сдаст экзамены. И он занимался усердно, сдавал хорошие сочинения, особенно учителю истории. Был дружелюбен с сестрами и родителями и продолжал мечтать о дне, когда покинет дом в Тёрвилл-Хите. Но в каком-то смысле он его уже покинул.

1. В 1956 г. Египет объявил о национализации Суэцкого канала. В ответ Британия и Франция послали в зону канала войска, но под давлением ООН (и прежде всего США) вынуждены были в том же году их отозвать.

Глава 3

В спальне Флоренс отпустила руку Эдуарда и, прислонясь к одному из четырех дубовых столбов, поддерживавших балдахин, нагнулась сперва направо, потом налево, каждый раз красиво опуская плечо, — сняла туфли. Эти послесвадебные туфли она купила как-то дождливым склочным днем в "Дебенемз" — Виолетту магазины угнетали, и она их обычно избегала. Туфли были из мягкой голубой кожи, с низким каблуком и маленьким, более темным бантиком на подъеме. Движения были неторопливы — тактика проволочек, но она обязывала еще больше. Флоренс видела, с каким упоением смотрит на нее муж, но сама пока что не ощущала такого волнения или такой неотложности. Войдя в спальню, она погрузилась в неприятное полусонное состояние, стеснявшее, как водолазный скафандр на глубине. Мысли ее казались чужими мыслями — их закачивали ей, как воздух через шланг.

И где-то на задах слуховой памяти смутно звучала простая, величавая музыкальная фраза — она сопровождала ее до постели и там снова возникла, когда она взяла в обе руки по туфле. Знакомая фраза — кто-то, быть может, назвал бы ее знаменитой, — она состояла из четырех восходящих нот, как будто заключавших в себе неуверенный вопрос. Поскольку инструментом была виолончель, а не ее скрипка, спрашивавший был не ею, а сторонним наблюдателем, несколько удивленным, но настойчивым, потому что после короткого молчания и запоздалого, неубедительного ответа других инструментов виолончель опять задавала вопрос, другим тоном, в другом ключе, а потом снова и снова и всякий раз получала сомнительный ответ. Никаких слов под эти ноты Флоренс не могла подложить; звучавшее не говорилось. Вопрошание без содержания — чистое, как вопросительный знак.

Это было начало моцартовского квинтета, предмета разногласий между Флоренс и ее друзьями, потому что для его исполнения надо было привлечь еще одного альтиста, а они не хотели лишних сложностей. Но Флоренс настаивала, и когда она пригласила на репетицию подругу по общежитию и они сыграли весь квинтет с листа, тщеславный виолончелист, естественно, увлекся музыкой, а вскоре и остальные подпали под ее обаяние. Да кто бы устоял? Если первая фраза ставила под вопрос сплоченность Эннисморского квартета — названного по адресу женского общежития, — то ответом на него была решимость Флоренс перед лицом оппозиции, одной против трех, и твердая уверенность в собственном хорошем вкусе.

Когда она шла по спальне, по-прежнему спиной к Эдуарду, по-прежнему затягивая время, и аккуратно ставила туфли на пол перед гардеробом, четыре вопросительные ноты напомнили ей и об этой, другой стороне ее характера. О той Флоренс, которая руководила квартетом, спокойно навязывала свою волю и никогда бы не стала покорно оправдывать чьи-то банальные ожидания. Она не ягненок, чтобы без жалоб идти на заклание. Или мириться с проникновением. Она спросит себя, чего именно она хочет и чего не хочет от брака, и выскажет это открыто Эдуарду, рассчитывая, что будет найден какой-то компромисс. Ведь не могут ни он, ни она удовлетворять свои желания за счет другого. Весь смысл в том, чтобы любить и дать другому свободу. Да, ей надо выска-

заться, так же как на репетициях, и выскажется она сейчас. В голове у нее уже складывалось предложение, которое она сделает. Губы у нее раскрылись, она набрала в грудь воздуха. Потом, услышав скрип половицы, обернулась: он шел к ней, улыбался, его красивое лицо слегка порозовело, и мысль об освобождении — будто и не совсем ее была мысль — исчезла.

Послесвадебное платье, легкое, летнее, хлопчатобумажное, василькового цвета, прекрасно гармонировало с туфлями и обнаружено было в результате многих часов хождения между Риджент-стрит и Мраморной аркой, к счастью, без матери. Эдуард обнял Флоренс, но не для того, чтобы поцеловать, а для того, чтобы сначала прижать ее тело к своему, а затем положить руку ей на затылок и нащупать молнию на этом платье. Другая его ладонь была плотно прижата к ее пояснице, и он шептал ей в ухо, так близко и так громко, что она слышала только шум теплой влажной струи воздуха. Но одной рукой невозможно было молнию расстегнуть — во всяком случае, первые два или три сантиметра. Надо было другой рукой держать ворот платья, иначе тонкая материя скомкается и молния застрянет. Она сама завела бы руку за плечо, чтобы помочь, но руки ее были зажаты, и, кроме того, было бы бестактно показывать ему, как действовать. Больше всего она боялась его обидеть. С резким вздохом он дернул замок посильнее, но тот уже застрял так, что не двигался ни вниз, ни вверх. Теперь Флоренс оказалась пленницей платья.

— Господи, Фло, постой же минуту спокойно.

Она послушно замерла, ужаснувшись волнению в его голосе и автоматически сочтя себя виновной. В конце концов это ее платье, ее молния. Она подумала, что проще было бы освободиться из его рук, повернуться спиной и подойти к окну, где светлее. Но это могло показаться равнодушием, а перерыв подчеркнет размеры затруднения. Дома ей помогала сестра с ее ловкими, несмотря на беспомощность за роялем, пальчиками. У матери не было терпения на мелочи. Бедный Эдуард; она чувствовала плечами, как дрожат от напряжения его руки — теперь он пустил в ход обе, — и представляла себе, как его толстые пальцы борются со складками материи и упрямой застежкой. Она жалела его, но и немного боялась. Если даже робко что-то предложить, он может еще больше рассердиться. Поэтому она терпеливо стояла, пока он сам не отпустил ее со стоном и не отступил на шаг.

На самом же деле он раскаивался.

— Прости, пожалуйста. Позор. Какой же я неуклюжий.

— Милый. У меня самой часто застревает.

Они подошли к кровати и сели рядом. Он улыбнулся, показывая, что не поверил ей, но благодарен за утешение. Здесь, в спальне, распахнутые окна смотрели на ту же лужайку перед гостиницей, на лесок и море. Внезапная перемена ветра или же проходящее судно пригнали несколько волн, одна за другой громко шлепнувших берег. Потом, так же внезапно, волны снова ослабли и оглаживали косу, тихо позванивая галькой.

Она обняла его за плечо.

— Хочешь узнать секрет?

— Да.

Двумя пальцами она взяла его за мочку уха, нежно притянула к себе его голову и прошептала:

— Знаешь, я немножко боюсь.

Это было не совсем точно, но, при всей своей вдумчивости, она ни за что не смогла бы описать переплетение своих чувств: физического ощущения сухого, тугого стягивания, отвращения к тому, что от нее может потребоваться, стыда оттого, что она его разочарует, покажет себя фальшивкой. Она себе не нравилась, и, когда шептала ему, ей показалось, что слова выходят с шипением, как у сценического злодея. Но лучше говорить, что боишься, чем признаться, что чувствуешь отвращение и стыд. Надо было любым способом умерить его ожидания.

Эдуард смотрел на нее, и по лицу его нельзя было понять, слышал он ее или нет. Даже в затруднительном своем положении она восхищалась его ласковыми карими глазами. Сколько доброго ума и всепрощения. Может быть, если бы она смотрела только в эти глаза и больше ни на что, тогда, наверное, смогла бы сделать все, о чем он ни попросит. Доверилась бы ему целиком. Но это была фантазия.

Наконец он сказал:

— По-моему, я тоже.

При этих словах его рука легла ей на ногу над коленом, скользнула под подолом платья вверх и остановилась на внутренней стороне бедра, там, где большой палец уже касался трусов. Ноги у нее были голые, гладкие и смуглые — она загорала в саду, играя в теннис со школьными подругами на кортах Саммертауна и во время двух долгих пикников с Эдуардом на поросшей цветами поляне над красивым селением Юэлм, где похоронена внучка Чосера. Они продолжали смотреть друг другу в глаза — в этом они поднаторели. Она настолько остро ощущала его прикосновение, липкую тяжесть ладони на своей коже, что могла вообразить — буквально *видела* - его длинный выгнутый большой палец, терпеливо замерший в голубом полумраке под платьем, как осадная машина перед стенами города, и ровно подстриженный ноготь, который достал уже до кремового шелка, собранного крохотными складочками вдоль кружевной каймы, и касается — она была уверена в этом, ясно это ощущала — выбившегося оттуда курчавого волоса.

Она очень старалась, чтобы мышца бедра не напряглась, но это происходило помимо ее воли, самопроизвольно и неодолимо, как чихание. Мышцу стянуло, началась легкая судорога, не болезненная, — но Флоренс чувствовала, что это выдает ее, этот первый признак того, насколько затруднительно ее положение. Он, конечно, ощущал какую-то маленькую бурю под своей ладонью; глаза у него чуть расширились, брови приподнялись, беззвучно раскрылись губы — он был поражен и даже благоговел перед ней, приняв ее смятение за пылкую готовность.

— Фло?.. — Он произнес ее имя осторожно, с повышением голоса, словно желая придать ей твердости, отговорить от какого-то опрометчивого действия. Но ему приходилось сдерживать маленькую бурю в себе самом. Дышал он часто и неровно и то и дело отделял язык от нёба с мягким, липким чмоканьем.

Бывает стыдно за тело, когда оно не хочет или не может солгать о наших чувствах. Ради декорума кто-нибудь когда-нибудь смог замедлить сердцебиение, потушить румянец? Ее непокорная мышца трепетала,

как пленный мотылек. Иногда такая неприятность у нее случалась с верхним веком. Но, кажется, маленькая буря затихала. Это позволило ей сосредоточиться на главном, и она сформулировала про себя главное с глупой ясностью: его рука там потому, что он ее муж; она позволяет руке там быть потому, что она его жена. Некоторые ее подруги — в особенности Грета, Гермиона, Люси — давно бы лежали голые под простыней, а в интимные отношения вступили бы — шумно и радостно — задолго до свадьбы. В своем великодушии, любя ее, они вообразили, что она именно так и поступила. Она никогда им не лгала, но и правды не открывала. Думая о подругах, она ощущала особый, только ей внятный аромат своего существования: она сама по себе.

Рука Эдуарда не продвигалась — возможно, его самого испугала собственная смелость, — рука подрагивала на одном месте и тихонько мяла ляжку. Может быть, поэтому ослабевал спазм, да она уже и не обращала на него внимания. Наверное, это было случайностью — Эдуард не мог знать, что, когда он гладит ее ногу, кончик его большого пальца толкает одинокий волос, выпроставшийся из трусов, качает его туда и сюда, тревожит корень, шлет сигнал по нерву в волосяном мешочке — всего лишь тень ощущения, почти абстрактное начало, бесконечно малое, как геометрическая точка, выросшая в махонькую крапинку с ровными краями и продолжавшая набухать. Флоренс сомневалась в этом, не желала признать, однако чувствовала, что поддается, внутренне стягивается к этому месту. Как может корень одинокого волоска увлечь за собой все тело? Под мерной ритмической лаской его ладони единственная точка ощущений распространялась по ее коже — на живот и оттуда импульсами вниз, в промежность. Чувство не было совсем незнакомым — что-то среднее между болью и зудом, но мягче, теплее и как-то пустее, приятная, слегка болезненная пустота, истекающая из ритмически раздражаемого волосяного мешочка, круговыми волнами расходящаяся по телу, а теперь и движущаяся в глубину.

Впервые ее любовь к Эдуарду соединилась с отчетливым физическим ощущением, несомненным, как головокружение. Прежде был только успокоительный бульон теплых чувств, толстое зимнее одеяло нежности и доверия. Этого всегда казалось достаточно — это было достижение само по себе. Теперь, наконец, забрезжило желание, определенное и чуждое, но, безусловно, *ее*, а отдельно, словно повиснув где-то над ней и позади нее, почти бессознательное, — облегчение, что она такая же, как все. Похожее открытие случилось у нее в четырнадцать лет: она развивалась замедленно и была в отчаянии оттого, что у всех ее подруг есть грудь, а сама она выглядит как девятилетняя великанша, — и вот как-то вечером перед зеркалом впервые обнаружила и потрогала тугие выпуклости вокруг сосков. Если бы мать внизу не готовила лекцию о Спинозе, Флоренс закричала бы от восторга. Она не какой-то особый подвид человека. Ура, она принадлежит к большинству!

Они с Эдуардом по-прежнему смотрели друг другу в глаза. Разговор был невозможен. Она отчасти притворялась, что ничего не происходит — что его рука у нее не под платьем, что его большой палец не толкает туда и сюда отбившийся лобковый волосок, что не произошло у нее капитального чувственного открытия. За головой Эдуарда открывался вид на далекое прошлое — на открытую дверь и обеденный стол

перед стеклянными дверьми, на руины несъеденного ужина, — но она не позволяла себе перевести туда взгляд. Несмотря на приятные ощущения и радостное открытие, ее не покидало дурное предчувствие; страх — высокая стена, которую не просто было снести. Да она к этому и не стремилась. При всей новизне до самозабвения дело не дошло, и она не хотела, чтобы ее к этому подталкивали. Она хотела продлить неторопливые мгновения — в одежде, под мягким взглядом карих глаз, с нежной лаской и зарождением трепета в теле. Но знала, что это невозможно, — все говорили ей, что одно потянет за собой другое.

* * *

Лицо Эдуарда по-прежнему было необычно розовым, зрачки расширены, губы раскрыты, и дышал он по-прежнему часто и неровно. Недельная подготовка к свадьбе, остервенелое воздержание тяжело сказывались на молодой химии его тела. Такая любимая, такая живая — и он не совсем знал, что ему делать. Смеркалось, голубое платье, которое он не сумел снять, темноватым пятном выделялось на белом, туго натянутом покрывале. Когда он дотронулся до внутренней стороны ее бедра, кожа оказалась на удивление прохладной, и почему-то это сильно его возбудило. Он смотрел ей в глаза, и у него было такое чувство, что он валится на нее в непрекращающемся, головокружительном падении. С одной стороны, его гнало вперед возбуждение, с другой — останавливала неопытность. Если не считать фильмов, похабных анекдотов и диких россказней, главным источником его знаний о женщинах была как раз Флоренс. Волнение у него под ладонью вполне могло быть ясным сигналом, и, наверное, любой мог бы объяснить ему, что оно означает и что надо в связи с этим предпринять. Оно могло быть, например, каким-то предвестием женского оргазма. Или же просто нервами. Понять было невозможно, и ему стало легче, когда под ладонью немного утихло. Он вспомнил, как однажды на широком кукурузном поле возле Юэлма он сидел в комбайне на месте водителя, похвастався перед фермером, что умеет управлять, — и не осмеливался тронуть ни один рычаг. Попросту он слишком мало знал. С одной стороны, она сама повела его в спальню, сняла туфли с такой непринужденностью, позволила ему держать руку так близко. С другой стороны, он знал по долгому опыту, как легко одно опрометчивое движение может подорвать его шансы. Опять-таки, пока рука его оставалась на месте и щупала ее ногу, Флоренс продолжала смотреть на него призывно — четкие черты ее смягчились, глаза сузились, потом широко раскрылись, чтобы встретить его взгляд, голова слегка откинулась — все это показывало, что опасения его абсурдны. Его сомнения — это его сумасшествие. Они женаты, черт возьми, и она его подбадривает, подталкивает, хочет, чтобы он взял на себя инициативу. И однако он не мог отделаться от воспоминаний о тех случаях, когда он неправильно понял сигналы — в особенности тогда, в кино на фильме "Вкус меда", когда она выскочила из своего кресла в проход, как испуганная газель. Ошибку пришлось исправлять потом неделями — он боялся повторения такой катастрофы и не верил, что сорокапятиминутная церемония венчания может кардинально все изменить.

Воздух в комнате казался разреженным, невещественным, и дыхание требовало сознательных усилий. На него напала нервная зевота; чтобы подавить ее, он хмурил лоб и раздувал ноздри — не хватало еще, чтобы она подумала, будто ему скучно. Его ужасно огорчало, что их первая ночь получилась непростой, хотя любовь их так открыта. Собственное состояние — возбужденности, неискушенности и нерешительности — представлялось ему опасным, потому что он не доверял себе. Помнил, что способен повести себя глупо и даже вспылить. Среди университетских приятелей у него была репутация тихого парня, иногда впадающего в буйство. По словам отца, в самом раннем детстве он часто закатывал скандалы. В школьные годы и в колледже его, случалось, увлекала дикая свобода драки. На пятачке ли посреди школьного двора, в кольце вопящих зрителей, в торжественных ли поединках на лесной поляне, в мордобое перед пабами в центре Лондона — Эдуард находил в драках волнующую непредсказуемость, открывал в себе стихийность решительного человека, который отсутствовал в остальной его — мирной — жизни. Он никогда не искал столкновений, но если они возникали, некоторые их составляющие — обмен насмешками и оскорблениями, оттаскивающие друзья, неистовство противника — были неодолимым искушением. Иногда у него как будто исчезало периферическое зрение, он глох и проваливался в другой мир, к забытому удовольствию, словно в повторяющийся сон. Как и со студенческими попойками, боль приходила потом. Он не был выдающимся боксером, но обладал полезным даром физической отваги и с легкостью поднимал ставки. К тому же он был силен.

Флоренс никогда не видела его в бешенстве, и он не собирался ей об этом рассказывать. Он не дрался уже полтора года — с января 1961-го, со второго семестра последнего курса. Это была игра в одни ворота, необычная в том смысле, что у Эдуарда имелась причина и некоторое оправдание. Он шел по Олд-Комптон-стрит к "Французскому пабу" на Дин-стрит с другим историком-третьекурсником Гарольдом Мадером. Был ранний вечер, и шли они из библиотеки на Малет-стрит, чтобы встретиться с приятелями. В школе у Эдуарда Мадер был бы вечной жертвой — маленький, едва ли метр шестьдесят пять, в толстых очках, с комическим, сплющенным лицом и до осатанения болтливый и умный. В университете, однако, он процветал, был весьма уважаемой фигурой. У него была солидная коллекция джазовых пластинок, он редактировал литературный журнал, его рассказ принял, но еще не напечатал журнал "Энкаунтер", он всех веселил на серьезных дебатах студенческого союза и был хорошим пародистом — изображал Макмиллана, Гейтскелла, Кеннеди, Хрущева на якобы русском языке, а также африканских руководителей и комиков, таких, как Ал Рид и Тони Хенкок. Он мог воспроизвести все голоса и все скетчи из "За гранью"[1] и слыл безусловно лучшим студентом в группе историков. Эдуард считал прогрессом в собственном развитии, свидетельством зрелости то, что ценит дружбу с человеком, которого в школе старался бы избегать.

1. "За гранью" — английское комическое ревю начала 1960-х гг. с насмешками над британскими руководителями и сюрреалистическим юмором.

В это время, будним зимним вечером, Сохо только-только оживал. Пабы были полны, но клубы еще не открылись, и на тротуарах еще не стало тесно. Пару, шедшую им навстречу по Олд-Комптон-стрит, заметить было нетрудно. Они были рокеры, он — крупный парень лет двадцати пяти, с длинными баками, в кожаной куртке с заклепками, узких джинсах и мотоциклетных сапогах; одетая так же пухлая подруга держала его под руку. Проходя мимо и не сбившись с шага, парень размахнулся и отвесил Мадеру такой подзатыльник, что он заспотыкался и большие очки его покатились по тротуару. Это был небрежный жест презрения к росту и ученому виду Мадера или же к его еврейской наружности. Возможно, парень хотел позабавить подругу или произвести на нее впечатление. Эдуард над этим не задумывался. Когда он пошел за парой, Гарольд крикнул вслед что-то вроде "нет" или "не надо", но как раз к такой просьбе и был глух сейчас Эдуард. Он опять пребывал во сне. Ему трудно было бы описать свое состояние: гнев его взвился спиралью, превратившись во что-то вроде исступленного восторга. Правой рукой он схватил парня за плечо и развернул, а левой взял за горло и толкнул к стене. Голова рокера с убедительным стуком ударилась о чугунную водосточную трубу. Держа за горло, Эдуард ударил его в лицо кулаком, один раз, но очень сильно. После этого вернулся и помог Мадеру найти очки, одно стекло в которых треснуло. Они пошли дальше, а парень остался сидеть на тротуаре, закрыв лицо обеими руками, и над ним хлопотала подруга.

В тот вечер Эдуард довольно поздно почувствовал отсутствие благодарности со стороны Гарольда Мадера, а также его молчаливость — точнее, молчаливость по отношению к нему. И еще позже до него дошло, что друг не только не одобряет его — хуже, он смущен. В пабе ни тот ни другой не рассказали приятелям о происшествии, и в дальнейшем Мадер никогда о нем не упоминал в разговорах с Эдуардом. Упреки были бы облегчением. Не устраивая особых демонстраций, Мадер отдалился от него. Они встречались в компаниях. Мадер его как будто бы и не сторонился, но прежней дружбы не было. Эдуард мучился, думая о том, что Мадера отвратило его поведение, но у него не хватало смелости заговорить на эту тему. Кроме того, Мадер постарался, чтобы они никогда не оставались наедине. Сначала Эдуард вменял себе в вину то, что ранил гордость Мадера: не только стал свидетелем его унижения, но выступил вдобавок защитником, показывая, что он крут, а Мадер слаб и не может за себя постоять. Позже Эдуард понял, что поступок его — просто дурного стиля, и от этого ему стало еще стыднее. Уличная драка не гармонирует с поэзией и иронией, с бибопом[1] и с историей. Он повинен в плохом вкусе. Он не тот человек, каким себя считал. То, что представлялось ему забавной шуткой, грубоватой доблестью, оказалось вульгарностью. Он деревенский парень, провинциальный идиот, который думал, что, заехав кому-то в морду, произведет впечатление на друга. Это была горькая переоценка. Шаг в развитии, характерный для вступающего в

1. Бибоп (боп) — ранний стиль современного джаза, родившийся в начале 1940-х гг. Он отличался от традиционного джаза и свинга большей гармонической и ритмической сложностью.

зрелость, — когда он открывает для себя новые критерии и хочет, чтобы о нем судили исходя из них. С тех пор Эдуард воздерживался от драк.

Но сегодня, в свадебную ночь, он себе не доверял. Он не был уверен, что больше никогда не нападут на него избирательная глухота и периферическая слепота, не окутают его, как зимний туман на Тёрвилл-Хите, не похоронят в нем нового, более воспитанного человека. Он сидел около Флоренс, держа руку у нее под платьем, и гладил ей ляжку больше полутора минут. Желание нарастало до невыносимости, и он боялся собственного дикого нетерпения и яростных слов или действий, которые оно может вызвать и погубить вечер. Он любил ее, но ему хотелось ее растормошить, поломать эту ее чинную концертную выправку, вышибить северо-оксфордские приличия, чтобы поняла, насколько это в действительности просто: вот безграничная чувственная свобода, бери ее, даже благословлена викарием — "телом моим поклоняюсь тебе"[1], — непристойная, радостная, голая свобода, вздымавшаяся в его воображении, как огромный воздушный собор, может быть, разоренный, без кровли, с веерными сводами в небесах, куда они вознесутся невесомо в крепком объятии и будут принадлежать друг другу, утопят друг друга в волнах бездумного, задыхающегося восторга. Это так просто! Почему они сейчас не там, а сидят здесь, скованные всем, чего не умеют высказать и не осмеливаются сделать?

А что им препятствовало? Их индивидуальности и прошлое, их неосведомленность и страх, робость, щепетильность, неуверенность в своих правах, отсутствие опыта и непринужденности, остатки религиозных запретов, английское воспитание, сословная принадлежность и сама история. Не так уж много, если подумать. Он убрал руку, притянул ее к себе и поцеловал в губы со всей сдержанностью, на какую был сейчас способен, не давая воли языку. Он уложил ее поперек кровати, подстелив ей под голову свое предплечье, сам лег на бок, опершись на локоть той же руки, и смотрел на нее сверху. На любое их движение кровать отвечала печальным скрипом — напоминанием о побывавших здесь других новобрачных, наверное более умелых, чем они. Он подавил неожиданное желание засмеяться, когда представил их себе — торжественную очередь, протянувшуюся в коридор, вниз по лестнице, до стойки портье, в прошедшее время. Нельзя было о них думать: комедия для эротики — яд. И надо было отгонять мысль о том, что она, возможно, боится его. Если он в это поверит, то ничего не сможет сделать. Она послушно лежала в его объятии, смотрела ему в глаза, лицо у нее было размягченное и непонятно что выражало. Дышала она глубоко и ровно, как спящая. Он прошептал ее имя и снова сказал, что любит ее; она моргнула и раскрыла губы — в знак то ли согласия, то ли даже взаимности. Свободной рукой он начал стягивать с нее трусы. Она напряглась, но не сопротивлялась и приподняла или почти приподняла ягодицы над кроватью. И снова раздался звук матрасных пружин или кроватной рамы, грустный, как блеяние ягненка. Даже полностью вытянув свободную руку, он не мог стащить трусы ниже колен, другой рукой поддерживая ее голову. Она ему помогла, согнув ноги в коленях. Хороший знак.

1. Часть клятвы новобрачных при венчании в англиканской церкви.

Он не отваживался на еще одну попытку с молнией на платье, так что лифчик — увиденный мельком, голубой, шелковый, с тонкой кружевной оторочкой — тоже остался на месте. Вот и все с невесомыми голыми объятиями. Но она была прекрасна и так, лежа на его руке, в платье, задранном до бедер, с рассыпавшимися по покрывалу волосами. Солнечная царица![1] Они опять поцеловались. Его мутило от желания и нерешительности. Чтобы раздеться, ему пришлось бы переменить расположение их тел с риском разрушить очарование. Ничтожное изменение, комбинация мельчайших факторов, легкие зефиры сомнения — и она может передумать. Но он твердо знал, что приступить к акту любви — к самому первому — просто расстегнув ширинку было бы бесчувственной вульгарностью. И невежливо.

Через несколько минут он осторожно слез с кровати и торопливо разделся у окна, чтобы не засорять таким прозаическим делом драгоценную зону около кровати. По очереди наступив на пятки туфель, он стащил их с ног, а потом большими пальцами одним рывком сдернул носки. Он заметил, что она смотрит не на него, а вверх, на провисший полог. Еще несколько секунд, и он уже был голый, если не считать рубашки, галстука и часов. Рубашка, скрывавшая и вместе с тем подчеркивавшая его эрекцию, точно покрывало на еще не открытом памятнике, как бы вежливо подтверждала кодекс поведения, заданный ее платьем. Галстук явно был ни к селу ни к городу, и по дороге к ней он сдернул его одной рукой, а другой расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Это был уверенный, лихой жест, и на минуту к нему вернулось когдатошнее представление о себе как о грубоватом, но в основе порядочном и толковом парне — но быстро исчезло. Призрак Гарольда Мадера все еще тревожил его.

* * *

Флоренс не стала садиться, даже не изменила положения тела; она лежала на спине, глядя на складчатую бежевую ткань, поддерживаемую четырьмя столбами, которые, вероятно, должны были воскресить в ее глазах старую Англию промозгло-каменных замков и куртуазной любви. Она сосредоточилась на неровном переплетении ткани, на зеленом, размером с монету пятне — как оно туда попало? — и на свободной нитке, колыхавшейся на сквознячке. Она старалась не думать ни о предстоящем, ни о прошлом, и ей представлялось, что она прильнула к текущему моменту, к драгоценному настоящему, прижалась, как скалолаз без страховки, лицом к камню, не смея пошевелиться. Прохладный воздух приятно обвевал ее голые ноги. Она слушала шум далеких волн, крики серебристых чаек, шорох снимаемой Эдуардом одежды. Тут все-таки явилось прошлое, неотчетливое прошлое. Его вызвал запах моря. Ей было двенадцать лет, она лежала неподвижно, как сейчас, дрожа на койке с бортами из красного дерева. В голове было пусто, она чувствовала себя опозоренной. После двухдневного плавания они снова причалили в тихой гавани Картере к югу от Шербура. Был поздний вечер, и отец

1. Так называют иногда Нефертити, жену фараона Эхнатона, который ввел культ Солнца.

двигался по тесной, полутемной каюте, раздеваясь, как сейчас Эдуард. Она запомнила шорох одежды, звяканье расстегнутой пряжки, или ключей, или мелочи. У нее была только одна задача: не открывать глаза и думать о мелодии, которая ей нравилась. Или о любой мелодии. Плавание было бурным; она запомнила сладковатый запах почти испортившейся еды в закупоренной каюте. Обычно ее по многу раз рвало во время перехода через Ла-Манш, как матрос она была отцу не помощница, отсюда и проистекал ее стыд.

И от мыслей о предстоящем она тоже не могла уйти. Как бы оно ни обернулось, она надеялась, что в каком-то виде возвратится приятное, растекающееся ощущение, что оно усилится и захватит ее, утопит в себе страх, спасет от позора. Но надежда была слабая. Подлинная память о чувстве, о пребывании в нем, об истинном знании, каково оно, уже сократилась до сухого исторического факта. Это происходило когда-то, как битва при Гастингсе. И все же это был ее единственный шанс, и потому бесценный, как хрупкий старинный хрусталь, который страшно уронить, — и еще одна веская причина не шевелиться.

Матрас просел под ней, когда рядом лег Эдуард, и в поле зрения его лицо заслонило полог. Она услужливо приподняла голову, чтобы он опять смог подсунуть руку. Он притянул ее к своему телу. Перед глазами у нее были его темные ноздри и один волос в левой, согнутый, как человек в поклоне перед гротом, и колебавшийся при каждом выдохе. Ей нравился резкий очерк желобка на его верхней губе. Справа от желобка розовела крапинка, крохотная выпуклость — убывающего или назревающего прыщичка. Она чувствовала бедром его орган, твердый, как метловище, и пульсирующий — и, к своему удивлению, это ее не очень коробило. Вот чего она не хотела, сейчас во всяком случае, — это видеть его.

Закрепляя их воссоединение, он опустил голову, и они поцеловались, причем его язык лишь скользнул по кончику ее языка, за что она опять была благодарна. В баре внизу стало тихо — ни радио, ни разговоров, и поэтому свои "я тебя люблю" они сказали шепотом. Произнеся, пусть и тихо, эту неувядаемую формулу, скреплявшую их и доказывавшую общность их интересов, она отчасти успокоилась. И подумала, что, может быть, даже справится с этим, что у нее хватит сил убедительно притвориться, а в последующие разы, пообвыкнув, настолько приглушить свои страхи, что будет честно получать и доставлять удовольствие. Ему совсем не надо об этом знать — во всяком случае, пока она сама не расскажет, согревшись в новообретенной уверенности, — расскажет смешную историю о том, какой она была темной девушкой, измученной глупыми страхами. Уже сейчас ее не стесняло, что он трогает ее грудь — хотя раньше она бы отпрянула. Уже в этом была надежда, и с этой мыслью она плотнее прижалась к его груди. Он был в рубашке — потому, предположила она, что презервативы лежали в верхнем кармане, для быстрой доступности. Его ладонь скользила вдоль ее тела и поднимала подол платья к талии. Он не рассказывал о девушках, с которыми спал до нее, но она не сомневалась в его богатом опыте. В открытое окно тек летний воздух и щекотал волосы на лоне. Она далеко зашла на новую территорию, так далеко, что уже не вернуться.

Флоренс никогда не думала, что первый акт любви примет форму пантомимы и пройдет в таком напряженном, настороженном молчании. Но кроме очевидных трех слов, что́ сама она могла сказать такого, что не прозвучало бы искусственно или глупо? А поскольку он молчал, она подумала, что так принято. Ей было бы легче, если бы они обменивались глупенькими нежностями, как прежде, когда лежали в ее спальне в северном Оксфорде, полностью одетые, убивали вечера. Ей необходимо было чувствовать его близость, чтобы сдерживать демона паники, готового на нее наброситься. Ей необходимо было знать, что он с ней, на ее стороне, и не намерен использовать ее, что он ее друг, любезный и нежный. Иначе все пойдет неправильно, ей будет очень одиноко. Только он мог дать ей эту уверенность — помимо любви, — и она не могла удержаться от глупой просьбы или приказа: "Скажи мне одну вещь".

Просьба имела одно немедленное и благоприятное последствие: рука его сразу остановилась, недалеко от того места, где была перед этим, — в нескольких сантиметрах ниже пупка. Он смотрел на нее сверху, губы у него чуть подрагивали — может быть, от нервозности, или улыбка нарождалась, или мысль подыскивала слова.

К ее облегчению, он понял подсказку и прибег к испытанной форме глупости. Он торжественно произнес:

— У тебя милое лицо и прекрасная душа, соблазнительные локти, и лодыжки, и ключица, и таламус, и вибрато, которое должны обожать все мужчины, но ты принадлежишь только мне, и я очень рад и горд.

Она сказала:

— Очень хорошо. Можешь поцеловать мое вибрато.

Он взял ее левую руку и по очереди пососал кончики пальцев, гладя языком мозоли скрипачки. Они поцеловались, и в эти мгновения относительного оптимизма Флоренс почувствовала, как напряглись его руки, и вдруг ловким борцовским движением он накатился на нее, и, хотя он опирался на локти и предплечья, расположившиеся по обе стороны от ее головы, она почувствовала себя придавленной, беспомощной, и даже стало трудновато дышать под его телом. Она была разочарована тем, что он не помедлил, не погладил ее опять по лобку, отчего по всему телу расходились странные приятные токи. Но непосредственной ее сейчас заботой — уже прогресс по сравнению со страхом и отвращением — было соблюсти видимость, не разочаровать его и не унизить, не показаться неудачной избранницей после всех его знакомых женщин. Она должна перетерпеть. Она никогда не покажет ему, чего ей стоило, какой борьбы, — выглядеть спокойной. У нее не было иных желаний, чем угодить ему, не испортить ему эту ночь, и никаких других ощущений, кроме того, что конец его пениса, до странности холодный, тычется в ее уретру и вокруг. С паникой и отвращением, как ей казалось, она совладала; она любила Эдуарда, и все ее мысли были только о том, чтобы помочь ему, дать ему то, чего он страстно желал, чтобы он полюбил ее еще сильнее. С этой мыслью она и просунула руку между его и своим пахом. Он чуть приподнялся, чтобы пропустить ее. Она была довольна собой, вспомнив рекомендацию красного справочника: вполне допустимо, чтобы новобрачная "направила мужчину".

Сначала она нашла его яички и совсем уже без страха мягко обняла пальцами эту удивительную щетинистую пару, которую наблюдала в раз-

ных видах у собак и коней и никогда не думала, что она может удобно поместиться на взрослом человеке. Проведя рукой по ее исподу, она пришла к основанию пениса и обняла его с чрезвычайной осторожностью, потому что не знала, насколько он чувствителен и прочен. Она провела пальцами вдоль него, отметив с интересом его шелковистость, и поднялась по нему до конца, который легонько погладила; а потом, изумляясь собственной смелости, спустилась вниз до середины, крепко взяла его и, нагнув вниз, немного изменила направление, так что он коснулся ее влагалища.

Откуда ей было знать, какую ужасную ошибку она совершает? Не за тот предмет потянула? Слишком крепко сжала? Он издал вопль, сложную восходящую гамму страдальческих гласных — звук, подобный тому, который она слышала однажды в кинокомедии, когда официант, лавируя между столами, чуть не уронил гору суповых тарелок.

В ужасе она разжала руку, а Эдуард, вскинувшись с растерянным видом и судорожно выгибая мускулистую спину, излился на нее толчками, сильными, но уменьшавшимися выбросами теплой, вязкой жидкости, заполнив ее пупок, обрызгав живот и бедра, и даже часть подбородка, и коленную чашечку. Это была катастрофа, и Флоренс сразу поняла, что виной всему она, что она неумелая, невежественная, глупая. Нельзя было вмешиваться, нельзя было верить этому руководству. Лопни у него сонная артерия — и то не было бы страшнее. До чего это типично для нее — вмешиваться в дела ужасающей сложности; как же она не подумала, что ее манера вести себя на репетициях квартета здесь совершенно не уместна!

И была в этом еще одна сторона, гораздо более огорчительная и совершенно ей не подвластная, вызывавшая воспоминания, которые она давно решила не признавать своими. Еще полминуты назад она гордилась тем, что совладала со своими чувствами и может выглядеть спокойной. А сейчас не могла подавить нутряное отвращение, сердцевинный ужас оттого, что облита жидкостью, гадостью из чужого тела. Через считаные секунды на морском ветру жидкость сделалась холодной, как лед, на ее коже и притом, как и ожидала Флоренс, словно ошпаривала ее. И не было никаких сил в душе, чтобы сдержать крик отвращения. Чувство, что влага густыми ручейками растекается по коже, ее чужеродная молочность, интимный клейстерный запах, тащивший за собой вонь позорной тайны, запертой в тесном затхлом пространстве, — Флоренс не могла с собой совладать, она должна была от этого избавиться. Эдуард съежился рядом, а она повернулась, поднялась на колени, выдернула из-под покрывала подушку и стала исступленно вытираться. При этом она сознавала, как мерзко, как невежливо она ведет себя, как тяжело ему видеть в его несчастье, что она лихорадочно стирает со своей кожи часть его самого. А это было не так легко. Жидкость липла к ней и только размазывалась, а местами уже высыхала, превращалась в ломкую глазурь. И сама она будто раздвоилась: одна с досадой отшвырнула подушку, а другая, наблюдавшая, ненавидела себя за это. Ужасно было, что он видит ее сейчас, истеричную, остервенелую женщину, на которой по глупости женился. Она могла возненавидеть его за то, что он видит ее такой и никогда этого не забудет.

Вне себя от гнева и стыда, она вскочила с кровати. А другая, наблюдающая Флоренс как будто спокойно говорила ей, но не совсем словами: *Вот так, кажется, с ума и сходят.* Она не могла смотреть на него. Оставаться в комнате с человеком, который видел ее такой, было пыткой. Она схватила с пола туфли и побежала через гостиную, мимо останков ужина, в коридор, оттуда вниз по лестнице, через парадный вход и по мшистой лужайке за гостиницей. И даже очутившись, наконец, на берегу, бежать не перестала.

Глава 4

В короткий год между их первой встречей на Сент-Джайлз-стрит и венчанием в церкви Св. Марии, меньше чем в километре оттуда, Эдуард часто оставался на ночь в большой викторианской вилле недалеко от Банбери-роуд. Виолетта Пойнтинг отвела ему то, что именовалось в семье "маленькой комнатой" на верхнем этаже, в целомудренном отдалении от комнаты Флоренс, с видом на огороженный стеной сад длиной в сотню метров, за которым начиналась территория колледжа или богадельни — он так и не потрудился выяснить чья. "Маленькая комната" была больше любой их спальни, а то и общей комнаты в Тёрвилл-Хите. Одна стена была занята простыми белыми полками с латинскими и греческими томиками Классической библиотеки Лоба. Эдуарду нравилось быть причастным к такой строгой учености, хотя он знал, что никого не сможет обмануть, оставляя на ночном столике книги Эпиктета или Страбона. Как и всюду в доме, стены были экзотически окрашены в белый цвет — во всем владении Пойнтингов не было ни клочка обоев, ни цветастых, ни полосатых, и пол дощатый, некрашеный, голый. В его распоряжении был весь верх дома и просторная ванная между этажами — с цветными стеклами и лакированной пробковой плиткой, тоже новшеством. В углу, под скатом крыши стоял отмытый сосновый стол с шарнирной лампой (тоже дорогой новинкой) и простой стул голубого цвета. Ни картинок, ни ковров, ни украшений, ни изрезанных журналов или иных следов проектов и увлечений. Впервые в жизни он отчасти старался вести себя опрятно — он никогда не бывал в подобных комнатах, где мысли спокойны и не замусорены. Здесь однажды, ослепительной ноябрьской ночью он написал формальное письмо Виолетте и Джефри Пойнтингам, в котором объявлял о своем желании жениться на их дочери и не столько просил их согласия, сколько с уверенностью ожидал одобрения. Он не ошибся. Родители выразили радость и отметили помолвку воскресным семейным обедом в отеле "Рандольф". Эдуард слишком мало знал свет и поэтому не удивился радушному приему в доме Пойнтингов. В качестве кавалера, а потом жениха Флоренс, приезжая в Оксфорд на попутках или на поезде из Хенли, он вежливо воспринимал как должное и то, что у него есть здесь своя комната, и то, что кормят, спрашивая при этом его мнение о правительстве и международных делах, и то, что к его услугам библиотека и сад с крокетной и бадминтонной площадками. Он был благодарен, но нисколько не удивлялся тому, что его белье забирают в стирку вместе с семейным, вслед за чем на одеяле в ногах кровати появляется аккурат-

но отглаженная стопка свежего, благодаря любезности уборщицы, ежедневно приходящей по будням.

Ему казалось вполне естественным, что Джефри Пойнтинг хочет играть с ним в теннис на травяных кортах Саммертауна. Эдуард играл посредственно — он неплохо подавал благодаря росту, иногда мог смачно засадить с задней линии. Но у сетки был бестолков и неловок и, не полагаясь на свой непредсказуемый бэкхенд, предпочитал забегать для приема влево. Он немного боялся отца Флоренс, опасался, что тот видит в нем нахала, самозванца, вора, замыслившего похитить девственность его дочери и удрать, — что было правдой лишь отчасти. Пока они ехали к кортам, Эдуард беспокоился вдобавок из-за игры — выиграть было бы невежливо, а уступить без сопротивления значило бы попусту отнять время у хозяина. Но он напрасно волновался. Пойнтинг был игрок другого класса, играл быстро, бил точно и был поразительно подвижен для пятидесятилетнего. Первый сет он выиграл шесть-один, второй всухую, третий — шесть-один, но самое главное — как он ярился, когда Эдуарду удавалось выцарапать розыгрыш. Возвращаясь на место, он отчитывал себя вполголоса и, насколько Эдуард мог расслышать со своего края, угрожал себе физической расправой. Время от времени Пойнтинг и в самом деле крепко хлопал себя ракеткой по правой ягодице. Он не просто хотел выиграть или выиграть с легкостью — ему позарез надо было взять каждое очко. Два гейма, отданные в первом и третьем сете, и несколько невынужденных ошибок доводили его чуть ли не до крика: "Черт побери! Опомнись!" По дороге домой он был лаконичен, и десяток или полтора очков, выигранных Эдуардом за два сета, были в некотором роде победой. Выиграй он матч в самом деле, ему, пожалуй, вообще не разрешили бы видеть Флоренс.

В целом же Джефри Пойнтинг, на свой нервический, энергический лад, был любезен с Эдуардом. Если Эдуард был в доме, когда он часов в семь приходил с работы, то наливал себе и Эдуарду джина с тоником из своего винного буфета — джина и тоника поровну и много кубиков льда. Для Эдуарда лед в напитках был внове. Они садились в саду и беседовали о политике — Эдуард по большей части выслушивал мнения будущего тестя об упадке британского бизнеса, о спорах из-за разделения сфер деятельности в профсоюзах, о безрассудном даровании независимости разным африканским колониям. Даже тут Пойнтинг не расслаблялся, он сидел на краешке кресла, готовый в любую секунду вскочить, а когда говорил, подбрасывал и опускал колено или перебирал пальцами ноги в сандалии под влиянием какого-то внутреннего ритма. Он был гораздо ниже Эдуарда, но могучего сложения, с заросшими белой шерстью мускулистыми руками, которые любил демонстрировать, нося, даже на работе, рубашки с короткими рукавами. И лысина его выглядела утверждением силы, а не возраста — загорелая кожа на большом черепе была натянута гладко и туго, как наполненный ветром парус. Лицо тоже было большое, с носом-кнопкой, маленькими мясистыми губами, в покое приобретавшими выражение решительного недовольства, и глазами, настолько широко расставленными, что при определенном освещении он напоминал гигантского зародыша.

Флоренс никогда не выражала желания участвовать в их садовых беседах, а может быть, и отец этого не желал. Насколько Эдуард мог су-

дить, отец с дочерью редко разговаривали наедине, а в обществе обменивались малозначащими фразами. Тем не менее ему казалось, что они остро ощущали присутствие друг друга, и, когда говорили другие, отец и дочь как будто обменивались тайком скептическими взглядами. Пойнтинг то и дело обнимал за плечи Рут, но ни разу при Эдуарде не обнял ее старшую сестру. При этом в разговорах Пойнтинг много раз лестно отзывался о "вас с Флоренс" или о "вас, молодежи". Это он, а не Виолетта пришел в энтузиазм от сообщения о помолвке, устроил обед в "Рандольфе" и произнес полдюжины тостов. У Эдуарда мелькнула мысль, впрочем скорее шутливая, что не больно ли уж рад он сбыть с рук дочь.

Примерно в это время Флоренс сказала отцу, что Эдуард мог бы стать ценным приобретением для фирмы. Однажды утром Пойнтинг отвез его на "хамбере" на свою фабрику на окраине Уитни, где конструировали и собирали научные приборы, начиненные транзисторами. Пока они ходили между сборочными столами и Эдуард, сконфуженный невежда перед лицом науки и техники, не мог придумать ни одного осмысленного вопроса, Пойнтинг никакого беспокойства не проявлял. Эдуард несколько приободрился в конструкторском бюро — комнате без окон, где познакомился с лысым двадцатидевятилетним начальником отдела сбыта, выпускником Даремского университета, защитившим докторскую диссертацию о средневековом монашестве в северо-восточной Англии. Вечером за джином с тоником Пойнтинг предложил Эдуарду должность разъездного агента по реализации. Ему придется почитать об их продукции, немножечко об электронике и совсем немного о договорном праве. Эдуард, все еще не имевший определенных профессиональных планов, подумал, что вполне можно писать исторические книги в поездах и гостиницах между деловыми встречами, и согласился, скорее из вежливости, а не потому, что был действительно заинтересован в месте.

Он вызывался на всякие домашние работы, и это еще больше сблизило его с семейством. За лето 1961 года он многократно подстригал разные газоны (садовник хворал), расколол десять кубометров дров для печки, на второй машине, "остине-35", регулярно вывозил барахло на свалку из неиспользуемого гаража, который Виолетта хотела превратить в продолжение библиотеки. На той же машине, — "хамбер" ему никогда не давали, — он отвозил Рут, сестру Флоренс, к друзьям и родственникам в Тейм, Банбери и Стратфорд, а потом забирал оттуда. Возил и Виолетту — однажды на симпозиум по Шопенгауэру в Винчестере, и по дороге она допрашивала Эдуарда о его предмете — хилиастических сектах. Какую роль играл голод и социальные перемены в привлечении новых последователей? Их антисемитизм, вражда с церковью и купцами не позволяют ли видеть в этих движениях ранний социализм русского типа? И затем — тоже испытующе — не является ли ожидание ядерной войны современным эквивалентом Откровения Иоанна Богослова и не обречены ли мы нашей историей и виноватым сознанием постоянно рисовать картины всеобщей гибели?

Эдуард отвечал нервно, понимая, что проверяется его интеллектуальная смелость. Пока он говорил, они проехали окраины Винчестера. Краем глаза он увидел, что она достала пудреницу и попудрила свое ху-

дое белое лицо. Его завораживали ее белые, похожие на палочки руки и острые локти, и он в который раз подумал: неужели она и вправду мать Флоренс? Но сейчас нельзя было отвлекаться, при том что он еще и вел машину. Он сказал, что различие между тем временем и нынешним важнее, чем сходство. Это — различие между мрачной, абсурдной фантазией, сочиненной мистиком на исходе железного века и разукрашенной его доверчивыми средневековыми двойниками, и, с другой стороны, разумным страхом перед возможным страшным событием, которое мы в силах предотвратить.

Тоном четкой отповеди, фактически положившим конец беседе, она сказала, что он не совсем ее понял. Вопрос не в том, правы или неправы были средневековые сектанты в отношении Апокалипсиса и конца света. Конечно, они ошибались, но страстно верили в свою правоту и действовали в соответствии со своими убеждениями. Так же и он искренне верит, что ядерное оружие уничтожит мир, и действует соответственно. Совершенно не важно, что он ошибается, что на самом деле ядерная бомба удерживает мир от войны. В этом в конце концов весь смысл устрашения. Он, историк, конечно, заметил, что на протяжении веков у массовых заблуждений, вернее помрачений, обнаруживаются общие темы. Поняв, что она приравнивает его поддержку Движения за ядерное разоружение членству в хилиастической секте, он вежливо свернул разговор, и последний километр они проехали в молчании. В другой раз он возил ее в Челтнем, где она прочла лекцию в шестом классе Челтнемского женского колледжа о преимуществах оксфордского образования.

Его образование тоже продвигалось. В это лето он впервые попробовал салат с соусом из лимона и оливкового масла и за завтраком йогурт — изумительное вещество, известное ему по роману о Джеймсе Бонде. Стряпня обремененного делами отца и студенческие годы на пирожках и жареной картошке не подготовили его к встрече со странными овощами — баклажанами, зелеными и красными перцами, кабачками, стручковой фасолью, — регулярно появлявшимися перед ним на столе. В свой первый визит он был удивлен и даже обескуражен, когда Виолетта подала на первое тарелку недоваренного гороха. Ему пришлось преодолеть антипатию к чесноку — не столько к его вкусу, сколько к репутации. Когда он назвал багет круассаном, Рут долго хихикала, и ей пришлось даже выйти из комнаты. Еще вначале Эдуард произвел впечатление на Пойнтингов, сообщив, что никогда не бывал за границей, если не считать Шотландии, где он взошел на три километровые горы на полуострове Нойдарт. Впервые в жизни он отведал мюсли, маслины, свежий черный перец, хлеб без масла, анчоусы, непрожаренного ягненка, сыр, который не был чеддером, рататуй, буйабес, полные обеды и ужины без картошки и — самое подозрительное — розовую, с рыбным душком пасту, *тарамасалата*[1]. Многие из этих кушаний были лишь слегка противны и каким-то необъяснимым образом между собой схожи, но он решительно не хотел показаться профаном. Иной раз, если ел слишком быстро, то чуть не давился.

1. Икра карпа с накрошенным хлебом или картофельным пюре, лимонным соком и прованским маслом.

К некоторым новинкам он приохотился сразу: к свежемолотому фильтрованному кофе, к апельсиновому соку за завтраком, к утке, запеченной в собственном жире, к свежему инжиру. Ему было невдомек, насколько необычна чета Пойнтингов: преуспевающий бизнесмен, женатый на оксфордской преподавательнице, и сама Виолетта, в прошлом подруга Элизабет Дэвид[1], ведущая домашнее хозяйство в авангарде кулинарной революции параллельно с лекциями о монадах и категорическом императиве. Эдуард приобщался к их семейным обстоятельствам, не понимая экзотичности этого изобилия. Он полагал, что так живут все оксфордские преподаватели, и не хотел показывать, что это производит на него впечатление.

На самом деле он был зачарован, он жил во сне. В то теплое лето его влечение к Флоренс было неотделимо от обстановки — от огромных белых комнат с чистыми деревянными полами, нагретыми солнцем, от зеленой прохлады, лившейся через открытые окна в дом из густого сада, от душистого цветения деревьев, от свежих книг в переплетах на столах библиотеки — новой Айрис Мердок (она была подругой Виолетты), нового Набокова, нового Энгуса Уилсона — и от первой встречи со стереофоническим проигрывателем. Однажды утром Флоренс показала ему электронные лампы с оранжевым накалом, торчащие из элегантного серого корпуса усилителя, и колонки высотой до пояса и завела с безжалостной громкостью симфонию Моцарта "Хаффнер". Скачок на октаву во вступлении сразу захватил его своей дерзкой ясностью — весь оркестр раскинулся перед ним: он поднял кулак и закричал через всю комнату, не заботясь о том, услышат ли его посторонние, закричал, что любит ее. Он впервые сказал эти слова — не только ей, а вообще впервые. Она в ответ сложила губами те же слова и засмеялась от радости, что его наконец-то проняла классическая музыка. Он пересек комнату и попытался танцевать с ней, но музыка заторопилась и стала взволнованной, они сбились с такта, остановились и стояли обнявшись среди ее завихрений.

Мог ли он притворяться перед собой, что в узком его существовании это не поразительный опыт? Ему удавалось об этом не думать. По природе он не был склонен к самоанализу, и перемещения по ее дому с постоянной эрекцией — по крайней мере, так ему казалось — несколько притупляли и ограничивали работу ума. По неписаным правилам дома днем, когда она упражнялась на скрипке, он мог валяться на ее кровати, при условии, что дверь спальни открыта. Предполагалось, что он читает, но мог он только смотреть на нее и обожать ее голые руки, ее ленту в волосах, ее прямую спину, прелестный наклон ее головы, когда она прижимала инструмент подбородком, контур ее груди на фоне окна, колыхание хлопчатой юбки вокруг загорелых икр и переливы маленьких мышц в икрах, когда она раскачивалась или меняла позу. Время от времени она вздыхала из-за воображаемой погрешности в тоне или фразировке и повторяла это место снова и снова. Другим показателем ее настроения было то, как она переворачивала страницы — иногда резким движением кисти, иногда замедленно, довольная собой наконец, или в

1. Элизабет Дэвид — автор кулинарных книг второй половины XX в., привила англичанам вкус к французской и итальянской кухне.

предвкушении новых удовольствий. Эдуарда удивляло, что она его не замечает, – у нее был дар сосредоточенности, тогда как он мог провести целый день в сумерках скуки и безвыходного вожделения. Час мог пройти, прежде чем она вспоминала о нем; тогда она поворачивалась и улыбалась, но никогда не ложилась к нему на кровать – бешеное профессиональное честолюбие или еще какой-то домашний протокол удерживали ее у пульта.

Они ходили по большому общественному лугу Порт-Медоу вверх по Темзе, чтобы выпить пива в трактирах "Перч" или "Траут". Когда разговаривали не о своих чувствах – этими разговорами Эдуард уже немного пресытился, – говорили о своих планах. Он намеревался написать серию коротких историй о полузабытых деятелях, состоявших какое-то время при великих людях и переживших свою минуту славы. Он рассказал ей о стремительной поездке сэра Роберта Кэри на север, о том, как он прибыл ко двору Якова с окровавленным после падения с лошади лицом и как все его старания ничего ему не дали. После разговора с Виолеттой Эдуард решил добавить еще одного средневекового сектанта, описанного Норманом Коном, – мессию флаггелантов 1360-х годов, чье пришествие, как утверждал он сам и его последователи, было предсказано в пророчествах Исаии. Христос был всего лишь его предшественником, потому что он Император Последних дней, а также сам Бог. Его бичующиеся последователи рабски подчинялись и молились ему. Его звали Конрад Шмид; вероятно, он был сожжен на костре инквизицией в 1368 году, после чего его многочисленная секта просто растаяла. Эдуард представлял себе так, что история эта будет не длиннее двухсот страниц, опубликована издательством "Пингвин" с иллюстрациями, а когда серия завершится, полный набор, возможно, будет продаваться в специальной коробке.

Флоренс, естественно, делилась своими планами относительно Эннисморского квартета. Неделю назад они поехали в свой бывший колледж и сыграли ее преподавателю целиком квартет Бетховена, один из "Разумовских"[1]. Преподаватель не скрывал волнения: он сказал, что у них есть будущее, они во что бы то ни стало должны держаться вместе и работать, не щадя сил. Сказал, что они должны сжать репертуар, сосредоточиться на Гайдне, Моцарте, Бетховене и Шуберте, а Шумана, Брамса и XX век оставить на потом. Флоренс призналась Эдуарду, что никакой иной жизни она не мыслит и не будет просиживать годы за вторым пультом в каком-нибудь оркестре, – это если бы еще ее взяли. В квартете работа такая напряженная, требует такой концентрации, поскольку каждый участник почти солист, музыка так прекрасна и насыщенна, что всякий раз, когда играют сочинение целиком, они находят что-то новое.

Все это она говорила, зная, что классическая музыка для него – пустой звук. Лучше всего, когда она звучит тихо, фоном – нерасчлененный поток мяуканий, гудков, жужжаний, свидетельствующий, как принято считать, о серьезности, зрелости и почтении к прошлому, не вызывающий никакого интереса и никакого волнения. Но Флоренс верила, что

1. Бетховен посвятил три квартета (ор. 59) меценату и музыканту-любителю графу А. К. Разумовскому.

его ликующий крик в начале симфонии "Хафнер" означал решительную перемену, и пригласила его с собой в Лондон на репетицию. Он живо согласился — конечно, ему хотелось увидеть ее за работой, но что еще важнее — узнать, не соперник ли ему в каком-либо отношении этот виолончелист, Чарльз, о котором она что-то очень часто упоминала. Если да, думал Эдуард, то надо обозначить свое присутствие.

Из-за летнего затишья фортепьянный салон рядом с Уигмор-Холлом за символическую плату предоставил квартету репетиционную комнату. Флоренс с Эдуардом прибыла раньше других, чтобы провести его по Уигмор-Холлу. Зеленая комната, маленькая комната для переодевания, даже зал и купол, на его взгляд, вряд ли заслуживали того почтения, которое испытывала к этому месту Флоренс. Она так гордилась Уигмор-Холлом, как будто сама его спроектировала. Она вывела его на сцену и попросила представить себе, с каким страхом и трепетом выходишь сюда играть перед разборчивой публикой. Представить он не мог, но не признался в этом. Она сказала, что когда-нибудь это произойдет, она решила: Эннисморский квартет выступит здесь и сыграет триумфально. Он обожал ее за торжественность этого обещания. Он поцеловал ее, потом спрыгнул в зал, отошел на три ряда, встал посередине и поклялся, что, как бы ни сложилась жизнь, в этот день он будет здесь, на этом самом месте, 9С, и первым станет аплодировать и кричать "браво".

Началась репетиция; Эдуард тихо сидел в углу голой комнаты в состоянии совершенного счастья. Он обнаружил, что любовь не равномерное состояние, а переживание волнообразное, со свежими приливами, один из которых он испытывал сейчас. Виолончелист, непропеченный молодой человек с заиканием и ужасной кожей, был явно огорчен явлением нового друга Флоренс, и Эдуард великодушно простил ему рабскую фиксацию на Флоренс, потому что тоже не мог оторвать от нее взгляд. Она приступала к работе в состоянии, граничившем с восторгом. Она надела ленту на волосы, и, наблюдая за ней, Эдуард погрузился в мечты — не только о сексе с Флоренс, но и о женитьбе, будущей семье и возможной дочери. Размышление о таких предметах, безусловно, было знаком зрелости. Возможно, это было благопристойной вариацией исконной мечты о том, чтобы быть любимым более чем одной девушкой. Она будет красива и серьезна, как мать, тоже с прямой спиной, непременно будет играть на инструменте — на скрипке, вероятно, хотя он не исключал и электрогитары.

В этот день, разучивать моцартовский квинтет, пришла альтистка Соня, соседка Флоренс по коридору. Наконец, они приготовились начать. Было короткое напряженное затишье, которое мог бы вписать в партитуру сам Моцарт. Они заиграли; Эдуарда сразу захватила сила, мускулистость звука и бархатные переговоры инструментов, и несколько минут подряд он действительно получал удовольствие от музыки, а потом упустил нить и привычно наскучил ее чинным волнением и одинаковостью. Потом Флоренс остановила их, тихим голосом сделала замечания, и после общего разговора они начали с начала. Так происходило несколько раз; благодаря повторению Эдуард стал различать нежную мелодию, беглые сплетения голосов, смелые обрушения и скачки, которых он уже ждал при повторах. Позже, когда ехали на поезде домой, он сказал ей совершенно искренне, что музыка проняла его, и даже напел

какие-то отрывки. Флоренс была так растрогана, что дала еще одно обещание – с той же проникновенной серьезностью, которая будто вдвое увеличивала ее глаза: когда наступит великий день их дебюта в Уигмор-Холле, они сыграют этот квинтет – сыграют специально для него.

В ответ он отобрал дома и привез в Оксфорд пластинки, надеясь, что она сможет их полюбить. Она сидела, как статуя, и терпеливо слушала, закрыв глаза, с чрезмерной сосредоточенностью – Чака Берри. Он думал, что ей может не понравиться "Прочь, Бетховен", но она нашла его уморительным. Он поставил ей песни Чака Берри в "корявом, но честном" исполнении "Битлз" и "Роллинг стоунз". Она хотела сказать что-нибудь одобрительное о каждой, но находила только слова "бодрая", "веселая", "поют с душой", и он понимал, что это просто вежливость. Когда он сказал, что она "не сечет" рок и вряд ли стоит дальше стараться, она призналась, что не выносит ударников. Если мелодии такие элементарные, большинство – на четыре четверти, зачем поддерживать метр беспрерывным буханьем, стуком и лязгом? Какой смысл, если есть уже ритм-гитара, а часто – и рояль? Если музыканты сами не могут выдерживать ритм, почему не поставят метроном? Что, если бы Эннисморский квартет взял барабанщика? Он поцеловал ее и сказал, что она самый отсталый человек во всей западной цивилизации.

– Но ты меня любишь, – сказала она.

– За это и люблю.

В начале августа сосед из Тёрвилл-Хита заболел, и Эдуард получил временную работу – ухаживать за полем Тёрвиллского крикетного клуба. Двенадцать рабочих часов в неделю, в любое удобное для него время. Ему нравилось уходить из дома рано утром, раньше даже, чем просыпался отец, и под пение птиц, по липовой аллее он неторопливо шел к полю, словно был его хозяином. За первую неделю он подготовил центральную площадку к местному дерби – важной игре со Стонором. Он подстриг траву, повозил каток и помог плотнику, приехавшему из Хамблдена, построить и побелить новый экран на краю поля[1]. Когда он не работал и не нужен был по дому, он сразу отправлялся в Оксфорд – не только потому, что скучал по Флоренс, но и с тем, чтобы предварить неизбежный ее визит для знакомства с семьей. Он не знал, как она и мать отнесутся друг к дружке, как отреагирует Флоренс на грязь и кавардак в доме. Он думал, что сначала надо подготовить обеих женщин, но, как выяснилось, в этом не было нужды: однажды жарким днем, в пятницу, перейдя поле, он увидел Флоренс, дожидавшуюся его в тени павильона. Она знала его расписание, села на ранний поезд и прошла из Хенли к долине Стонор с крупномасштабной картой в руке и парой апельсинов в холщовой сумке. Полчаса она наблюдала за ним, пока он делал разметку на дальнем краю. Любила его издали, сказала она, когда они поцеловались.

Это был один из ярких эпизодов в начале их любви: рука об руку они шли назад по прекрасной аллее, по середине ее, чтобы полностью владеть ею. Теперь, когда это стало неизбежностью, перспектива ее встречи с матерью и знакомства с домом уже не казалась такой важной. Тени

1. Белый экран (деревянный, пластмассовый) ставится на краю поля, чтобы бэтсмен (бьющий) лучше видел на его фоне мяч, брошенный боулером (метателем).

лип были так плотны, что при ярком солнце выглядели иссиня-черными, а зной был напоен запахом молодых трав и полевых цветов. Он козырял знанием их народных названий и даже нашел, по случайности, у дороги, пучок чилтернской горечавки. Одну они сорвали. Они видели овсянку, зеленушку; промелькнул ястреб-перепелятник и круто повернул вокруг тёрна. Она не знала имена даже таких обыкновенных птиц, но сказала, что непременно выучит. Она была в восторге от красоты этих мест и от того, как умно она выбрала дорогу — не по долине Стонор, а по узкому проселку в безлюдную долину Бикс-Боттом мимо обтянутых плющом развалин церкви Святого Иакова, по лесистому склону вверх на пастбище у Мейденсгроува, потом через буковый лес к Писхилл-Бэнку, где на склоне холма красиво примостилась кирпично-каменная церквушка. Флоренс описывала эти места, отлично ему известные, и он воображал ее там — как она идет одна, час за часом, останавливаясь только, чтобы свериться с картой. Всё — ради него. Какой подарок! И он никогда не видел ее такой радостной и такой прелестной. Она перевязала волосы на затылке черной бархоткой; на ней были черные джинсы, черные парусиновые туфли и белая рубашка, в петлю которой он продела нахальный одуванчик. Пока они шли к дому, она то и дело дергала его зазеленившуюся от травы руку, чтобы поцеловаться, хотя и совсем легонько, и на этот раз он радостно или, по крайней мере, спокойно довольствовался тем, что не обещало развития. После того как она очистила для них оставшийся апельсин, рука ее липла к его ладони. Они невинно ликовали по поводу ее умного сюрприза, и жизнь казалась смешной и свободной, и впереди у них было два выходных.

* * *

Воспоминание о той прогулке от крикетного поля до дома кололо его теперь, год спустя, в свадебный вечер, и в полумраке он поднялся с кровати. В нем боролись противоположные чувства, и надо было держаться за самые лучшие, самые добрые мысли о ней, иначе, думал он, я сдамся, опущу руки. Он пошел в другой конец комнаты, чтобы взять с пола трусы. Ноги налились жидкой тяжестью. Он надел трусы, поднял брюки и довольно долго стоял, держа их в руке и глядя в окно, на обжатые ветром потемневшие деревья, чьи кроны слились в сплошную серо-зеленую массу. Высоко в небе висел дымчатый полумесяц, почти не дававший света. Размеренный плеск волн о берег, словно включаясь каждый раз, прерывал его мысли и вселял усталость; неумолимые законы и процессы физического мира, ход луны и приливы, которыми он вообще мало интересовался, нисколько не зависели от того, что происходит с ним. Это была жестокая в своей очевидности истина. Как он может остаться один, без поддержки? И как он может спуститься и подойти к ней на берегу, куда она, наверное, убежала? Брюки в руке казались тяжелыми и нелепыми — две параллельные трубы из ткани, соединявшиеся на одном конце, — произвольный фасон последних столетий. Надеть их, казалось ему, — значит вернуться к общественной жизни, к своим обязательствам, изведать полной мерой свой позор. Одевшись, он вынужден будет пойти и найти ее. Поэтому он мешкал.

Как многие яркие воспоминания, это — об их прогулке до Тёрвилл-Хита — окружало себя полутенью забвения. Кажется, придя в дом, они застали мать одну — отец и девочки еще не вернулись из школы. Марджори Мэйхью обычно волновалась при встрече с незнакомыми, но Эдуард совершенно не помнил, как знакомил ее с Флоренс и как Флоренс восприняла грязь и запущенность дома и вонь канализации из кухни, всегда усиливавшуюся летом. Сохранились только клочки воспоминаний, картинки вроде старых открыток. Одна — вид через грязное с сеткой окно на сад, где в дальнем конце на скамейке сидели Флоренс и мать с ножницами и экземпляром "Лайф" и разговаривали, вырезая картинки. Девочки, вернувшись из школы, вероятно, повели Флоренс к соседу смотреть новорожденного осленка — потому что на другой картинке они шли к дому по траве, держась за руки. Третья картинка — Флоренс несет отцу в сад поднос с чаем. Да, в этом не должно быть сомнений — она хороший человек, самый лучший, и тем летом в нее влюбились все Мэйхью. Близняшки поехали с ним в Оксфорд и целый день провели на реке с Флоренс и ее сестрой. Марджори постоянно спрашивала его о Флоренс, хотя не могла запомнить ее имя, а Лайонел Мэйхью, поглощенный земными заботами, посоветовал сыну жениться на "этой девушке", пока она не ускользнула.

Он вызывал эти прошлогодние воспоминания, домашние открытки, прогулку под липами, оксфордское лето не из сентиментального желания разбередить свою печаль, а чтобы прогнать ее, почувствовать, что он любит, сдержать наступление стихии, которое он вначале не хотел признавать, — омрачение, темное желание свести счеты, работу яда, который уже растекался по его существу. Гнев. Демона, которого он держал в узде, когда думал, что его терпение вот-вот лопнет. Как соблазнительно отдаться ему теперь, когда он один и можно дать ему волю. Самолюбие требовало этого после такого унижения. И что вреда от мысли? Лучше разделаться с этим сейчас, пока он стоит полуголый среди руин первой брачной ночи. Сдаться ему помогла ясность, которая приходит с внезапным прекращением желания. Плоть больше не смягчала, не туманила мысли, и он мог зафиксировать оскорбление с судебной объективностью. И какое оскорбление, сколько презрения было в ее негодующем крике, возне с подушкой, какой палаческий выверт — без единого слова выбежать из комнаты, оставить его наедине с омерзительным стыдом, взвалить на него всю вину за неудачу. Она изо всех сил постаралась сделать ситуацию еще более тяжелой, непоправимой. Она его презирает, она хотела его наказать, оставила одного угрызаться своей несостоятельностью, как будто сама была ни при чем. А ведь сама это устроила, своей рукой, своими пальцами. Вспомнив это прикосновение, этот сладостный миг, он снова возбудился и отвлекся от жестоких мыслей, почувствовал искушение простить ее. Но не поддался искушению. Он нашел свою тему и продолжал себя накручивать. Наклевывалась тема еще более важная, вот она, он поймал ее, наконец, и внедрился в нее, как шахтер из штольни в мрачный забой, чтобы дать выход копившейся ярости.

Все стало ясно ему — он был идиотом, что не понимал этого. Целый год он покорно мучился, желая ее до боли и желая жалких, невинных мелочей, вроде полномерного поцелуя, возможности трогать ее и что-

бы она его трогала. Утешала только надежда на брак. И каких удовольствий она их обоих лишила! Даже если они не могли соединиться до женитьбы, зачем эта извращенная сдержанность, эта мука ограничений? Он терпел, он не жаловался — вежливый дурак. Другой мужчина потребовал бы большего — или ушел бы. И если после года лишений он не удержался и в решительный момент сплоховал, то его вины в этом нет. Вот что. Он не признаёт своего унижения, отвергает его. Ее разочарованный крик, бегство из комнаты возмутительны, потому что причиной всему — она сама. От этого никуда не денешься: она не любила целоваться, не любила прикосновений, не любила, чтобы их тела были близко, не испытывала к нему интереса. Не чувственная, совершенно лишена желания. Она никогда не почувствует того, что чувствует он. Следующие шаги Эдуард сделал с роковой легкостью: все это она знала — как она могла не знать? — и обманывала его. Муж ей нужен был для респектабельности, или для того, чтобы угодить родителям, или потому, что все выходят замуж. Или думала, что это чудесная игра. Она не любила его, она не способна любить так, как любят мужчины и женщины, она понимала это и скрывала от него. Она нечестная.

Нелегко обдумывать такие жестокие истины в трусах и босиком. Он натянул брюки, нашарил носки и туфли и снова продумал все от начала до конца, убирая шероховатости, затруднительные переходы, вводя связки, и так усовершенствовал свою аргументацию, что гнев разыгрался в нем с новой силой. Он распалил себя, и это было бы бессмысленно, если бы осталось невысказанным. Необходима ясность. Она должна узнать, что он думает и чувствует, — ему необходимо объяснить ей и показать. Он сдернул со стула пиджак и стремительно вышел из номера.

Глава 5

Она смотрела, как он идет к ней по берегу — сначала его фигура была лишь темно-синим пятном на потемневшей гальке, иногда будто неподвижная, она пропадала, растворялась в потемках, потом вдруг оказывалась ближе, как шахматная фигура, передвинутая на несколько клеток. Осадок дневного света лежал на берегу, а сзади нее, на востоке, на Портленде горели огоньки, и низ облака налился тусклым желтым отсветом городских фонарей. Она смотрела на него и хотела, чтобы он шел медленнее, испытывая виноватый страх перед ним и отчаянно желая подольше побыть одной. Какой бы ни сложился у них разговор, он вызывал у нее ужас. В ее представлении, не было таких слов, чтобы назвать происшедшее, не было общего языка, на котором двое разумных взрослых могли бы разговаривать о таких событиях. Тем более невообразим был спор. Невозможно было никакое обсуждение. Она не хотела об этом думать и надеялась, что он настроен так же. Но тогда о чем им вообще говорить? Зачем тогда они здесь? Это дело лежало между ними осязаемо, как географический пункт, как гора или мыс. Безымянное, необратимое. И ей было стыдно. Она была потрясена своей выходкой, потрясение еще отдавалось внутренней дрожью и как будто даже шумом в ушах. Вот почему она убежала так далеко по берегу, по податливой гальке, в неподходящих туфлях — подальше от спальни и от того, что в ней

случилось, подальше от себя. Она вела себя кошмарно. *Кошмарно.* Это топорное, расхожее слово она повторила про себя несколько раз. В сущности, это был извинительный термин — она кошмарно играла в теннис, ее сестра кошмарно играла на рояле, — и Флоренс понимала, что слово приукрашивает, а не характеризует ее поведение.

В то же время она помнила его позор — когда он поднялся, растерянный, со стиснутыми зубами, и по хребту его проходили змеиные судороги. Но она старалась не думать об этом. Не только у нее, но и у него что-то не в порядке — могла ли она признаться себе, что ее это чуточку обрадовало? Ужасно было бы, но и утешительно, если бы он страдал какой-нибудь врожденной болезнью, наследственным постыдным недугом, о котором только молчат, вроде недержания или рака — это слово она никогда не произносила вслух из суеверного страха, что оно заразит через рот. Глупость, конечно, в которой она никому не призналась бы. Но тогда они могли бы жалеть друг друга, соединенные в любви своими бедами. Она и жалела его, но чувствовала себя немного обманутой. Если у него что-то не в порядке, почему не признался ей по секрету? Хотя она отлично понимала, почему он не мог. Ведь и она умолчала. Да и как он мог признаться в своей слабости — какими словами начать? Не существовало таких слов. Такой язык еще надо было выработать.

Развивая эту мысль, она вместе с тем отлично сознавала, что никакого изъяна в нем нет. Совсем никакого. Дело в ней, только в ней. Она стояла, прислонясь к большому лежащему дереву, вероятно выброшенному на берег штормом, ошкуренному волнами, гладкому и затвердевшему от соли. Ее поясница удобно поместилась между стволом и большим суком, и массивный ствол еще отдавал остатнее дневное тепло. Так мог бы младенец нежиться на сгибе материнской руки, но Флоренс не верила, что такое бывало с ней. У Виолетты руки были худые и напряженные от постоянного писания и мыслительной работы. Когда Флоренс было пять лет, у них служила норлендская няня, полненькая и уютная, с музыкальным шотландским голосом и красными руками — но ей пришлось уйти из-за какой-то некрасивой истории.

Флоренс продолжала наблюдать за приближением Эдуарда, уверенная, что он ее еще не видит. Она могла спуститься на другую сторону косы и вернуться по берегу Флита, но хоть и боялась встречи, решила, что сбежать — чересчур жестоко. Его плечи ненадолго обозначились на фоне серебристой воды, полоски течения, уходящей позади него далеко в море. Она уже слышала хруст гальки под его ногами; это значило, что он услышал бы ее шаги. Он знал, в какой стороне ее искать, потому что так они заранее договорились: после ужина прогуляться по знаменитой стрелке с бутылкой вина. Собирать камешки, сравнивать их и проверить, в самом ли деле шторма рассортировали гальку по размерам вдоль косы.

Вспомнив об этом несостоявшемся удовольствии, она не особенно огорчилась: сразу же вспомнила другой план, мысль, не додуманную раньше вечером. Любить и дать друг другу свободу. Можно завести об этом речь, сделать такое смелое предложение, думала она, — но только не ему. Эдуарду оно может показаться смехотворным, дурацким, даже оскорбительным. Она никогда не могла в полной мере оценить свою наивность, потому что в некоторых вопросах считала себя вполне умуд-

ренной. Надо было еще подумать. Но через минуту он будет здесь, и начнется ужасный разговор. Это был еще один ее уязвимый пункт — она не знала, какую позицию ей занять; кроме ужаса — никакого представления о том, что может сказать он и какого ответа будет ждать от нее. Должна ли она просить прощения или ждать извинений от него? Сейчас не имело значения, любит она или разлюбила, — она ничего не чувствовала. Она хотела только побыть одна, в сумерках, возле этого гигантского дерева.

В руке у него был как будто сверток. Он остановился в десятке шагов; уже это показалось ей недружелюбным, и в ней тут же вспыхнула ответная враждебность. Зачем он сразу за ней погнался?

И правда, в его голосе слышалась досада:

— Вот ты где.

Она не нашла в себе сил ответить на эту бессмысленную фразу.

— Обязательно надо было так далеко уходить?

— Да.

— До гостиницы километра три, наверное.

Она сама удивилась резкости своего тона:

— Мне все равно сколько. Я хотела уйти.

Он не стал отвечать. Перенес вес с ноги на ногу, и галька хрустнула под туфлей. Теперь Флоренс увидела, что нес он в руке пиджак. На берегу было тепло и влажно, теплее, чем днем. Ее рассердило, что он озаботился захватить пиджак. Только галстука не хватало! До чего же он раздражал ее — хотя несколько минут назад ей было стыдно за себя. Обычно ей очень хотелось хорошо выглядеть в его глазах, но сейчас было все равно.

Он приготовился сказать ей то, ради чего пришел, и сделал шаг вперед.

— Послушай, это смешно. Это неправильно, что ты убежала.

— Вот как?

— Честно говоря, чертовски неприятно.

— Правда? Знаешь, чертовски неприятно было то, что ты сделал.

— Что именно?

Перед тем как ответить, она закрыла глаза.

— Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. — Потом она будет терзаться из-за своей грубости, но сейчас добавила: — Это было абсолютно отвратительно.

Ей показалось, что он охнул, как от удара в грудь. Продлись пауза после этого на несколько секунд дольше, чувство вины успело бы проснуться в ней, и она добавила бы что-нибудь менее обидное.

Но ответ последовал быстро, наотмашь:

— Ты понятия не имеешь, как обращаться с мужчиной. Имела бы — этого бы не случилось. Ты никогда меня к себе не подпускала. Ты ничего в этом не смыслишь, так? Ведешь себя, как будто у нас тысяча *восемьсот* шестьдесят второй. Ты даже целоваться не умеешь.

Она услышала свой ровный голос:

— Бессильного отличить умею. — Но она не это хотела сказать, эти жестокие слова были совсем не ее. Это вторая скрипка отвечала первой — риторический выпад в ответ на внезапную острую атаку, на издевку, которая слышалась в этих повторявшихся "ты".

Если она и задела его за живое, то вида он не показал — впрочем, она почти не различала его лица. Может быть, темнота и придала ей дерзости. Он заговорил, не повышая голоса:

— Я не допущу, чтобы меня унижали.

— А я не допущу, чтобы меня запугивали.

— Я тебя не запугиваю.

— Нет, запугиваешь. Всегда запугивал.

— Это бред. О чем ты говоришь?

Она не была уверена, что ведет себя правильно, но ее несло.

— Ты все время на меня давишь, давишь, чего-то хочешь от меня. Мы не можем просто побыть вместе. Просто быть счастливыми. Это постоянное давление. Ты все время хочешь чего-то еще. Какое-то бесконечное вымогательство.

— Вымогательство? Не понимаю. Надеюсь, ты не о деньгах.

Она говорила не о деньгах. Этого у нее и в мыслях не было. Какой абсурд — вообще о них вспомнить. Как он смеет. Она сказала:

— Ты сам о них заговорил. Значит, думаешь об этом.

Ее уязвил его сарказм. Или развязность. Она имела в виду нечто более существенное, чем деньги, только не умела это выразить. Что его язык все глубже старается влезть ей в рот. Что рука забирается все выше под юбку или под блузку. Что тянет ее руку к своему паху. Что как-то особенно глядит в сторону и умолкает. Молчаливо ждет от нее чего-то большего, а она не дает — и тогда разочарование, досада на оттяжки. Какую бы границу она ни перешла, ее ждет новая, следующая. Любая ее уступка увеличивает требования — и опять разочарование. Даже в самые счастливые минуты над ними нависала обвиняющая тень, маячила хмурая его неудовлетворенность, фигура постоянной грусти, причину которой они оба видели в ней. Она хотела любить и быть собой. Но чтобы быть собой, она должна была все время говорить "нет". А потом она уже не была собой. Ее записали в ущербные, считают противницей нормальной жизни. Она злилась на то, что он так быстро погнался за ней по берегу, не дал побыть одной. И то, что происходило у них здесь, на берегу Ла-Манша, было лишь второстепенной темой в общей картине. Флоренс уже могла заглянуть в будущее. Сейчас они поссорятся, потом помирятся или наполовину помирятся, ее уговорят вернуться в отель, и ожидания возобновятся. И она опять их не оправдает. Она не могла вздохнуть. Ее браку восемь часов, и каждый час лежал на ней грузом, тем более тяжелым, что она не знала, как высказать ему эти мысли. Так что деньги как тема сгодятся сейчас — даже отлично сгодятся, поскольку он рассержен.

Он сказал:

— Меня вообще не интересовали деньги, ни твои, ни чьи-нибудь еще.

Она знала, что это так, но ничего не ответила. Он передвинулся, теперь она ясно видела его силуэт на фоне потускневшей воды.

— Так что держи при себе свои деньги, отцовские деньги, и трать на себя. На меня не расходуйся.

Голос его звучал напряженно. Она сильно его обидела, сильнее, чем намеревалась, но теперь ей было все равно, тем более что лица его не видела. Прежде они никогда не говорили о деньгах. Ее отец подарил на

свадьбу две тысячи фунтов. Они как-то туманно решили купить когда-нибудь на эти деньги дом.

Он сказал:

— Ты думаешь, я выклянчивал у тебя эту работу? Ты сама ее придумала. Мне она не нужна. Я не хочу работать у твоего отца. Так ему и скажи. Я передумал.

— Сам скажи. Он будет рад. Ему пришлось очень постараться ради тебя.

— Отлично. Скажу.

Он повернулся и пошел от нее к воде, но через несколько шагов вернулся, с бесстыдным ожесточением пиная гальку, иногда долетавшую до ее ног. Его злость еще сильнее распалила ее, и она вдруг подумала, что ей теперь понятно, в чем их беда: они были слишком вежливы, слишком скованны, слишком боязливы, ходили друг перед другом на цыпочках, лепетали, шептали, уступали друг другу, соглашались. Они едва знали друг друга и не могли узнать из-за дымовой завесы приятных умолчаний, которая скрывала их различия и в той же мере ослепляла их, в какой спасала от трений. Они боялись разногласий, а теперь гнев освободил ее. Она хотела сделать ему больно, наказать его, чтобы почувствовать свою отдельность. Это был настолько незнакомый порыв — радостная жажда разрушения, — что она не могла ему сопротивляться. Сердце билось сильно, ей хотелось сказать, что она его ненавидит, и она была готова произнести эти жестокие, чудесные слова, которых ни разу не говорила в жизни, — но он заговорил первым. Он вернулся к началу разговора и призвал на помощь все свое достоинство, чтобы упрекнуть ее:

— Зачем ты убежала? Это было неправильно и обидно.

Неправильно. Обидно. Жалкие слова!

Она ответила:

— Я тебе уже сказала. Мне надо было уйти. Невыносимо было оставаться с тобой.

— Ты хотела меня унизить.

— Хорошо. Понимай так, если угодно. Я хотела тебя унизить. Ничего другого ты не заслуживаешь, если не способен себя контролировать.

— Такое могла сказать только стерва.

Это слово было как взрыв сверхновой в ночном небе. Теперь она могла сказать все, что хотела.

— Если ты так считаешь, уйди. Уйди с моих глаз. Прошу тебя, Эдуард. Ты понимаешь или нет? Я пришла сюда, чтобы побыть одной.

Он понимает, что это слово слишком далеко его завело и пути отступления нет, — это ей было ясно. Повернувшись к нему спиной, она сознавала, что актерствует, что это тактический прием, притворство, которое она всегда презирала в своих более экспансивных подругах. Она устала от разговора. Даже при наилучшем исходе она всего лишь вернется к прежнему молчаливому маневрированию. В плохом настроении Флоренс часто задумывалась, что бы ей больше всего хотелось сейчас сделать. Тут задумываться не пришлось. Ей представилось, как она стоит на железнодорожной платформе в Оксфорде, со скрипкой в футляре, нотами и заточенными карандашами в старой холщовой школьной сумке, ждет лондонского поезда, чтобы ехать на репетицию квартета,

на встречу с красотой и трудностями, с проблемами, которые действительно можно решить друзьям, работающим вместе. Тогда как здесь, с Эдуардом, разрешиться ничего не могло, если только она не сделает своего предложения, — а она сомневалась, что у нее хватит смелости. До чего же она несвободна, связав свою жизнь с этим странным человеком из деревушки в Чилтернских холмах, знающим имена полевых цветов и злаков и всех средневековых королей и пап. Теперь ей казалось удивительным, что она сама выбрала эту ситуацию, запуталась по своей воле.

Она все еще стояла спиной к нему и чувствовала, что он придвинулся ближе. Она представляла себе, как он стоит совсем рядом, опустив руки, и тихо сжимает и разжимает кулаки, не решаясь тронуть ее за плечо. С совсем уже темных холмов за лагуной доносилась песня одинокой птицы, витиеватая, флейтовая. Судя по красоте ее и времени суток, можно было подумать, что это соловей. Но живут ли соловьи у моря? И поют ли в июле? Эдуард знал, но у нее не было настроения спрашивать.

Он произнес прозаическим тоном:

— Я любил тебя, но с тобой это очень трудно.

Смысл прошедшего времени был обоим понятен, и они молчали. Наконец она сказала с недоумением:

— *Любил?*

Он не поправился. Возможно, он сам был неплохим тактиком. Сказал только:

— Мы могли быть совершенно свободны друг с другом. Мы могли бы жить в раю. Вместо этого у нас какая-то гадость.

Бесспорная справедливость последней фразы и более обнадеживающая форма предыдущей обезоружили ее. Но слово "гадость" напомнило о мерзкой сцене в спальне, о теплой жидкости, которая высыхала на ней и коркой стягивала кожу. Она твердо знала, что никогда больше такого не допустит.

И ответила без выражения:

— Да.

— В каком смысле "да"?

— Гадость.

Молчание, своего рода тупик неопределенной длины. Они слушали шум волн и, с перерывами, птицу, отлетевшую дальше, — песня теперь звучала тише, но еще отчетливее. Наконец, как она и ожидала, он положил руку ей на плечо. Прикосновение было ласковое, от него по позвоночнику, до самой поясницы, растеклось тепло. Она не знала, что думать. Ей не нравилось, что она рассчитывает момент, когда надо будет повернуться к нему, и видела себя его глазами: неловкая и холодная, как ее мать, непонятная, все усложняющая, вместо того чтобы мирно пребывать в раю. Поэтому она должна все упростить. Это ее долг, ее супружеский долг.

Повернувшись, она сразу отступила на шаг — не хотела, чтобы ее поцеловали, — во всяком случае, сейчас. Ей нужно было прояснить свои мысли перед тем, как изложить план. Однако они стояли еще близко друг к другу, и в сумраке она все же различала его черты. Может быть, в это время луна у нее за спиной очистилась. Ей показалось, что он смотрит на нее с удивлением — как это часто бывало, когда он хотел сказать

ей, что она красивая. Она ему не очень верила, его слова беспокоили ее — он мог хотеть чего-то, чего она никак не могла дать. Эта мысль ее отвлекла, и она не могла перейти к сути. Спросила:

— Соловей поет?

— Черный дрозд.

— Ночью? — Она не могла скрыть разочарования.

— Ему нужна самая лучшая эстрада. Бедняга вынужден трудиться изо всех сил. — И добавил: — Как я.

Флоренс рассмеялась. Она как будто отчасти забыла его перед этим, забыла, какой он на самом деле, а теперь он перед ней открылся, любимый человек, старый друг, который всегда мог сказать что-то неожиданное, милое. Но смех был немного натянутый, она чувствовала себя слегка сумасшедшей. Она не помнила, чтобы когда-нибудь ее чувства и настроения так быстро и резко менялись. И сейчас она собиралась сделать предложение, с одной стороны, абсолютно разумное, а с другой — вполне вероятно (ей самой было невдомек), совершенно возмутительное. Она словно пыталась заново придумать само существование. И наверняка придумать неправильно.

Обрадовавшись ее смеху, он придвинулся, чтобы взять ее за руку, и она опять отступила. Важно было думать без помех. Она начала свою речь так, как отрепетировала ее мысленно, с самого важного заявления:

— Ты знаешь, что я тебя люблю. Очень, очень люблю. И знаю, что ты меня любишь. Я никогда в этом не сомневалась. Я люблю быть с тобой и хочу провести с тобой всю жизнь. И ты говоришь, что тоже этого хочешь. Все должно быть очень просто. Оказалось — нет, все разладилось, как ты и сказал. Хотя лю́бим. Я понимаю, что это исключительно моя вина, и мы оба понимаем почему. Тебе уже, наверное, вполне ясно, что...

Она запнулась; он хотел заговорить, но она подняла руку:

— ...что я довольно безнадежна, абсолютно безнадежна в смысле секса. Не просто бесполезна — я, кажется, не нуждаюсь в нем, как другие люди. Как ты. Во мне этого нет. Я не люблю этого, думать об этом не люблю. Не знаю, почему это так, но думаю, это вряд ли изменится. Или не сразу. По крайней мере, не представляю себе, чтобы изменилось. И если не скажу тебе сейчас, это всегда будет у нас камнем преткновения и доставит много огорчений и тебе, и мне.

На этот раз, когда она замолчала, он не попытался заговорить. Он стоял от нее в двух метрах — теперь только силуэт, и совсем неподвижный. Ей было страшно, но она заставляла себя продолжать:

— Может быть, мне надо к психоаналитику. Может быть, на самом деле мне надо убить мать и выйти замуж за отца.

Эта отчаянная шуточка, которую она придумала заранее, чтобы смягчить речь и выглядеть менее наивной, никакого отклика не получила. Эдуард оставался невидимкой, застывшим двухмерным пятном на фоне моря. Неуверенным, трепетным движением она поднесла руку ко лбу и отодвинула несуществующую прядь. От нервозности она заговорила торопливее, но слова произносила четко. Как конькобежец на тонком льду, она ускорялась, чтобы не утонуть. Нанизывала фразу за фразой, как будто скорость сама могла родить смысл, как будто и мужа могла пронести мимо противоречий, прогнать по виражу ее намерения так, чтобы он не успел найти ни одного возражения.

— Я подробно это обдумала, и это не так глупо, как может показаться на первый взгляд. Мы любим друг друга — это дано. Мы оба в этом не сомневаемся. Мы уже знаем, что нам хорошо друг с другом. Теперь мы вольны, каждый из нас, сделать свой выбор, выбрать свою жизнь. Правда же, никто не может учить нас, как нам жить. Мы сами себе хозяева! И люди теперь ведут самый разный образ жизни, они могут жить по своим правилам и ни у кого не спрашивать разрешения. Мама знает двух гомосексуалистов, они живут в квартире вместе, как муж и жена. Мужчины. В Оксфорде, на Боумонт-стрит. Никак это не афишируют. Оба преподают в Крайст-Чёрче. Никто их не донимает. И мы можем принять свои правила. Я знаю, что ты меня любишь, поэтому и говорю тебе. Я что хочу сказать — Эдуард, я люблю тебя, и мы не обязаны быть такими, как все, да вообще — как кто-нибудь другой... никто не будет знать, что мы делали и чего не делали. Мы могли бы быть вместе, жить вместе, и, если бы ты захотел, действительно захотел, то есть если бы это случилось, а это, конечно, случилось бы, я бы поняла, больше того, я бы хотела этого, хотела бы, потому что хочу, чтобы ты был счастлив и свободен. Я бы совсем не ревновала, пока знаю, что ты меня любишь. Я бы любила тебя и играла музыку, больше я ничего не хочу от жизни. Правда. Хочу только быть с тобой, ухаживать за тобой, быть счастливой с тобой, и работать с квартетом, и когда-нибудь сыграть для тебя что-нибудь прекрасное, как тогда Моцарта в Уигмор-Холле.

Она вдруг замолчала. Она не собиралась говорить о своих музыкальных планах и подумала, что это было ошибкой.

Он выпустил воздух сквозь зубы — это было скорее шипение, чем выдох, а речь начал лающим звуком. Негодование его было столь яростно, что похоже было на торжество.

— Господи! Флоренс. Я правильно понял? Ты хочешь, чтобы я спал с другими женщинами? Так, что ли?

Она тихо ответила:

— Нет, если не захочешь.

— Ты говоришь мне, что я могу спать с кем угодно, кроме тебя.

Она молчала.

— Ты и в самом деле забыла, что мы сегодня поженились? Мы не два старых педераста, тайно сожительствующих на Боумонт-стрит. Мы муж и жена!

Низкие облака разошлись, но луна не выглянула, и тусклый белесый налет ее света, просеявшегося сквозь верхнюю слоистую мглу, двигаясь вдоль берега, покрыл пару у большого лежачего дерева. Эдуард поднял крупный голыш и в ярости стал шлепать им то по левой ладони, то по правой.

Он почти кричал:

— Телом моим тебе поклоняюсь. Вот что ты сегодня обещала. Перед всеми. Неужели не понимаешь, как нелепа и гнусна твоя идея? Как оскорбительна. Для меня! То есть... то есть... — он искал слова, — как ты *смеешь*!

Он шагнул к ней, подняв руку с камнем, потом круто повернулся и с отчаянием швырнул камень в сторону моря. И раньше, чем камень упал, чуть не долетев до воды, он снова повернулся к ней лицом:

— Ты меня обманула. Ты ведь мошенница. И знаю, кто ты еще. Знаешь, кто ты? Ты фригидная, вот кто. Фригидная. Но думала, что тебе нужен муж, и я был первым идиотом, который тебе попался.

Она знала, что не собиралась его обманывать, но все остальное, как только он это сказал, представилось чистой правдой. Фригидная — это жуткое слово, — она понимала, насколько оно приложимо к ней. Она именно то, что определяют этим словом. Ее предложение было гнусным — как она этого раньше не поняла? — и несомненно оскорбительным. И хуже всего — она нарушила обещание, данное в церкви, прилюдно. Как только он это сказал, все выстроилось. В его глазах и в собственных тоже она ничтожество.

Ей больше нечего было сказать, и она вышла из-под защиты выброшенного морем дерева. Чтобы вернуться в гостиницу, ей надо было пройти мимо Эдуарда, и, проходя, она остановилась перед ним и сказала почти шепотом:

— Я сожалею, Эдуард, горько сожалею.

Она постояла немного, помешкала, ожидая его ответа, и пошла дальше.

* * *

Ее слова, некоторая архаичность выражения будут долго преследовать его. Он будет просыпаться по ночам и слышать их или что-то вроде их эха, их печальный, томительный тон и будет стонать, вспоминая эту минуту, свое молчание и то, как он рассеренно отвернулся от нее и провел на берегу еще час, смакуя причиненную ему обиду, оскорбление и зло, упиваясь чувством своей нравственной и трагической правоты. Он расхаживал по податливой гальке, швырял в море камни и выкрикивал непристойности. Потом привалился к дереву и мечтательно жалел себя, пока снова не распалил в себе гнев. Потом стоял у кромки берега, думая о ней, и в рассеянности не замечал, что волны лижут его туфли. В конце концов побрел назад, то и дело останавливаясь, чтобы апеллировать к строгому и беспристрастному судье, который отлично понимал его претензии.

К тому времени, когда он пришел в гостиницу, она успела собрать вещи и уехать. Записки в номере не оставила. У стойки портье он переговорил с двумя парнями, которые подавали им ужин. По их словам, в семье кто-то заболел, и ее срочно вызвали домой — они были явно удивлены тем, что он об этом не знает, хотя никак не высказались. Помощник директора любезно отвез ее в Дорчестер, где она надеялась успеть на последний поезд, а потом пересесть на оксфордский. Направившись к лестнице, чтобы вернуться в номер для новобрачных, Эдуард не увидел, как молодые люди многозначительно переглянулись, но легко мог себе это представить. Остаток ночи он пролежал под балдахином, полностью одетый, по-прежнему в ярости. Мысли неслись одна за другой в бредовом хороводе, постоянно возвращаясь. Выйти за него, потом отказать, это чудовищно, хотела, чтобы спал с другими женщинами — может, хотела наблюдать, это было унизительно, это невероятно, никто бы не поверил, сказала, что любит, а он и груди ее толком не видал, заманила под венец, даже целоваться не умеет, обманула, одурачила, ни-

кто не узнает, это должно остаться его постыдной тайной, что она вышла за него, а потом отказала, чудовищно...

Уже перед рассветом он встал, перешел в гостиную, стал позади своего стула, соскреб застывший соус с мяса и картошки на своей тарелке и все съел. После этого опустошил ее тарелку — ему было безразлично, чья она. Потом доел все мятные шоколадки, потом весь сыр. На заре он вышел из гостиницы и на маленькой машине Виолетты Пойнтинг долго ехал по узким дорогам между высоких живых изгородей к пустому Оксфордскому шоссе. В открытое окно врывался запах свежего навоза и скошенной травы.

Он оставил машину с ключом в зажигании перед домом Пойнтингов и, не взглянув на окно Флоренс, с чемоданом в руке быстро пошел через весь город на станцию, чтобы успеть на утренний поезд. Обалделый от усталости, он проделал пешком весь длинный путь от Хенли до дома, намеренно избегая ее прошлогоднего маршрута. С какой стати идти по ее следам? Он не захотел объясниться с отцом. Мать уже забыла, что он женился. Близняшки донимали его расспросами и проницательными предположениями. Он отвел Гарриет и Анну в конец сада и заставил каждую по отдельности торжественно поклясться, приложив руку к сердцу, что они никогда больше не упомянут имени Флоренс.

Через неделю он узнал от отца, что миссис Пойнтинг деловито позаботилась о возвращении всех свадебных подарков. Лайонел и Виолетта вдвоем и без лишнего шума возбудили дело о расторжении брака ввиду его неосуществимости. По подсказке отца Эдуард написал Джефри Пойнтингу, президенту "Пойнтинг электроникс", официальное письмо с сожалениями о "перемене планов" и, не упоминая Флоренс, принес свои извинения, отказался от должности и пожелал всего хорошего.

Спустя год гнев его остыл, но из гордости он по-прежнему не желал с ней видеться и писать ей. Он боялся, что она уже с кем-то другим, и, поскольку она тоже молчала, убедил себя, что так оно и есть. К концу этого славного десятилетия, когда его жизнь испытала натиск новых волнений, новых свобод и мод, а также хаоса многочисленных романов — тут он наконец приобрел сноровку, — он часто задумывался о ее странном предложении, и оно уже не казалось ни таким нелепым, ни тем более гнусным и оскорбительным. В новых обстоятельствах века оно представлялось смелым, далеко опередившим время, наивно-великодушным — попыткой самопожертвования, которой он не смог понять. Черт, какая щедрость! — сказали бы его приятели; но он никому не рассказывал о том вечере. В это время, в конце 60-х, он жил в Лондоне. Кто предсказал бы такие превращения — торжество раскрепощенной чувственности, неосложненную готовность множества красивых женщин? Эдуард шел сквозь эти недолгие годы, как сбитый с толку счастливый ребенок, которому отсрочили затяжное наказание и он не в силах окончательно поверить в свою удачу. Серия коротких исторических книг — и все мысли о серьезной науке потерялись позади, хотя не было такого отчетливого момента, когда бы он твердо запланировал свое будущее. Как незадачливый сэр Роберт Кэри, он просто выпал из истории, чтобы уютно устроиться в настоящем.

Он участвовал в организации разных рок-фестивалей, помогал открыть диетическую столовую в Хампстеде, работал в магазине грампла-

стинок недалеко от канала в Камден-Тауне, писал о рок-музыке в маленьких журналах, пережил ряд беспорядочных, наезжавших один на другой романов, путешествовал по Франции с женщиной, которая на три с половиной года стала его женой, и жил с ней в Париже. Со временем стал совладельцем магазина пластинок. Был слишком занят, чтобы читать газеты, а кроме того, какое-то время держался позиции, что нельзя верить большой прессе, контролируемой, как всем известно, правительством, военными и финансовыми кругами, — впоследствии он эту точку зрения отверг.

Если бы и читал в то время газеты, то вряд ли обратился бы к страницам культуры, к длинным глубокомысленным рецензиям на концерты. Его нестойкий интерес к классической музыке совершенно угас, и он сосредоточился на рок-н-ролле. Поэтому он так и не узнал о триумфальном дебюте Эннисморского квартета в Уигмор-Холле в июле 1968 года. Критик в "Таймс" приветствовал "явление молодой страсти, свежей крови в современном культурном пространстве". Он хвалил "проникновенность, напряженную глубину, пронзительность исполнения", которая свидетельствовала о "поразительной музыкальной зрелости артистов, еще не достигших тридцатилетнего возраста. Они с властной свободой распоряжались всем арсеналом гармонических и динамических эффектов, не испытывая никаких трудностей с богатым полифоническим письмом, характерным для позднего Моцарта. Его ре-мажорный квинтет никогда еще не исполнялся так прочувствованно". В конце рецензии автор особо выделил лидера — первую скрипку: "Затем прозвучало прекрасное, выразительное, полное духовной мощи адажио. Мисс Пойнтинг, с присущим ей певучим тоном и изысканной лиричностью фразировки играла, если мне будет позволено так выразиться, как влюбленная женщина, влюбленная не только в Моцарта и в музыку, а в самое жизнь".

Даже если бы Эдуард прочел эту рецензию, он все равно не узнал бы — никто не знал, кроме Флоренс, — что, когда в зале зажегся свет и ошеломленные музыканты встали и кланялись восторженно аплодировавшей публике, взгляд Флоренс невольно остановился на середине третьего ряда, на месте 9С.

В последующие годы, когда Эдуард вспоминал ее и мысленно разговаривал с ней, или сочинял в голове письмо, или воображал их случайную встречу на улице, ему казалось, что для объяснения его жизни хватит минуты, половины страницы. Что он с собой сделал? Он плыл по течению, полусонный, невнимательный, бездумный, бездетный, благополучный. Скромные достижения его были по большей части материальными. У него была маленькая квартирка в Камден-Тауне, половинная доля коттеджа в Оверни и два специализированных магазинчика грампластинок — джазовых и рок-н-ролла — шаткие предприятия, потихоньку вытесняемые с рынка интернет-магазинами. Он полагал, что друзья считают его неплохим другом, и бывали веселые времена, озорные времена, особенно в молодости. У него было пять крестников, но участие в них он стал принимать, только когда им стало под двадцать или даже за двадцать.

В 1976 году умерла мать Эдуарда, и четырьмя годами позже он переселился в коттедж, чтобы ухаживать за отцом, у которого быстро про-

грессировала болезнь Паркинсона. Гарриет и Анна были замужем, с детьми, и обе жили за границей. К этому времени у сорокалетнего Эдуарда за спиной уже был распавшийся брак. Три раза в неделю он ездил в Лондон, заниматься своими магазинами. Отец умер дома в 1983 году, и его похоронили рядом с женой на церковном кладбище в Писхилле. Эдуард остался в коттедже — жильцом: юридическими владельцами были сестры. Первые годы он сбегал сюда от Камден-тауна, а в начале 90-х осел здесь окончательно, один. Физически Тёрвилл-Хит, по крайней мере их угол поселка, не сильно отличался от того, в котором Эдуард вырос. Соседями теперь были не сельскохозяйственные рабочие и мастеровые, а люди, ездившие на работу в город, и владельцы вторых домов, все, в общем, дружелюбные. И Эдуард не сказал бы о себе, что он несчастлив — в числе лондонских друзей была женщина, которая ему нравилась, на шестом десятке он играл в крикет за "Тёрвилл-Парк", он принимал живое участие в историческом обществе города Хенли, участвовал в восстановлении исторических плантаций водяного кресса в Юэлме. Два дня в месяц он работал в фонде помощи детям с черепно-мозговыми травмами в Хай-Уикоме.

Даже на седьмом десятке, высокий, грузный мужчина с поредевшими седыми волосами и румяным, здоровым лицом, он совершал длинные пешие прогулки. Он ежедневно проходил по липовой аллее, а в хорошую погоду совершал круговой маршрут, чтобы полюбоваться полевыми цветами на пастбище у Мейденсгроува или бабочками в природоохранной зоне Бикс-Боттом, и возвращался через буковый лес к церкви Писхилла, где предполагал быть похороненным тоже. Иногда он доходил до развилки троп в буковом лесу и думал, что тут она, наверное, сверялась с картой в то августовское утро, стремясь к нему, — всего в нескольких шагах и сорока годах от него теперешнего. Или останавливался над долиной Стонор и спрашивал себя, не здесь ли она задержалась тогда, чтобы съесть апельсин. Наконец-то он мог признаться себе, что никого не любил так сильно, как ее, что никогда не встречал ни мужчины, ни женщины, которые могли сравниться с ней серьезностью. Может быть, если бы он остался с ней, то прожил бы собраннее, стремился бы к более высоким целям и, пожалуй, написал бы исторические книги. Он был далек от классической музыки, но знал, что Эннисморский квартет стал выдающимся ансамблем, глубоко уважаемым в музыкальном мире. Он никогда не посещал концертов, не покупал коробок с дисками Бетховена или Шуберта — и даже не смотрел в их сторону. Он боялся увидеть ее фотографию, узнать, что с ней сотворили годы, услышать подробности ее жизни. Предпочитал сохранить ее такой, какой она осталась в его воспоминаниях, с одуванчиком в петле рубашки, бархатной лентой в волосах, с холщовой сумкой через плечо и ее красивое лицо с твердым костяком и широкой безыскусной улыбкой.

Когда он думал о ней, ему было удивительно, что он не удержал эту девушку со скрипкой. Теперь, конечно, он понимал, что ее смиренное предложение не играло никакой роли. Единственное, что ей было нужно, — уверенность в его любви и с его стороны подтверждение, что спешить некуда, когда впереди вся жизнь. Любовью и терпением — если бы у него было и то и другое — они одолели бы первые трудности. И тогда

какие дети могли бы родиться у них, какая девочка с лентой в волосах могла бы стать его любимым отпрыском. Вот как может перевернуться весь ход жизни — из-за бездействия. На косе он мог крикнуть ей вдогонку, мог пойти за ней. Он не знал или не хотел знать, что, убегая от него в отчаянии, в уверенности, что теряет его, она никогда не любила его сильнее или безнадежнее, и звук его голоса был бы спасением, она вернулась бы. Но нет, в холодном и праведном молчании он стоял и смотрел, как в летних сумерках она торопливо уходит по берегу — звук затрудненных шагов заглушало хлопанье маленьких волн, и скоро сама она превратилась в смутное, убывавшее пятнышко на фоне громадного прямого каменистого тракта, мерцавшего в недужном свете.

Мейвис Галлант

Рассказы

Перевод с английского Анны Асланян

Нездешний цветок

МОЯ дочь плакала, когда до нас в Кёльне дошло известие о смерти Биби. Это была первая утрата, которую ей довелось пережить, не считая смерти нашего старого коричневого пуделя. На нее это так подействовало, что начались всякие выдумки. Дочь обвинила меня в том, что это я свела Биби в могилу; в том, что относилась к ней как к прислуге; в том, что завидовала ее уму и красоте (какой красоте?); и, наконец, в том, что выжила ее из дому своими капризными требованиями, своими прихотями и своим равнодушием.

Каждому известно, каково это, когда тебя судят избалованные, ничего не понимающие дети. Разве мы когда-нибудь относились к Биби как к прислуге?! Это чистейшей воды измышление. Она с самого начала — когда мы, по существу, были ее хозяевами — ела за нашим столом и звала нас Юлиус и Хельга. В то время таких девушек, как Биби, кругом были сотни, тысячи — таких же бедных и неприкаянных. Никого тогда и не думали обвинять в его же собственной бедности или одиночестве. Намекнуть человеку, что он сам во всем виноват — да такое никому и в голову не могло прийти. Поди знай, что́ у человека за прошлое, какие невысказанные обиды прячутся в душе. Было у нас и общее прошлое — лежало повсюду грудами обугленных камней. На улицах все еще витал запах кошмара и пепла, особенно после дождя. Каждый камень заклю-

© 1972 by Mavis Gallant
© 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 by Mavis Gallant
© Анна Асланян. Перевод, 2008

чал в себе либо призрак, либо замершую жизнь, либо жуткую тайну. Людей второго сорта не было — ведь такими были все. Всем объявили общественную амнистию.

Биби, в то время девчонка лет двадцати, была беженкой из Силезии. В городке, где она, по ее словам, родилась, никого не осталось. Ни друзей, ни родственников, ни денег у нее не было, но какое-то образование она в свое время, видимо, получила, потому что в школу ее здесь приняли, в последний класс. Как ей туда удалось попасть — загадка. Мест на всех не хватало, большинство кандидатов отсеивали. В школу пытались поступить люди всех возрастов: немолодые мужчины, военнопленные, которые возвращались домой и заявляли о своем праве на образование. Столько бумаг и документов было в то время сожжено — люди вроде Биби могли рассказывать о себе что угодно. Но какой-то вступительный экзамен она все же сдала — видимо, так. И жилье себе нашла, а на жизнь зарабатывала шитьем, глажкой, присматривала за детьми — бралась за все, что ни подворачивалось. К нам она приходила по вторникам, четвергам и субботам — три вечера в неделю — помогать по хозяйству. Ужин входил в ее жалованье, но, поскольку вечером ели один только суп, продовольственную карточку у нее не забрали. Она пробыла у нас уже какое-то время, когда один из ее учителей сказал Юлиусу, что у Биби блестящие способности. Так и сказал: блестящие способности. Ни культуры настоящей, ничего... а вот поди ж ты — блестящие способности. Как только Юлиус убедился в том, что это правда, он устроил Биби на полставки в первую исследовательскую лабораторию, которая тогда открывалась в "Поснере". "Поснеру" нужны были талантливые молодые люди с большим будущим и без прошлого. Для человека в положении Биби это была невероятная удача. Она проработала в "Поснере" на этой полставочной должности до 1955 года, до публикации своей дипломной работы. ("Поснер" отправил ее в университет.) После чего перешла на гораздо лучшую работу, гораздо. С тех пор, как она познакомилась с Юлиусом, Биби во всем везло.

Диплом ее назывался "О присутствии алкалоидов в..." — в чем-то там на букву "а". Можно посмотреть — в винном погребе лежит экземпляров двенадцать, если не больше. Книга да и только — восемьдесят две страницы, не считая благодарностей и посвящений. Юлиусу одному досталась целая страница: "Доктору инженерных наук Юлиусу Лауэру, сотруднику фирмы "Поснер" (Кёльн) с искренней признательностью". Экземпляры в добротном переплете — такая коричневая бумага под дерево. Наверное, "Поснер" заплатил.

Под конец Биби стала вроде как другом. Моя дочь называла ее тетей и была приучена ее уважать. Некоторое время она даже жила с нами, десять лет в нашем старом доме, а потом несколько месяцев в доме, который у нас сейчас. Пока не перешла в американское отделение "Поснера" — там, за границей, она и умерла.

По-моему, замуж ей никогда не хотелось. Она об этом никогда не говорила. Взгляды у нее были своеобразные, и она совсем не умела скрывать того, что думает. После тридцати стала очень упрямой. Все твердила и твердила свое — обычно на какую-нибудь мрачную тему. Стеснялась своих уродливых шрамов на ногах и даже летом носила толстые чулки и не ходила на пляж.

Да если я когда и считала Биби ниже себя, как бы я могла это продемонстрировать? Отсылала бы на кухню есть в одиночестве? В то время, когда мы познакомились с Биби, кухня была лучшим местом — единственная теплая комната в любом доме. Юлиус тогда работал чуть ли не каждый вечер, и я была рада обществу Биби. Пока она шила и гладила, я сидела рядом, читала, иногда беседовала с ней, думала: хоть бы она прекратила свистеть и петь, — но вслух ничего такого не высказывала. У нее имелось несколько отвратительных привычек. К примеру, чулок у нее была только одна пара, и она боялась их износить. Едва приходила, сразу снимала их и вешала на спинку стула. Как-то раз Хайди — так звали нашего старого коричневого пуделя, — лизнула голые ноги Биби под столом.

"Хайди, ах ты свинья!" — взвыла Биби. Я забыла сказать, какая она в молодости была смешная с виду и по выговору. У нее были короткие светлые волосы, торчавшие, словно жесткие цветочные лепестки, а говорила она с грубым, забавным провинциальным акцентом, так что простейшие ее реплики звучали комически. "Хайди, ах ты свинья!" — это стало нашей с Юлиусом шуткой. Правда, с того дня, когда ему сообщили, что у нее блестящие способности, больше мы так не шутили. Чем дальше, тем меньше я понимала, как вести себя с Биби, ведь теперь она была частью "Поснера", а "Поснер" — это означало еще и Юлиус, смеяться же ни над Юлиусом, ни над "Поснером" было нельзя. "Поснер" тогда был небольшим промышленным комплексом — ничего похожего на крупную компанию вроде "Байера"; но для Юлиуса "Поснер" являл собой новую силу нации, элитную армию, куда набирали лучших рекрутов. Юлиус в этой армии-промышленности был, ну, скажем, лейтенантом. Он знал, что по мере роста этой новой армии будет продвигаться все выше и выше. Я тоже это знала, потому-то и искала помощницу; потому-то у нас и появилась Биби. Я боялась, что, если превращусь в домохозяйку, Юлиусу со мной будет скучно, и он меня бросит. Каждое утро, вместо того чтобы мыть полы и вытирать пыль, я читала газету. Газеты были тоненькие; новости в них печатали неинтересные, прошедшие цензуру или, вернее, "одобренные". Я начинала с конца, со смертей и киноафиши, потом продвигалась к началу, к политическим новостям. Днем я выгуливала Хайди и пыталась читать книги, принадлежавшие Юлиусу. Из того периода моего "самообразования" мне запомнились длинные, сонные зимние дни: вижу себя, как я изо всех сил стараюсь не заснуть. Еще я часами простаивала в очередях, потому что мясо, одежду и даже спички достать было трудно.

У меня, как и у Биби, не было друзей; родственников тоже не было, один Юлиус. Я выросла не в Кёльне, а в Дортмунде. Все, кто меня когда-либо знал или любил, погибли за каких-нибудь семь недель. Я была на пару лет постарше, чем Биби, — года двадцать четыре, — и хоть и не такая хорошенькая, как моя дочь сейчас, но на свадебной фотографии волосы у меня мягкие, каштановые. На этом снимке я стою с таким видом, будто меня только что отругали. В то время я много нервничала и легко пугалась. Переживала насчет утечки газа, насчет грабителей, которые лазят в окна, насчет велосипедов, на которых ездят пьяные преступники; еще я боялась, что могу показаться слишком глупой по сравнению с Юлиусом, недостойной быть его женой.

До сих пор вижу, как мы сидим у нас на кухне, под тусклой-тусклой лампочкой, на столе — три тарелки супа, а на полу — тарелка для пуделя Хайди. Прежде Хайди держали родители Юлиуса. "Четверо уцелевших стариков", — говорил Юлиус, хотя старой была Хайди, а мы трое — молодыми.

Юлиуса произвели в капитаны, и мы впервые поехали в отпуск, в Рим. Помню долгое путешествие на поезде, во время которого мы ели бутерброды с крутым яйцом и спали не раздеваясь. Магазины меня ослепили; мне хотелось купить подарки для десятков людей, но у меня была одна Биби. Я выбрала мраморное штопальное яйцо и пару сандалий не того размера. Мне ее ноги представлялись огромными, но, к моему удивлению, они оказались узенькими и изящными. Она двух шагов не могла сделать в новых сандалиях без того, чтобы не споткнуться. Оставила их себе в качестве сувенира. Юлиус нашел эти сандалии у нее в сундуке, обернутыми в белую бумагу, после ее смерти.

Примерно в то же время наступила и перемена в статусе Биби. Юлиус выхлопотал для нее отличную стипендию. На это и на те деньги, что она зарабатывала в "Поснере", Биби могла себе позволить снять квартиру. Она говорила, что ей и так хорошо, но Юлиус считал, что сотрудники "Поснера" должны жить прилично. К тому же комнату она снимала у семейства беженцев, а Юлиус не хотел, чтобы свои умственные силы она тратила на разговоры о приливах и отливах истории. Сам Юлиус, признаться, исторические перемены никогда не обсуждал. Умеют ли говорить листья? Нужно ли горам свое мнение? Биби по-прежнему не сдавалась, говорила, что квартир в Кёльне нет и быть не может; но Юлиус нашел и сам перевез ее в новое жилище: одна комната, газовая конфорка и раковина. Примерно то же самое, от чего она уезжала, только теперь она жила одна. Какая в комнате была обстановка, не знаю — Биби меня ни разу к себе не пригласила. Она по-прежнему приходила к нам помогать по хозяйству три вечера в неделю, по-прежнему ела свой хлеб с супом, а деньги, которые мы ей платили, откладывала. Нас поразила сумма на ее банковском счете, когда спустя много лет мы увидели ее сберкнижку.

Юлиус проявлял заботу не столько о Биби, сколько о "Поснере". Если он помогал другим, то потому, что тем самым помогал фирме. Его жизнью была работа; его кредо — будущее "Поснера". Я верила в Юлиуса. В одной из принадлежавших ему книг (от которых у меня было столько мороки зимними днями) я прочла, что веру, как и любовь, штурмом не завоевать. Я знала, что Юлиус порою лгал, но ведь так поступают все божества. Божества выдумывали красивые сказки, появлялись в странных обличьях, но ошибаться они никогда не ошибались. Я верила — ведь он так сказал, — что мы не всегда будем жить среди пепла, что он подарит мне новый, прекрасный дом. Он поручился, что Биби — гений, и мне пришлось поверить и в это. Мне ничего не оставалось, как представить себе Биби по прошествии десяти лет лауреаткой Нобелевской премии по химии. Это будет уже другая Биби, высокая и грациозная, говорящая на чистом немецком. Она перестанет напевать мотивы из "Виндзорских проказниц", такие противные в ее исполнении, она

больше не будет усаживаться, как слон, смеяться с широко раскрытым ртом, класть хлеб на ладонь, чтобы намазать маргарином.

Если в этом возвышенном и комфортабельном будущем я и делала Биби замечания по поводу ее манер, это означало, что послевоенная общественная амнистия дальше продолжаться не могла. На самом деле законы неравенства были восстановлены задолго до того, как заиграли в полную силу симфонические оркестры, вернулись домой пленные, были перестроены школы. Наблюдая, куда идет Биби, я стала задумываться о том, с чего она начала. Имя у нее было скромное, простое — Беата Брюнинг. Она давала понять, что когда-то жила не так, как другие, и в связи с этим часть школьного обучения пропустила. Почему? Болела, беспризорничала? Может, она, кроме того что родилась в Силезии, была в придачу из инородцев? Предки-мужчины порой легкомысленно подходили к выбору жен. Возможно, Биби не в состоянии была толком рассказать о себе. В моем учебнике для старших классов по элементарной биологии объяснялось про чистых и нечистых, начиная с растительной жизни. Вот на снимке изображено местное растение, прямое, замечательное, а на фотографии рядом — другое: чахлое, ни разу не расцветавшее — какой-то нездешний цветок. Круглое лицо Биби, ее спокойные глаза, доброжелательное выражение лица и стремление угодить свидетельствовали всего-навсего о крестьянском здравомыслии; и все-таки она была не такая — она была "другая". Родственников своих она никогда не упоминала, не говорила о том, как они умерли. Я могла лишь догадываться, что они исчезли, как это обычно случалось в недавнее время: погибли на фронте, или бесследно пропали на востоке, или заживо сгорели при воздушных налетах. Кто такие были Брюнинги? Может, она их стыдилась? Может, они были социалистами, радикалами, нарушителями порядка, спекулянтами, проститутками, истязателями жен, доносчиками, свидетелями Иеговы? После ее смерти никакие претенденты на ее банковский счет не дали о себе знать, хотя Юлиус аккуратно давал объявления. Кто бы ни были эти Брюнинги, Биби единственная из них выжила, и она была такой же чистой, как и мы все, в том смысле, что была одинока, напрочь лишена друзей, детских историй и самого детства. Но ведь существовал же кто-то, когда-то, кто называл ее Биби. Уменьшительное имя сами себе не придумывают.

Конечно, не эти длинные рассуждения составляли мою жизнь — в ней хватало всяких тем, обычных вопросов и ответов. Однажды ко мне в руки попала новая информация о Юлиусе. Я встала на стул — снять пару простыней с верхней полки шкафа, и тут на меня соскользнуло сложенное одеяло вместе с его старой курткой. Чтобы удержаться, я вцепилась в край полки, и пальцы наткнулись на какую-то тетрадь. Оставшись стоять на стуле, я уронила тетрадь, и она раскрылась. Это оказался дневник какой-то неизвестной девушки. Я прочла, как с Юлиусом солнечным зимним днем придвигали кровать этой девушки поближе к окну. "Нас никто не видел", — сочла своим долгом отметить она, словно писала не для себя — для кого-то другого. Из соседей — лишь стена разбомбленного здания, ее снежные контуры. По-зимнему голубое небо.

"Теперь я свободна" — такая была моя первая мысль; но что я имела в виду? Я хотела жить с Юлиусом, а не без него. Я сама не знала, что́ имела в виду.

Мне вспомнился новый, прекрасный дом, который он мне обещал, с часами из Голландии, обоями из Франции, плиткой для бассейна из Италии. Я села и прочла дневник от начала до конца.

В день рождения этой девушки Юлиус повел ее в ресторан, но там появились люди, "связанные с ним по работе". Юлиус крутился, вертелся, пытался спрятать лицо и в конце концов отправил ее в дамскую уборную, дав указание подождать там пять минут, а потом идти домой, не останавливаясь и не заговаривая с ним. "Как плохо кончился вечер, начинавшийся столь многообещающе", — замечал автор. Где она жила — в Кёльне? Записи были такие: "две ночи", или: "один день", или: "полтора часа", а за этим: "делали всё", потом: "всё", потом, под конец, просто начальная буква этого слова, как будто саму ее это уже не удивляло и не приводило в восторг. Как-то раз, в скучный одинокий выходной, после многодневной разлуки с Юлиусом, она записала: "Солнце заливает все крыши, полнит радостью каждое сердце, а я Над крышами солнце сияет, а я В сердце моем грусть, хоть солнце и полнит каждое сердце..."

— Хельга, что с вами?

Это ворвалась Биби — озабоченная, добрая, потешная до крайности. Мне тогда еще подумалось: с ее акцентом даже трагедия уморительной покажется. Я начала смеяться и выпалила:

— У Юлиуса всегда были другие женщины, но раньше он их вещи не оставлял в таких местах, где я могу их найти. — Биби была явно ошеломлена моими словами. — Всегда были женщины, — повторила я. — А я сказала, мне все равно.

По правде говоря, я каждый раз умереть была готова. Да и девушки-то были какие-то жалкие, иногда почти неграмотные. Опустив глаза на лежавший у меня на коленях дневник, я подумала: ну, эта хоть пишет без ошибок, а я — его жена, он обо мне заботится, он мне дом обещал.

— Ой, Хельга, — заплакала Биби, упав на колени и вцепившись в мои руки, — вы ко мне всегда так хорошо относились. — Она пробормотала что-то еще. Я заставила ее повторить. — Ничего не понимаю — я же таких дневников не веду, — вот что сказала Биби.

Вот так, в тот же час, я узнала еще и про Биби с Юлиусом. Представьте себе мое положение: я была беременна, мне и на стуле-то стоять не следовало, если на то пошло. Чувствовала я себя плохо. У меня случались такие сильные спазмы, что Юлиус спрашивал, не пытаюсь ли я с помощью рвоты избавиться от ребенка. Кроме Юлиуса у меня никого не было. Куда я могла пойти? Более того, как я уже говорила, я вовсе не хотела жить без него. А что касается Биби, когда мне становилось совсем худо, она была единственным человеком, от чьего запаха кожи и волос меня не выворачивало наизнанку. Я не выносила запаха ни мыла, ни одеколона, ни готовки, ни молока, ни дыма, ни других людей. Биби за мной ухаживала. Однажды она робко сказала: "Знаю, знаю эту смесь голода и тошноты, когда мечтаешь только об одном — о хорошем белом хлебе". А я, помню, обливалась потом, дрожала и думала, что это она, Биби, и есть хороший белый хлеб. Ненависти к Биби у меня никогда не было. Жалость — допустим. Я, в общем-то, плохо знала Юлиуса и боялась взрывов. Да, можно было ему сказать: "Я все знаю про вас с Биби".

И что дальше? Биби уходит, мы с Юлиусом остаемся одни. Он знает, что я знаю; это означает, что мы навечно остаемся жить среди развалин и пепла. Мне было ясно одно: Биби в полном отчаянии. Я увидела ее потрясенное лицо, ее грубые руки и тоже заплакала, и мы двое — двое взрослых, осиротевших в войну, — вытирали друг дружке слезы. Биби так и не поняла, что я знаю, — это точно.

В больницу, где родилась Рома, меня провожала Биби. Юлиус был в Бельгии. Я попросила Биби послать ему телеграмму насчет имени ребенка. "Я хочу — Рома, потому что она была зачата в Риме, — сказала я ей. — Только в телеграмме не пиши 'зачата'. Юлиус поймет".

Она кивнула и вышла, проговорив что-то со своим смехотворным акцентом. В каком-то смысле больше я ее никогда не видела — я хочу сказать, больше мне ни разу не довелось увидеть Биби такой: юной, добросердечной. Юлиус вернулся до получения телеграммы — возможно, она ее не отправила. Прошло два дня, пока я схватилась спросить о Биби, и еще один — пока ее нашли. Она приняла гарденал. Осталась жива, но впала в кому, надолго. Состояние было запущенное. У нее появились язвы на ногах, и ей пришлось много времени пролежать в больнице — в той больнице, где родилась Рома, — после операций по пересадке кожи. Потому-то она с тех пор вечно и носила толстые чулки, даже летом.

Мне поначалу ничего не сказали. Юлиус что-то выдумал. Сказал, что Биби познакомилась с молодым инженером и сбежала с ним. На нее это было непохоже, но и ему подобная изобретательность была не свойственна, так что я решила, что это, наверное, правда. Я сидела, прислонившись к подушке в накрахмаленной наволочке, которую Биби принесла мне из дому, и призывала Юлиуса полюбоваться на ручки и ножки Ромы. Он сказал, что любовника Биби зовут Вольфганг, и мы смеялись, представляя себе, как Биби в первую брачную ночь говорит: "Вольфганг, ах ты свинья!"

Позже Биби сумела мне объяснить лишь одно: где-то между моей палатой и выходом из больницы она попросила Господа поразить ее молнией. Стоя неподвижно, сосчитала до десяти; десять секунд — такой она дала Ему срок на доказательство того, что Он слышит. Ничего не произошло. Она увидела увядшую бегонию на подоконнике; санитарку, везущую тележку с чайными кружками; отца с двумя детьми, ждущих на скамейке с терпеливостью неведающих. Припомнить, отправила ли она все-таки телеграмму, Биби не смогла. Дальше она оказалась дома, в комнате, которая, как повторял Юлиус, должна была соответствовать ее новому положению, и там приняла гарденал. Гарденал был в больших плоских таблетках, вроде солевого слабительного. Она сказала, что они были у нее "всегда", даже в лагере для беженцев. Странно: имея в "Поснере" доступ ко всевозможным современным ядам, смерть она выбрала старомодную, женскую. Сидя на краю постели, она терпеливо ломала таблетки, одну за другой. Ей пришлось выпить столько воды, что ее начало тошнить, и в конце концов она разогрела на конфорке немного молока. Вероятно, молоко ее и спасло.

Ей представлялось, что умирание — это как медленно действующий наркоз; она думала, смерть можно вдыхать как свежий воздух. Но это, говорила она мне, оказалась черная накидка, слетающая на тебя, — буд-

то плащ, соскальзывающий с крючка и мягкими складками падающий тебе на руки и лицо.

К тому времени, когда Биби достаточно окрепла, чтобы обо всем этом мне рассказать, Юлиус забыл ее, да и меня почти забыл. Он был влюблен в одну лишь Рому, десятидневную кроху, названную в честь отпуска. Это был тихий роман, на время принесший нам всем относительный покой. По-моему, Юлиус ни разу не навестил Биби, хотя и оплатил отдельную палату, операции по пересадке кожи и долгое лечение, пока она выздоравливала. Биби умоляла, чтобы ее положили в общую палату, потому что в одиночку чувствовала себя несчастной, но Юлиус отказал. В конце концов она вернулась к нам, ведь мне нужна была помощь — мое здоровье было подорвано. У меня случались приступы плача, такие продолжительные, что веки становились чувствительны к дневному свету, и я вынуждена была часами лежать в темноте. Биби работала на полставки в "Поснере", ухаживала за Ромой, вела хозяйство и следила за тем, чтобы мне не мешали приходить в себя — медленно, очень медленно.

Юлиус стал майором, и мы переехали в новый, прекрасный дом — первый из наших домов. Биби выделили отдельную комнату, рядом с Роминой. Она прожила в этой комнате десять лет и ни разу ничего в ней не изменила. Никакой мебели не признавала, кроме кровати, шифоньера, книжного шкафчика, служившего ей ночной тумбочкой, и лампы. Ни с кем не переписывалась. Ее книжки, все по одному предмету, назывались "Тетраэдрон леттерз"[1], "Химия стероидов", "Реакции стероидов" и так далее. Я пыталась читать ее диплом, но не могла осмыслить такие вещи, как "... многократно промытые раствором бикарбоната натрия, затем дистилированной водой и высушенные сульфатом натрия. После выпаривания осадок..." Я обнаружила, что она ведет записи, но они мне ни о чем не говорили. "Понедельник. Беседа с арабским студентом в столовой. Интересно". "Вторник. Funtumia latifolia — дерево в Западной Африке. Цветы белые. Древесина белая. Используется для изготовления спичек, ящиков для фруктов". "Среда. Сдохла Хайди". "Четверг. Рома рисует папу, маму, тетю Биби, себя, надгробие для Хайди. Приняла рисунок в подарок". "Пятница. Менструация". "Суббота. Союзники запрещают демонстрацию против перевооружения". "Воскресенье. Посещение питомника. Новый щенок для Ромы. Рома в нерешительности". Вот типичный пример записей, сделанных Биби за неделю.

К красоте Биби была совершенно равнодушна. Ее комнату невозможно было сделать приятной или интересной, и я старалась не пускать туда посторонних. Она никогда не оставляла ни полотенца, ни зубной щетки в ванной, отведенной им с Ромой. Иногда я думала, может, она выросла в детдоме, где в каждой второй постели скрывался потенциальный воришка. Воду она всю жизнь предельно экономила. Поначалу, когда она мыла посуду, я никак не могла уговорить ее ополаскивать тарелки. Расход воды следовало ограничивать, но почему, я так и не поняла. Кусок мыла или тюбик зубной пасты она могла хранить месяцами. Ей хотелось жить так, чтобы ничего не иметь, ничего не тратить. С другой сто-

1. Известный английский химический журнал.

роны, стоило какому-нибудь предмету попасть ей в руки, впоследствии — не отдай она его сразу же — расстаться с ним было для нее мучением. Иногда я брала ее сумку и все оттуда вытряхивала. Выбрасывала сломанный гребешок, захватанное зеркальце, огрызки карандашей и весь этот мусор заменяла новыми, чистыми вещами. Но она ходила несчастная, пока все не делалось старым, потрескавшимся — пока снова не становилось "ее". Большинство беженцев слишком много разговаривают. Биби говорила слишком мало, невразумительными обрывками фраз, что настораживало. Выпивка моментально бросалась ей в голову. На наших вечеринках я за ней приглядывала и, едва заметив дурные признаки — сузившиеся до щелочек глаза, откинутая назад голова, доверчивая улыбка, — тут же отбирала у нее стакан. Однажды, во время званого ужина, ее голос перекрыл разговоры остальных: "Некоторых подростков известные профессора обучали в тяжелых условиях алгебре и физике. Одну цыганскую девочку по имени Анжела, сидевшую в концлагере, научила читать и писать женщина — доктор философских наук, мужа которой расстреляли в тюремном подвале в Москве в 1941 году".

После этого мы с Юлиусом заключили негласный уговор: Биби спиртного не давать — разве что когда мы одни. Не могла же я ожидать от гостей Юлиуса, что они уйдут из собственного дома, от собственного телевизора, и все ради чего — послушать бессвязные россказни. В тот год все каналы телевидения отмечали годовщину освобождения концлагерей. Рома сидела на низеньком табурете, упершись локтями в колени, и смотрела не отрываясь. К тому времени у нас в семье появился пятый человек, юноша из "Поснера" по имени Михаэль. Его привел Юлиус. Михаэль, наверное, уже тогда задумал жениться на дочери шефа, ему нужно было только сообразить, как бы остаться у Юлиуса в фаворе, пока Рома не подрастет. Он, я заметила, решил, будто тете Биби тоже надо угождать. Можно сказать, Михаэль был в своем роде еще одной Биби. Фирма намеревалась послать его на продвинутые курсы по управлению производством, совсем как Биби когда-то послали в университет.

Михаэль пытался прощупать политические настроения в доме: вставал, садился, периодически выказывал интерес к роминой телепередаче, и все это выходило у него жутко неловко. Боялся, что чрезмерным вниманием к экрану вызовет раздражение у троих старших, а если не продемонстрирует достаточный интерес, может навсегда потерять Рому. Рома тогда была такая маленькая, что Михаэль в свои двадцать два года казался ей, наверное, кем-то вроде родителя. Биби сидела и читала речь, которую Юлиусу предстояло произнести на конгрессе, где заседания должны были проходить на английском языке. Время от времени она бросала взгляд на экран, потом продолжала вносить исправления зеленым карандашом. Английский у нее был лучше, чем у Юлиуса, но он сказал — слишком правильный. Впоследствии он выбросил половину сделанных ею изменений со словами: "Может, это и хороший английский, но так никто не говорит". Выражение лица Биби, когда она взглядывала на экран, казалось мне чересчур терпеливым, словно перед ней были слишком заигравшиеся "дети" — так она называла Рому и Михаэля. Какая теперь разница, казалось, говорила она самой себе. Ну, а я занималась своими делами. Роме я никогда не перечила, а в присутствии Юлиуса и подавно. Я смотрела передачу, и мои симпатии метались туда-

сюда. То я ненавидела мужчин и женщин, которые что-то совершили от моего имени, а то ненавидела жертв — да, ненавидела, всей душой. Разговоры о давнишних смертях — разве можно это считать нормальной беседой? Неважно, что́ показывали по телевизору, что́ нам следовало пересмотреть или увидеть в новом свете, — дом у меня был большой, а прислуги не было, если не считать итальянки на полдня. Даже несмотря на помощь Биби по вечерам после работы, дом отнимал слишком много сил. У Ромы в фантазиях, может, и присутствовали отчаяние и грусть, но мои-то фантазии были разбомблены, исчезли, и что бы от них ни осталось, все это надо было вымыть, начистить и содержать в идеальном порядке. В такие моменты возникало ощущение, будто Биби знает больше, чем я. Она со своим опытом нужды казалась такой высокомерной, такой недосягаемой, что мне хотелось наорать на нее: "Черт бы тебя побрал, Биби, я видела, как моя мать бежит, выбегает из горящего дома, с охваченными огнем волосами. Когда она умерла, руки и лицо у нее были, как черная бумага". Потом передача подошла к концу, Юлиус встал перед экраном и начал читать Михаэлю нравоучения. Он говорил: "Жизненная миссия — цель. Что такое жизнь, если нет идеалов?" Стоял, заложив руки за спину. Он никогда не курил, даже когда сигареты было трудно достать и все о них мечтали. Юлиус экономный, аккуратный; через день ест на ужин одну простоквашу. Он говорил: "У этих обиженных судьбой людей, которых вы сейчас видели, миссия была". Михаэль, будущий начальник, сидел, благоговейно внимая каждому слову, оброненному Юлиусом. "О да, высоко духовная миссия, — непринужденно продолжал Юлиус. — Цель высоко *духовная* — по природе своей. Вот поэтому их и помнят". Биби (она что, выпила лишнего?) сказала: "Миссией Михаэля будет призывать людей покупать синтетические изделия, которые им на самом деле не нужны. По-вашему, эти вещи можно сравнивать?"

Потолок не обрушился. Юлиус всего лишь рассмеялся. До чего же он стал мягким, сговорчивым!

"Папа такой коротенький — он, когда садится, похож на песика, выпрашивающего сахар", — сказала его любимая Рома; это произошло примерно тогда же. Рома в тот раз только что впервые попробовала шампанское. Юлиус, улыбнувшись, коснулся ее сияющих волос. Стыдно признаться, но, с тех пор как Рома высказалась таким образом насчет песика, Юлиус стал мне сниться в этом образе. Он был терьером, который лаял просто непрерывно. Рома подрастала, но он как будто бы ее не ревновал. Фактически он сам выбрал ей мужа, какого хотел. Он отобрал Михаэля, когда Роме было каких-нибудь лет четырнадцать, и начал его дрессировать, а потом снова вернулся к другим женщинам.

Девушка с дневником была давно забыта. Юлиусу изо дня в день звонил по телефону кто-то другой. Он тащил длинный провод телефона из спальни к себе в ванную. Слушать по другому аппарату не посмела бы даже Рома — он мог улыбаться, глядя на нее — дерзкую и хорошенькую после только что выпитого стакана вина, но мог быть и страшным. Я ни разу не видела, чтобы кто-нибудь выдержал его взгляд. Он брал телефон в ванную и подолгу разговаривал. Звонки прекратились. В недели затишья мне снились обстрелы, кто-то, выдававший себя за мою мать, и собаки. Внезапно Юлиус приказал мне отправиться вместе с ним в долгую

служебную поездку: Гонконг, Япония, Калифорния и Ванкувер. Сказал, что ему надоело путешествовать одному. Я поняла: ему нужна защита от женщины, которая стала его утомлять — либо она была там и ждала, либо собиралась последовать за ним. Я вспомнила телефон и особые длинные звонки междугородней, звонки, которые продолжаются после того, как снимешь трубку. Иногда я думала взять Рому и исчезнуть, но эта мысль всегда оказывалась недолговечной. Жить вне собственного дома мне не хотелось.

— Если тебе просто нужна компания, возьми Биби, — сказала я. — У Ромы сейчас трудный возраст. Я не могу ее оставить. Биби нигде не бывала. Ты же сам говорил, что хочешь отправить ее учиться в какой-нибудь англосаксонский университет.

Однажды он действительно так сказал — правда, пятнадцать лет назад. Тем не менее когда-то именно он выдвинул такую идею и потому теперь решил, что это принесет Биби, а значит, и "Поснеру", определенную пользу. Это означало и еще кое-что — возможность избавиться от нее достойным образом. Было очевидно, что идея путешествовать в компании Биби его не привлекает. Теперь она стала старым другом семьи — скучная, педантичная. А он человек занятой, времени на разговоры у него мало. У Юлиуса имелись личные и профессиональные знакомства в Южной Африке, Аргентине, Швеции, Милане и многих других местах, где я ни разу не бывала. Он по-прежнему принимал большое участие в судьбе молодых людей, если считал, что они того стоят и сумеют правильно распорядиться образованием. Разве он хоть как-то, хоть когда-то был несправедлив по отношению к Биби? Что бы она делала без Юлиуса? Сколько беженцев годы жизни отдали бы за то, чтобы очутиться на ее месте! Юлиус был в прекрасной форме. Каждое воскресенье занимался йогой. Я сдалась — пусть будут две кровати, — но идею отдельных комнат не поддержала.

Биби согласилась на интересную поездку и на предложение поучиться в англосаксонском университете без благодарности и без радости. Это означало перерыв в работе, которой она была увлечена; к тому же она боялась самолетов. "Там будет как в сказке", — грустно произнесла она. Наверное, вспомнила истории о том, как родители бросают маленьких детей в глухом лесу, потому что им больше нечем их кормить. Ей представлялись темные ветви, ночь, вороны, расправляющие крылья, крохотные бесенята, вопящие что-то невообразимое.

— Ну конечно, тебе все сказки представляются, — сказала я. — Но не забывай, что ты взрослая женщина.

Я посмотрела на ее бледные щеки и попыталась вспомнить другую Биби, с волосами торчком — не голова, а подсолнух. Теперь у них с Юлиусом не было ничего общего, если не считать того, что оба они обожали Рому. Я показала ей дневник той девушки, и она была потрясена. Сказала: "Что за невежда!" — и я поняла, как мало она о нем знает. Не будь сама Биби в свое время неполноценной *с виду*, не произнеси она "Хайди, ах ты свинья!" с выговором деревенской девчонки, Юлиус на нее и не взглянул бы.

Юлиус, который всегда ловко устраивал дела, бросил Биби в университете на западе Канады и вернулся домой один. Потом пошли ее письма,

полные боли, тоски по дому, — каждый день по письму. Она рассказывала о надписи "Газ по городским ценам", которую так и не поняла и которая стала символом всего, что ей там было никогда не взять в толк. Придя в итальянскую бакалейную лавку, она стояла и плакала, потому что это была Европа. Воспоминания о городах и улицах были острыми, как нож. Каждая девочка напоминала ей Рому. Она писала, что внезапно поняла, какая стала старая и неинтересная. Такая неуклюжая; волосы с годами меняют цвет. Заглянув в книжный магазин и обнаружив там полку с немецкой поэзией, она сделала комплимент владельцу. Тот сказал: "Да, стараемся", — с таким сарказмом, что она поняла: ее акцент и вид оскорбительны. Хотела было ответить, но в английском, который Юлиус называл "слишком правильным", оказалась куча дыр. Она стала бояться магазинов, а если заходила в какой-нибудь, стояла у дверей, не решаясь сказать, что ей нужно, пропуская других покупателей вперед. Она остановила на улице незнакомца, чтобы спросить дорогу. "Убирайся к черту", — ответил он. Она считала недели, дни и минуты до того момента, когда сможет вернуться к нам. В аэропорту она первой обняла Рому.

Рома шепнула:

— Михаэль считает, что я у него в кармане, но это мы еще посмотрим. Папа сказал, пусть живет у нас, но комнату тети Биби занять я никогда никому не позволю.

Я услышала и подумала: теперь Биби останется со мной до конца моих дней.

Так ли уж это было плохо? Пока Биби набиралась опыта и писала свои полные отчаяния письма, я заболела. Однажды Юлиус попросил меня распаковать его чемодан, и я обнаружила, что не могу ни двигаться, ни говорить. Это прошло, но приступы возобновлялись всякий раз, когда Юлиус мне что-нибудь приказывал. Невропатолог, к которому он меня отправил, сказал, что приступы паралича вызваны ни чем иным, как недостатком кальция — только и всего. Мне велели съедать по шестьдесят грамм сыра четыре раза в день. С появлением Биби проблемы с кальцием у меня прекратились. Она взяла на себя свои прежние обязанности, глажку и мытье посуды после ужина — все, что забывала или недоделывала итальянка, — а я снова принялась за чтение. Читала меньше книг, больше журналов. "Поснер" теперь владел несколькими. По предложению Юлиуса в редакции каждого из них повесили плакат, гласивший: "Ваши читатели университетов не кончали".

Потом Юлиус стал полковником, и мы переехали сюда, в самый новый, самый лучший из наших домов. Мы его купили, и Юлиус оформил его на меня, как давно обещал. Каждое окно мне принадлежит.

Я знала про Юлиуса довольно много — но не все. Как-то летним вечером мы сидели на балконе, все впятером, перед нами — переносной телевизор, остатки заката. Юлиус пошел в дом, принести бутылку белого вина. Имея двух жен и дочь, которые его обслуживали, он мог сидеть, палец о палец не ударяя, но по части вина был разборчив (погреб у него укрепленный, звуконепроницаемый) и считал, что никто, кроме него, не знает, как правильно вытаскивать пробку из бутылки. Вскоре я пошла за ним, посмотреть, не нужно ли ему чего. Он был в кухне со стаканом в руках, стоял, попивая вино, перед зеркалом, погруженный в безмолвную беседу. Возможно, говорил: "Как нам с тобой хорошо". Улыбнулся, лицо

скривилось — возможно, сказал: "Ну, знаешь, как оно порой бывает". Он соблазнял кого-то в зеркале — да только это он сам и был. Юлиус наблюдал, как Юлиус соблазняет Юлиуса. Мне вспомнилось, каким он был уверенным в пору влюбленности. Я вернулась на балкон и села.

— Юлиус — замечательный, умный человек, — произнесла я. Никто не ответил. Это мнение считалось в доме неоспоримым.

Закат умер; Михаэль включил лампочки, скрытые в деревьях и на дне бассейна. В ожидании вечерних новостей мы с некоторым отвращением смотрели конкурс любителей пива.

— Зачем нам это показывают? — Юлиус вернулся, держа между пальцами букет бокалов на длинных ножках. Осторожно поставил бокалы. — Здесь же нет никаких баварцев.

— Верно! — воскликнул Михаэль. — Какие же мы баварцы? Рома у нас не из Баварии, а ее мама из Дортмунда, а тетя Биби — из... а... а вы — из... — Ему следовало бы знать, где родился Юлиус, — он наверняка достаточно часто встречал важнейшие факты биографии шефа в публикациях "Поснера". — Отсюда, из Кёльна, — выдохнул, не ошибившись, Михаэль.

На экране хрупкая девушка осушила кружку пива за шесть секунд. Горло ее мучительно напрягалось. Оказалось, она тоже не из Баварии, а из Берлина. Она сказала, что заметила за собой талант быстро пить, когда была еще совсем маленькой. С молоком или пивом получалось, а вот с водой — не так хорошо.

Как только начались новости, Юлиус стал выказывать признаки недовольства. Внешняя сторона событий в мире всегда его раздражала. Какой прок от разговоров? На середине какого-то высказывания по поводу Общего рынка он выключил телевизор со словами: "Ни одного компетентного человека".

Услужливый Михаэль предложил:

— Почему бы вам не посылать в политику толковых, хорошо обученных людей из "Поснера"? Можно было бы взять кого-нибудь, подающего надежды, дать ему солидное образование и запустить в хорошую партию — да что там нескольких человек, во все партии. Тогда, кто бы ни победил на выборах, вы всегда были бы уверены, что все будет делаться с толком...

Он никогда не договаривал фразы. Даже если предложение естественным образом доходило до точки, звучало оно так, будто до конца еще далеко. Иногда мой будущий зять тоже напоминал терьера, который всматривается то в одного большого человека, то в другого, размышляя, кто сунет ему кусочек чего-нибудь вкусненького.

— Неужели, Михаэль, вам не приходит в голову, что это аморально?

Опять эта Биби: сидит в сторонке — грузная, в теплых чулках, со своими колкими, тяжелыми разговорами. Да она бредит, подумала я. Мне показалось, что голос у девушки сделался скрипучим. "Девушка" — так я ее называла, но той, что настроилась испортить нам удовольствие от погожего летнего вечера, было под сорок, у нее были выпученные голубые глаза и репутация эмигрантки-неудачницы.

Вслед за Биби, как будто мало было одного ее замечания, заговорила дерзкая Рома:

— Вашему поколению только о морали и рассуждать.

Это было неприятно — значит, она путает поколения, и мы у нее получаемся старше, чем на самом деле.

Биби засмеялась:

— Ты, девочка, мала еще все про нас знать.

— Хватит, — сказал Юлиус — ему не обязательно было кричать, чтобы его боялись. — Хватит, Биби. Нечего портить мне дочь.

Сердце у меня колотилось. Я впервые почувствовала, что мы с Юлиусом думаем одинаково. Наш брак — наша крепость. Я сказала себе: да, мы вместе сидим за стеной. Снаружи высятся груды тел. Не надо на них смотреть. Я простила ему и Биби, и девушку с дневником, и две кровати, и междугородные телефонные звонки, и то, что он, как павлин, прихорашивался перед зеркалом. Позабыла сотню обид и несправедливостей.

Биби отодвинула свой стул, поднялась, помешкала и, взглянув поверх наших голов, осмотрев весь сад, пошла прочь, вниз по уклону лужайки. Бассейн, деревья, импортные белые камелии в горшках были красиво освещены. Мы — в особенности Рома — так очаровательно смотримся, подумала я, и нате вам — один человек берет и уходит со сцены. Внезапно Михаэль воскликнул: "Соседи!" — и щелкнул выключателем; дурацкий поступок: в результате мы остались сидеть в темноте. Впоследствии он объяснял, что решил, будто Биби собирается утопиться в пруду, а наши соседи, заинтересовавшись шумом ссоры (каким шумом? мы тихо разговаривали), могут начать наблюдать за нами в полевой бинокль.

— Включите свет, немедленно, — велел Юлиус, не двигаясь с места.

Мы увидели приникшую к Биби Рому и услышали, как она всхлипывает:

— Я не про тебя, я про всех остальных.

— Ну вот, в такой приятный летний вечер мою дочь довели до слез, — эти слова Юлиус произнес как бы мимоходом, словно жалуясь на очередной пункт некого длинного списка. Но мы наконец-то смогли засмеяться: Михаэль, нервничая, нажал на все кнопки, какие нашел, отчего ворота в конце дорожки стали ездить туда-сюда, двери гаража — открываться и закрываться, а бассейн в саду — мигать, как звезда. Лилии на поверхности бассейна засверкали вспышками: горит — не горит. (Выращивать лилии Юлиусу удавалось благодаря одной идее Биби: их корни подпитывала химическая смесь, заключенная в шарообразную емкость. Даже с цветами вид у бассейна был безжизненный. Эти водяные лилии мне никогда не нравились — стрекоз приманивают.) У меня в голове возникла картина, от которой свело желудок: Биби плавает лицом вниз среди лилий, вспыхивающих: горит — не горит, а на ее мокрые волосы пикируют стрекозы.

Потом Биби позволила Роме привести себя обратно к нам. Юлиус налил вина, как будто ничего не случилось, и ответил на вопрос Михаэля. "Идея, близкая к вашей, обсуждалась, но мы ее отклонили". Пускай последнее слово останется за Юлиусом, решили мы все.

В конце концов Биби умерла в Америке, отравилась газом. Туда, в американское отделение "Поснера", она поехала по собственному желанию. Оставила на кухонном столе свой паспорт, чековую книжку и какие-то мелкие деньги. Деньги были придавлены мраморным штопальным яйцом, которое я много лет назад привезла ей из Италии. Своим ближай-

шим родственником она назвала Юлиуса, а прямой наследницей — Рому. Было там еще и запечатанное письмо для Юлиуса, которое полиция вскрыла до его приезда. Юлиус, хоть и не родственник, конечно, полетел туда. Биби прожила у нас двадцать лет, а мы так и не знали, есть ли у нее какая-нибудь настоящая родня. В письме она говорила, что завещает свое тело медицинскому институту; правда, упомянула и о том, что, надеется, денег на столе хватит на скромные похороны, в результате невозможно было толком понять, чего же она хотела. Обстоятельства были таковы, что не обошлось без полицейской экспертизы. Юлиус привез домой фотокопию ее письма — оригинал остался в полиции. Вместо того, чтобы рассказать, почему она решила покончить с собой, Биби объясняла: она выбрала раннее утро, чтобы ее обнаружили в дневные часы, а не после наступления темноты. Ей доводилось слышать про несчастные случаи, вызванные тем, что в комнате, заполненной газом, включали свет. Я сказала Юлиусу, что ей надо было просто отключить электричество — где-то в квартире наверняка имелся рубильник. Но Юлиус ответил, нет, Биби, вероятно, и об этом подумала. Что, если ей предстояло пролежать в одиночестве, пока ее не обнаружат, несколько дней, как произошло после той, первой, горе-попытки с гарденалом? Кто-нибудь посторонний мог бы взломать дверь, поискать выключатель и, не найдя, по рассеянности зажечь спичку. Выходило сложно, не особенно правдоподобно. На деле же ее нашли средь бела дня, и никто не пострадал.

Позже, гораздо позже, как-то вечером, когда Юлиус пребывал в хорошем настроении, я спросила его про дневник той девушки: как он оказался в шкафу среди белья. Чтобы понять, о чем я говорю, ему понадобилось несколько минут, а потом он сказал, что дневник принадлежал человеку глупому, необразованному. Про полку он вспомнить ничего не мог. Вообще-то, он был уверен, что выбросил дневник в мусорную корзину, не читая.

— Что она имела в виду под этим "всё"? — спросила я.

Он не помнил.

— Видишь, как мало она для меня значила. Я ее знать не хотел, вот она и прислала мне дневник, чтобы я прочел о ее душе. Мы обсуждаем вымышленную ситуацию. Никаких доказательств, что я к этому причастен, нет. Мое имя нигде не фигурировало, — подвел итог Юлиус.

Во время этой беседы мы сидели на балконе. Юлиуса, которому еще не исполнилось и пятидесяти, произвели в генералы, и мы выпили за его успехи и его жизнь. Я почувствовала тошноту и головокружение, как бывает, когда мгновение повторяется — словно мы однажды уже сидели вот так и я уже слышала, как Юлиус рассказывает про ту же часть своего прошлого. Перед глазами у меня стояли водяные лилии.

— Биби мне снится, — сказала я.

— Она была неизлечимо больна, — ответил он.

Прежде об этом ни разу не упоминалось. Водяные лилии казались огромными.

— Это было в заключении экспертизы?

— Естественно.

Божества выдумывают нужные сказки, но ошибаться они никогда не ошибаются. Наверное, это правда — Биби была неизлечимо больна и умерла, чтобы избежать бессмысленных страданий. На этом наш разго-

вор и закончился бы — продолжать его не было никакого проку. К сожалению, у меня оставался еще один вопрос.

— В тот первый раз, — сказала я. — Когда ты в первый раз, уехав, захватил с собой для компании Биби, а потом ее оставил и вернулся один. Помнишь? В день, когда вы уезжали, произошла одна вещь. Мы с Ромой были в гостиной и вдруг услышали, как в прихожей кто-то заливается истерическим смехом. Рома выбежала первой и начала кричать, так же пронзительно. Биби стояла перед зеркалом, примеряла шляпу. Это была шляпа, специально купленная для поездки. Плебейская шляпа. Отвратительная, ужасная, из дешевого бирюзового трикотажа. Вкуса у нее не было — любая продавщица могла ей что угодно всучить. Продавщица сказала, что у нее некрасивая линия волос; а эта шляпа-позорище закрывала ее голову от бровей до затылка. Михаэль, младший по званию, успев увидеть, что ты смеешься, сложился пополам, завывая, самого себя пытаясь превзойти в смехе. Ты сказал Роме: "Я вас в аэропорту заведу в какой-нибудь угол, чтоб ее ветром унесло". Рома — ей было лет пятнадцать-шестнадцать — хохотала: "Тетя Биби похожа на хрюшку, вырядившуюся актрисой". На это Биби, которая тоже смеялась, сказала, отойдя от зеркала: "Ну зачем же ты так". И тут как раз ты заметил, что я-то вовсе не смеюсь. Ты отвернулся и опустился на колени застегнуть чемодан, как будто эта сцена тебя больше не касалась. Тогда-то с Биби и было покончено. Михаэль тоже почувствовал, что власть перешла в другие руки. Ко мне.

Все сказанное должно было подвести меня к какому-то вопросу, но я потеряла нить. Да Юлиус все равно почти сразу перестал слушать. Он попивал вино, вид у него был внимательный, но мысли где-то витали. Не меняя тона, словно продолжая свою скучную историю, я добавила:

— ...и тигры, и зебры, и муравьи, и пчелы...

— Да, да, — отозвался Юлиус, притворяясь, будто слушает.

— Ах, Юлиус, Юлиус, — не меняя тона, сказала я. — Сегодня генерал, завтра фельдмаршал. Прошлой ночью я видела сон: ты был просто песиком, который непрерывно лаял, и Биби пришлось тебя побить, чтобы ты угомонился.

Воспоминание

Я женился на Магдалене здесь, в Париже, более сорока лет назад. Это было в то время, когда антисемитские идеи и настроения внезапно утвердились в форме законов, и ей необходима была защита. Обращенная католичка, набожная, легкомысленная, явно беспутная — с такими любят пить чай монахи-доминиканцы, — она была к тому же еврейкой и иностранкой — точнее, родилась в Будапеште в 1904-м. В Париж ее привез — о, давно, еще до образования Народного фронта — француз, разбогатевший на производстве и экспорте фарфора. Этот бросил ее ради графской дочки и новой, с правым уклоном, политической карьеры — он проповедовал моральный аскетизм и возрождение христианских ценностей. Всякий раз, открыв "Le Temps" и увидев его имя, Магдалена разражалась хохотом. (Я ни разу не видел, чтобы Магдалена на самом деле *читала* газету. Она подписывалась на огромное их

количество — думаю, однако, ей просто хотелось знать, что поделывают ее друзья и бывшие друзья.) Он оставил ей квартиру на набережной Вольтера и портреты ван Донгена, которые купил из-за их сходства с ней — то же живое лицо и тонкая шея.

Я никогда не жил с Магдаленой. После свадьбы мы провели вместе меньше недели (спать я приходил домой, чтобы не переживали родители) да просидели ночь в поезде. Я даже в мыслях не допускал, что у нас может быть общий адрес, что на табличке над звонком появится мое имя, что друзья будут звонить мне по номеру Магдалены, что сам я могу стать чем-то бóльшим, нежели гость, в черно-красно-белой, сияющей лаком квартире на набережной Вольтера. Там повсюду пахло гарденией. По стенам прихожей были развешаны кадры из немых фильмов с ее участием — венских, берлинских. Ничем не примечательные, позабытые картины, вероятно, все уничтоженные. (Позже, во время оккупации, квартиру обчистили. Вернувшись, Магдалена была вынуждена спать на полу.) Два ее тявкающих мопса ходили с колокольчиками на шеях. Постоянное звякание доводило их до бешенства. Она мыла собак пахучим мылом и кормила за столом, посадив к себе на колени. У мопсов была сыпь по всему телу, и их постоянно тошнило.

Я был всего лишь двадцатидвухлетним студентом. Мои родители, оба — учителя начальной школы, многим пожертвовали, чтобы дать мне возможность и по достижении зрелого возраста сидеть за книжками. Единственным домом, куда я мог бы привести Магдалену, был угол в их квартире на рю де Солитер, в девятнадцатом округе. Теперь там живут арабы и африканцы. В то время это был район из тех, что любили снимать Жан Ренуар и Рене Клер в фильмах, где фигурируют печные трубы с колпаками, расхаживающие по улицам люди с буханками хлеба и скромные молодые парочки, которые находят и теряют лотерейный билет. До встречи со мной Магдалена ни разу не слышала ни о рю де Солитер, ни о моей станции метро, Пляс де Фет. Названия были столь очаровательны на слух, что она считала, будто я их выдумал. Я умолял ее поверить, что ничего не сочинял.

Она была светловолоса и стройна, как все женщины в Париже. В моих воспоминаниях улицы заполнены блондинками в нелепых шляпках, выгуливающими миниатюрных собачек. (Погоди, говорит мне память; не все женщины — мать такой не была.) Почему она бросила сниматься? "Да у меня не очень-то получалось, — сказала она мне однажды. — И потом, я была ужасно ленивая. Могла работать, по-настоящему работать, только ради влюбленного в меня мужчины, — чтобы доставить ему удовольствие. Вот и все". Из ее гостиной — сплошь белой — открывался вид на Сену и дальше, до Пляс дю Карусель и кусочка Тюильри. С пяти до восьми обычно заходили мужчины, стояли к виду спиной, наклонялись почесать мопсов за ухом. Раймонда, служанка, знала всех по именам. Ко мне они относились благосклонно, хотя до того, чтобы почесать мне за ухом, никто из них все-таки не додумался.

Мои родители были антиклерикалами и республиканцами. В их разговорах церковь и республика сталкивались лбами, как пара дерущихся баранов. Я так и остался некрещен. У них сердце кровью обливалось оттого, что мой брак с Магдаленой по ее настоянию необходимо было благословить. Благословили нас в церкви Святого Фомы Аквинского, в

глубокой тени, где-то за алтарем. Я никогда прежде не бывал в церквах, разве что заходил полюбоваться витражами или картинами — искусство принадлежало народу, что бы там ни заявлял Ватикан. Церемония была быстрой, почти тайной, но не из-за Магдалены: это *я* был чужаком, язычником, нехристем без надежды на спасение.

В тот день отец с матерью остались дома, поплотнее пообедали тем, что удалось наскрести, пытаясь успокоить нервы. Стоило только попросить, и они спасли бы Магдалену — с радостью, без страха и не разрушая моей жизни. (Так это им представлялось.) Полагаю, они могли бы запереть ее в чулане. Она могла бы стоять в темноте годами — сколько ей угодно. Им оставалось лишь надеяться — они никогда не молились, — что у нас не будет детей.

Наших детей я уже отписал Риму за несколько дней до свадьбы, както днем, сразу после обеда. Торг за их души, нерожденные и, разумеется, нежеланные (я не отделял души от тела — ведь первой не существовало), происходил в белой гостиной. Магдалена, как всегда веселая и беспечная, повторила все то, что ей велели мне сказать, а я ответил "да" и подписался. До сих пор слышу звук ее голоса, но не сами слова. Он был ниже по тональности, чем у француженок, непривычен для слуха по своему ритму — голос иностранной певицы. Неужели она и вправду ждала детей? Ей было лет, наверное, тридцать шесть, и расстаться нам предстояло на всю войну, сколько бы та ни продлилась. Моя подпись была частью сложного ритуала, который, кажется, доставлял ей глубочайшее наслаждение. Она никогда прежде не была замужем.

На ней было мягкое темно-синее платье, которое только этим утром доставили на дом. И это во время войны, оккупации. Были портные и рассыльные. Была "Гардения" от Шанель. Были кофе и сахар, были начищенные серебряные подносы и тонкие кофейные чашки. Была Раймонда, в черно-белом органди, и была Магдалена, с ее солнечными волосами, с ее темно-красными ногтями, — она разливала кофе.

Я глядел на дальний край Пляс дю Карусель, на окна здания министерства финансов. Еще совсем недавно Магдалену приглашали обедать в частные министерские апартаменты. Столы были изящно сервированы стеклом и фарфором, принадлежащими народу. Стойкие, ни на что не жалующиеся мужчины и женщины вроде моих отца с матерью платили налоги, чтобы Магдалена могла есть с тарелок, которых они никогда не увидят, — разве что произойдет еще одна революция и даст им возможность рассматривать эти тарелки в музее.

Подобные размышления не вызывали во мне злости. Я собирался спасти ее, Магдалену. Ставши моей женой, она получит удостоверение личности с французской фамилией. Ей никогда не придется приметывать желтую звезду на рукав пальто. В положенное время она будет стоять в очереди за картошкой, когда все остальное продовольствие во Франции кончится.

На самом-то деле очередей Магдалена избежала. В тот день, когда парижские евреи длинной вереницей, не толкаясь, стояли перед полицейскими участками и четко произносили свои фамилии и адреса, чтобы люди, которые потом придут их арестовывать, не наделали ошибок, Магдалена вернулась в постель и принялась читать журналы. Желтую

звезду ей никто никогда не выдавал — она сама себе ее нашла. Звезда лежала на земле, у входа в отель "Мерис", так она сказала.

Прогуливаясь под дождем с мопсами, Магдалена обернулась помахать Раймонде, натиравшей до блеска окно. (Сейчас в ее квартире живет издатель комиксов.) Она пересекла Тюильри, потом рю де Риволи и, вступив под крышу аркад, сложила свой шелковый зонтик. Дождь пробрался и вовнутрь; она в своих тонких туфельках огибала лужи. У самого "Мерис", где было столько немецких офицеров, что некоторые боялись или считали ниже своего достоинства там ходить, она остановилась — посмотреть на звезду, выпачканную, истоптанную. Подвинула ее, словно мокрый лист, кончиком зонта, наклонилась, подняла, опустила в сумочку.

— Зачем? — в скором времени у меня появились достаточные основания задать ей этот вопрос.

— Сохранить как сувенир, безделушку. Показать друзьям в Канне — пусть узнают, как обстоят дела в Париже.

Мне это не понравилось. Я хотел перетянуть Магдалену на свою сторону, а не наоборот.

Днем позже мы отправились поездом на юг, остававшийся пока свободной зоной. Там Магдалене могли встретиться только французские фашисты; я прочел ей лекцию о том, как их распознавать и избегать. Мы сидели бок о бок в купе второго класса, почти в полной темноте. (Пассажиры первого класса вызывали гораздо больше подозрений; кроме того, мне это было не по карману.) Магдалена, к несчастью, была одета как на чаепитие в "Ритце". На это она возразила бы, что не может быть ничего проще костюма от Молине и бриллиантовой булавки. Остальные пассажиры, три поколения одного семейства, казалось, спали. На новой, насильственно установленной границе, отделявшей Северную Францию от Южной, поезд затормозил. Мы услышали, как входят немецкие солдаты — проверять документы. Стараясь не глядеть на Магдалену, я уткнулся глазами в небольшой саквояж, который она только что сняла с полки и держала на коленях. Когда поезд остановился, все лампы внезапно вспыхнули; так мне почудилось — они были тусклые, коричневатые. Магдалена тотчас же встала, без посторонней помощи сняла саквояж, вынула роман (это была "Белла" Жана Жироду) и начала читать.

Я подумал: она ведет себя так, что не может не вызывать подозрений. Ее прошлое, такое загадочное, ясно читалось в дорогой коже саквояжа с золотыми инициалами на крышке и в крохотном замочке с ключиком — последний сам по себе ювелирное изделие. Такая женщина никак не могла быть женой сидящего рядом молодого человека с его свернутым холщовым вещмешком с потрескавшимися кожаными лямками. Мешок, и тот был не мой — он принадлежал моей матери, а может, тетке. Я протянул руку и перевернул саквояж так, чтобы его можно было открыть, словно мне не терпелось оказать солдатам содействие, подготовить все для проверки. По правде говоря, я не хотел, чтобы немецкие крестьяне в форме прочли ее инициалы, спросили ее девичью фамилию или чтобы у них появился повод для зависти — такой саквояж мог бы быть выставлен на продажу в витрине на рю де Фобур-Сент-Оно-

ре по грабительской цене. Если бы эти крестьяне, приближающиеся сейчас к нашему купе, не были вооружены, экипированы, облечены временными полномочиями, подумал я, они могли бы заниматься каким-нибудь другим делом: выучиться управлять лифтами с зеркальными стенками, носить подносы на уровне плеча, изъявлять, как положено низшим сословиям, благодарность за чаевые, полученные от магдалениного спутника. Я откинул крышку — та прислонилась к ее жакету из тонкой шерсти; там-то, внутри — прямо так, поверх каких-то сложенных шелковых вещиц оттенка бледного-бледного краешка восходящего солнца, — и лежала звезда. Я разгладил шелковые тряпки, незаметно прикрыл звезду ладонью и сунул в рукав.

От жуткого испуга мне в голову случайно пришло вот что: у Магдалены никогда в жизни не было ничего столь грубого на ощупь. Она никогда не была ребенком, никогда не играла в песке и грязи. Она выпорхнула из такси в большом европейском городе: модная шляпка набекрень, кольца, повернутые так, чтобы можно было натянуть перчатки, исчерпывающие знания по части золотых висячих замочков и ключиков. "Космополитка", — вспыхнуло у меня в мозгу — огнеопасное в те дни слово. Его отсветы, казалось, выискивали в притихшем поезде (такая тишина бывает в поездах только во время обыска) резкие статьи, оскорбительные карикатуры, неприличные надписи на стенах.

Крестьяне в форме — их было двое — отодвинули дверь купе. Вопросы их мало отличались от вопросов любого пограничника, однако ответы содержали в себе жизнь и смерть. Слово "космополитка" вспыхнуло, словно звезда, и растворилось в грязной лужице. Его новое, политическое значение просочилось ко мне в мозг, прошло через строй моих верований и убеждений, всего, что исповедовали мои родители. Я ощущал его внутри черепа и не знал, выветрится ли оно когда-нибудь.

Один из крестьян заговорил, и Магдалена улыбнулась. Позже она сказала мне, что у него был акцент, какой приписывали Вагнеру. Увидев открытый саквояж, он нырнул рукой под шелка и наткнулся на щетку для волос. Закрыл крышку и тупо уставился на инициалы. Другой тем временем хмуро рассматривал наши бумаги. Затем оба вывалились из купе.

Наши попутчики отвернулись, как бывает, когда кого-нибудь поймают в первом классе с недействительным билетом. Я положил саквояж обратно на полку и выдавил из себя приказ. Магдалена безропотно последовала за мной в коридор. Могло показаться, будто мы просто стоим и курим, на деле же я пытался выяснить, откуда у нее, всегда окруженной только красивыми вещами, взялась эта. Она рассказала мне о рю де Риволи; мол, подумала, каннским друзьям интересно будет взглянуть на звезду — они смогут понять, что сейчас происходит в Париже. Запрячь она звезду рядом с щеткой для волос, это выглядело бы так, будто ей есть что скрывать. А скрывать ей нечего — абсолютно нечего.

Поначалу я обливался потом, но тут меня пробрал мороз. Я спросил, не сошла ли она с ума. Она приняла мой вопрос за беспокойство по уши влюбленного молодого человека. Такова уж была ее натура: легкая, безоблачная — золотой характер, да и только. Она засмеялась и сказала мне, что ее и прежде как только не называли, но сумасшедшей — никогда. Начала было перечислять, и я поцеловал ее, чтобы заткнуть ей рот.

Коридор был битком набит людьми: кто лежал развалившись, кто сидел на своих пожитках, а она говорила, как безумная, как чужестранка.

Я подумал о том, кого она подразумевала под "каннскими друзьями". Женщины ее типа часто используют слово "друг" в качестве туманной замены "любовнику". (Отметим, что, едва успев подумать: "космополитка", я сразу мысленно определил "ее тип".) Она упоминала фамилию людей, предложивших ей приют в Канне; это была французская фамилия, но не исключено, что псевдоним. Я имел право знать больше. Она была мне женой. То был первый и последний раз, когда я рассуждал подобным образом: в конце концов она мне действительно жена. Я собирался сойти с поезда в Марселе, хотя на билете значился Канн. Из Марселя я хотел пробраться в Северную Африку, затем — в Англию. Магдалене предстояло пересидеть войну в просторной вилле — из тех, что могут позволить себе инородцы.

Мой голос, когда я снова заговорил — не вернуться ли нам к себе в купе, что-то в этом роде, — звучал слишком высоко. Он до сих пор делается выше и тоньше в напряженных ситуациях. (В пятидесятые, когда я часто выступал по радио — беседовал со знаменитостями об их начальных трудностях и дальнейших дерзаниях, — мне приходило в год по парочке писем от женщин, говоривших, что они завидуют моей матери.)

Пожалуй, даже хорошо, что последнюю ночь нам предстояло провести среди незнакомых людей. После свадьбы нам было уже почти не до любви. Мне следовало хранить покой домашних, а Магдалене — готовиться к отъезду, не проявляя спешки. Она выглядела очень утомленной — так мне казалось в те дни; теперь-то я понимаю, что Магдалена никогда не испытывала усталости и не теряла присутствия духа, и могу лишь догадываться о том, что ей необходимо было попрощаться с кем-то другим. Собак она отослала в родной город Раймонды, в Нормандию, упомянув в разговоре с консьержкой, что это ради их здоровья и всего на несколько дней. При первых же признаках испуга или спешки, или вывоза мебели на склад консьержка побежала бы в полицию заявить на жиличку, у которой уйма близких друзей и чей голос поет на иностранный мотив.

В купе я попытался додумать начатое в коридоре. Я женился на Магдалене, потому что считал, что так надо, — тут все было ясно. Не первый и не последний в истории достойный мужской поступок. Приятно было сознавать, что совесть чиста не у меня одного. Человек, думающий так в затемненном, покачивающемся купе, источает свет и добро, а отчасти — и вызывает презрение. Я шепнул Магдалене: "Что значит вести себя недостойно? Что хуже всего?" Вопрос, казалось, не удивил ее. Наш союз благословили, она была моей женой на веки вечные и, чтобы доказать это, могла опереться на неоспоримые юридические факты, записанные в небесных книгах. Однако я был все тем же студентом, который приносил свои книги на набережную Вольтера, который то и дело поднимал взгляд, дабы убедиться, что она по-прежнему в комнате, и задавал всякие вопросы о том, что находилось за пределами его опыта. Она взяла мою руку и сказала, что по *ее* воспоминаниям хуже всех вел себя венский романист, который взял кое-что из ее украшений (она имела в виду "украл") и заложил, а деньги все присвоил.

Прощались мы в Марселе, на перроне. В свете южного утра ее глаза были бледно-голубыми. Повсюду сновали вооруженные мужчины в форме. На Магдалене был белый костюм с тонкой блузкой и белая шляпка, которой я никогда раньше не видел. Взяв саквояж, она скрылась в грязной уборной и вышла оттуда безупречной. Казалось, ей не терпится снова сесть в поезд и покатить к новым приключениям.

У нее хватило духу сказать, прикрывая глаза: "И вот я здесь, вдали от моих парижских друзей". В этом было некое проявление силы характера, а я, ни разу прежде не встречавший людей, даже отдаленно на нее похожих, считал, вероятно, что ей следует придержать язык. Под "моими друзьями" она, видимо, понимала мужчин, которые говорили: "Если тебе когда-нибудь понадобится помощь...", зная, что она никогда ни о чем не попросит; которые, возможно, сказали бы: "Какой ужас, какая трагедия — то, что случилось с Магдаленой, правда?", исчезни она навсегда.

Она оставила багаж и украшения без присмотра в купе. Я рад был, что она надела только обручальное кольцо — иначе была бы слишком похожа на актрису и рисковала привлечь к себе внимание. (Как полагалось выглядеть актрисам, я понятия не имел.) Иногда она пользовалась янтарным мундштуком с завитушкой бриллиантовой пыли, похожей на хвост кометы. Должно быть, она продала его во время войны — а может, потеряла или кому-нибудь подарила.

"Ты похож на молодежного лидера", — сказала она. Я был по-парижски бледен, но здоров. Волосы у меня были коротко подстрижены. Казалось, я вот-вот затяну патриотическую песню, а полицейские с пассажирами подхватят. Я был патриотом, но не в том смысле, в каком того ожидала от молодежи новая власть, — я направлялся к генералу де Голлю, чтобы служить ему, если он меня примет. Я воображал, как парю над картой Франции, впряженный в ослепительный парашют, с пистолетом под мышкой.

Мы условились не оглядываться, когда распрощаемся. Магдалена поцеловала меня, отвернулась, ступила, подтянувшись, на высокую подножку поезда. Я вытащил из своего холщового вещмешка помятую книгу в мягкой обложке и начал читать нечто, написанное для меня одного. Так думают в молодости, а я был еще молод, в том самом возрасте, когда полагают, что поэзия предназначена для одного-единственного читателя. С нежностью выглядывая из окна купе, Магдалена, должно быть, видела лишь очертания стихотворения на странице. Я отвернулся от косых лучей утреннего солнца — не от нее. Когда поезд тронулся, она склонилась ко мне, но я был слишком далеко — не дотянуться. Маленький крестик на цепочке выскользнул у нее из блузки наружу. Я не отступился от нашего обещания и ни разу не поднял глаз. В то же время я видел всё: косую тень белых полей шляпки на ее лице, ее руку с обручальным кольцом.

Я положил звезду в книгу вместо закладки — ясно было, что, если поймают, мне все равно конец. Когда мои приключения останутся позади, я покажу ее своим детям; представить себе в роли их матери Магдалену я не мог ни на секунду. Они будут настоящими детьми, не душами, которыми торгуют. Так мне теперь помнится. Похоже, я считал, что можно без потерь переправить кусочек прошлого в столь далекое будущее. Много времени спустя после войны я нашел звезду — все в той же книжке — и хотел вернуть ее Магдалене, но она сказала, что и так все понимает.

Зиновий Зиник

Телефонный разговор с Мейвис Галлант

Обычно я исхожу из того, что люди забывают по ходу разговора, с чего, собственно, разговор начался. Но в общении с Мейвис Галлант (в ее прозе и, подозреваю, в жизни) деталь, вскользь упомянутая вначале, почти всегда отыгрывается при прощании. Поводом для моей первой встречи у микрофона Би-би-си двадцать лет назад с Мейвис Галлант была двадцатилетняя годовщина "подростковой" революции — марксистского бунта студентов в Париже. Мейвис Галлант в то революционное лето 1968 года бродила по разгромленному городу и записывала все, что видела. Читая в ту эпоху ее книгу, я, еще одержимый своим советским прошлым, отмечал в первую очередь ошарашивающие цитаты, выхваченные Галлант из речей лидеров этой революции. Предводитель студентов Кон-Бендит, скажем, требовал свободы слова для всех французов — для всех, кроме тех, кто защищает американцев (эпохи войны во Вьетнаме): "Это все равно, что давать свободу нацистам, прославляющим уничтожение миллионов евреев". Всякая революция кончается дефицитом: централизованной раздачей продуктовых карточек на свободу слова — причем с разным рационом для тех, кто с нами, и тех, кто против нас.

Именно тогда, в середине 1980-х годов, я стал читать рассказы Галлант в журнале "Нью-Йоркер" — когда холодная война была переименована в угрозу ядерной катастрофы и контакты с Москвой ограничивались исключительно почтовой перепиской (даже телефонная связь постоянно обрывалась). Это был, короче, период, когда слова "эмигрант" и "изгнание" вернулись в наш словарь с новым ощущением фатальности "железного занавеса". Рассказы Галлант расставляли все по своим местам (точнее, путали иерархию мест и положений) и снижали пафос моего изгнаннического пыла: в ее версии эмиграция — это уход в другую комнату, измена любимому человеку, потерянный билетик, перепутанный адрес. Словом, ощущение изгнания вовсе не связано с переменой государственных границ и паспортного режима.

Ее рассказы — это непрерывная попытка выкарабкаться в реальность из небытия и соскальзывание обратно: в мертвую рутину, в сон, в мечтательное забытье, ностальгическое прошлое или даже в своеобразный комфорт привычного неуюта. Случайно переставленная в квартире вещь меняет судьбу человека; неоплаченный счет ведет к мировой катастрофе; шикарная жизнь сводится к отправлению писем на гербовой бумаге, украденной из разных отелей; вагонное купе может ощущаться газовой камерой. Персонажи Галлант — бездомные люди не потому, что у них нет крыши над головой, а потому что место, где они живут, они никогда не воспринимали как свой дом. Их можно увидеть в любой стране Европы: политические резоны, по которым они на десятки лет оказа-

© Zinovy Zinik, 2008

лись за границей, могли быть разными (в конце концов Вторая мировая война была еще и массовой миграцией населения разных стран, беженцев всех классов и рас). Это — экспатрианты в самом широком смысле слова; это внутренние эмигранты — они отделились от своей собственной жизни. (По знаменательному совпадению "Пнин" Набокова и рассказы Галлант того периода оказались под одной обложкой — журнала "Нью-Йоркер".)

Имея в виду эти перемещения и "эмиграцию" реальности в ее прозе, я перед нашим новым разговором по телефону заготовил (и переслал ей) вопросы такого, скажем, рода: "Есть ли среди Ваших персонажей кто-нибудь, кто **не** является перемещенным лицом в том или ином смысле? Кто не является иностранцем по отношению к самому себе в тех или иных обстоятельствах своей собственной жизни?" Однако, услышав снова ее ироничный голос по телефону, я понял, что лучше этих глубокомысленных вопросов не задавать, а отдаться течению разговора, начатого двадцать лет назад. Разговор шел по-английски.

Зиновий Зиник. *Вы сознательно коллекционируете сюрреалистические курьезы, чтобы использовать их в будущих рассказах?*

Мейвис Галлант. *Сознательно. Ну как, скажите, открыв за утренним кофе газету, можно пройти мимо такого: "Ватикан – за индивидуальный подход к геям". То есть что, они собираются награждать кого-то из них медалями?*

З. З. *Да, это напоминает мемориальные таблички разных цветов на лондонских зданиях: если тут жил гей, вешают розовую табличку, если аристократ викторианской эпохи – голубую. Голубая кровь.*

М. Г. *Замечательно придумано! Надо их еще каждый день перекрашивать, чтобы окончательно сбить всех с толку. Странно, в Америке все наоборот: красный – цвет консерваторов, голубой – либералов. Когда по телевизору показывают карту с результатами выборов, надо все время быть начеку, чтобы не запутаться: голубые штаты – те, что голосовали за демократов, красные – за Буша.*

З. З. *В России голубыми называют геев. А если вспомнить, что символом республиканцев является слон...*

М. Г. *...да, а у демократов – обезьяна...*

З. З. *...получается, что людям консервативного склада постоянно мерещатся розовые слоны.*

М. Г. *"Розовый слон" – это выражение по-английски означает галлюцинацию во время тяжелого похмелья.*

Я подозреваю, что все, случившееся в жизни Мейвис Галлант, так или иначе стало частью ее рассказов. Но при этом сама она не похожа на своих персонажей. Постоянный автор журнала с самыми высокими гонорарами в литературном мире, лауреат премий с почетными титулами, она долгие годы была заинтригована судьбами литературных неудачников, типом писателя, знаменитого в узких кругах, но совершенно неизвестного публике, — некой помпезной бездарности из пишущей братии. Этот персонаж периодически возвращается на страницы ее прозы: стареющий сноб литературного мира — Анри Грипп. Анри Грипп уже давно сочиняет романы лишь в уме, а в реальности пишет изощренные жалобы на соседей: скажем, из-за объедков, которые соседи сверху выбрасывают из окна на корм голубям, и те загаживают его подоконник. Серьезные эпи-

столярные отношения у Гриппа лишь с налоговым инспектором, а влюбленную в него женщину он не готов терпеть даже в роли уборщицы. Смутные воспоминания о днях мимолетной славы перемежаются у него в голове реальными кошмарами, где он разоблачен налоговым инспектором за махинации с тайными доходами от сдачи квартир внаем. Он — двойник еще одного персонажа Галлант: реального парижского литератора по имени Поль Леото, героя одного из ее эссе; в послевоенные годы тот был легендой литературного бунтарства со скандальной славой, архетипом наплевательства на все продажное в литературе и, при сомнительности таланта, объектом культового обожания.

Интерес Галлант к подобным героям парижской жизни можно понять. Она до сих пор гордится тем, что рискнула в свои двадцать восемь оставить доходную и успешную профессию журналиста в родном Монреале ради сомнительной судьбы автора рассказов о чужом городе Париже, где у нее не было ни жилья, ни работы, ни друзей. Она таким образом самовольно приписала себя к самой любопытной (по крайней мере для меня) из всех литературных школ — школе двуязычного мастерства. (Она родилась в Монреале в семье эксцентричного британца-протестанта, но была отдана родителями в монастырскую католическую школу с преподаванием на французском языке.) Это был легендарный Париж XX столетия — столица литературных классиков и хрестоматийных изгнанников — Джойса и Беккета, Форда Мэдокса Форда и Джеймса Болдуина. Этот город с пятидесятых годов стал еще и Парижем Мейвис Галлант.

Однако у каждого из тех, кто жил и писал в стране другого — неродного — языка, свои отношения со словесным шумом вокруг. Безъязыкого в итальянском общении Гоголя, сочиняющего в Риме "Мертвые души", не сравнить с Тургеневым в Париже, распевающим неприличные куплеты по-французски дуэтом с братьями Гонкур в ресторане на бульваре Монпарнас. Кого, собственно, в наше мультикультурное время этим удивишь? Естественно, что, оказавшись с Мейвис Галлант на этом самом бульваре Монпарнас, в кафе Dôme (ставшем "домом" не для одного поколения экспатриантов), я не мог не задать вопроса о том, пишет ли она прозу по-французски. И получил ответ — нет, никогда. "Потому что я не хочу чувствовать себя эмигранткой".

Я вначале не понял. Как же так? Она думает и говорит на двух языках. На трех (потому что хорошо знает немецкую литературу). Даже на четырех (если прибавить еще знание итальянского). Каждое утро просматривает все главные газеты мира. Она многоязычна, как большинство ее персонажей. Но рассказывает она о них только на своем родном. По-английски. Почему? Для писателя — выходца из России в эмиграции — идеалом был Набоков. Или даже поляк Конрад (в отличие от Набокова, Конрад не знал английского с детства). Короче, идеалом были те писатели-эмигранты, вроде того же Беккета, которые для преодоления собственной чуждости перешли на язык той заграницы, где они поселились. Смогли выкарабкаться из своего гетто в большой мир. Но в том-то и заключалась прелесть мысли Мейвис, что она, английская писательница, никакого отчуждения в Париже не ощущает и не видит никакой нужды менять свою персону на нечто гибридно-французское. Попытка писать на французском означала бы, что она хочет избавить-

ся от своего прошлого, что она — эмигрантка. Но она себя таковой не считает. Она просто живет в Париже с 50-х годов по сегодняшний день. Уже более полувека. Это ее город.

М. Г. *Я не помню себя не говорящей по-французски. Точно так же, как не помню себя не умеющей читать. Сколько себя помню, я всегда говорила по-французски и читала в основном по-английски.*

З. З. *Это было влияние школы?*

М. Г. *Нет, скорее Монреаля. Он всегда был двуязычным городом – сейчас, пожалуй, в большей степени, чем тогда. Моя нянька английского совсем не знала. Должно быть, с ней я впервые и заговорила по-французски. Но понимала я французскую речь с тех пор, как себя помню. Два языка никогда не смешивались. Детям такое разделение удается гораздо лучше, чем взрослым. Два языка, как две железнодорожные ветки. А вот с возрастом появляются сложности. Я заметила, что, забыв слово на одном языке, я не могу вспомнить его и на другом. Кажется, будто эти две железнодорожные ветки вот-вот сойдутся и произойдет катастрофа.*

З. З. *Европа присутствует в Канаде даже географически, как и в Соединенных Штатах. Европейские названия городов на карте, например.*

М. Г. *Да, как и в Штатах, как и в Южной Америке. Названия тех мест, откуда люди родом. После Первой мировой войны некоторые города, скажем в штате Онтарио, переименовали: немецкое название города заменили на Китченер – теперь никто уже и не помнит, что был такой генерал. Вся Северная Америка населена выходцами из других стран, включая коренных жителей – откуда-то из Азии.*

З. З. *Значит, Европа латентным образом постоянно присутствует в сознании большинства, как бы тенью их прошлого?*

М. Г. *Не знаю, насколько это верно. Мне кажется, через два-три поколения все это забывается. У многих канадцев родители по-настоящему не знали языка, говорили на диалекте, и детям все это было чуждо.*

З. З. *Как на вас повлияло звучание в Париже английского языка – ведь там множество американцев?*

М. Г. *Вначале, только приехав, я избегала общения на английском. Меня привлекали иностранные языки, и я стала их изучать, слушая по радио популярную музыку. Я уже могла связать несколько слов на немецком, итальянском, испанском, мне хотелось совершенствоваться дальше.*

З. З. *Как же вам удалось сохранить свой английский?*

М. Г. *Как же я могла его потерять?*

З. З. *Еще недавно я и сам ответил бы на подобный вопрос точно так же. Но в России произошла языковая революция. Я стал избегать тех иностранных терминов, которые раньше приходилось переводить на русский. Дело в том, что теперь в языке приняты русифицированные версии многих английских слов.*

М. Г. *То же самое происходит сегодня во всех европейских языках.*

З. З. *Да, но иногда не знаешь, что какие-то слова – маркетинг, брифинг – решили не переводить, а просто транслитерировать русскими буквами. И от этого возникает чувство неуверенности в языке. Может, слово уже адаптировано по-русски в его английском варианте, вроде галош, а ты все еще пытаешься придумать некие мокроступы.*

Описывая Англию в русской прозе, как быть с названиями вещей, не существующих по-русски? Например, английская сосиска — sausage — неч-

то среднее между купатами и франкфуртером. Каким русским словом следует называть этот странный английский объект? Я заметил, например, что парижский герой в одном из рассказов Галлант покупает в кафе бутерброд с ветчиной и сыром. Но ведь мы-то знаем, что это не бутерброд, а то, что по-французски называется *крок-мсьё*. Подобных проблем, как оказалось, для Мейвис тоже не существует: она видит мир глазами своего героя — кем бы он ни был; и он называет окружающие вещи своими именами. И слова эти — когда речь идет о французском и английском языках в отличие от русского — не такие уж разительно чуждые. Но кем бы ни был ее герой (а в ее рассказах встречаются и белоэмигранты), она принимает его "переводной" взгляд на мир как свой собственный.

Вокруг нас кружился Париж — тот самый праздник, который всегда с тобой. Старушка с пуделем, студент с записной книжкой. Под кронами каштанов воробьи разыскивают неведомые нам крохи истины. В этом они более сообразительны и быстрее неповоротливых голубей. И те и другие игнорируют гудки автомобилей и непрекращающееся шарканье ног прохожих. Они игнорируют ход времени (и все так же засиживают подоконники непризнанных писателей). Но мы оба знали, что за столиками кафе сидят не Беккет с Сартром (они, впрочем, никогда за столиком вместе не сидели), а богатые американские туристы: переживают чужое прошлое как собственное настоящее. Чужая жизнь всегда видится в заманчивом переплете — о ней слышишь, как будто читаешь увлекательный роман.

И вот в некий момент нашего разговора этот мифический Париж (ностальгический Париж из чужого прошлого, сданного внаем) вдруг исчез. Я просто про него забыл. То есть все было, как это описывалось много раз. И дымок сигарет "Голуаз" под тенью нависающего каштана, и запах легкого пива, и черный зрачок кофе в глазнице белой чашки, и кошка в витрине (и эти голуби, и эти воробьи). Все это было. Но это потеряло навязчивый, набивший оскомину литературный пафос. Все стало внове. Стало уникальными обстоятельствами нашей встречи — моего разговора с Мейвис Галлант. О Париже не вообще, а из ее личного прошлого — в баррикадах 1968 года. Но разговор получился вовсе не про революцию. Точнее, не про суть революции, а про ежедневные подробности тех бурных дней.

Из-за забастовки транспорта везде приходилось ходить пешком. Анархисты выковыривали булыжники из мостовой и швыряли ими в полицию. Это — любимое занятие французских анархистов: швырять камнями в полицию и поджигать автомобили. По мостовой пройти было крайне затруднительно. Улицы Парижа были усыпаны сломанными женскими каблуками так же густо, как московские улицы — галошами после давки во время похорон Сталина.

Я слушал и старался не морщиться от боли: мои новые узкие кожаные туфли страшно жали. Бродя в те дни по Парижу, я сбил себе ноги. Моя бабка по материнской линии, из богатых евреев-лесопромышленников с аристократическими претензиями, объяснила мне в свое время, что женщина, рассматривая мужчину, в первую очередь обращает внимание на его обувь. Двадцать лет назад я предпочитал одеваться в строгие черные костюмы банковских служащих или государственных чиновников, чтобы не походить на богемных писателей тех лет. Такого же мнения, скорее всего, придерживался пижон Беккет. Он, подражая своему

учителю Джойсу, стал носить очень узкие туфли из блестящей жесткой кожи. Ступня у него, в отличие от джойсовской, была широкая, и через несколько месяцев он вообще едва волочил ноги. Жалоба на сбитые — из-за узких туфель — ноги перекочевала в "Ожидание Годо". Этот шедевр был написан Беккетом не на родном языке, а по-французски.

Вся эта почти бессознательная цепочка ассоциаций и подсказала, видимо, один из моих вопросов к Галлант: про ее отношение к двуязычности Беккета. Я где-то вычитал (или домыслил сам), что Беккет перешел на французский, потому что продолжать общаться с ирландским языком означало для него и готовность принять болезненно травматическое ощущение неполноценности и патологической гордыни — все то, что было связано в его сознании с ирландской историей. Короче, я приписал ирландцу Беккету свои собственные еврейские комплексы в русской литературе. Но Мейвис Галлант в переходе Беккета на другой язык ничего фатального не видела. Он, по ее сведениям, стал писать по-французски не ради "побега" из Ирландии, а чтобы примерить на себя строгий пиджак минимализма и узкие туфли иностранного языка, языка, где он не чувствовал себя достаточно свободно, чтобы прибегать к каламбурным ассоциациям и аллюзиям. (Двадцать лет спустя в разговоре по телефону она сравнила свободу обращения английских писателей со своим языком с хождением босиком, в то время как французский — с зашнурованной обувью.)

Под конец нашей встречи двадцатилетней давности я стал записывать ее домашний адрес. Столик был заставлен, и мне пришлось положить записную книжку на колени; я свел колени вместе, расставив при этом ноги в стороны — для упора. Я почувствовал, как ее взгляд упал на мои туфли, на мой костюм — на всю мою позу.

"Так сдвигают колени только английские мальчики из частных школ". На лице у нее бродила улыбка. "Это хорошо, что вы поселились в Лондоне, а не в Нью-Йорке". Я глядел на нее вопросительно. "В Нью-Йорке вы бы стали тем, кем становятся все эмигранты из России: жизнерадостным еврейским парнем в джинсах и рубахе с открытым воротником, с волосатой грудью". Откуда она знала, что у меня волосатая грудь? Крупные черты ее лица гипнотизируют, а глаза с такими большими зрачками, что кажется: она видит тебя всего — и изнутри тоже. Но тебе не страшно. Более того, ты начинаешь самого себя видеть ее глазами. А какими глазами после стольких лет эмиграции видят нас наши соотечественники?

З. З. *Признали ли вас в Канаде как крупного писателя после вашего успеха в "Нью-Йоркере"?*

М. Г. *Первые тридцать лет меня печатали по-английски только в Нью-Йорке и Лондоне. Канада проходила через бурный период национализма, когда всех, кто жил за границей, считали чуть ли не предателями. Включая даже таких людей, как Маргарет Лоренс*[1] *– она поехала в Африку к мужу, который там работал. Даже Мордехая Рихлера*[2]*, находившегося на пике читательской*

1. Маргарет Лоренс (1926–1987) — канадская писательница, ее называют канадским Фолкнером. Вместе со своим мужем, инженером, Лоренс жила долгие годы в Сомали и Гане.
2. В "ИЛ" напечатан его роман "Версия Барни" (2007, № 8–10).

популярности, исключили из университетских программ по английской литературе. И со мной было то же самое. Все это происходило очень давно, и люди той эпохи и идеологии либо умерли, либо выжили из ума, либо сидят на пенсии. Но все равно вспоминать противно. Вот так и получилось, что в Канаде меня тридцать лет не издавали.

З. З. *Каждая нация время от времени впадает в такое состояние. По тем же соображениям в Англии в свое время изменилось отношение, например, к Одену.*

М. Г. *Он ведь сбежал в начале войны. Я могу понять, как много это значило для того поколения. Но для последующих поколений – нет, не понимаю.*

З. З. *В Германии до сих пор многие не признают Марлен Дитрих, не простили ей до конца.*

М. Г. *Здесь все сложнее. После войны немецкая нация как бы перестала существовать. И тут является она, красавица, с песенкой "Ich habe ein Koffer in Berlin[1] ". Как бы не так! К тому же она явилась в американской военной форме. Это было непростительной бестактностью. Она демонстрировала награды, полученные от американцев, от французов – орден Почетного легиона. Ну, этот-то орден немцев не очень возмутил, к Франции они всегда испытывали сентиментальную привязанность. До такой степени, что каждые двадцать лет их снова туда тянуло.*

З. З. *Иногда без приглашения. Раз уж речь зашла о Германии, давайте поговорим о Вашей повести "Узловая станция Пегниц".*

М. Г. *Я планировала написать нечто подобное. Я собралась с духом отправиться в Германию лишь после десяти лет жизни в Европе. До этого я бывала лишь в Австрии. Пока не решила, что это – ханжество! В конце концов охрана в концлагерях на девяносто четыре процента состояла из австрийцев. Мне хотелось описать новое поколение немцев – тех, чьи родители были взрослыми людьми во время войны. Я не сомневалась, что все пошло от мелких буржуа. Они чрезвычайно пострадали в 20-е, веймарские, годы в экономическом отношении. Человек, служивший просто почтальоном, внезапно лишался работы. Мне было интересно узнать, какие дети у них выросли. Но я до сих пор не знаю ответа на немецкий вопрос. Трудно сказать. Возможно, все объясняется очень просто: люди совершают те или иные поступки, зная, что им это сойдет с рук. Понимаете, если тебе говорят: за тобой государство, армия, полиция, пойди и побей вон того парня на улице, – ты так и сделаешь. Возможно, так сделают не все, но большинство людей поступят именно так. И будут считать, что помогают тем самым своей стране.*

З. З. *Вот именно. В Германии, по крайней мере, провели основательную чистку, денацификацию, в России же не только не предприняли никаких попыток в этом направлении, там никого не смущает, что страной управляют все те же сотрудники КГБ.*

М. Г. *Что там говорить – взгляните на президента.*

З. З. *В чем же принципиальная разница?*

М. Г. *В Германии все началось только в 30-е и продолжалось лишь до 45-го, тогда как в России конца этому не было видно с 17-го года. В этом замешано не одно поколение.*

З. З. *Тем страшнее.*

М. Г. *В России в этом участвовали и деды, и внуки. Немец мог более правдоподобно изобразить неведение и сказать: при мне всех этих ужасов не происходи-*

1. "У меня в Берлине остался чемодан" (*нем.*).

ло, я лично ни в чем подобном не участвовал. В 65-м году отмечали двадцатилетие освобождения из концлагерей. По немецкому телевидению только об этом и говорили. Меня пригласили в один дом на обед. У хозяев были две дочери, они как раз смотрели передачу о событиях двадцатилетней давности. Вышло так, что мне было известно о службе их отца в СС – он был, правда, механиком, но ведь все равно ходил в их форме – с черепом и костями – и уж никак не мог не знать всего того, что тогда творилось. Мы пообедали и перешли в комнату, где девочки смотрели телевизор. Пока мы там сидели, отец все повторял: "Просто представить себе не могу, как такое возможно в цивилизованном обществе! Как они могли..." И я подумала: либо он величайший в мире циник (хотя, по-моему, он им не был), либо к тому моменту он сам успел поверить в то, что говорил. Понимаете, передо мной был добропорядочный буржуа, бюргер, осуждающий тех, кто в этом участвовал, совершенно забывший о том, как его жена в конце войны сожгла его форму в гараже. Я узнала об этом случайно, от его родственника.

В повести "Узловая станция Пегниц" речь идет о молодой паре из послевоенной Германии. Они возвращаются из отпуска, проведенного в жарком летнем Париже, где, как им кажется, немцев все незаслуженно ненавидят. Их политическая корректность плохо маскирует самоотвращение, подавленные комплексы, связанные с нацистским прошлым их родины, и чудовищные предрассудки по отношению к окружающему миру. Но главное – катастрофичность самого сюжета-путешествия. Дорога домой в Германию из Парижа на поезде дальнего следования в душном переполненном купе с бесконечными пересадками, невыносимыми попутчиками и с отсутствием какого-либо комфорта постепенно превращается в ад. Проводники вначале отшучиваются, потом становятся как будто глухонемыми, с каждой остановкой все меньше шансов получить даже обыкновенную питьевую воду, элементарную пищу, умыться, привести себя в человеческий вид. Отношения между людьми постепенно деградируют – от состояния безразличия к открытой враждебности. Внутренние монологи героев начинают мешаться, путаться с назойливыми разговорами в купе – внутренним эхом их собственных голосов. Внешняя же канва повествования железно выстраивается в кошмарный маршрут – с метафорической конечной остановкой в концлагере с газовыми печами ненависти друг к другу. Не в событийном смысле (все в конечном счете кончается узловой станцией Пегниц), но с той же убедительностью, что возможна лишь в вымышленной ситуации.

Я вспомнил об этой повести Галлант в аэропорту, когда недавно стоял в очереди личного досмотра пассажиров. Ситуация знакомая. Очередь была бесконечная, двигалась очень медленно, надо было не только снимать пальто и пиджак, но и обувь, вынимать из брюк ремень, перекладывать ключи и мелочь в контейнер. И все равно железные врата то и дело издавали писк: нового пассажира возвращали по другую сторону проверочного барьера, чтобы он вынул из кармана еще один металлический предмет личного обихода, а контейнер с его сумкой тем временем исчезал в разинутой пасти ящика рентгеновских лучей в конце конвейера. Люди послушно расшнуровывались и снова зашнуровывались. Тебя разоблачали на глазах у всей публики. И сама публика разоблачалась у тебя на глазах – как в бане.

Казалось, к этому все привыкли. Никто не смотрит друг другу в глаза, делая вид, что вокруг никого нет. И все же на этот раз в поведении очереди чувствовалось нечто особенно странное. Некая неуверенность в каждом последующем шаге. Страх. Я, наконец, заметил то, что следовало бы увидеть в первый же момент. Бегущая строка над нашими головами извещала, что администрация аэропорта вводит в строй новый тип сканирующего устройства, которое обеспечит еще большую безопасность полетов. Дальше говорилось, что сотрудники аэропорта отбирают пассажиров из очереди для экспериментальной проверки с помощью этого нового оборудования. Отбор производится наугад. Однако в случае отказа личный досмотр отобранного пассажира — с головы до ног — будет осуществляться досконально "ручным способом". Означало ли это, что палец охранника будет залезать тебе между ног? Не уверен. Но такое впечатление складывалось. Впечатление патологического унижения. Смертельной угрозы. От нее следовало уклониться. Для этого важно было не попасться на глаза сотрудникам сил безопасности, фланирующим вдоль очереди. Они наобум выхватывали из нее пассажиров для своих мерзких опытов. Надо было спрятаться за спинами других. Не встречаться взглядом, отворачиваться, делать вид, что тебя нет. "Пусть берут кого угодно — только не меня!" — мелькнула у меня в голове мысль. Например, эту соседнюю старушку в седых кудряшках. Или этого прыщавого переростка. Я понял, как вели себя люди в очереди на селекцию в газовые камеры.

Сейчас я понимаю, что преувеличивал. И, рассказывая об этом сейчас, тоже преувеличиваю. Преувеличиваю именно потому, что уже где-то читал об этом. И я вспомнил где: у Мейвис Галлант, в повести "Узловая станция Пегниц". Ты начинаешь осознавать, что влюблен в писателя, когда весь мир становится похожим на его рассказы, когда ты этот рассказ начинаешь переживать как реальную жизнь. Ты сам становишься на время персонажем его повести. В одном из своих эссе ("О стиле") Мейвис Галлант говорит, что реальность прозы — как во всех вопросах жизни и смерти — зависит от естественности, подлинности интонации рассказчика. У всякого рассказа есть конец — концовка, но голос рассказчика продолжает звучать у нас в голове. Рассказчик больше каждого из своих персонажей. В этой двойственности творчества — залог оптимизма писательницы. Как бы фаталистически и мрачно ни смотрели герои Мейвис Галлант на жизнь, всегда есть зазор для надежды: надежды на то, что, кроме твоей тюремной клетки, есть на свете еще и другой мир — в авторском замысле. О нем сочиняется другой рассказ. О еще одном "перемещенном лице".

Дорота Масловская

Двое бедных румын, говорящих по-польски

Пьеса

Перевод с польского и послесловие Ирины Лаппо

Действующие лица:

Парха
Джина } — двое бедных румын, говорящих по-польски
Водитель
Женщина
Дед
Полицейский
Бармен
Гардеробщица Халина
Весек

Мартини росе, мартини бьянко, мартини кашель.
Мартини росе, сейченто, лос трабантос, буэнос-айрес.
Феличита, чинквоченто, сейченто, феллатио.
Мирей матье, кантаре, роми шнайдер, доброе утро.

Он воет, она ему: заткнись. Он: это наша народная румынская песня. Нельзя отрываться от своих корней, детка. Вон, тут еще царапины, они как вцепятся, я на газ, поцарапали мне всю машину. Самый дорогой лак, черный металлик.

© Dorota Masłowska / by arrangement with Authors' Syndicate Warsaw, 2007
© Ирина Лаппо. Перевод, послесловие, 2008

Этот странный случай имел место произойти в моей машине, следующей из Варшавы в Тчев...

И вели себя странно, знаете, как они представились... Мы из Румынии, хотите, флаг покажу. Да какой флаг? Какой флаг?

Я им так и сказал: при чем тут колбасные обрезки? Какие, на фиг, колбасные обрезки? Сажай свою подружку в машину, диктуй адрес, и я пришлю тебе колбасных обрезков. Воспользуйся своим единственным шансом, сделай бутерброд себе с подружкой. СВАЛИВАЙ.

Мы с женой остановились у бензоколонки, когда к нам подошли две очень подозрительные личности, в том числе одна из них, женщина, была беременна, прикидываясь говорящими по-польски лицами румынской национальности. Жена проходит курс химиотерапии, одну грудь ей уже отрезали, все время забываю, левую или правую, и...

Но его подружка — такая была подружка, что как вцепилась в дверь, так и не отпустила, даже когда я нажал на газ. А я сказал, о нет, со мной, блин, такие номера не пройдут.

Это отвратительно. Это исключено.

Я сказала нет, потому что не могу взять их в машину, поскольку машина зарегистрирована на фирму, а также из-за бросающейся в глаза клетчатой сумки, из-за которой я не могу их подвезти, на что они ответили...

И странно так смотрела. Выражение лица у нее было точь-в-точь как у заливной рыбы. Муж ответил, что, к сожалению, взять их с собой совершенно невозможно, но они были такие наглые. Когда мы отказали, они стали ужасно плакать и ругаться.

Я сказал: нет. Нет. Потому что нет.

Ну и эта его подружка бух на землю, аккурат перед машиной, сама виновата. Вот тут разлеглась, ну, говорю: это уже слишком. Давай-ка, стерва, давай я тебя отутюжу. И еду прямо на нее, вот так. А она бежать. Только пыль столбом. Вот до чего наркота людей доводит.

Заправившись, я пошел расплачиваться, а когда вернулся, мой сын, 10 лет, спросил, бывают ли румыны, говорящие по-польски. Я, конечно, ответил, что нет, потому что он у меня ребенок впечатлительный, да чего там говорить, слегка отстающий в развитии от ровесников, вот и придумывает себе разные небылицы.

Они были вроде бы довольно симпатичные, довольно симпатичные, но когда я увидела состояние их зубной полости, то, ооо, подвозить их я отказалась категорически. Нет, я не говорю, что это скандал или, скажем, недопустимо, но в наше время это вообще не проблема — купить себе даже самую дешевую зубную щетку, да в любом киоске даже есть, и

два раза в день почистить зубы, как следует почистить, раз-два-три, и вся недолга. За гигиеной надо следить. Это удовольствие. Аминь.

Действие 1

Сцена 1

Зима, бензозаправка, сумерки, в машину Водителя садятся двое бедных румын.

Парха. Жену зовут Джина.

Водитель. А девушка эта тем временем, лет около 20, беременная, ничего не ответила, только сидела, но я с нее ответственности за вину в убийстве не снимаю. В каком убийстве? В моем, гражданин следователь, убийстве, хоть это и выглядит нереально.

Парха. Ты ее так и зови — Джина. Слышь, Джин, а фамилия у тебя какая?

Водитель. На вопрос про фамилию она промолчала, ничего в ответ не ответив, но звали ее Джина, что, скорее всего, является сокращением от Регины, а это уже ниточка, которая легко доведет нас до них обоих, потому что имя редкое, чего я и требую, схватить убийц от имени всех налогоплательщиков, на которых они тоже могут напасть и убить.

Парха. А фамилия у нее никакая. Просто Джина. Красивое имя для такой девушки, можно сказать, и имя, и имя-фамилия, и псевдоним в придачу. Джина девушка хорошая. И не украдет, и не заблюет ничего. Клянусь невинным младенцем, которого она носит под сердцем. Такая уж она, жизнь. Мы — бедные честные румыны, говорящие по-польски. Жена беременна, едет к врачу, во Вроцлав, там специалисты, потому что у нее эта сделалась... ну, эта... метастаза, киста, короче, в брюхе у нее бедлам. И так далее. Вот и давайте поедем туда все вместе, куда там вы едете?

Водитель. Во Вроцлав! Гражданин следователь, а трасса-то на Гданьск!

Парха. Во Вроцлав, но мы не настаиваем. В Гданьске оно, может, и лучше, тоже разные специалисты, море, йод, ракушки, корабли, пусть будет Гданьск, не станем ссориться из-за пустяков.

Водитель. Я им отвечаю, что никуда не еду. Ну, только до Эльблонга. И сразу назад, спокойно отвечаю им всю правду, потому что человек я спокойный.

Парха. Ну, значит, в Эльблонг, все равно куда, а там уж она сама как-нибудь справится. Она всегда сама справляется. Взяла и справилась. Мы румыны, ооо-ооо-ооо, мы народ упрямый. Она вам еще и споет, вот немножко придет в себя и споет, да, Джина? Ты справишься, любимая. Очень симпатичная девушка. Садись поудобнее, вот так, вот, красавица моя ненаглядная, так хорошо? О! Новая заколка для волос? Когда это ты себе купила, сейчас? Не верю. Знаешь, просто прелесть. Это цикорий, что ли, камушки эти?

Водитель. Я толком даже не понял, как это все вышло, в один момент. Мужчина, с которым она была, лицо мне его было откуда-то знакомо, наверняка один из этих известных мафиози, Мясо, или тот, второй, которых по телевизору показывают, а я как раз обернулся, потому что он мне крикнул: осторожно! Румыны на горизонте! — или что-то в этом духе. И я туда посмотрел, а это, ясен перец, был прикол, он мне ее на переднее сиденье посадил, с какими-то манатками, пакетами, я говорю: чивооо??! А он: Джина. Это Джина.

Я почувствовал раздражение, что, согласитесь, гражданин следователь, по-моему, вполне логично. Я говорю: слышь, ты, какая Джина, какая на фиг Джина, какое мне дело до твоей жены, какой-то Джины? Так прямо и спросил.

Да по мне пусть хоть рабыня Изаура зовут, забирай ее отсюда немедленно, я спешу, на работу еду, да что тут, етить твою наперекосяк, творится?!

Парха. На самом деле в паспорте у нее написано Пиралгиния, но она всем говорит, чтоб ее звать Джиной. Пиралгиния, Аспириния и Кофеиния — это у нас такие традиционные румынские женские имена. Святая Пиралгиния, у нас в Румынии есть такая святая, защитница пьяных женщин, возвращающихся домой в потемках. Нехило? В жизни всякое бывает. Такие вот женщины, как она. Но она всем говорит, что она Джина, не знаю, что за странный каприз. Только вы ей не говорите Пиралгиния, говорите Джина, надо же понимать чувства великой, вполне возможно, артистки.

Водитель. А мне какое дело! Вон отсюда, румыны вшивые, а то я сейчас вызову...

А в это время его беременная подруга, о которой я уже говорил, притворялась, будто не слышит, но у меня там висел освежитель воздуха типа елочка, так она стала ее теребить, скорее всего, незаметно планируя украсть.

А он говорит, чтобы я посмотрел, какая она красивая, а какое мне дело, красивая или некрасивая, я свое знаю, от нее несет пережаренным растительным маслом, какой-то тошнотворной вонью, да отвали ты, говнюк, вместе со своей брюхатой принцессой!

Я никуда не еду.

Парха. А говорили, едете.

Водитель. Да? Ошибся, извини.

Это я с иронией так сказал. Потому что меня эта наглая и совершенно вопреки моим планам ситуация уже начинала злить.

Парха. Охренительная штуковина.

Водитель. А говнючка цинично теребит мою елочку, чтоб отвлечь тему разговора.

Джина. Это покупное или вы сами сделали?

Водитель. Как: сделал? Как: сам сделал? Из ковра вырезал?! Слушай, это продается на каждой заправке, вот здесь, идешь на станцию, и этого добра там до хрена!!! Вы что, с луны свалились?

Парха. Вы только посмотрите, какая она красивая, ооо. Чертовка. Ну, зубы малость подкачали. Но это из-за тяжелой жизни, да, дорогая? Нам в Румынии не до шуток, всю жизнь, можно сказать, одними колбасными обрезками питались, а это для костной ткани — погибель. А еще этим... цирконием. Цикорием. А из сладостей мы больше всего любим "Силу четырех трав", такие леденцы от изжоги.

Водитель. И начинает нести какую-то пургу, как они там в этой Румынии, как они какую-то лебеду ели, осот, сорняки и камни, ну, допустим, но, ГРАЖДАНИН СЛЕДОВАТЕЛЬ, а нам после войны что, лучше было, голод, разруха. И ВООБЩЕ, БЛИН, КАКОЕ МНЕ ДО ВСЕГО ДО ЭТОГО ДЕЛО! Хватит! Хватит говорить! Я вас все равно не слушаю! Не слушаю я! Не слушаю. (*Драматическим жестом затыкает уши.*)

Джина. Или ванильный сахар в пакетиках. К примеру. Аскорбинку очень-очень редко, очень, только когда мама что-нибудь в ломбард снесет, фамильный хрусталь, к примеру, его у нас завались было, потому что мама по всей Румынии полы мыла и ее везде хорошо знали.

Парха. Я, впрочем, не скрываю, два сапога пара, как гласит известная румынская пословица, сам я тоже по части зубов не очень. Нет, вы не подумайте, зубы у меня в норме, но не без пробелов, вот.

Водитель. И разевает свою пасть, а там коричневые огрызки, прямо как окурки, меня чуть не стошнило, как можно с такими зубами еще... того... размножаться... А девка эта все мою елочку теребит, ну разве можно так себя вести? А элементарная культура где?

Джина. Боже мой, как бы мне хотелось такую же...

Водитель. А он:

Парха. Ой, ну и возьми себе, у вас же две? Бери, бери, вам ведь не жалко, правда?

Водитель. Нет, вы понимаете? Он ей говорит, бери, бери. Мою собственность! Мою собственную вещь. Чужие люди, я их вижу первый раз в жизни.

Джина (*пытается повесить елочку себе на шею*). Ох, и куда же мне это повесить?

Парха. Понимаете: она у меня упрямая — жуть. Вот упрется, и все, потому что упрямая. Вы уж ей подарите, сделайте это РАДИ МЕНЯ. У нас в Румынии нету таких елочек, вообще нет таких деревьев, как елочки, только всякие другие. Дубы, клумбы.

Водитель. Клумбы! Вы когда-нибудь слышали о таких деревьях, а? Потому что я — нет! Немедленно освободить территорию машины. И оставить меня в покое. Иначе я вызову соответствующие меры. Девка тоже. Забирай свой живот и вали отсюда, это моя машина,

я спешу. И попробовал вытащить ее из машины, да вылазь же ты, сука брюхатая!!! А тут она вдруг как бы проснулась:

Джина. Что это ты себе позволяешь?!!

Водитель. Схватила в руку сумочку и вот сюда меня ударила, вот прямо сюда, в шейные позвонки позвоночника...

Джина. Ты, нехороший человек, зачем руки распускать!

Водитель. Где у меня как раз рядом чирь выскочил, что могло привести к необратимым для жизни и смерти последствиям. Я начал кричать: люди! Люди! Помогите! Чтобы позвать на помощь, но они пресекли мои попытки спасения, терроризировали меня, а потом хотели убить.

Парха. Слышь, мужик, ты чего? Белены объелся? Беременную женщину бить будешь, сам во какой здоровенный, не видишь, что она ниже тебя, комплекции хрупкой, у нее же с тобой шансов ноль? Джинуля, ты не волнуйся, сядь поудобнее, сапожки себе расстегни, вот так, мое ты солнышко, знаешь, у тебя козлик из носика торчит. Представляете, Джина все время ходит с козюльками в носу. Грязнуля ужасная. Но ужасно милая. Дай-ка я вытащу.

Джина. Не-е-ет, я сама! Сама!

Парха. Нет, дай я. ДАЙ Я ЕЕ ВЫТАЩУ. Вот и все, видишь?

Водитель. И взял и показывает мне эту ее козюльку, эту отвратительную соплю. А я, понимаете, я очень впечатлителен к таким вещам, я, мне сразу вспомнилось детство, школа и разные такие проказы, когда другие ребята слюной... воск из ушей, это, или перднут и подожгут... Я НЕ ЕДУ! Я НИКУДА НЕ ЕДУ! Я просто сижу в машине! Сижу! И смотрю! Потому что люблю зиму!

Парха. Твое право, да ради бога, сиди, только я сейчас тебя буду вот этим убивать...

Парха показывает перочинный ножик.

Водитель. Именно тогда и произошла первая угроза моего убийства.

Парха. Буду тебя убивать, хотя мне совсем не хочется, и я совсем не умею, технической подготовки никакой, поэтому может быть гораздо больнее, чем как обычно, когда что-то болит. А потом ты отправляешься прямиком в ад, а я тебе — напутственное слово. И сидишь ты в этом аду, яйца у тебя скворчат, ситуация не фонтан, а ты думаешь: зря я так, ой, зря, все равно ведь ехал в этот Эльблонг, а теперь в полной жопе. Плюс невинный человек из-за тебя за решеткой, то есть я...

Джина. А такой был бесстрашный, как гимнаст с лонжей. А стоило показать ему ножик для чистки картошки, сразу обосрался.

Парха. Кроме того, ты же не знаешь, что я делал этим ножиком раньше. Может, я им стенки аквариума скреб. А может, говно собачье ломтиками нарезáл, а? Или, может, он тупой. Потому что вдруг это мой нож, и я им конверты открываю. С письмами. От родственников из Румынии, а письма они пишут на бересте мочой и калом. И краской для пасхальных яиц. Мои маленькие двоюрод-

ные братики и сестрички умоляют прислать им фантики, Ласло хочет от "Сникерса", а Рухла – от "Марса", а Ракочи – от "Твикса", а вот что касается Чинчинатты, то ей подавай такой картонный подносик из-под картошки фри, ну, ты знаешь какой. А как ты думаешь, я им посылаю? Посылаю. Потому что для них это действительно очень важно, да, очень важно.

С ножом в руке открывает заднюю дверь, садится в машину.

Садись, говорю тебе, садись, давай, не пизди, садись, садись, садись. Мы, румыны, народ терпеливый, но любой румын рано или поздно скажет тебе: хватит. Поехали.

Сцена 2

Едут.

Джина и Пархa достают самые дешевые сигареты и начинают в страшной спешке курить, давясь и кашляя, по две сигареты сразу.

Пархa. Ну, харэ. Хорошо, что я тебя все-таки не убил. А еще чуть-чуть бы, и всё, Господи, вот завтра бы отходняк был. Типа классно погуляли, все супер-пупер, а я ни с того ни с сего какого-то незнакомого чувака замочил!

Отвратительное чувство. Быстрей, быстрей давай. Надо уважать чужое время, и взаимно. Только не нервничай так. А то вспотеешь, и тебя продует, вот здесь.

Заботливо массирует спину Водителя.

Пархa. "Сейченто". Классная тачка. Скажи, Джина?

Джина. Летит как стрела, да? Такую машину ничто не остановит.

Пархa. Или "дэу чикко". Вот это я понимаю, зверь. Знаете, когда мы в Румынии скажем, что ехали на такой машине, то ого-го. Родственники наш шалаш подожгут от зависти. "Сейченто". Это не машина, это религия. Народ вон на каких драндулетах трясется. О, вон того, блин, обгоняй, я торчу! Болтаешься на дороге как говно в проруби, у тебя тачка с такими возможностями, а ты тянешься за ним как дерьмо собачье. Джинуля ща блеванет...

Джина. Но-но. Я еще не такая пьяная.

Водитель (*похоже, у него сейчас начнется истерика*). Со стороны нападавших на меня румын я подвергался постоянным унижениям, они подгоняли меня и заставляли ехать все быстрее вопреки безопасности и правилам движения. Я за рулем с пятнадцати лет. Есть у меня одна привычка: когда на встречной появляется машина, я читаю регистрационные номера, ничего не могу с собой сделать. То же самое знаки: "Гданьск 153 км" и т. п., "Илава" и т. п. Я складываю все цифры, а сумму делю на их количество. С тихой надеждой, что выйдет поровну. Когда поровну, радуюсь. Для меня это доказательство, что где-то там существует вроде как симметрия и порядок самых элементарных мировых структур. Хуже всего, когда поровну не делится.

Парха. Я ботинки сниму, окейос? Перке? Пуэрторикос? Мартини сейченто феллатио?

Водитель. Я молчу. Не отвечаю. Самое главное — не дать убийце себя спровоцировать.

Парха. То, что я сказал, по-нашему, по-румынски, значит "мерси вам большое". Давненько я свои вонючки не снимал, ооооx. Сейчас как шибанет. Но мы же свои люди, так сказать, в интимном кругу, да?

Зевает, укладывается спать.

Водитель. Я про себя только все время повторял: ничего. Ничего. Ничего-ничего-ничего. Ничего страшного не происходит, может, даже вообще ничего не происходит, может, это даже сон, просто я еще об этом не знаю и только зря переживаю... Но этот сон мне вовсе не снился. А он уже почти заснул, уже почти засыпал, и я надеялся... я подумал...

Парха. Фу, как воняет, Джина, это ты пукнула?

Джина. Я не пердела, тут уже воняло, когда мы сели.

Парха. То-то и оно. Ну и вонизм. Но это не я.

Джина. То-то и оно, но факт, что и не я.

Парха. Кто-то навонял, это факт. Но факт, что не я.

Джина. И факт, что я тоже нет. Если не ты и не я, то уж не знаю, кто. Может, кто-то пукнул?

Парха. Ах, поросенок. И ведь сидит себе тихо, как мышка, это ж надо.

Водитель (*у него начинается истерика*). Чего??? ЭТО НЕ Я!

Джина. А типа кто?

Парха. ТЫ! Вы! Больше некому!

Джина. Вонючка!

Водитель лихорадочно хватает сотовый, пытается позвонить.

Парха. Ну-ну, и что же ты собираешься делать с этим телефоном, а? Куда это тебе так приспичило звонить, признавайся-ка, не в полицию, надеюсь? Вот, оказывается, что ты за фрукт! Дай-ка сюда телефон, давай, говорю.

Пауза.

Ты за рулем, это же безумно опасно. Я наберу тебе номер, ты диктуй, а я наберу. Ой, голубчики, приезжайте, ради всего святого, быстрее! Женщина беременная! Озябшая! Беспомощная! Сидит в моей машине! Едет со мной, я ее везу! Не знаю, что я делаю! Ой, помогите! Спасите!

ЛЮДИ! Козлы злобные и недоброжелательные. Разве так можно?

Ложится с телефоном и засыпает.

Водитель. Ну, и тогда он наконец заснул. Я знал, что это мой единственный шанс — заговорить с этой женщиной, она ведь женщи-

на, и поэтому в ней проступали какие-то человеческие черты, женщины ведь не могут быть совсем, изначально злыми, как мужчины, я считаю, что они — основа всего сущего, потому что им надо и ребеночка родить, и не алкоголички они, что и питало во мне надежду, вот я ее и спрашиваю: ты говорить вообще умеешь?

Джина. Знаешь, я даже училась. Да как-то ничего не вышло. Ну, не мое это.

Парха (*сквозь сон*). Мы всего-навсего бедные честные румыны, говорящие по-польски... Мы приплыли сюда на углерудовозе "Ибупрон"... У нас нет таких елочек. Только другие деревья.

Водитель. Это твой парень, этот?

Джина. Кто? Этот? Нет. Брат. Двоюродный. То есть что-то типа вроде любовника.

Водитель. Храпит этот твой румын слегка, да?

Парха (*сквозь сон*). Это из-за носовой перегородки.

Джина. Это из-за перегородки, ему нос сломали в тюрьме. Теперь у него из-за этого страшный комплекс. Ты лучше не говори про его нос вслух, а то он озвереет и нас обоих как бешеных собак прирежет за то, что мы против него тут сговариваемся и обжимаемся.

Парха (*сквозь сон*). Нет, нет, нет, нет, моментик, моментик, что тут происходит?

Пауза.

Водитель (*вытирая лицо носовым платком*). Это от него ребенок?

Джина. От кого?

Водитель. Ну, ребенок этот.

Джина. Ребенок мой, при чем тут он?..

Водитель. Ну, забеременела ты от него?

Джина. Яяя? Аааа эээто... Неееe, нет, еще чего!

Водитель. Не от него?

Джина. Нет, мы с ним только вчера познакомились, кажется... Да какая разница? Мать моя тоже все время спрашивает, а я ей говорю: это ребенок, просто ребенок, и отвали, ясно? Это мой сын. А то, что он у меня родился, — это, понимаешь, просто так получилось. Мой это ребенок. И ты тут совершенно ни при чем. А она: вот и займись им, а то ты только куришь, пьешь, спишь с кем попало, а потом просыпаешься в 17.30 и удивляешься, что плохо себя чувствуешь. Делом надо заниматься, возьми пылесос и... А я... ладно, не важно. Вот именно. Хорошо, что ты мне напомнил.

Вынимает банку с клеем, делает вид, что нюхает.

Джина. Я полностью зависима от этого говна. Честно говоря, мне уже самой не нравится.

Водитель. И это чудовище, эта страшная женщина, я ее даже женщиной называть не хочу, достает из своих сеток, из этого своего хлама банку бутапрена! И смотрится в крышку! Как в зеркальце!

Парха (*сквозь сон*). Джина у нас артистическая натура.

Водитель. А это, эт-то не вре-вредно ребеночку?

Джина. Ну ты чё... Ситуация под контролем. Между прочим, врачи сказали, что мой ребенок уже привык, и, если я брошу, для него это будет стресс еще похуже, чем небольшой кайф по большим праздникам, короче, он там может просто офигеть, лучше малость долбануться, чем у меня будет плохое настроение, а ребенок — в истерике. В небольших количествах это вроде даже полезно, ты б попробовал, ты бы тоже расслабился чуток, а то сидишь тут... О, классно танки едут, война будет.

Водитель. Не-е-ет! Никогда!

Крикнул я.

Вонь была ужасная, у меня закружилась голова.

Джина. Знаешь что?

Хуже всего, бля, что мир хочет превратить человека в тряпку, которая встанет по стойке "смирно" и на все вопросы будет отвечать "так точно", в прохожего, послушно переходящего через улицу. В пассажира, бля, трамвая, висящего на подножке с вот таким лицом, о! Гладким и ровным, как жопа, чтоб глазу не за что было зацепиться. Вообще без лица. В такого, как ты. В человека-сардельку.

Я не хочу быть такой. (*В ужасе.*) Эй, тебя как зовут, оглянись! Оглянись! И скажи мне одну вещь.

Водитель. Что? Что случилось?

Джина. Скажи мне что-нибудь, но так, чтобы она не видела, понял? Нет! Нет, не надо, не оглядывайся! Там моя мать... это она сидит сзади? Только ответь, а то я не хочу оглядываться. Брюнетка, пожилая.

Водитель. Не-е-ет! Это твой парень, тот, что с тобой! Брат твой! Двоюродный.

Джина. Эта сучка за мной следит. Понимаешь, я вчера просрала все алименты, и она теперь точно хочет меня убить, я бы не удивилась, если б она влезла сюда за нами, я должна все время быть начеку, ни на секунду нельзя оглянуться, а то она появляется и говорит мне: иди работать, убери за собой, это твой сын.

Водитель. Но кто? Он?! (*Показывает на Парху.*)

Джина. Мой сын? Тебе чё? Совсем отбило? Мне плохо. Кажется, я рожаю. Звони доктору Хаусу.

Водитель (*чуть не плача*). Как? Твой братец забрал у меня телефон!

Джина. Спокойствие, только спокойствие, раз такое дело, я могу и потерпеть. Хи-хи. Ну ты и пересрал, я торчу.

Едут.

Водитель. Это не шутки, ты что. Жена, когда рожала, были разные осложнения, анальное отверстие в клочки... Мочевой пузырь поврежден, бедная натерпе...

Парха (*уже проснулся*). У нее нету анального отверстия.

Водитель. Конечно, конечно... я ничего такого не имел в виду...

Парха. У Джины нет анального отверстия, она не из таких.

Джина. Заткнул зяпу, хорошо? Ты спал, вот и спи, и не вмешивайся в культурный разговор.

Парха. Сама заткнись, ты, и не тебе мне указывать, если он тебя оскорбляет...

Джина. Хрен моржовый. Блядь. Говно.

Парха. Сама говно. Какашка. Писька. Пиписька.

Водитель (*на грани нервного срыва*). Перестаньте... РАДИ БОГА... Люди... Зачем же друг друга так оскорблять, обзывать?! Скандалить! Стыда у вас нет! Женщина называется, ты ведь беременна, нюхаешь бутапрен, материшься, воняешь в машине, а ребенок-то все слышит и видит! Он в животе у матери все запоминает! А потом при гостях тебе как выдаст! Первое слово он такое скажет! Ради бога...

Парха. Слыхала, шлюха? Вы уж ее простите, успокойтесь, это ж глупая румынка, темная, необразованная женщина, всю жизнь проработала на фабрике обезьян и собак, вести себя на людях не умеет. Гляди, что ты натворила! Человека чуть удар не хватил, когда услышал, как ты выражаешься.

Джина. Сам не лучше!

Парха. Нет, я как раз ска...

Джина. Нет, нет, нет. Нет, и еще раз нет.

Парха. Да! А вот и да!

Водитель (*разразившись рыданиями, останавливает машину*). Стоп! Умоляю... Совесть у вас... Я не еду! Не еду! Не хочу, забирайте... Машина ваша... Я вам ее отдаю! Я выхожу... Пойду пешком... Хочется пройтись, тут такой лес, есть там одно местечко — в самый раз для меня, найду себе какой-нибудь старый корень, построю в нем дом... Сам выстругаю тарелки, ложки, вешалки, эти... музыкальные инструменты...

Парха. Нет-нет-нет, дорогой, это исключено, перестань рыдать, успокойся, быстро успокоился, у нас тоже сроки, мы тоже спешим успеть вовремя.

Джина. Нет, наоборот, дай ему выплакаться, пусть человек поплачет, выплачется.

Парха. Нет уж, и нечего его защищать.

Джина. Поплачь, поплачь себе, это тебя очистит. У меня, например, когда было, ну, как его, воспаление мочевого пузыря, знаете, что это такое, я места себе не находила, все время хотелось пи́сать.

Бегу, лечу! По ногам течет! Спринт, общерумынские соревнования по бегу женщин с циститом! Откидываю щеколду! Уже вся описалась! Сажусь на трон и торжествующе выпускаю три горячие капельки, а ощущение такое, будто меня кто-то вяжет на спицах. Ну, понимаете. Шьет мой труп на швейной машинке. Что-то типа оргазма. Только еще хуже.

Водитель (*не переставая плакать*). Гражданин следователь, то, что я жив, исключительно моя заслуга, моей железной выдержки и самообладания, которые не позволили им меня спровоцировать, потому что фактически все это время я не реагировал на попытки лишить меня здравого смысла, теперь у меня уже не осталось на этот счет никаких сомнений... И тут я увидел машину дорожной полиции, которая стояла на обочине, какое-то время я даже боялся, что это мираж, что эти... которым на руку, чтобы я свихнулся и сошел с ума, что это они полицейских подставили, сговорились против меня, чтобы те там стояли и меня спровоцировали, науськали, чтоб потом с меня посмеяться, поязвить...

Парха. Твою мать, суки, видишь, до чего ты, бля, довел?? Нет, старик, это не по-товарищески, это ж просто кошмар какой-то — то, что ты сейчас делаешь.

Водитель. И тогда, сам не знаю как, это были доли секунды, хотя бандиты меня запугивали и пытались свалить все на меня, вызвать чувство вины и ответственности за появление этого патруля и склонить к дальнейшему продолжению движения, мне удалось съехать на обочину, съехать как раз по направлению к этому патрулю...

Полицейский. Что вы вытворяете? Почему остановились?

Водитель. Я превысил скорость, сержант, господин генерал, арестуйте меня, я... я там... вам не видно, там... там такая горочка, а я с нее на полном газу, превысил скорость, сбил кого-то, вам отсюда не видно, но я во всем признаюсь, даже больше того, я хочу, чтоб меня немедленно арестовали и добровольно наказали по всей строгости закона, арестуйте меня, это моя единственная просьба, подробности расскажу потом...

Парха. Папаааа... Папа, вернитесь в машину, паапа...

Полицейский. Чё такое? О чем речь? Что-то случилось?

Парха. Все в полнейшем порядке. Мы бедные честные румыны, говорящие по-польски, у папы Альцгеймер, у нас в Румынии это просто эпидемия, даже ехать с ним страшно. С тех пор как вышел из концлагеря, просто другой человек, все время вспоминает плохие, страшные сны, окопы...

Водитель. Я не записал номеров этих двух полицейских, но, думаю, их нетрудно вычислить. Один невысокий такой, второй повыше и блондин. Я считаю, что их должны отстранить от служебных обязанностей за отказ прийти на помощь похищенному лицу, вплоть до оказания сотрудничества бандитам и убийцам, уверовав в их подлую ложь, якобы я был в окопах и потерял свою личность.

Полицейский (*Пархе*). Да, но угрожает ли это безопасности дорожного движения? Вот в чем проблема.

Пархa. О, господин генерал, я именно это и имел в виду. Мы в Эльблонг правильно едем, в смысле, в нужную сторону? А то папа что-то совсем запутался, мы с сестрой в этих краях совершенно не ориентируемся, а очень спешим на паром, который как раз направляется в Румынию, точнее это углерудовоз такой, паром "Ибупром", может, слышали?

Полицейский. В Эльблонге ж нет моря.

Пархa. Ну конечно. Он ведь по озеру плавает. По Эльблонгскому озеру.

Водитель. Углерудовоз "Ибупром". Прозвучало такое название. Его тоже проверьте, может, они все еще на борту.

Сцена 3

Едут дальше. Водитель ведет машину, истерически всхлипывая и судорожно сжимая руль.

Пархa. ПРЕКРАТИ ВЫТЬ!

Джина. Оставь его в покое...

Пархa. Если он не прекратит, я сам щас завою.

Джина. Отстань от него, пусть выплачется, это помогает.

Пархa. Нет, Джинуля, я в таких условиях сейчас не выдержу, это выше моей выдержки, когда кто-то закатывает такую истерику.

Водитель. Бледное, как вытертый медяк, зимнее солнце давно закатилось за горизонт. Ветер гонял по шоссе трупики раздавленных собак и животных. В дешевых придорожных барах на ветру развевались прошлогодние рекламы мороженого, поблекшие от плотоядных детских взглядов. Я видел тьму. Я прикоснулся к ней.

Пархa. Слышь, мужик. Мы тебе очень благодарны за то, что предложил нас подвезти, мы давно не встречались с такой доброжелательностью со стороны чужого в сумме человека, которого ничто, в общем, не заставляло вот так, от чистого сердца, взять и помочь нам в тяжелый для нас момент, а он, однако, захотел и помог, а человеческая сердечность и доброжелательность так много для нас значат...

Начинает копаться в пакетах.

Мы уже будем собираться. Отсюда до парома рукой подать. Твое предложение подвезти нас, то, что ты сам, без всякого принуждения, по доброте души так страшно нам помог... Благодаря тебе мы, может, уже скоро опять будем на родине. Румын не бросает слов на ветер, такой у нас девиз. Поэтому мы хотели бы отблагодарить тебя за твою доброту и сердечность.

Водитель с недоверием смотрит на Парху, который вынимает из пакета пачки денег и еще разные вещи.

Я — Волшебник Изумрудного Города. Я приехал сюда из сказки инкогнито, чтобы проверить, хорошо ли ведут себя люди и со-

вершают ли хорошие поступки. Получи в награду пять тысяч вот в этих кучках. Раз, два, четыре, пять. И мой плеер мп3 в придачу. Плюс три евры. И солнечные очки, хотя нет, они мне завтра еще пригодятся. Ты знаешь, как этим пользоваться. Вот тут переключатель около наушников. Качаешь из Интернета разную музыку. Сливаешь все сюда, тут пятьсот тысяч песен помещается. Там, впрочем, пару дисков я закачал, но не уверен, что тебе понравятся. Надо бы подумать об этом раньше, если б знал, я бы скачал тебе этих, ну, знаешь, этих, Мечислава Фогга, Марылю Родович, юмора всякого, сатира там, эстрада.

Ну, так мы пошли. Давай, Джина, одевайся. Это настоящие деньги, не на принтере отпечатанные. Купишь себе на них чего-нибудь клевое. Термомикс. Рекомендуем. У нас с Джиной в Румынии есть такой, стоящее дело. Сам печет хлеб. Джина идет утром в поле, собирает зерновые. Потом мы замешиваем это в термомиксе, и хлебушек готов. Свеженький, никаких тебе пищевых добавок вроде Е 1939 и Е 1968, вот это, я понимаю, УДОВОЛЬСТВИЕ.

Джина. Эй, ты что, спятил? Я устала, как загнанная кляча, это ж какие-то дебри, какие-то ежевичные заросли.

Парха. ПОШЛИ.

Они уходят.

Водитель. И вот под конец, гражданин следователь, и произошло, собственно, самое страшное. Он приставил мне к горлу нож и потребовал деньги и ключи, а она целилась в меня из вынутого из сумочки пистолета, скорее всего предварительно сняв с предохранителя. Они хотели убить меня и обокрасть. Требовали драгоценности, разную бижутерию, бытовую технику, а конкретнее, домогались термомикса, каковым я не располагал и не располагаю, имелся он только у моей тещи, с которой я не поддерживаю контактов, уж не знаю, как они об этом узнали. Откуда? Мне кажется, они, должно быть, заранее за мной следили, на протяжении многих лет, у меня давно уже появились кое-какие подозрения, что за мной наблюдают. После чего они скрылись в лесу без единого слова, даже не поблагодарив, не оставив мне в знак благодарности никаких денег, ни ломаного гроша. И я хочу, чтобы в протокол занесли, что, если их задержат, на что я надеюсь, я смогу еще раз посмотреть им в глаза. Но простить не смогу. Не смогу. Не захочу. Нет, никогда. Вы записали? Не смогу. Вот и хорошо.

Действие 2

Сцена 1

Вечер. Джина и Парха идут по шоссе в состоянии психофизиологического транса и плачут.

Парха. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Не цепляйся за меня, когда идешь, меня от этого колбасит. За что? За что?

Как это — я дал ему пять тысяч и плеер мп3?! Как — дал? Да еще кому? Этому чокнутому водиле? Нет, ты так не шути. Отдал? Задар-

ма? Да ведь он ненормальный, он же псих! И ты мне ничего не сказала, не спросила, зачем я это делаю. Я сказал, что я — Волшебник Изумрудного Города? Какой волшебник? Может, это ты ему сказала? Ну не я же!

Точно, помню, я чувствовал себя волшебником, но это же не повод ни с того ни с сего сразу что-то ему давать. И ты мне позволила, ничего не сказала и позволила, чтобы я ему вот так вот их отдал??! Пять тысяч??? Ты что, дура??? Думаешь, мне их что, Дед Мороз под елочку положил? Да я их кровавым пóтом зарабатывал. И сам это отдал? Может, продал? Может, я ему их продал? Нет, бред какой-то. Бред. Бред.

Где этот пакет? Сорри, Джина. И что это вообще за имя, ничего лучше ты не могла придумать? Вы что, индейцы? Перуанцы? Регина? А фамилия у тебя Сальве? (*Поет.*) Salve, Regina...[1] Сорри, ха-ха. Вот за что себя люблю, так это за то, что в даже в полной, бля, жизненной просрации, на дне дна, чувство юмора из меня все равно бьет фонтаном.

Нет, нет, нет. Давай успокоимся и поговорим серьезно, все это ненужные эмоции, просто надо кое-что выяснить. Значит, так, была тусовка, факт, мы нехило закинулись. Насколько я понимаю, именно там мы и познакомились. Нет, наркотики все-таки вредная штука, отвал башки. Ничего не помню, можно мне втюхать что угодно. Но откуда у меня вообще взялись пять тысяч? Снял со счета??? Ага.

Это исключено, невозможно. Если бы я их снимал, то помнил бы. И отдал ему? Всё? И ты мне позволила это сделать? И даже десятки не осталось??! Поищи-ка в пакете, наверняка они там, я должен выпить кофе, привести себя в порядок, принять душ. Дай мне какое-нибудь зеркальце, что ли, у меня завтра в восемь съемки. А этот плеер мпз, с ним что? Его я тоже отдал? Исключено. У меня там было всё. Все любимые песни. А телефон у меня где? Как это — у тебя нет? Посмотри там, в сетке. Должен быть. И документы. Как — нету?! Как — нету?! Давай сюда. Должны быть.

А может, это ты спиздила, а? Нет, ну, не обижайся, я просто так спросил, я же тебя не знаю, вижу первый раз в жизни, я теперь никому уже не доверяю. Мне завтра к восьми на работу, съемки у меня в восемь утра, понимаешь? Ты понимаешь, что это значит? В восемь у меня съемки, и если я, бля, там не появлюсь, это, бля, кончится плачевно. Катастрофой. Не могу поверить. Ты-то вообще работаешь где-нибудь? Ты понимаешь, что это значит?

Джина. Нет.

Пархa. Тогда откуда взяла деньги на это классное развлечение, а? Может, тоже я тебе дал?

Джина. Не знаю, я в банкомате взяла.

Пархa. А они туда с неба спустились и тебя ждали?

1. "Славься, царица" (*лат.*) — церковный гимн. (*Прим. перев.*)

Джина. Не-е-ет, наверно, это были алименты.

Парха. Какие еще алименты?

Джина. Ну, пошла я в банкомат, думала, там нет ничего, честное слово. А там пятьсот злотых. Ну, наверно, алименты, я так думаю. Короче, купила себе кебаб и еще кое-что, а потом эта тусовка...

Парха. Эй, погоди, что за алименты? На ребенка?

Джина. Ну, на ребенка.

Парха. А что ты сделала с ребенком?

Джина. С каким ребенком?

Парха. Откуда я знаю, с каким, ну, с этим, со своим, ты же говорила, у тебя есть ребенок, насколько я помню.

Джина. А, да, точно...

Парха. Точно! Точно! У тебя есть ребенок.

Джина. Я его где-то оставила. Подожди. А, так я же его в садик отвела, наверно... нет?

Парха. Когда это?

Джина. Ну, не знаю. С утра.

Парха. Как это с утра? С какого утра?

Джина. А, да, действительно.

Парха. Вот именно.

Джина. Позавчера, наверно. То есть нет, наверно, вчера, это было вчера, да? Не сегодня же.

Парха. Ну и что? Он там что, остался? Ха-ха.

Джина. Слушай, у тебя попить чего-нибудь есть?

Парха. Только не нервничай, перестань себя накручивать. Я просто так спрашиваю, меня это вообще не колышет, слышишь, я тебя первый раз в жизни вижу.

Джина. Не знаю, откуда мне вообще знать. Может, моя мать забрала. Она его иногда забирает, когда я не могу.

Парха. Тогда ой.

Джина. Не задавай мне таких вопросов, на которые я теперь все равно не могу ничего поделать.

Парха. Вот тут ты права.

Джина. Главное, чтоб он не скучал. Включаешь ему мультики, и он играется уже сам, сам проводит время.

Парха (*начинает орать*). Вот именно! Вот именно! Сам проводит время! А пять тысяч коту под хвост! И это факт! Всё, бля, всё! Завязываю с тусовками, с наркотиками, с охренительными маскарадами, которые заканчиваются так, что я, бля, какому-то засраному деду-неврастенику дарю пять тысяч. И просыпаюсь одетый в кардиган из секонд-хэнда, который сняли с трупа в семьдесят вто-

ром, офигеть как весело, восемь часов подряд притворяюсь говорящим по-польски румыном и рассказываю про вредные последствия питания колбасными обрезками, но вдруг оказывается, что я — говорящий по-польски поляк, обыкновенный долбаный поляк, которого ломает, который проснулся с бодунища средь чиста поля на каких-то пастбищах, в ежевичных зарослях, в каком-то Мухосранске на границе с Казахстаном, в казахском, провонявшем молью кардигане, с зубами, которые я так расписал фломастером, что и не смоешь теперь. И, бля, у меня завтра в восемь съемки, потому что, бля, так получилось, что в любимом и популярном в народе сериале я играю ксендза Гжегожа. Ксендз Гжегож. Как всегда в прекрасной форме.

Пауза.

Наркотики эти все-таки ужасно вредная штука. Мы... хочу тебя спросить об одной вещи, это для меня очень важно. Может, конечно, прозвучать глупо, ты уж прости. Скажи, я... ну это... то есть... может, мы с тобой сексом занимались? Я только так спрашиваю.

Сцена 2

Бар "Цимес", Барменша и Гардеробщица Халина смотрят телевизор. С улицы доносятся приближающиеся вопли, отголоски схватки. Входят взмокшие, явно не в себе Джина и Парха, оба на грани безумия.

Барменша. Мы себе смотрим, вдруг слышу, крики какие-то, мочилово, я тогда говорю, что там такое, мандавошки от придорожных шлюх сбежали и орут благим матом? И пошла поглядеть. А тут как раз открывается дверь и в полном составе входит команда из двух психов, не знаю уж, пьяные или обкуренные, или из дурки удрали, с какими-то сетками, пакетами, вваливаются сюда, ну, а графиня эта так еще и с пузом поперек себя шире. И входят сюда, вот так вот.

Вам чего?

Джина. Кипятку и побольше. Я рожаю. А эта пусть простыни рвет.

Барменша. И показывает мне на Халинку. Эта! И сумочкой типа обмахивается. Я говорю: такого блюда — кипяток — у нас нет. Кофе, чай — пожалуйста, есть еще свекольник, картошка фри. Овсяное печенье. Вон все написано.

Джина. Тогда печенье.

Парха. Нет-нет-нет, она пошутила! Все не так. Все не так, как я планировал. Это исключено. Извините... можно тебя на минутку?

Смотри туда. Держи это. Отвернись, и смотри туда, и держи крепко, и чтоб ни звука, я сам все скажу, а ты стой тут, и смотри туда, и не двигайся.

Вы уж нас извините, пожалуйста, за ее неуравновешенное поведение. Моя знакомая немного того, понимаете, ломка и все такое, она и не беременна вовсе, так, подушку себе туда засунула, вот, хаха-ха. А ну, кончай лыбиться, это уже давно не смешно. Психопат-

ка, наркоманка чертова. Колеса эти все же сносят крышу, вы уж ее извините.

Не обращайте, пожалуйста, внимания, просто кое-что произошло, и я немного не в себе. Извините, не подскажете, что это за город такой красивый, где мы находимся?

Барменша. Что за город и где они находятся! Он меня спрашивает! Оструда.

Гардеробщица. Это Оструда.

Парха. Ах, Оструда, до чего красивый город. А это больше как: на юг, на север или на восток? А то у меня совершенно вылетело из головы.

Барменша. Это смотря как посмотреть.

Парха. Ага.

Действительно, смотря как посмотреть. Факт.

Понимаете, такая вот неприятная ситуация, мы здесь оказались случайно, не по своей вине, сами мы из Варшавы, заблудились, ну просто...

Барменша. Ага, дак и я с Варшавы. Халинка вона тоже. Мы тут все с Варшавы. А сюда на святки приехали. На санях покататься. Только-только вернулись.

Парха. Ну, вот видите. Сани — это замечательно. Еду, еду в чистом поле, колокольчик динь-динь-динь... как сказал поэт, великий поэт.

Однако к делу, дорогие дамы, шутки шутками, а между тем со мной случился случай совершенно непонятный, не знаю, как и объяснить, как все произошло, собственно говоря, это может показаться невероятным. Одним словом, по невыясненным причинам я оказался здесь, завтра мне к восьми на работу, но, к сожалению, у меня нет с собой телефона. А мне надо позвонить.

То есть, в общем и целом, ситуация такая: не знаю, как это доказать, но я не такой, каким кажусь. Я совсем другой, а это шутка, маскарад, ряженые, и, представляете, все это плохо кончилось, плохо. Я ведь актер, играю ксендза Гжегожа в сериале, вы, конечно, помните, ксендз Гжегож, вот-вот-вот, да, это я. Я еще вот что спросить хотел: сколько сейчас времени?

Барменша. Ой, вы знаете, у нас тут тоже маскарад. Она вот переодетая принцесса Диана, а я — Барбара Картленд. Двадцать два ноль-ноль, как показывают прилагаемые к делу часы.

Парха. Двадцать два ноль-ноль. Исключено. Я не успею выспаться перед съемками. Мне нужно позвонить. Это, бля, какой-то дурдом. Джина, да сделай же что-нибудь, твою мать. Скажи им. Скажи им, кто я такой. Ты же знаешь.

Джина. Две порции бигоса, пожалуйста.

Парха. НЕЕЕЕЕТ!

Гардеробщица. Ве-е-сек!

Парха. Не-ет, стоп, зачем нам тут Весек! Кто он вообще такой, этот Весек, ей-богу, вы, я вижу, совсем не понимаете, в какой я оказался ситуации, что́ мне ваш Весек, на что он мне сдался? Лююююди! Люди. Бога ради. Я — ксендз Гжегож. Помогите же человеку, мне же, бля, завтра к восьми на работу.

Барменша. Да ты чё, прям с восьми бутылки собираешь?

Джина. Вот такой мы, румыны, упрямый народ.

Парха. Заткнись, я тебя умоляю, молчи и ничего не говори. Отвернись. Отвернись. Отвернись вон в тот угол. Ты ребенка в садике оставила, вот стань вон там и спокойно обдумай, может так мать поступать или она не мать. Она ребенка в садике оставила. Три дня назад. Алименты просрала. Люля-кебабы себе покупает. Психопатка, вощe, наркоманка.

Барменша. Как-как она сказала? Типа они румыны какие-то! Славненько.

Джина. Но моя мать точно его забрала, точно.

Барменша. Телефонная карта — пятнадцать злотых семьдесят грошей. Самая дешевая.

Парха. Но у меня нет!

Барменша. Пятнадцать семьдесят.

Парха. Женщина, но мне же только одно слово сказать! Мне ж только крикнуть: спасите, бля!

Барменша. Ве-е-слав!! Иди сюда! Тут у мужика проблемы.

Парха. ДАЙТЕ МНЕ ПОЗВОНИТЬ! ОДИН ЗВОНОК! БЛЯ! ОДИН ЗВОНОК! ЭТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ГРОШЕЙ!

Барменша. Восемьдесят грошей оно да, но самая дешевая карта — пятнадцать семьдесят. Я не знаю, что вы за фрукт, ксендз не ксендз, Гжегож не Гжегож, а карта стоит столько-то и столько-то, и это деньги, и не будет мне тут первый попавшийся псих звонить, куда ему вздумается. Верно я говорю, да, Халинка? И тут пришел Весек.

Весек. Какие проблемы?

Барменша. Знакомься. Это ксендз Гжегож. Со своей монашкой-женой. И ребеночком, типа мальчик, поющий в церковном хоре. Хи-хи.

Весек. Так, какие проблемы?

Парха. Здравствуйте, очень, очень приятно, понимаете ли, Веслав, тут такое дело, просто мне необходимо позвонить, и эти милые дамы, они мне разрешили, только вот хотят, чтобы я на всякий случай спросил еще у вас...

Весек. Ты чё зяпу разинул?

Парха. Я не разевал, я просто...

Весек. Ты чё зяпу разинул?

Барменша. Слышь, этот проходимец нам тут целый час лапшу вешает, какой он крутой, столичный актер, а сам карту телефонную купить не может. Самую дешевую даже, жалко ему, видите ли, да наркоманы это какие-то. И морда лица вроде знакомая. Да это он у меня яйца из курятника ворует, попался, голубчик!

Парха. Нет, вы не поняли, я... Я вас проклинаю! Проклинаю! Проклятие, бля! Чтоб у вас микроволновка, бля, взорвалась, и всё вместе с ней.

Сцена 3

Парха. Да тут хуже, чем в Румынии. Дурной сон о том, чего и во сне не увидишь.

Да это же просто поэзия. Я говорю стихами.

Джина. А, и еще насчет ребенка. Мать моя ведь наверняка забрала его из садика. Когда это было? Подожди... позавчера. В четверг. Я отвела его в садик. Это я точно помню, потому что он вопил как недорезанный, вот так: ыыыыыыыыыыыы. Клянусь. Вот только забрала ли я его? Не знаешь? Я ничего не говорила на тему, что его забирала?

Парха. Погоди, дай сосредоточиться, я теперь о другом думаю.

Джина. Ну так вспомни, говорила я что-нибудь?

Парха. Не знаю, дорогая, в четверг мы еще не были знакомы.

Джина. Факт, это факт, вот именно, думаю, она должна была забрать, потому что всегда его забирает, когда я не могу, к примеру. Ты прав. Именно так и было. Именно так. Вот так стоял и выл. Ыыыы. Как ты думаешь? Да, так оно и было. Разве что она решила мне отомстить и его не забрала.

Парха. А ключи от дома у него в случае чего есть?

Джина. Есть.

Парха. Ну тогда он наверняка пошел домой.

Джина. Да? (*Пауза.*) Нет у него ключей, ему четыре года, идиот.

Парха. Вот только не идиот, пардон, мадам, но мы не настолько близко знакомы. Хотя... может, ты и права: как я мог отдать первому встречному пять тысяч?! Нет, исключено, это исключено. Пять тысяч, ты представляешь, сколько это денег? Некоторые за такие бабки собственное говно бы съели, да на них можно участок купить, с домом, с забором, виллу в Белостоке.

Джина. Вообще-то я даже не уверена, что его туда отвела. Вполне возможно, что, может, он у матери остался. Очень даже не исключено. Играет себе в суперменов и строит кубики "Лего", он умеет себя занять.

Парха. Все, хватит долдонить не в тему, кончай, у меня завтра в восемь утра съемки, и это теперь самое важное, что мы должны сделать.

Джина. Не буду я никуда звонить, отвали от меня, понял? И даже не уговаривай, не буду я ей звонить, чтобы она мне что сказала? Я са-

ма могу это себе сказать. Она меня с говном смешает. Я вчера все алименты профукала. Она этого так не оставит. Посадит конверты клеить.

Сцена 4

Ночь, поле, Женщина 40-50 лет с размазанным макияжем останавливает машину, выходит, открывает багажник, вынимает бутылку водки, пьет и прячет ее обратно. В это время к машине бегут, теряя обувь, двое бедных румын и бросаются на капот.

Парха (*с умилением*). Варшавские номера... Вы в Варшаву?

Женщина. Ффшаву.

Парха. О несравненная! Ты чудо природы, венец созданья, я звал тебя, и ты пришла. Скажите, поклянитесь, что вы не плод моего воображения! Чудо. Чудеса бывают. До Варшавы отсюда сколько километров?

Женщина. Ччё?

Парха. До Варшавы сколько километров?

Женщина. Ссо.

Парха. Сто!! Сто!! Я знал. Сто километров — это ж вот столько, это ж, если коту как следует ногой под зад наподдать, он запросто долетит. Мы спасены! Блаженны нищие духом! Госпожа профессор! Царица! Вы такая красивая. Мы едем с вами! Мы едем с вами! Как тут тепло! Как хорошо! Мы нормальные люди! Это мы только так выглядим. Пожалуйста. Мы будем вести себя культурно! Мы не будем пукать!

Женщина. Пжлста. Вы мне псланы небом. Эт не моя мшина. Эт "вектра". Суда нажмаешь, суда нажмаешь и гтово.

Парха. А моя спутница, в случае чего, тоже может поехать с нами?

Женщина. Мне по барабану.

Парха. Давай, Джина, садись, тебя, в случае чего, тоже берут, можешь ехать, я договорился. Я за тебя поручился. Она НЕ ВОНЯЕТ. Это только с виду она такая.

Едут.

Ну так как? Как жизнь молодая? Погода, однако, в этом году не ахти, зима выдалась неурожайная просто до ужаса...

Тишина.

Женщина. Факт. Пгода. Двление. Супфер.

Тишина.

Парха. А вы, я вижу, водите с размахом, честно говоря, просто лихо... А немножко прямее, ну, по одной линии, нельзя?

Женщина. Эээ там... Просто, исли там ччё-то нассречу бует ехать, вы мне сразу ччесно скажите. Я линзы сняла и куа-то суда плжила, но боле-мене ище вижу. Кое-ччё. Ну, так ччё? Вы куда еете? Ссуден-

ты? Вы студенты, а где ущичись? Не боись, я не пяная, ниче не боись, я еду.

Парха. Мы не студенты, мы говорящие по-польски румыны, лесбиянки, педики, евреи, работаем в рекламном агентстве, как я уже говорил, вы ж понимаете, о чем я, мы в Израиль едем, сажать деревья, и ни одна сволочь не подвезет даже на сантиметр, я ведь ксендз Гжегож из сериала, еду на съемки, к восьми, мне еще поспать надо, чтобы завтра быть в форме, душ принять.

Женщина. А можжет у вас прва есть, у ково-то свас?

Парха. Ну, честно говоря, не совсем. Разве что у нее, но вряд ли. Осторожно!.. Блин, бабища, ты как ведешь?

Женщина. Ну, раз у вас нет, филя вы тода тут? Я дмала, есть и птому вы самной едете. Гвна кпна.

Нееее, нормалёк, не боись, едем как нада. Бог дал, Бог взял, нет проблем... Или я вас научу, вот тут ссыпление, тут коробка пердач и вперед. Или нет, сама буду вести... Это мшина, это тачка, это ссё в кредит... Нормалёк, ссё под котролем. Бля, я вам скажу. Я вам скажу, скажу вам. Вы такие щисливые, молодыые, эта мшина стоила куччу бабок, за такую куччу бабок ничё плохого быть не можжит.

Джина. Сорри, я стесняюсь спросить, а пожрать у вас случайно ничего не найдется?

Женщина. Блин, Венгрия, Румыния, Турция, да, я зна, обалденно крсивая ссрана. Ссе говорят Румыния, срач, гавно, фекалии, ислам, дети жрут гавно прямо с тру.. с тро... зземли, эта, диктатура или ччё, люди камни едят, а ведь чудесная ссрана с виноградом и фруктами, и тризмом, я туда ездим с мужем на лыжи. Класс. Хрошо вам там, ктайся себе на лыжах, ни вещей, ни бгажа, ни кредитов, ни денег, ктайся в свое удовольссие, свобонны от этого вечного пожрать, посрать и так без кнца, вы пнятия не имеете, какое это ссё дерьмо.

Джина. Знаете, иногда мы находим разные вещи в мусорке, народ выбрасывает теперь такие хорошие вещи, курицы прямо целые, сосиски. В мусорку. Я иногда, когда мусор выбрасываю, меня прямо подмывает, чтобы ну, это, понимаешь. Чтобы, когда мусор выбрасываю, мешок с мусором чтобы не спешить выбрасывать.

Женщина. Ыясно, выбрасвают, мусрки — отличн вещщи, я сма кда-то абжжур ншла, модерн, все вимание обращщща.

Тишина.

Джина. Вот и чудненько. А ссать хочется.

Женщина. Ччё? А, мжешь пписать, где хошшш. Это мужа мшина, мне ссё ранно, даже пръятно. Аддю.

Пауза, Женщина ведет машину зигзагами, румынам становится страшно.

Парха. Графиня, эй, эй, эй. Знаете, прекрасно едем, приятно с вами поболтать, но, слышь, может, возьми кофейку какого выпей, мы были б очень признательны, а?

Женщина. Ччё? Ты мне, дрогуша, не указвай, ччё мне делать, взяла я вас исклющисельно птомушшо думала, у вас есть права. Вашши претенсииии неумесссы.

Продолжают ехать зигзагами.

Парха. Потому что, однако, углерудовоз "Ибупром", который должен отвезти нас кое-куда, в том числе в Израиль, скоро отчалит... У меня завтра в восемь утра съемка, а вы этими зигзагами страшно удлиняете путь, а нам бы хотелось не столько даже остаться в живых, сколько просто... Моя спутница пару дней назад оставила ребенка в детском садике. Скорее всего, он до сих пор там сидит и играет в кубики.

Джина. И на фига ты мне напомнил, козел? Чтобы я опять вспомнила??

Парха. Сидит там один. Без спокойнойночималыши, без шапки, в несвежих трусах, просто трагедия. Мы мчимся его спасать. Если не вернемся, ей мать такую выволочку устроит, что ого-го.

Джина. Козел. Хрен сраный.

Женщина. Да кака я прфессор, слыште, нее, я проссая шенщина, мда, факт, я и сма чуссвую, што малость набрлась, и признаю, да, набрлась как ссиння, но тут ить нет никакого смысла выхдить, тут дикая польская природа, болота. Оот пояится другой пиззаж, типа, бензоклонка, какие-то люди, тода выдете, а тут мне совесть не пзвляет вас высаить. (*Вынимает из-под ног бутылку, пьет и хочет пустить по кругу.*) Межжу перой и торой перерывчик небошой.

Парха. Слышь, бабень, ты что, совсем? Какой перерывчик?! Это, бля, что такое, ты давай соберись, бля, потому что я сейчас за себя не ручаюсь, я, старый румын, который много, бля, повидал на своем веку! Где мы вообще находимся? В Беловежской пуще? Остановись. Говорю тебе: остановись.

Женщина (*останавливается так, что визжат колеса, вокруг лес и ни одного огонька, ни одного звука*). Пжлста. Извольте выти в лес. Останоффка по требванию. Надо было сразу сказать. Завтра или кода пришлите эсэмэс, как тут нащет грибов.

Ха-ха-ха-ха.

Едут дальше, Женщина пьет из горла.

Пждите мнутку, у меня ччё-то звнит. (*Достает мобильник.*) Ну. Нуу. Нууу. И типа ччё. И типа ччё. Неее, я не пяная. Еду. С друззями, есси хошь знать, как вас звут, эй вы?

Парха. Ласло Шойом. А ее Регина. По фамилии Сальве.

Женщина (*в телефон*). Регина и Шоймес, мои друззя. Не, я не спятила. Они ошнь симпатишные, открытые такие, классные млодые люди, не, нет, я не пяная, с ччё ты взял? Жжешь меня уже третий час? Не, нет, я не пяная. А кто это там сзади разгваривает сзади тебя? Никто? Это она? Ну, зачем же прятацца, просто деушка зашла поиграть на компютире, а ты часами разгвариваешь по тсилифону, вот ей и скушшо, сиит там груссная и голая, ей холонно, скуш-

шо и холонно, иди к ней, обогрей. Неее, нет, я не пяная, ни грамма, ну раззи ччуть-ччуть, ну, оощем да. Не знаю я, где я, нет тут никаких этих, этихеток, чессо гворя. Зато есть поле, можно скаать даже лес, ссучя и черника, можт, это Норвегия? Я скоро буду, вы там по-быссренькому, и мне ччё-нибудь поесс ссарите. Типа обед. Пусь подгорит, и персолите его как следует. Чтоб подгорело. И было персолено. Ну, так, как я люблю. И если не разобюсь, то кода вернусь, буду, наерно, оччень голонная. Покедова. Адю.

Парха. Ты слышала, Джина? Мы скоро будем. Уже недалеко. Я успею на съемку. Дайте-ка телефончик, мне позвонить нужно.

Женщина. Куа лапы суешь? Я звиняюсь за мужа. Он оччнь перживает, что я расхерачу ему эту машину. Ппрекрасно его поимаю. Любовница уже на месте, должн был быть романтиццкий вечер, она уроки сразу поссе школы сделала, памперс быссренько сменила и сразу пришла, пнимаете, о чем речь, это настояссая любов, она у него в мобиле Михал назвается. А он ходит как бешеный от окна к окну с мягким концом, гворит ей: посиди пока тут, любимая, ногти себе постриги, ссори, и стоит у этого окна, обсераясь от страха, что ща приедет его "вектра", сппрва одно колесо, птом второе, а капот я принесу в пакете.
Ха-ха-ха.
АААААААААААА!!!

Авария, машина в темноте во что-то врубается.
Женщина в крови лежит на подушке безопасности, румыны не пострадали, перед капотом лежит кабан.

Парха (*возмущенно*). Ну вот что это такое? Что это такое?

Женщина (*теряя сознание*). Еж.

Парха. Еж... Еж! Я тебе сейчас покажу ежа.

Э, мадам, ээй, подъем. Твою мать, наша дама откинула копыта. Во она нас подставила, не, ну серьезно, в чистом поле, в глухомани, нет, это несерьезно.

Джина. Ну так окажи ей первую помощь.

Парха. Я? Думаешь, это типа просто, раз, два. Мне некогда, я спешу. Ничего же ей, наверно, не сделается, да?

Джина. Ты уверен?

Парха. Она жива? Жива. А это главное. Остальное приложится, справится как-нибудь, обаяния у нее, согласись, хоть отбавляй. И эти усики. Очень пикантно.

Джина. Может, ты и прав, это уже не имеет значения. Так что мы делаем?

Парха. Ты ее телефон где-нибудь видишь? Я должен позвонить, что, наверное, все же опоздаю на съемку.

Джина. Кажется, гикнулся.

Парха. Ты чё?! Это исключено.

Выбрасывает раздавленный телефон, шарит у Женщины в ногах, выуживает бутылку водки, жадно пьет.

Хочешь глоток? Немножко осталось. Мне до усрачки нельзя, мне завтра надо быть в форме.

Давай возьмем у нее хоть часы. Отличные у тебя часики, дорогуша, "сейко", брюлики сейчас в моде, не обижайся на меня, но я в отчаянии. Пятнадцать минут первого. Не может быть, она, наверно, не переставила на зимнее время. То есть сейчас около одиннадцати, то есть я еще, может быть, успею. (*Надевает часы, тянется к сумочке женщины.*) О, сумочка, может, у нее бабки есть, мне надо купить карту. На, лучше ты тут поройся, я морально брезгую, я в жизни ничего не украл. Ну, если не считать нескольких эпизодов в детском садике. Или нет, давай сюда, я погляжу, тебе нельзя доверять, ты психическая и наркоманка к тому же.

Жвачка — берем, потом поделимся. Противозачаточные таблетки — какая гадость! — хочешь?

Джина. Возьми себе от моего имени.

Парха. Да ладно, бери, от них глюки классные.

Джина. Отвали, козел. Жри сам, твой генетический фонд надо категорически ограничить.

Парха. Чего там, бери. Пригодится. Ладно, ладно, я пошутил, эта сука все равно половину слопала. Вот ведь, старая, пьяная бабища, а туда же, ну-ну. Какая гадость.

Джина. Слышь, ты, давай уже заткнись, идиот, долбоеб, а ну положил сумочку на место, а если она умерла и это труп, оставь сумочку трупа в покое...

Парха. А что, может, она не трахается, может, она это от прыщей принимает? Да? Успокойся. Косметику, помаду, краски и тени для век, это я беру для тебя, однозначно. Тебе пригодится, уж поверь мне, ты не видишь, как выглядишь, а я вижу. Не хочешь, я кому-нибудь другому отдам. Подожди, может, у нее есть второй телефон. Кошелек! Тридцать злотых. ТРИДЦАТЬ ЗЛОТЫХ! Куча бабла! Попадется какая заправка, купим себе ПРОКЛАДКИ. (*Женщине.*) Ты, зараза. Все пропила. Ну, погоди.

Сцена 5

Ломка. Они выходят из машины и бредут куда глаза глядят в темноту.

Парха. Ни отца, ни матери, наконец мы одни в полном значении этого слова. Нет, я с ума сойду. Пьяная баба нас везет, врезается в кабана, это ведь в натуре кабан был, прямо из лесу. Мог на нас напасть. Нет, какие же все-таки люди безответственные, она ведь могла нас убить. Кошмар какой-то, эти люди. Мне необходимо позвонить, не то будет жуткий скандал.

Джина. Заткнись же ты наконец, заткнись наконец, заткнись. Об одном прошу.

Парха. Ладно, ладно, сама заткнись. Я тебя ненавижу. Я всегда ненавижу девушек, с которыми переспал без любви, это гадость, гадость, секс без любви — порнуха, вставил-вынул.

Джина. Чё? Чё ты сказал? Я с тобой не трахалась, я уже говорила. Не трахалась.

Парха. А с какой стати я должен тебе поверить, ну с какой, какие у меня основания? Детка, у тебя ведь полная амнезия, насколько я понимаю, ты то помнишь, то не помнишь, Бог дал, Бог взял, откуда тебе знать, переспала ты со мной или нет, если я сам этого не знаю, умоляю, не смеши меня. Я подозреваю, что мы переспали, потому что у меня ломка и, скорее всего, именно из-за этого, именно из-за этого, я по ломке чувствую. Ненавижу механический, производственный, чисто физиологический секс с чужими бабами, которые не вызывают во мне даже презрения, только чудовищную, бездонную пустоту, чужое тело рядом, которое с таким же успехом могло быть тушей животного, чужое тело без лица, раз-два, раз-два, и когда потом все уже кончено, лежишь себе. Лежишь. Дышишь. Твое дыхание как мчащиеся мимо машины, как воющие сирены, как сгущающиеся тени. Все это просто смешно. Слюна и сперма высыхают как дождь. Это же соки любви, соки любви. Слюна! Сперма! Белок куриного яйца! И вода с крахмалом!

Джина. Я с тобой не трахалась, точно не трахалась, точно, я тебе говорила, это исключено.

Парха. Вот то-то и оно, что да! Ты воспользовалась моим состоянием и беззащитностью!

Идут молча.

(*Не выдерживает.*) Хорошая из тебя мать, нечего сказать. Ребенка оставила недолго думая, вообще молчи, я себе даже представить не могу, блин, ребенок один в саду день и ночь, даже уборщицы уже ушли, сторож ушел, а он там сидит в луже мочи и вжикает машинками, ну а что ему делать, что ему, блин, еще делать, ну что. Все игрушки над ним смеются. О'кей, о'кей. Спокуха, если меня заносит, ты мне просто скажи.

Пауза, они идут, машин нет.

Сорри, я не могу так, молча. А то уснем. И замерзнем. Мне холодно. Я сейчас рехнусь от холода. И как они когда-то в этих лесах могли выдержать.

Джина. Возьми ляг.

Парха. Очень смешно. Ооо-очень смешно.

Джина. А мне типа не холодно, да? Холодно как у черта в жопе.

Парха. И что, хочешь, чтобы я отдал тебе свою куртку? Не дождешься. Хотя вполне вероятно, что за каких-то пятнадцать минут я заслужил бы себе вечную жизнь. Ты могла бы выступить свидетелем, когда меня будут причислять к лику святых.

Пауза.

Думаешь, мы помрем? Сейчас? Вот так сразу?

Джина. Да.

Пауза.

Пархa. Какая безнадега, как низко я пал.

А ведь что-то мне подсказывало: завяжи с колесами, кончай жрать эту гадость, вам, наркоманам, по фигу, для вас это трудовые будни, а нормальному человеку и вправду очень вредно. И вот, пожалуйста, кто-то мне говорит: классная тусовка с маскарадом под лозунгом "грязь, вонь и триппер", Зоська тебя приглашает, записывай адрес. Я переодеваюсь, стараюсь, зубы себе фломастером изукрасил, шмотки какие-то вонючие нашел, таксист отказался меня везти. Прихожу. Знакомлюсь с телкой, не будем показывать пальцем, но это была ТЫ, милый вечер, дискотека, меня угостили чем-то новеньким, и вдруг, бля, откуда-то выскакивает эта Румыния! Я румын! Куда-то еду! Раздаю деньги! Я, почтенный ксендз Гжегож, духовное лицо. Это ты меня подначила. На фига ты мне напомнила! Я теперь только зря разнервничался и все вспомнил. Опоздать на съемки — да. Умереть — да. Но не так же. Это какая-то паранойя.

Честно говоря, все-таки подсознательно я опасаюсь, что не достоин вечной жизни. То есть Бог, конечно, знает, что теоретически я был — лучше или хуже, — но хороший, и в этом смысле я в порядке, но ведь обязательно выскочат церковники со своими догмами, исповедями, причастиями и постами и меня уделают. Меня, ксендза Гжегожа, уделают.

Джина. Господи, ты существуешь: я вижу какой-то свет.

Пархa. Не может быть. Это невозможно.

Джина. Кажется, это какой-то дом.

Пархa. Дом! Мы спасены! Тепло! Чай, не говоря уже про еду! Чистая постель! Я позвоню на студию, что немножко опоздаю, но точно приеду.

Действие 3

Сцена 1

Пархa и Джина стоят в чистом поле перед дверью неогороженного дома и стучат в нее что есть мочи.

Пархa. Помогите! Спасите! Алле! Спасите! Открывайте, вашу мать!

Наконец внутри начинают раздаваться звуки, там открывают разные замки, задвижки, защелки, все новые и новые, и из дверей высовывается голова заросшего Деда.

Дед. Это вы?

Пархa. Да, это мы. Собственной персоной.

Дед. Вы одни?

Парха. Конечно, одни.

Дед (*снимает цепочку*). Вы уверены?

Джина. Да, это мы.

Дед. Заходите, только быстро.

Дом Деда, который собирает мусор: везде набросано, две ванны, обувь, весь мусор мира вдоль стен, работающий телевизор.

(*Присматривается к ним.*) Ксендз Гжегож? Он самый!

Парха. Да, это я, я тот актер, именно...

Дед. Что за гости — незванные-негаданные. Ночью, поздней ночною порой! Ксендз Гжегож! Дождался-таки, дождался я, ксендз меня навестил-проведал. Для меня это честь-радость большая. А эта женщина-девушка, она кто?

Парха. Приятельница-знакомая.

Дед. Анжелика?

Парха. Да, бывшая проститутка, наркоманка, ты понимаешь, сын мой. Я ее пригрел-приголубил.

Дед. А сутана где?

Парха. Какая сутана?

Дед. Холодно-зябко в сутане-то, да? По яйцам дует. Вот ты в цивильном и пришел.

Парха. Хватит уже, дедушка. А то меня в краску бросило. Найдется у вас что-нибудь пожевать? Попить чего-нибудь горяченького? Одубел я совсем, дед. И моя спутница тоже.

Дед. А вот как раз и нету, как раз и нету, я-то считал-рассчитывал, что наоборот, что это ксендз мне поможет, поесть принесет. Я ведь выйти не могу.

Парха. Как это? Почему?

Дед. Лучше и не спрашивайте, ни к чему вам это знать-ведать. Я только за порог, а они приходют-приходют. Я себе иду-шагаю и слышу шур-шур, явились, открывают замки и трогают, трогают. Приходют и трогают. Вот так вот. Не могу я выйти, сразу возвращаться приходится.

Парха. Телефон у вас есть?

Дед. Куды там! Был. Но они звонили. (*Залазит на кровать.*) Вот следы. Вот тут трогают. Вот тут. Вон они, следы, где трогали. Приходют-приходют и трогают. Не могу ни на минуту-секунду выйти, ни на минуту, сразу приходют. И трогают.

Парха. Сууу-упер.

Джина. Можно, мы у вас переночуем? Мы с ног-с копыт от усталости валимся. Пешком из Казахстана-Узбекистана пришли. Нам только переночевать, и больше мы вам голову морочить не будем.

Дед. Переспать-переночевать. Кажется-мерещится... Ксендзу Гжегожу завсегда рады. Но будьте осторожны. Они не спят. Будьте осторожны. Ну, разве что, как заметят-приметят, что это ты, ксендз Гжегож, то и присмиреют.

Сцена 2

Парха и Джина лежат на кровати, накрывшись тряпьем, смотрят на часы, жуют жвачку в вызывающей клаустрофобию, заваленной хламом комнатушке, где за стеной булькает туалет. Джина вертит в руках какую-то веревку.

Парха. Ну? Ну? Ну?

Ты таки добилась своего. Вот она, твоя тусовка, твой маскарад под лозунгом "нищета, крысы и болезни", а я потерял пять штук и работу. Веселись, народ! Может, сыграем в города?

Джина. В города.

Парха. Не повторяй за мной. Я не успею на съемки, я сильно в этом сомневаюсь. Они там будут ждать, будут звонить, будет скандал, с работы меня погонят, это точно, и возьмут какого-нибудь дебила, а зрителям сообщат, что ксендзу Гжегожу после пожара сделали пластическую операцию и теперь он выглядит совершенно иначе! Кошмар! Мне пиздец!

Джина. Просто пиздец.

Парха. Где моя мобила? Где я ее оставил? Может, это ты ее слямзила? Нет. Подумай лучше о своем ребенке. Оставить ребенка в детском саду — это большое моральное достижение. Лучше бы ты его вообще не рожала. Как его зовут-то? Мальчик, да?

Тишина.

Ну, не молчи, а то я засну. А ночью придет дедуля с ломом и подумает, что мы явились к нему все трогать, и нас замочит. Я не буду спать, буду сторожить, но вот вопрос: почему это *я* должен не спать, а не ты? Почему я должен за все быть в ответе? Кто ты вообще такая? В смысле по профессии? Где работаешь?

Джина. Я — художественная натура.

Парха. Ооо-оо. Я как чувствовал. Ну, а еще что делаешь? Конкретно?

Джина. Да так.

То да се.

Парха. Вот именно.

Джина. Счета какие-то выписывала...

Парха. Я непременно должен позвонить своей агентше, иначе мне несдобровать.

Джина. Мать меня устроила. Но я приходила туда с бодуна, циферки у меня в глазах троились, труба, какие-то столбики, рядки, колонки, вокруг сидели какие-то тетки в говенных блузках, вязали крючком и под меня подкапывались. Я на сто процентов уверена,

что после работы они оставались и делали себе флюорографию на ксероксе, а потом рассматривали свои сиськи.

Ага. Еще я работала летом в киоске. Жарила колбаски, картошку, представь себе, один квадратный метр, я и сто пятьдесят литров кипящего прогорклого подсолнечного масла, как сыр в масле, можно сказать, ха-ха, каталась. Но всегда умудрялась как-то схимичить, на каких-нибудь десять злотых, ДЕСЯТЬ ЗЛОТЫХ, и вечером отправлялась в бар, вся из себя гордая, выпить пива, и сидела там с красной, как вяленое мясо, мордой, а масло капало у меня с волос на стол, а моя мать говорила: ну, наконец, наконец-то, наконец хоть что-то, наконец.

Парха. Да, хреново. Ты должна за себя взяться, найти какое-нибудь занятие. Разве что у тебя на самом деле нет никаких талантов.

Джина. Вот так я и живу, выйду из дому и хожу, понимаешь, да, хожу куда ни попадя, тусуюсь, в основном трахаюсь с разными козлами типа тебя, хотя мне совсем не хочется, просто иду с ними, потому что хочу просто спокойно поспать, чтоб никто не драл глотку прямо над ухом, когда я проснусь с бодуна, а мы, знаешь, живем в однокомнатной квартире, семнадцать метров, когда тебе прямо в ухо кто-нибудь саданет чайником или кастрюлей по плите, с бодуна это не шутки, ты умираешь, а ребенок тебе в кровать припрет игрушечное пианино и давай наяривать "в траве сидел кузнечик", "сорока-белобока кашку варила", а они думают, я с ними пошла, потому что мечтаю трахнуться в семнадцати позах, типа секс моей жизни, и хоть ты тресни, даже если у них висит и трепещет на ветру, им надо хоть раз вставить и вынуть, иначе нет, нет, нет, не считается. А утром одно и то же: о господи, где твоя одежда, ты, наверно, очень спешишь, я ведь тоже опаздываю, ты что, все еще пьешь чай? Ладно. Если хочешь, я дам тебе с собой термос!

Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А я уже в трамвае, уже еду, тук-тук, тук-тук. Карабкаюсь по лестнице, открываю дверь. Ты где была?! Посмотри! Ты что творишь? Это твой ребенок!

Мама-мама! А у Коперника кто отец?

Ты лучше скажи мне, кто *его* отец, его, ну???

Бог, а кто же еще?

Он целый день играл в супермена! А потом обоссался. Извини, но я включаю пылесос.

Мама, сорока-белобока кашку варила!!! Сорока-белобока кашку варила!!! Этому дала, этому дала, а этому ничего не дала!! И фррр... улетела. Мама! Мама!

А, эта, тоже блядища еще та, я читала.

Нет, ты лучше послушай, как он научился играть гимн на пианино! Нет, ты послушай! Все куплеты! И шиворот-навыворот! Иди, принеси свое пианино и сыграй маме. Не там, дурачок.

А ты, ну что у тебя за вид? У тебя что, дома нет? На помойке ночевала?

Парха. Ууу, солнышко, тут я тебе уже ничем не могу помочь. Нехорошо, что ты так себя ведешь, очень даже плохо, надо с этим кончать, надо найти себе порядочного парня, который не будет относиться к тебе как к шлюхе. А ты на СПИД проверялась? Надо бы. Нет, серьезно, найди себе парня, который тебя полюбит, а даже если и нет, то нельзя же совсем уж махнуть на себя рукой. Может, это у тебя какой-то подсознательный комплекс, который возник из-за плохих отношений с отцом.

Джина. Бог нам отец.

Парха. Вот лично я...

Джина. Слышь, одолжи пятьсот злотых, а?

Парха. Я??? Тебе???

Джина. У меня очень некрасивый ребенок. На какую женщину ни погляди, у всех нормальные дети, почему у меня нет нормального ребенка, почему мой такой страшненький?

Парха. Я ненавижу случайный секс с бабами, для которых я — ксендз Гжегож, и им кажется, что, переспав со мной, они оправдывают свое существование, как же, я переспала с ксендзом Гжегожем, это вам не хухры-мухры, тра-ля-ля, девчонки, я переспала с ксендзом Гжегожем, это было нечто, я думала ошалею.

Джина. Я не могу туда вернуться. Она меня заживо сожрет.

Парха. Ненавижу, а хуже всего, что они всегда придумывают разные штучки, чтоб затянуть меня в постель, пошли, у нас классные альбомы, у нас классные коллекции филателистических марок, у нас разные чаи с вкусовыми добавками, ну, пошли, эта полочка из ИКЕИ, а здесь у нас то, а здесь это, КЛАССНО?

Джина. Пи́сать хочу.

Идет в туалет.

Парха. Здесь у нас то, а здесь это, а тут сиськи, ты не обращай внимания. Это тут, это там, а это наши колготки, мы их вон туда закинем, вот так, а ты, когда играешь этого или того, тебе кого больше нравится играть, я все думаю: кого, интересно, а вот тут, видишь, шрам, ужасный, просто ужасный шрам, и ничего ведь не поделаешь. Ну вот, ты пока погляди, здесь то, а там это, а я пойду приму душ. Ну все, я уже искупалась, и как, классно, правда? Ну, и что теперь? Прям в одежде заснул, ты что, рехнулся? Пошли, покажу тебе, где будешь спать, если честно, я тоже тут буду спать, с тобой, не веришь? Смотри. Я и ты, ты и я, и я, и ксендз Гжегож, знаешь, это чистая случайность, что я сейчас работаю простой официанткой в кафетерии "Кофе", простой продавщицей газет в киоске около университета, это же абсурд, что я просто обыкновенная, на самом-то деле я вовсе не такая уж обыкновенная, а даже наоборот, раз ты тут и я с тобой знакома.

А я лежу как потасканная шлюха на развалинах своей жизни.

Думаю, выключил ли я утюг.

Думаю, на каком трамвае можно отсюда уехать.

Что за долбаная Румыния вокруг. Что за одиночество.

О, ты уже кончил, это даже к лучшему, я ужасно довольна и вообще. Теперь спать. О, я уже проснулась, ты уже уходишь? Но куда? Сейчас придут девчонки на тебя поглядеть! Они говорят, что мы ужасно, ужасно подходим друг дружке! И что такая девушка, как я!.. И говорят, что если ты с таким, то!..

А я еду, еду на трамвае. Без отца. Без матери. Наконец совершенно один-одинешек.

А теперь еще, бля, меня выгнали с работы, нет, бля, выгонят через три часа. Все, я никто и звать меня никак. Мне пиздец.

В очередном приступе эйфории подходит к дверям туалета.

Джина! Джина? Эй.

Я понял, в чем твоя проблема по жизни, вот только что вдруг понял, это ужасно просто.

Джина (*пытается завязать петлю на шее*). Чего?

Парха. Только не обижайся. В твоей жизни нет любви! Это же элементарно! Просто тебя никто не любит! Никто тебя не любит, и потому ты такая несчастная, потому ты трахаешься со всеми подряд без любви, а это ничего тебе не дает, только пустоту. Самое главное в жизни — любовь, кто-то, кто не скажет тебе с утра: катись-ка ты... Джина? Тебя спасет любовь.

Эй, эй-эй, чего ты там делаешь?

Моешься? А зачем?

Выходи, я не хочу здесь сидеть один, я боюсь. Сама ушла в туалет, а меня оставила одного.

Я за тобой не подсматриваю.

Зачем ты моешься?

Я с тобой трахаться все равно не собираюсь, можешь хоть кипятком стерилизироваться.

Джина, эй!

Я пошутил, идиотка.

Блядь, открыла дверь, я сказал.

Открой дверь!

Дергает за ручку, открывает дверь.
Внутри висит повесившаяся Джина.

Ну, и что ты сделала?! Зачем ты это сделала?!

Нет, ну как так можно?!! Это что за дела? Это что за дела? А ну слезай быстро.

АААА!

Джина. Ну, повесилась я, повесилась.

Парха. Ну и виси на хер, я отсюда сваливаю.

Джина. Ты не можешь, бля, оставить меня здесь одну.

Парха. Даже не проси, я сваливаю.

А что дальше? Вот я и пишу, что там было дальше: Парха выбегает, а Джина перерезает веревку перочинным ножиком и бежит за ним, по дороге они отталкивают перепуганного дедульку в кальсонах: благослави вас Бог, а мы спешим на свой паром!

По снегу подплывает углерудовоз "Ибупром", они вбегают на палубу, где их радостно приветствует румынский экипаж и пассажиры: наконец-то, наконец! Они раздают рекламные проспекты и фантики от конфет, а все целуют им руки. Грандиозный бал выпускников курсов социальной опеки. Участники едят кору и землю, в руках у них старые сдувшиеся воздушные шарики, все поют душещипательные румынские песни. Официант говорит Пархе: господин Булат, для нас это большая честь. Специально для вас и вашей жены мы приготовили один целый сладкий перец с начинкой из колбасных обрезков! Не угодно ли отведать?

Парха. Конечно, но сначала мне надо помыть руки, я с дороги.

Входит в туалет. А там висит Джина.

Давайте поиграем в "отбросы общества"

Первый роман Дороты Масловской "Польско-русская война под бело-красным флагом" (2002), ставший для дебютантки пропуском в большую литературу, уже известен читателям "ИЛ" (2005, № 2). В Польше коммерческий успех этой книги сопровождался бурными спорами о ее художественных достоинствах: одни считали Масловскую "чистым гением", сумевшим воссоздать современный мир в адекватной языковой форме, других возмущало обилие вульгаризмов и рыхлый сюжет.

Успех, свалившийся на свежеиспеченную выпускницу средней школы (роман она написала в 19 лет), был невероятный — таких дебютов история польской литературы еще не знала. Молодая писательница мгновенно стала объектом патологического интереса СМИ, искренне обеспокоившихся психическим здоровьем девочки, которой нежданно-негаданная слава явно собиралась покалечить жизнь, и принявшихся пристально высматривать, выпытывать (и всячески провоцировать) у юного создания симптомы звездной болезни. Юное создание, благополучно потусовавшись в богемном варшавском мирке, нанесло хук левой своему новому миру, описав в ритме хип-хопа специфику медийного сообщества в своей второй книге под двусмысленно-тошнотворным заглавием "Павлин королевы" (2005). "Павлин" в польском языке — не только экзотическая птица, но и эвфемизм для не менее живописного, чем павлиний хвост, извергаемого на свет божий содержимого желудка. Острая сатира била не только по узкому кругу "артистов-вокалистов" и раскручивающих их массмедиа, но и по миру фальшивых ценностей, который создают специалисты от маркетинга, по всему этому "дерьму на радужной тарелочке" — как, рубанув с плеча, заклеймила его Масловская. Повесть вновь поделила читателей и критиков: одни считали, что это дешевый

мыльный пузырь, другие признали шедевром. "Павлин королевы" получил главную литературную награду страны, "польскую Нобелевку" — премию "Нике". Обе книжки попали в списки бестселлеров, было продано более 130 тысяч экземпляров.

Строптивой прозой строптивой писательницы почти сразу заинтересовался театр. Оба романа были перенесены на сцену, и спектакли (три "Павлина", две "Войны") с переменным, впрочем, успехом шли в польских театрах. После нескольких неудачных опытов театр, кажется, все же подобрал ключи к крайне несценическим на первый взгляд произведениям: отчуждение и отстранение позволяли актерам выходить из ролей и возвращаться обратно, обращаться к зрителям и вновь воплощаться в персонажей, а прежде всего позволяли сохранить обаяние и юмор "грамматико-стилистических искажений", свойственных языку Масловской. Наконец один из ведущих польских режиссеров, директор театра "Розмаитости" Гжегож Яжина не столько заказал, сколько выпросил, выбил из не признающей никаких социальных и медийных заказов Масловской пьесу, перевод которой представлен в этом номере "ИЛ".

Хронотоп дороги в "Двух бедных румынах, говорящих по-польски" является основным принципом построения сюжета, поэтому структура пьесы сразу же вызывает ассоциации с классическим жанром "романа большой дороги" или, скорее, с "фильмом дороги", когда путешествие в пространстве становится дорогой к себе. В произведениях такого рода неизбежная составляющая — панорама общественной жизни, и Масловская тоже дает "обозрение эпохи", парад ее пороков, ее типов. Золотая варшавская молодежь, для развлечения решившая опуститься на дно общества, не прочь поглумиться над румынскими цыганами-попрошайками, которых в Польше называют просто румынами. Главные герои пьесы, переодевшись в вонючие тряпки и разрисовав зубы черным фломастером, под влиянием какого-то неопределенного импульса отправляются в безумное путешествие автостопом, поменяв сцену модной тусовки на реальные просторы своей родины. Притчевым фоном их путешествия невольно становится библейский мотив святого семейства, ищущего пристанища. Никто, кроме вусмерть пьяной Женщины, не хочет подвезти бедную беременную "румынку" и ее партнера, и им приходится применять силу и хитрость. Но Джина беременна понарошку, поэтому христианские аллюзии осложняются ироничными кавычками, столь характерными для всего творчества Масловской. Так же как и в "Польско-русской войне...", Масловская выворачивает наизнанку ксенофобское сознание: свой комплекс неполноценности герои пытаются компенсировать с помощью стереотипов румына, цыгана, кацапа, гея, еврея, лесбиянки, то есть кого-то низшего — по их представлениям. Мчась в пьяном угаре на другой конец Польши, они бегут от самих себя, от скуки и безнадежности собственной жизни.

В пьесе, с одной стороны, противопоставлены, а с другой — сливаются воедино два типа современных литературных героев: люди успеха, страдающие от пресыщения, и исключенные из общества парии, элементарно страдающие от голода. И если по социальной лестнице главным персонажам было куда спускаться, то духовное путешествие оказывается довольно коротким. Маскарадные маски "бедных румын" слетают с лиц, перед нами предстают "настоящие поляки". Она — мать-одиночка без постоянной работы, которая, успешно перевоплотившись в Джину, вдруг узнаёт в нищей румынке *себя*. Когда в придорожном баре "бедный Парха" пытается вернуть себе лицо "актера, играющего ксендза", Джина по-прежнему играет румынку — ей не во что превратиться. Они стали румынами на минутку, но время и пространство вышли из-под контроля — от застряв-

шей в собственном сознании "Румынии" отделаться оказалось не так-то легко. Парха снимает маску румына, но под ней оказывается маска ксендза, а под ней уже как бы и ничего.

Оба героя — социальные выкидыши, возможно, поэтому они так удачно сыграли роли румынских попрошаек. Картину их низового сознания воссоздает язык, сотканный из штампов поп-культуры, телевизионного жаргона и молодежного сленга. Язык — это ведь тоже костюм, маска, но засевшая глубоко внутри, и от нее практически невозможно избавиться. Эпическая драма предполагает пробуждение интереса зрителя не к исходу действия, а к ходу его, и именно язык, смешной, убогий, изуродованный, обнажает суть среднестатистического сознания, сформировавшегося под влиянием телевидения, костела и традиционной модели католической польской семьи. В пьесе, в отличие от романов Масловской, уже нет прежнего фейерверка правдоподобных, но, в сущности, фантастических синтаксических конструкций. "Язык мне пришлось сильно обуздать, свести к реальности", — признается писательница.

Драматическим дебютом Масловской заинтересовались западные театры (пьеса уже переведена на английский и немецкий языки). Нью-йоркская публика весьма эмоционально реагировала на чтение "Бедных румын" в рамках литературного фестиваля PEN World Voices, организованного в апреле 2007 года по инициативе Салмана Рушди. Люди возмущались: да как можно в XXI веке оперировать такими ужасными стереотипами! — однако спектакль по этой пьесе готовит Soho Repertory Theatre в Нью-Йорке. Работа над постановками полным ходом идет в Лондоне и в Германии (последний, еще не готовый спектакль уже включен в программу венского фестиваля Wiener Festwochen).

Надо полагать, что режиссеры оценят несомненные достоинства этой драмы переодевания и узнавания — возможность метаморфозы, основанной на конфликте лица и маски, костюма и беззащитного тела под ним, роли и правды, зыбкость реальности, размытость границ. "Мне бы вообще не хотелось, чтобы эта история воспринималась в категориях 'вот ты какая, Польша', — говорит Масловская. — Пьеса действительно довольно мрачная, но я бы хотела, чтобы эта ее жесткость, мрачность была разбавлена сказочностью: мол, все очень плохо, но приплывает паром 'Ибупром' — и все берется в кавычки". Не столь важны сценические события, сколько способ их передачи. Неустанное балансирование на грани реальности и иллюзии, ирония как единственный способ избежать пафоса, кавычки, дающие возможность "провозглашать истины" без дрожи в голосе, неврозов и фобий. Здесь все напоминает сон, только вот проснуться не удается, а мир вокруг — как современный пьяный корабль, ведь неслучайно цель путешествия героев — паром "Ибупром". Именно ироничные кавычки допускают двойной финал, два не(!)альтернативных конца, которые — хотя повесится Джина в обоих — отрицают один другой, отрицают правдоподобие и трагизм этого самоубийства, отрицают смертельную серьезность происходящего. В этой пьесе повесить человека один раз — мало, потому что здесь ничто не случается на самом деле, даже смерть.

Дёрдь Драгоман

Белый король

Главы из романа

Перевод с венгерского и послесловие Ю. Гусева

Тюльпаны

Будильник я засунул вечером под подушку, чтобы звонок маму не разбудил; правда, зазвонить он не успел, я проснулся раньше: очень уж я настроился сделать маме сюрприз. Взял с письменного стола никелированный китайский фонарик, достал будильник из-под подушки, посветил на него: было без четверти пять; нажал на кнопку, чтобы он не зазвенел, нащупал на спинке стула приготовленные с вечера одежки и быстро оделся, все время думая, как бы не загреметь чем-нибудь. И все-таки, когда натягивал штаны, случайно задел ногой стул; хорошо еще, что он не грохнулся на пол, а только стукнул о край стола; дверь из комнаты я тоже открывал медленно, хоть и знал, что она не заскрипит: вчера я смазал петли тавотом. Подошел к буфету, осторожно выдвинул средний ящик, взял большие портновские ножницы, которыми мама волосы мне стрижет, потом открыл замок на входной двери и, тихо-тихо ступая, вышел; до первой лестничной площадки я спускался, стараясь не топать, а уж оттуда помчался со всех ног. Пока оказался на улице, совсем разогрелся, и быстрым шагом отправился к парку: там на клумбе возле источника росли лучшие в нашем городе тюльпаны.

Мы уже больше полугода жили без отца; правда, сначала дело выглядело так, что он уезжает всего на неделю, куда-то к морю, на опыт-

© Dragomán György, 2005. First Edition: Magvetö 2005 Budapest
© Ю. Гусев. Перевод, послесловие, 2008

ную станцию, по очень срочному делу; когда он со мной прощался, то даже сказал: ужасно жаль, что не могу тебя взять с собой, в это время, поздней осенью, на море просто здорово, море сердитое такое, не то что летом, волны на нем громадные, желтые, и везде, куда ни глянь, клочья белой пены; ну ничего, обещаю, вот вернусь и тебя туда отвезу, и все-все покажу, и вообще не понимаю, как это так: тебе уже десять, а ты до сих пор моря не видел; ну, ладно, лучше поздно, чем никогда, еще все увидишь, что стоит увидеть, к чему торопиться, времени хватит, вся жизнь перед нами; отец часто так говорил — "вся жизнь перед нами", хоть я раньше не очень-то задумывался, что это значит; когда он после этого не вернулся домой, я особенно много об этом думал; и еще мне часто вспоминался тот день, когда я его видел в последний раз; коллеги приехали за отцом на сером фургоне, они уже собрались уезжать, но тут я вернулся из школы; если б не отменили у нас последний урок, природоведение, я бы их вообще не застал: они как раз все садились в фургон, когда я подошел, и, видно, спешили очень, коллеги даже не хотели дать отцу поговорить со мной, но отец сказал им решительно: перестаньте, у вас ведь тоже, наверно, дети есть, знаете, что это такое, а пять минут ничего не меняют; и тогда один из коллег, высокий, с седыми волосами, в сером костюме, пожал плечами и сказал, ладно, пускай, пять минут в самом деле ничего не изменят; тогда отец подошел ко мне, остановился, но не обнял, даже по голове не погладил, а все время держал перед собой двумя руками снятый пиджак; тут он и сказал про опытную станцию, и что научно-исследовательский институт срочно его туда посылает, за неделю он управится, ну, если дело серьезное, немного дольше пробудет, чтобы во всем разобраться; тогда он и стал мне говорить про море, но тут высокий седой коллега подошел к нам, положил руку отцу на плечо и сказал: пойдемте, господин доктор, пять минут прошли, пора ехать, а то на самолет опоздаем; и тогда отец наклонился и поцеловал меня в лоб, но не обнял, только велел заботиться о маме и быть хорошим мальчиком, я ведь остаюсь единственным мужчиной в семье, так что должен помнить об этом все время и вести себя подобающим образом; я сказал, ладно, я постараюсь, и ты тоже себя береги; и тогда седой коллега бросил на меня взгляд и сказал: будь спокоен, парень, уж мы за господином доктором присмотрим, и подмигнул, потом открыл боковую дверцу в фургоне и подсадил отца внутрь, а шофер тем временем завел мотор, и, когда дверца за отцом закрылась, машина сразу тронулась, а я поднял свою сумку и заторопился домой, потому что сегодня мне как раз повезло: я достал нового форварда для своей настольной футбольной команды, и мне не терпелось попробовать, как он по клеенке скользит: так же хорошо, как по картону; потому я и вслед не стал махать, и даже не дождался, пока фургон свернет за угол. Хорошо помню, какое было лицо у отца: небритое, и пахло от него табаком, и казался он очень-очень усталым, и улыбка была какой-то кривой; я много об этом раздумывал, но кажется мне, отец тогда еще не догадывался, что не сможет быстро вернуться домой; через неделю мы от него получили письмо: отец написал, что дело куда серьезнее, чем он думал, но подробнее, к сожалению, он сказать ничего не может, из соображений государственной безопасности; в общем, на какое-то время ему придется еще задержаться, и если все пойдет как

надо, то через пару недель, он надеется, ему разрешат съездить на день-два домой, а пока вряд ли, потому что там он нужен все время. С тех пор приходили еще письма, по три-четыре в неделю, и в каждом отец писал, что скоро приедет, но потом так и не приехал, даже на Рождество, напрасно мы его ждали и на Новый год, и вот уже апрель наступил, а письма совсем приходить перестали, и я даже начал думать, что отец на самом деле убежал за границу, как у одного моего одноклассника, Эгона: его отец переплыл Дунай и сначала в Югославию попал, а оттуда на Запад, но с тех пор от него никаких вестей, семья Эгона даже не знает, жив ли он вообще.

Я обогнул нашу пятиэтажку и дальше пошел не по улице, а за домами: не хотелось, чтобы кто-нибудь встретился и спросил, куда это я ни свет ни заря. У источника, к счастью, никого не было, так что я не мешкая перелез через цепь на клумбу с тюльпанами, вынул ножницы и стал срезать цветы; стебли я резал как можно ниже, у самой земли, потому что бабушка как-то говорила: чем ниже срезаешь тюльпаны, тем дольше они живут, и лучше всего срезáть с листьями; сначала я собирался собрать ровно двадцать пять штук, но где-то на пятнадцати сбился со счета, так что дальше просто резал и резал, куртка стала вся мокрая от росы, штаны тоже, но мне было на это плевать, я думал про отца: он, наверно, каждую весну то же самое делал, приходил сюда и срезал тюльпаны; мама часто мне рассказывала, что он сделал ей предложение с букетом тюльпанов, и пока ухаживал за ней, тоже всегда тюльпаны дарил, и каждую годовщину свадьбы, каждое семнадцатое апреля, они встречали с огромным букетом тюльпанов: утром она просыпается, а тюльпаны уже стоят на кухонном столе; я знал, что в этом году у них пятнадцатая годовщина свадьбы, и решил, пусть на этот раз она получит такой большой букет, какого еще никогда не получала.

И вот я нарезал столько цветов, что уже не мог удержать их в руке, я прижал их к груди, но они все равно падали; тогда я положил их на землю, стряхнул с ножниц росу и стал резать дальше, а сам думал про отца: должно быть, он тоже срезáл цветы вот этими самыми ножницами; я смотрел на свои руки и пробовал представить сильные руки отца, но ничего не получалось, я видел только свое тонкое, белое запястье и пальцы, продетые в кольца стареньких портновских ножниц, на которых облезала зеленая краска; и тут вдруг я услышал окрик, какой-то старик кричал: ты что это делаешь, хулиган, а ну-ка иди сюда, ты что думаешь, можно так просто рвать цветы, вот я полицию вызову, тебя живо в исправительную колонию отправят, там тебе и место; я поднял голову: к счастью, человек был незнакомый, так что я в ответ крикнул: да заткнитесь вы, цветы красть — это никакое не преступление; потом сунул ножницы в карман, собрал в охапку тюльпаны с земли, несколько штук даже осталось, потом выпрыгнул из клумбы и побежал; старик еще что-то кричал вдогонку, вроде: и не стыдно тебе так разговаривать, ну погоди, я номер-то твой записал, — но я даже не оглянулся, потому что был в той куртке, у которой на рукаве не было школьного номера; в общем, я бежал домой и прижимал к себе цветы, но прижимал не очень сильно, чтобы не сломать; головки тюльпанов били меня по лицу, широкие зеленые листья шуршали и шелестели, и запах был как от скошенной травы, только сильнее.

Поднявшись к нам, на пятый этаж, я осторожно положил тюльпаны на коврик у двери, потом медленно открыл дверь, переступил через цветы и постоял немного в темной прихожей, прислушиваясь. Мама, к счастью, еще не проснулась, так что я спокойно унес охапку тюльпанов в кухню, положил их на стол, потом зашел в кладовку, нашел под полками самую большую стеклянную банку, отнес ее под кран, налил воды, поставил банку на середину кухонного стола и стал совать туда тюльпаны; цветов было столько, что в банку они все не влезли, штук десять еще осталось, я их положил в мойку, потом вернулся к столу и, как мог, попытался подправить букет, но плохо у меня это получалось, слишком много было листьев, тюльпаны стояли неровно, один был короче, чем надо, другой слишком длинным, и я понял: если я хочу, чтобы букет был красивый, надо бы все тюльпаны обрезать на одинаковую длину; тут мне пришло в голову, что если взять бак, в котором мама белье кипятит, то туда все цветы поместятся, и даже, может, не придется их обрезать; я опять подошел к двери в кладовку, открыл ее, нагнулся, достал выварку, стоявшую под полками, — и тут дверь в кухню открылась и послышался голос мамы: кто тут, есть тут кто? Меня она не видела, я был закрыт дверью кладовки, но я-то ее видел в щель между створкой и косяком; она стояла в длинной ночной сорочке, босая, и я видел ее лицо: когда она заметила тюльпаны, она побелела и схватилась рукой за косяк, и губы у нее приоткрылись, я думал, она сейчас улыбнется, но лицо у нее было такое, будто она сейчас закричит и будет долго кричать, словно сильно разозлилась или у нее что-то очень болит; она даже оскалилась, и глаза сузились, и я слышал, как тяжело она дышит; и тогда она медленно оглядела кухню, а когда увидела открытую дверь кладовки, то отпустила косяк, убрала волосы, упавшие на лицо, глубоко вздохнула и сказала: это ты, сынок? А я ничего не ответил, просто вышел и встал у стола, и тут только сказал: я хотел тебе сюрприз сделать, не сердись, пожалуйста, я хотел как лучше, папа ведь просил, пока его не будет, чтобы я был в доме за мужчину; тут я увидел, что мама пытается улыбнуться, но глаза у нее все еще были грустные-грустные, и она сказала, что, конечно, не сердится, и голос у нее был низкий и хриплый, не сердится, а наоборот, очень благодарна, и сказав это, подошла ко мне и обняла, но не так, как всегда, а гораздо, гораздо крепче, очень крепко она меня обняла, так она меня обнимала только однажды, когда я болел, — и я тоже крепко обнял ее, и сквозь куртку и ее сорочку чувствовал, как бьется ее сердце, и я вспомнил про тюльпаны, вспомнил, как в сквере стоял на коленях и срезáл тюльпан за тюльпаном; и я почувствовал, что мама еще сильнее прижимает меня к себе, и я тоже еще сильнее обнял ее, и нос мой все еще полон был запахом тюльпанов, крепким запахом свежей, сочной травы, и тут я почувствовал, что мама дрожит, и понял, что она заплачет сейчас, и понял, что тогда и я заплачу вместе с ней, но плакать я не хотел и отпустить ее не мог, я крепко обнимал ее, и собирался сказать, чтобы она не грустила, все будет хорошо, но не мог произнести ни слова, вообще даже рот не мог открыть; и тут вдруг зазвонил звонок на входной двери, зазвонил резко, требовательно, и тут же опять зазвонил, громко и долго, во второй, в третий раз, и тогда мама отпустила меня и вся сразу стала холодной, и я тогда тоже ее отпустил и сказал: подожди, пойду посмотрю, кто там.

Пока я шел к двери, я думал, наверняка это полиция, тот старик в парке, видно, все же узнал меня и сообщил куда надо, и вот уже за мной пришли, теперь меня заберут, потому что я расхищал общественную собственность, рвал тюльпаны, и я даже колебался: может, не открывать дверь? Но звонок все звонил, звонил упорно и громко, и в дверь уже стучали, так что я все-таки протянул руку, повернул замок и открыл дверь.

Передо мной стояли вовсе не полицейские, а коллеги отца, те, с которыми отец тогда уезжал; я так удивился, что даже рот раскрыл, и тогда высокий седой коллега посмотрел на меня и спросил, дома ли мать; я кивнул в ответ, и подумал: наверно, отец прислал с ними подарок к годовщине свадьбы; я даже собрался сказать, дескать, заходите, пожалуйста, мама очень будет рада, но не успел и слова произнести, как седой сердито спросил: ты что, оглох, почему не отвечаешь? Ну, я тогда ответил: да, она дома; и тут второй коллега, пониже, тоже заговорил: тогда заходим — и оттолкнул меня с дороги, они оба вошли в прихожую и остановились, и тот, что пониже, спросил, которая тут материна комната, а я ответил, мама в кухне, и пошел вперед, и сказал, что пришли папины коллеги, наверно, письмо от него принесли или подарок; мама как раз пила воду из глиняной кружки, этой кружкой мы наливали воду в кофеварку; рука у нее вдруг замерла, мама посмотрела на меня, потом на папиных коллег у меня за спиной, и я увидел, как бледнеет ее лицо над кружкой; она медленно-медленно опустила кружку, и губы у нее стали узкими, твердыми, как в те минуты, когда она очень-очень сердилась, и она очень громко спросила у коллег отца, что им здесь надо, и так резко поставила кружку на стол, что из нее остатки воды выплеснулись, и крикнула: уходите отсюда; но те двое уже были в кухне, высокий седой коллега даже не поздоровался, а сразу спросил у мамы: вы что, сыну так ничего и не объяснили? И мама тогда тряхнула головой и сказала: это не ваше дело; а высокий седой коллега ответил: зря, он все равно узнает рано или поздно, такие вещи лучше всего прояснять в самом начале, потому что одна ложь рождает другую; и тут мама засмеялась и сказала: да уж, вы-то — настоящие правдолюбцы; и тогда тот, что пониже, зло сказал маме, что она лучше помалкивала бы, и мама в самом деле замолчала, а седой повернулся ко мне и спросил: ты, сынок, все еще считаешь, что мы коллеги твоего отца? Я ничего не ответил, только почувствовал, что мне становится холодно, как на уроке физкультуры после забега на зачет, когда приходится согнуться, потому что иначе воздух не попадает в грудь; и тогда седой улыбнулся мне и сказал: так вот, знай, мы не коллеги твоего отца, а сотрудники госбезопасности, а твой отец арестован, потому что участвовал в заговоре против государства, так что какое-то время ты точно его не увидишь, причем, очень может быть, очень и очень долго, потому что отец твой теперь лопатой машет, строит Дунайский канал, ты знаешь, что это значит? Это значит, что он в трудовом лагере, а поскольку он у вас не богатырь, то долго там не выдержит, и никогда он оттуда уже не вернется, и вообще неизвестно, жив ли он еще; и когда он это сказал, мама схватила со стола кружку, из которой пила, и так грохнула ее о пол, что та разлетелась вдребезги; тут офицер замолчал, и с минуту было тихо, потом мама сказала: все, хватит, если вы и меня хотите забрать, забирайте, а сына оставьте в покое, он еще

ребенок, понятно вам, оставьте в покое и скажите наконец, что вам надо, чего вы сюда явились.

Тот, что пониже, ответил: да нет, ничего, просто мимо шли, вот и решили зайти посмотреть, вдруг найдем что интересное в комнате господина доктора.

Тогда мама спросила, есть ли у них ордер, а высокий седой сотрудник улыбнулся и сказал: зачем по всякому пустяку ордер, что тут такого, если мы немного у вас оглядимся, вряд ли вам есть что прятать, верно?

Тогда мама, опять очень громко, сказала: вы не имеете права и вообще убирайтесь немедленно, а если не уйдете, я прямо так, как есть, пойду к ратуше и устрою там сидячую забастовку и публично буду требовать, чтобы моего мужа отпустили на свободу, куда это годится, чтобы человека без суда и следствия, без приговора полгода держали под стражей; какая бы это ни была страна, но есть же у нас конституция, есть же у нас законы, и для обыска все равно нужен ордер, так что или предъявите ордер, или уходите.

Тут седой офицер улыбнулся маме и сказал: вам очень идет, когда вы такая воинственная, ваш муж там, на стройке канала, наверняка по вам очень скучает, вы, ей-богу, просто очаровательная женщина, какая жалость, что вы никогда больше с ним не увидитесь.

Мама покраснела, лицо у нее просто запылало, я видел, как она вся напряглась, и даже подумал, что вот сейчас она возьмет и отвесит седому пару хороших оплеух; я думаю, никогда еще не видел ее такой сердитой, и мама в самом деле шагнула, но не к седому, а к входной двери, распахнула ее и сказала: довольно, вон отсюда, убирайтесь из моего дома немедленно, а если не уберетесь, я сию же минуту позвоню свекру, вы сами знаете, он был партсекретарем, и пускай сейчас он на пенсии, друзей у него осталось достаточно, чтобы вас на место поставить, чтобы за то, что вы тут себе позволяете, вас в дорожную полицию перевели, так что если не хотите неприятностей, то убирайтесь; мама это произнесла так уверенно, что даже я чуть ей не поверил, хотя уж я-то знал: по своей воле она в жизни не станет звонить дедушке, потому что с тех пор как бабушка ей сказала в глаза: ты жидовка, сука психованная, мама ни с ней, ни с дедушкой не разговаривала; но по тому, как она говорила сейчас, этого видно не было.

Сотрудник, тот, что пониже, на это ответил: ага, вот, значит, как? только если вы полагаете, будто старик еще что-нибудь может, особенно сейчас, когда его сына забрали, то вы сильно ошибаетесь, пусть старый хрыч радуется, что его самого не интернировали; но если вам хочется звонить и жаловаться, то извольте, — и тут он шагнул к кухонному шкафчику, взялся за ручку ящика со столовыми приборами, вытащил его, да так резко, что ящик остался у него в руке, а ножи, вилки, ложки, большие и маленькие, разлетелись по всей кухне, и сотрудник с размаху ударил пустым ящиком по шкафчику, и задняя стенка ящика отлетела, и он сказал: вот, пожалуйста, теперь вам будет на что жаловаться, но учтите, это только начало, да-да, это только начало; и я увидел, как он ощерился, и понял, что он собирается стол перевернуть, и тогда седой положил руку ему на плечо и сказал: успокойся, Дюрка, успокойся, брось, ты же видишь, обманула дамочка наши ожидания, мы думали, она умная женщина, думали, она знает, с кем и когда нужно быть уступчивой, но,

видно, не хватает у нее умишка, чтобы понять, кто ей желает добра, видно, она очень хочет на свою голову неприятностей. Что ж, пускай будет так, как она хочет. И тогда сотрудник, которого звали Дюрка, швырнул разбитый ящик на пол, где были разбросаны столовые приборы, и сказал: ладно, товарищ майор, пусть будет по-вашему, пошли.

И сотрудник, которого звали Дюрка, посмотрел на маму, кивнул, потом обернулся ко мне и сказал: хорошо, мы уходим, но только потому, что вы, как я вижу, любите цветы, а кто любит цветы, тот не может быть плохим человеком, — и он подошел к столу, и я уже подумал, что он все-таки сбросит на пол банку с цветами; но он только вытащил один тюльпан, поднял его, понюхал и сказал: у тюльпанов одно плохо — нет запаха, а вообще цветок этот замечательный; и направился к двери: идемте, товарищ майор; седой ничего не ответил, только кивнул, мол, ладно, идем, и тогда сотрудник по имени Дюрка пошел к выходу, а проходя мимо мамы, протянул ей цветок, мама молча взяла его, а сотрудник по имени Дюрка тогда сказал: цветок — цветку. Потом взглянул на меня, подмигнул, вышел в дверь и зашагал вниз по лестнице.

Майор тоже вышел, и мама уже хотела захлопнуть дверь за ним, но тут майор вдруг остановился, и поставил ногу так, чтобы мама не смогла закрыть дверь, и сказал, спокойно, даже вроде добродушно: вы об этом пожалеете, мадам, потому что когда мы вернемся, то даже полы у вас поднимем, замазку вынем из окон, под ванну заглянем, в трубы газовые, весь дом разберем по кирпичику, и уж будьте уверены, найдем то, что ищем, будьте уверены; он замолчал, повернулся и пошел вниз.

Тогда мама захлопнула дверь, но я еще слышал, как майор сказал "до свидания"; мама повернулась и прислонилась спиной к закрытой двери, и долго стояла, с красным тюльпаном в руке, и смотрела на осколки разбитой кружки, на разбросанные столовые приборы, на сломанный ящик, и губы у нее дергались; но потом она сжала их, посмотрела на меня и тихо сказала, чтобы я принес совок и веник, собрать мусор, и я тогда посмотрел на тюльпаны в банке на столе и хотел спросить у мамы: правда ведь, это чепуха, что они об отце говорили, правда ведь, он вернется домой? И я повернулся к маме и увидел, как она нюхает цветок, который так и остался у нее в руке, и глаза у нее влажно блестят, и я понял, что она едва сдерживает слезы, и не стал ничего спрашивать.

Прыжок

Мы с Саби довольно быстро поняли, что температуру нам мелом не поднять, чепуха это, сказки: мы с ним по полтора кусочка съели, и хоть бы что; потом даже цветные мелки попробовали, Саби съел зеленый, я — красный, и потом полтора часа сидели около школы под мостом, ждали, что будет, да только так ничего и не дождались, разве что после этого ссали цветным: я — красным, Саби — зеленоватым; трюк с градусником мы не решились проделать: меня в прошлый раз мама застала, когда я градусник к батарее приложил, а Саби еще сильней опозорился: две недели назад, перед контрольной по математике, он градусником дотронулся до настольной лампы, и ртуть в одну секунду закипела и выбила верхний конец градусника, так что отец Саби выпорол его ремнем,

тем концом, который с пряжкой; в общем, об этом и речи быть не могло; но что-то ведь все равно надо было придумать.

Мы знали: если к завтрашнему дню мы не заболеем, то нам конец, в школе нас просто убьют, ведь к тому времени обязательно выяснится, что мы с Саби проиграли все деньги на игровых автоматах в подвале Кукольного театра; деньги эти были собраны в классе к 1 Мая, и мы должны были купить на них ткань для флагов и транспарантов; а проиграли мы их потому, что Фери наврал, будто на новых автоматах каждая третья игра — верный выигрыш, вроде эти автоматы специально так настроены; когда мы туда спустились, то сначала в самом деле выиграли целых десять лей, но потом пошел проигрыш за проигрышем; в конце мы уже мечтали только деньги вернуть, для того и третью сотню пустили в ход, и нам почти уже удалось отыграться, но потом, на мигалке, мы не сумели в ритм попасть, и как раз в ту секунду, когда мы нажали на кнопку, экстрасупербонус сменился на ноль, и мы остались ни с чем; сколько мы потом ни просили кассира вернуть деньги, сколько ни объясняли, что это деньги не наши, он только смеялся и говорил: на то и игра, тут или везет, или не везет, а если будете скандалить, то еще и по шее схлопочете; в общем, если не желаете играть дальше, то проваливайте, не занимайте зря место, из-за вас платежеспособные игроки не могут подойти к автоматам; словом, вышли мы с Саби на улицу Мучеников Революции, посмотрели друг на друга и поняли, что дела наши совсем дрянь, и тогда Саби сказал: остается пойти на станцию, забраться на какой-нибудь товарняк, уехать в Петрожень и поступить в шахтеры, он слышал, там и маленьких берут и ни у кого никаких документов не спрашивают, потому что шахтеры на угольных шахтах всегда нужны; но я сказал: поезжай, если хочешь, а я не поеду, я не хочу умереть от силикоза, и вообще давай лучше заболеем: если по-правильному заболеть, то, может, проваляемся дома, пока 1 Мая пройдет; тогда Саби сказал, что он согласен, и вспомнил, что от мела поднимается температура, и мы тут же это испробовали, да только оказалось, что это чепуха, и хоть я красным ссал, от красного мела, на кровь это нисколько не было похоже, да и запах был совсем не такой, как у крови; в общем, мы поняли, надо что-то другое придумывать, и тогда Саби сказал: лучше всего пойти к источнику и попробовать выпить столько воды, сколько сумеешь, потому что если быстро пить ледяную родниковую воду, то воспаление легких, считай, обеспечено, а это по крайней мере три недели в больнице, к тому же все нас будут жалеть, а про деньги наверняка никто и не вспомнит.

У источника народу почти не было, всего четверо стояли с кувшинами; пока они набирали воду, мы с Саби по очереди забирались на постамент, там раньше стоял Факелоносец Революции, которого недавно украли, и то Саби факелоносца изображал, то я, тут главное было, чтобы как можно дальше вытянуть вперед правую руку, будто в самом деле факел держишь, и при этом нельзя было даже пошевелиться, и бросать в статую можно было только одним камешком, но в лицо нельзя было целиться, и выигрывал тот, кто дольше простоит неподвижно; как раз подошла моя очередь, но тут последний кувшин был наполнен, и тогда Саби схватил целую горсть щебенки, швырнул в меня и сказал: пошли скорей, воспаление легких ждет героев; я сказал, ладно, только нач-

нешь ты, раз ты это придумал и раз ты смухлевал, когда мы в факелоносца играли, а он сказал: я знаю, ты трус, я тебе покажу, как надо.

Вода вытекала из толстой железной трубки, которая торчала из каменной стены, а над трубкой была каменная доска, и на ней было написано, что здесь утолил жажду Янку Жьяну, знаменитый гайдук, защитник слабых и обездоленных, когда убегал от жандармов; и еще там было написано, что это целебная вода, но ее нельзя пить беременным женщинам и кормящим матерям, так что, когда Саби наклонился к трубе и приготовился пить, я ему сказал: стой, не торопись, ты что, не видишь, беременным эту воду нельзя; но Саби даже не улыбнулся, хотя раньше всегда в этом месте принимался ржать; сейчас он только сказал: не валяй дурака, тут дело серьезное; тут надо делать так: берешь конец трубы в рот, плотно зажимаешь его, чтобы вода не выливалась, но сразу не глотай, а начинай считать, и считай примерно до ста, а когда в трубе уже будет такое давление, что едва можно выдержать, тут глотай, и тогда ледяная вода хлынет в горло и сразу заполнит желудок, и организм так охладится, что воспаление легких будет как пить дать, и кто все делает по-правильному, тот сразу потеряет сознание, но приводить его в чувство, хлопать по щекам, то-се нельзя, а можно только брызгать ему в лицо холодной водой, и тогда он очнется; я сказал, ладно, хватит объяснять, что будет да чего не будет, лучше начинай, пока никто не пришел, а то если увидят, что мы трубу в рот берем, нас за это не похвалят; тут Саби сказал: твоя правда, начинаю; и присел перед трубой, и взял конец в рот так, что ни капли не лилось мимо, а я начал громко считать, чтобы он тоже слышал и знал, сколько еще терпеть, и тут лицо у Саби стало краснеть, сначала — вроде того, как человек краснеет, когда его дразнят, потом еще сильнее, я и до пятидесяти не досчитал, а он уже был как свекла, потом стал синеть, потом глаза зажмурил, я увидел, что он сжимает трубу обеими руками, и лицо у него стало совсем синее, я дошел до восьмидесяти пяти, и тут он вдруг отпустил трубу, и вода хлынула из нее с такой силой, что Саби отбросило, и вся одежда у него в один момент стала мокрая, я видел, он все-таки пытается пить, глотает воду раскрытым ртом, но от сильного давления вода, видно, ему в нос попала; в общем, когда он вытер лицо рукавом школьной рубашки, то сказал, что все это чушь собачья, потому что в легких он вообще ничего не чувствует, хотя легкие сейчас уже должны были бы заболеть, так что этот способ тоже не годится; но все-таки, сказал Саби, если хочешь, можешь попробовать, вдруг у тебя выйдет; только, наверно, не стоит ждать, пока в трубе будет большое давление, достаточно просто зажать нос и пить, сколько сможешь; я сказал, ладно, и присел возле трубы, зажал пальцами нос, а ладонью другой руки направил струю воды себе в рот и стал пить; вода была довольно холодная, но мне казалось, что, по мере того как кончается воздух, она все теплеет, и когда я остановился, она стала как будто совсем горячей, а это мне просто воздуха не хватало, и я тоже чуть не упал, но Саби подхватил меня и помог встать, и мы медленно побрели к скамье, нашли одну, у которой были и сиденье, и даже спинка, и сели; у меня голова кружилась, и что-то в ней гудело, а Саби сказал, что чувствует себя довольно хреново, но это, наверно, оттого, что сразу выпил столько воды, а для воспаления легких эта вода все же недостаточно холодная, от нее разве что понос прошибет, но понос — это чепуха, и тут

мне и вправду показалось, что у меня живот заболел, я даже прижал ладони к животу, но, когда я наклонился, все прошло, и тогда я сказал Саби, что воспаление легких — чушь собачья, ничего из этого не выйдет, и, если мы хотим, чтобы не было шухера, надо что-нибудь другое придумать, что-нибудь такое, что железно получится, и тогда Саби сказал: да, точно, лучше всего ногу сломать; а я ему ответил: дурак ты, перелом ведь нельзя симулировать; а он стал объяснять: конечно нельзя, только мы ведь воспаление легких тоже симулировать не собирались, и если мы в самом деле хотим выкрутиться из этой истории с деньгами, то симуляция не поможет, ты же сам видел, много ли толку было от мела, так что давай лучше пойдем к лесу, к той заброшенной стройке, там канаву вырыли для канализации, и даже толстую бетонную трубу туда положили, и если туда прыгнуть, точно ногу сломаешь, и точно не меньше недели будешь в гипсе ходить; я ему ответил: сломать ногу — это слишком опасно, это дело серьезное; тогда Саби захохотал и сказал: трус ты, я вот уже два раза ногу ломал, а один раз еще и голову разбил, и знаешь, вполне клево, жить можно, только приходится терпеть, пока гипс застывает, потому что он горячий, прямо обжигает кожу, зато потом долго в школу не надо ходить, и еще здорово, что под гипсом можно спицей вязальной чесаться, ну а если дождь, то еще дольше не надо в школу ходить, а на физре целых полгода можно не бегать, потому что сломанную ногу нельзя перегружать, и вообще, если ты не пойдешь, я всем расскажу, какой ты трус, боишься ногу сломать; и тогда я сказал: заткнись ты, я не трус; и Саби тогда сказал: ладно, потом об этом поговорим, когда прыгнем; и мы направились к стройке.

Быстро мы идти не могли, потому что в животах у нас все еще было полно воды; я шел и чувствовал, как она там булькает; один раз даже пришлось остановиться, потому что Саби понадобилось поссать, и еще раз, когда в животе у меня такое началось, что меня чуть не вырвало; но все-таки мы добрались до стройки; Саби знал, в каком месте там дыра в заборе: он уже приходил сюда — бергмановские трубки и карбид воровать; он мне сказал: да ты не бойся, в сторожке давно никто не живет; канаву мы увидели сразу, там с одной стороны была высокая земляная насыпь; Саби шел впереди, мы взобрались на насыпь и оттуда посмотрели вниз, в канаву; в канаве уже лежали толстые бетонные трубы, но между собой они не были соединены; и тут Саби вдруг сказал, что он в общем-то жалеет, что мы подвели класс, и в общем-то хреново, что из-за нас теперь другие не смогут принять участия в конкурсе на лучший транспарант, а ведь тот класс, который самый лучший транспарант изготовит, получит в награду две недели отдыха у моря; и тогда я сказал, что тоже жалею, что говорить, мне бы тоже хотелось поехать на море; потом я снова посмотрел вниз, на бетонные трубы, и мне подумалось, что по этим трубам никогда не потечет ни вода, ни канализационные стоки, потому что жилой район тут никогда не будет построен, и я сказал Саби: не переживай, конкурс все равно бы выиграли не мы, а какой-нибудь класс из 3-й школы, потому что 3-я школа всё и всегда выигрывает: там учатся детки всяких партийных работников и активистов, а из-за нашего класса тоже не стоит беспокоиться, потому что такого еще не было, чтобы какой-то класс не принял участия в конкурсе на лучший транспарант и не пошел на демонстрацию, если есть такое распоряже-

ние, так что классный руководитель наверняка где-нибудь добудет материю на транспаранты, и все будет чин чинарем, потому что никто не хочет на свою голову неприятностей; и тогда Саби спросил: точно? — а я сказал: еще бы не точно, а теперь давай прыгать, а то, если долго стоять, всякая храбрость кончится, и тогда Саби сказал: ладно, давай считать вслух до трех, а на "три" прыгнем вместе; и тут мы оба еще раз посмотрели в канаву: она была довольно глубокая, там, где мы стояли, метра четыре глубиной, и тут мы стали вместе считать вслух, но на двух Саби остановился и сказал: давай закроем глаза и начнем сначала, и мы закрыли глаза и стали считать сначала, и тогда я вдруг подумал, что если мы оба спрыгнем и в самом деле сломаем ноги, то ведь не сможем выбраться из канавы, и я хотел сказать Саби, чтобы он остановился, но не успел: Саби уже прыгнул; когда я открыл глаза, он как раз оттолкнулся, да так сильно, что почти перепрыгнул канаву, но все-таки не до конца перепрыгнул: он боком шлепнулся на противоположный край и оттуда упал в канаву на бетонную трубу и в тот же момент заорал и руками схватился за щиколотку; он лежал возле трубы, и все держался за ногу, и выкрикивал мое имя, и очень громко плакал и стонал; и тогда я крикнул ему: погоди, я сейчас к тебе спущусь; он поднял на меня глаза, лицо у него было все в слезах, и он ответил: иди в жопу, трус сраный, сам-то чего не прыгнул; и тогда я сказал: заткнись, я же видел, что ты собираешься перепрыгнуть канаву, ты вообще не хотел в нее прыгать, и если бы я был таким же кретином, как ты, то кто бы сейчас побежал за помощью; но Саби только матерился и кричал, как ему больно, а я опять крикнул ему сверху: так тебе и надо, за то, что хотел меня обхитрить, теперь жди, пока я позову кого-нибудь, хотя ты этого не заслужил; и я побежал назад, к домам, и на бегу думал о том, что скажу завтра в школе: мол, денег нет потому, что половину пришлось отдать спасателям, чтобы они отвезли беднягу Саби в больницу, а другую половину — врачу, чтобы он не выправлял сломанную ногу Саби без обезболивания.

Война

Мы с Пую лежали в поле, среди пшеницы; было так жарко, что пот лил с нас ручьями, тек по лицу, смывал с него черную боевую раскраску, которую мы сделали из горелой пробки, и раскраска, горько-соленая, затекала в рот, и ее невозможно было выплюнуть, и рот нельзя было ополоснуть, потому что воды у нас не было: ни мне, ни Пую в голову не пришло, что нужно взять с собой не только оружие, но и фляжку с водой; а солнце палило беспощадно: после той аварии на атомной электростанции, о которой у нас нельзя было говорить, стало как-то гораздо теплее, чем до того, и пшеница стала раньше поспевать, вот сейчас — только середина июля, а зерна уже высыпаются из колосьев, и сколько их ни жуешь, жвачка не получается, потому что масса остается сухой, как опилки; Пую сказал: скоро начнется жатва, уж он-то знает, у него отец — тракторист в кооперативе, отец ему и сказал, что кооператив уже заказал газойль и даже успел его получить, так что жатва может начаться в любой момент.

Мы уже довольно близко подобрались к сторожевой вышке, где была штаб-квартира братьев Фрунза, устроили свою штаб-квартиру, и довольно-таки устали: очень уж долго ползли по полю, стебли, листья, комья земли искололи, исцарапали нам ладони и локти; Пую, правда, был в кожаных перчатках, но толку от этого было чуть, потому что в перчатках он только сильнее потел; я посмотрел на него и увидел, что струйки пота оставляют в боевой раскраске тонкие серые полоски; я, конечно, понимал, что и сам выгляжу так же, то есть вовсе не устрашающе, а скорее просто смешно; мы проползли еще немного вперед, и Пую шепнул мне, чтобы я выглянул из пшеницы посмотреть, далеко ли еще, а я ответил ему, ну уж нет, пускай сам выглядывает, сейчас его очередь, так что Пую в самом деле приподнялся немного, не во весь рост, а только привстал на одно колено, всего на секунду, и тут же упал обратно; я и под боевой раскраской заметил, как он побледнел, и спросил его, что он такое увидел; и тогда Пую перекрестился и сказал, что братья Фрунза в самом деле не шутили, они в самом деле поймали и убили кого-то, он ясно видел: перед вышкой торчит из земли копье, а на нем окровавленная голова; но я ему ответил: не верю, чего ты брешешь; и тогда Пую сказал: если не веришь, посмотри сам; и тогда я тоже приподнялся и выглянул и увидел, что над вышкой летают, кружатся голуби, а возле вышки в самом деле воткнуто в землю копье, но что там, на копье, не было видно, потому что сверху был надет толстый полиэтиленовый мешок из-под минерального удобрения, и снизу он был завязан, поэтому трудно было определить, что там внутри; но когда я ложился обратно в пшеницу, я сообразил, что внизу, там, где завязки, по древку копья течет что-то красное, и, когда я уже был рядом с Пую, я почувствовал, что еще немного, и желудок у меня вывернет наизнанку; я смотрел на колосья, на стебли пшеницы, которые мы придавили, когда ползли, и хотел сказать Пую, мол, тут что-то не то, никакая это не кровь, мало ли что там течет по древку; но когда я открыл рот, я ощутил боль и тут только заметил, что пальцы моей правой руки судорожно вцепились в землю, а когда я отдернул руку, то вместе с землей вырвал целую горсть колосьев вместе с корнями, и тогда я взглянул на Пую и увидел, что губы у него трясутся от страха, и я выпустил из пальцев корни с землей и подумал, что не надо было, пожалуй, мне ввязываться в эту войну, и еще подумал, что ни за что не сумею взобраться на вышку за продановским мячом.

А началось все вот с чего: на нашем футбольном поле, как раз в самой середке, вырыли канаву для новой канализации, так что пришлось нам ходить на соседнюю улицу, на тамошнее футбольное поле. Сначала говорили, там поле тоже разроют, но дело до этого не дошло: в один прекрасный день рабочие, которые копали у нас, ушли и больше не вернулись; правда, времянка, где сложены были инструменты, так и стояла возле канавы, как они ее бросили. Ребята с соседней улицы нас к себе пускали — до того дня, пока, где-то в начале лета, не приехали жить туда, к своему деду, братья-сироты, Ремус и Ромулус, по фамилии Фрунза; первым делом они побили Жолта, который до тех пор на их улице был самый сильный, и сами стали там главарями; и однажды, когда мы пришли играть в футбол, они нам сказали: хватит сюда ходить, только если платить будете; Продан Большой в глаза им захохотал: футбольное поле — общественная собственность, его никто не может присвоить; но

тогда Ромулус Фрунза сказал, что его старший братан не привык, чтобы ему перечили, и тут Ремус Фрунза вдруг вытащил из кармана складной ножик на пружине и пырнул Продана Большого в плечо, да так неожиданно, что тот даже не успел свой нож вынуть, и когда Продан за плечо схватился, то выронил из рук кожаный мяч, который ему дядя привез из Югославии, и тогда Ромулус Фрунза нагнулся, поднял мяч и сказал: этот мяч теперь наш, а ты, Продан, скажи спасибо, что не в живот получил ножом, ну, а плечо — это чепуха, за неделю заживет, потому что братан тебя не сильно ударил, а так, просто поучить; и Ромулус стал стучать мячом по земле и сказал: вот так-то, а если вам это не нравится, то, пожалуйста, будем воевать, мы вам объявим войну и скоро пришлем вам письмо, и там все условия будут точно оговорены, так что готовьтесь, сражение будет на пшеничном поле, которое на холме, и биться мы будем не на жизнь, а на смерть, наступать будете вы, и если сумеете добраться до сторожевой вышки, которая у леса, и унести оттуда вот этот мяч, а потом донести его до Большого дерева, то вы победили, и тогда не только вернете мяч, но и будете, когда захотите, бесплатно играть на нашем футбольном поле, но я-то знаю, да и вы знаете, что ничего у вас не выйдет, потому что вы слабаки, вы и от объявления войны сразу в штаны наложите, где уж вам набраться смелости против нас воевать, вон мы Продану кровь пустили, а он стерпел, даже не пикнул.

Продан сначала на это ничего не сказал, только отнял ладонь от плеча, и мы увидели, что рука у него вся в крови, не только ладонь, но и пальцы; и тут он посмотрел на свою ладонь, будто в первый раз ее увидел, и вдруг сказал: кровь только кровью смыть можно, и шагнул вперед, и изо всех сил закатил оплеуху Ромулусу Фрунзе, так, что тот чуть не упал на своего братана, и на лице у него остался кровавый отпечаток Продановой ладони, и тут мы все сразу бросились бежать оттуда в сторону нашей улицы, потому что боялись, что банда за нами погонится, но они только пару камней швырнули нам вслед, но ни в кого не попали; и еще мы слышали, как Ромулус Фрунза громко кричит что-то такое, что, мол, дерьмо вы, а не люди, и кровь у вас жидковата.

На следующее утро война нам в самом деле была объявлена: в почтовый ящик Проданам бросили голубя без головы, окровавленного, и листок из тетради в клеточку, на котором, наверно, голубиной кровью было написано об объявлении войны; Продан попросил Янчи прочитать письмо; там говорилось: сражение состоится в воскресенье на пшеничном поле, и знайте, то, что рассказывают, чистая правда: Ромулус Фрунза и Ремус Фрунза в самом деле воевали на гражданской войне, а потому лучше вам приготовиться к верной смерти, потому что тому, кого мы поймаем, тому пощады не будет, и не видать вам ни чести, ни родины, и вообще вы засранцы, все до единого, а матери ваши — последние суки. Когда Продан это услышал, лицо у него покраснело от злости, он выхватил у Янчи листок, скомкал его, бросил на землю и растоптал и сказал, что эти Фрунзы, они потому пишут такое, что у них и матери-то никогда не было, их отец воспитывал, пока не повесился с горя, что у него такие сыновья, всем известно, они потому попали сюда, к деду, что у них на свете никого больше нет, а то, что они на гражданской войне воевали, это чистое вранье, ведь гражданская война была семь лет назад, им тогда было самое большее лет восемь, и вообще в воскресенье мы им по-

кажем, а пока пускай все готовят пули для духовых трубок, гнут гвозди, собирают камни для рогаток и делают стрелы с оперением, чтобы мы тоже были нормально вооружены, чтобы не боялись братьев Фрунза, и мы им еще покажем, что мы не какие-нибудь последние говнюки.

Никто из нас на это ничего не сказал, мы молчали и смотрели на окровавленного голубя и смятый листок на земле, и тогда Продан сжал правую руку в кулак, и трижды вскинул его к небу, и трижды крикнул "ура", и в его широком кожаном налокотнике звякнули медные заклепки, и на втором "ура" уже и Продан Младший к нему присоединился, а на третьем мы уже все кричали "ура", и я тоже кричал, а когда я посмотрел на лицо Продана, то увидел, что он скривился: от всего этого у него рана на плече заболела.

После этого мы целую неделю изо всех сил готовились к сражению; все знали, битва будет жестокой: пускай братья Фрунза и не могли воевать на гражданской войне, все равно они очень опасные; до того как попасть к нам, они жили в деревне, где-то в западных горах, жили, говорят, как индейцы, охотились, птиц ловили, пока отец их не помер; никто точно не знал, сколько лет братьям: оба они ходили в шестой класс, но старший, Ремус, выглядел даже старше, чем девятиклассники, а младший, Ромулус, был таким низкорослым, что и среди четвероклассников казался маленьким, но оба были очень сильные, и драться оба умели здорово, и в оружии разбирались, на рогатках у них, например, резина была не обычная, от велосипедных камер, а особая, белая, и еще мы слышали, они для ребят с их улицы делают разное секретное оружие, поэтому и пули для духовых трубок стали готовить не простые, а с булавкой; а я даже доспехи себе сделал, из картона и фольги, спину прикрывать, а когда примерял, чтобы узнать, как они помещаются под футболкой, то попросил Пую выстрелить мне в спину: надо же проверить, действуют доспехи или нет; правда, Пую уперся и сказал: ты что, не помнишь, что вышло, когда мы попробовали узнать, сможешь ли ты поймать летящую стрелу, как индейцы в фильмах; но я сказал: я же тогда совсем молокосос был, девять лет — что ж ты хочешь; конечно, рефлексы у меня тогда были не то что сейчас, но гвоздь на конце стрелы, к счастью, был не очень острый, всего на два сантиметра в руку вошел, кожу, конечно, продырявил, но кость его запросто задержала, правда, уколы от столбняка потом долго болели; но теперь ведь дело совсем другое, теперь мы большие, нам почти двенадцать, ну, и доспехи эти, они от рефлексов не зависят; но Пую все равно отказывался, только за четыре конфеты согласился наконец сделать три выстрела; доспехи, конечно, испытание выдержали, пули останавливали, как настоящие, я почти ничего и не почувствовал, разве что уколы, слабенькие, вроде комариного укуса; я даже решил сделать такие же доспехи на грудь, уже и кусок картона нашел подходящий, оставалось только вырезать, потом сшить и склеить, всего на полдня работы, но тут как раз клей у меня кончился, пришлось пока бросить.

Когда я с доспехами возился, мне все время вспоминались объявление войны и тот голубь без головы, и я думал, что теперь это будет не игра, а настоящая война и в самом деле прольется кровь; и каждый раз, когда мне приходил на память тот голубь, сердце немного сжималось; но не один я, думаю, так себя чувствовал: вон и Пую сказал, что, наверно,

не пойдет воевать, отец его ни за что не отпустит, а когда я спросил, зачем он отцу про сражение рассказал: ведь если в кооперативе узнают, что мы пшеницу собираемся топтать, то не разрешат никакого сражения, да еще и отлупят, — Пую очень разозлился и ответил: ничего я никому не рассказывал, тебе хорошо, у тебя отец на стройке канала, ты что хочешь, то и делаешь, тебя лупить некому; ну, я тогда тоже ему ответил: трус ты, тебе бы в куклы играть, а моего отца не смей трогать, а то таких пинков надаю, не обрадуешься; и еще я сказал: если не придешь на сраженье, то хреновый ты пионер; когда наступило воскресенье, я и сам подумал, что лучше бы остаться дома; но после завтрака все же достал свою духовую трубку, надел через плечо, крест-накрест, два патронташа с заготовленными скрученными и высушенными пулями и сказал маме, что ухожу играть, а про себя думал, как было бы хорошо, если бы она, например, сказала, мол, нет, сегодня никуда не пойдешь, ты мне дома нужен; но мама ничего такого не сказала, даже не встала из кресла у окна, где она последнее время часто сидела, только кивнула, мол, ладно, так что я все-таки пошел; пошел на холм, к Большому дереву, там мы должны были собраться, чтобы договориться о тактике и стратегии.

Когда я туда пришел, в старой каске уже горел огонь, а вокруг собрались почти все наши ребята, и каждый принес с собой оружие; Янчи и его компания на уроке труда сделали себе настоящие метательные звезды и томагавки, у меня тоже был с собой перочинный ножик, я знал, конечно, что в рукопашной от него толку мало, но все равно взял с собой, потому что подумал: если прячешься в пшенице, приятно все же держать в руке ножик; когда я подошел к Большому дереву, Чаби как раз высыпал в каску две горсти пробок, и дым после этого стал совсем вонючим; все уже были на месте, только командир, Продан, не пришел еще; он у нас на улице был самый большой, до братьев Фрунза его никто не мог побить; он и каску эту достал где-то: сам он говорил, что нашел ее в могиле солдата гражданской войны, но никто ему не верил, а Янчи както сказал мне, что это не каска вовсе, а простой котелок; пробки в каске еще горели, когда пришел Продан; у него была четырехствольная духовая трубка: четыре бергмановские трубы он по отдельности обмотал изоляцией, приделал к ним приклад и рукоять, так что все это походило на настоящий автомат, и даже ремень был, чтобы на шее носить, а на поясе у него висела дубинка, он ее из гантели сделал; на обеих руках — боевые налокотники с медными заклепками: начинались они на запястьях, а доставали почти до локтей; на поясе рядом с дубинкой висел еще какой-то длинный нож с черной рукояткой, я такого до сих пор еще не видел; в общем, выглядел Продан Большой по-боевому; когда он подошел к каске, то сразу снял с пояса фляжку, залил водой пробки, тлеющие в каске, пробки зашипели, поднялись клубы дыма, а в каске осталась черная, как смола, жидкая копоть, это была наша боевая раскраска; сначала Продан нанес ее на себя, основательно вымазал щеки, лоб, так что его почти не узнать было, потом издал боевой клич, и тогда все по очереди тоже вымазались краской; вымазался и я, только следил при этом, чтобы губы себе не испачкать: я знал, что зола от пробки очень горькая; но тогда я, конечно, не думал, что с пóтом она все равно попадет в рот; ну, и остальные хорошо вымазались, от души; когда все были готовы, Продан встал перед нами и сказал: это будет большая и трудная битва, и

запомните, штаб-квартира противника находится на той стороне поля у опушки леса, на сторожевой вышке; наша задача — подобраться туда и завладеть кожаным мячом; но для победы этого еще недостаточно, для победы надо доставить мяч сюда, к Большому дереву; и еще он сказал: лучшей тактикой будет, если мы как можно тише, как можно незаметнее рассыплемся по полю, а когда он подаст сигнал, все сразу, со всех сторон бросимся на противника; потом он сказал мне и Пую, чтобы мы подошли к нему — мы будем разведывательное спецподразделение, и у нас будет особое задание; мы подошли, и он сказал: когда он подаст сигнал и все закричат "ура", мы не должны подниматься и идти со всеми в атаку, а должны оставаться в укрытии, в пшенице, и постараться как можно ближе подползти к вышке, даже в спину никому не должны стрелять без особой нужды, а когда услышим, как Продан трижды издаст боевой клич, выскочить из засады и постараться завладеть мячом, и если это получится, бежать что есть сил по направлению к Большому дереву, а он нас догонит и потом уже сам побежит с мячом, а его-то уж никто не догонит, и так мы вырвем победу у врага; и он посмотрел на нас и спросил, все ли мы поняли, и мы с Пую сказали: да, все; правда, я сказал, что не нравятся мне эти прятки, чего бы ему братишку своего не послать, а мы бы с Пую лучше приняли участие в рукопашной; тогда Продан сказал: конечно, если вы хотите потерпеть поражение и не подчиниться приказу командира, можно сделать и так, только знайте, что вы еще малыши для настоящей драки, и вообще, как вы смеете поминать моего брата и как вы смеете болтать тут о рукопашной, когда вы оба — дерьмо трусливое, и я вижу, вы так боитесь братьев Фрунза, что сейчас обосретесь, и вообще берегитесь, еще слово, и я отберу у вас оружие, и вы пойдете в бой с голыми руками; сказав это, он сердито тряхнул головой и вытащил тот длинный нож, который я у него никогда до сих пор не видел, и, показывая его нам, сказал: вот, глядите, это настоящий солдатский штык, я его нашел в той же могиле, что и каску, а длинный желобок, который идет вдоль лезвия, — это желобок для крови, и если вы не будете выполнять мои приказы слово в слово, то потом не удивляйтесь, если по этому желобку потечет ваша кровь, я клянусь, что своими руками воткну его вам в живот, а после этого, может, еще и скальп сниму; мы с Пую ничего на это не ответили, а когда Продан спросил, все ли мы поняли, мы сказали: да, все; а я в это время думал: вот бы рана у него на плече воспалилась и он получил заражение крови; и тогда Продан убрал штык, обернулся к остальным и сказал: к бою; и мы окружили его, вытянули правые руки и соединили их и потом выкрикнули наш боевой клич: справедливость и братство, и еще: революция победит, — и потом все побежали к пшеничному полю.

Когда мы туда прибежали, каждый лег на живот, и мы поползли через поле, и надо было стараться, чтобы полоса примятых колосьев, которая оставалась за нами, была как можно у́же, потому что колосья, если их смять, больше не поднимались, и если полоса была слишком широкой, то она была заметна издали, и тогда мы запросто могли бы попасть под ком земли, а когда в тебя попадает такой ком размером в два кулака, это бывает ой как больно; в общем, ползли мы осторожно, но все равно колосья и стебли расцарапали нам ноги и руки, счастье еще, что нам с Пую не надо было торопиться, ведь Продан сказал, что для

нас самое важное — ползти как можно медленнее; остальные были кто где, мы уже их не слышали.

Ползли мы, ползли, и вдруг я попал рукой во что-то липкое; я сразу отдернул руку, но было уже поздно: вся ладонь у меня была в чем-то черном, тягучем; это была смола, а может, деготь, целая длинная полоса среди пшеницы; я сказал Пую, чтобы он смотрел вокруг, потом другой рукой вырвал несколько стеблей, смял их и этим жестким комком попытался счистить с ладони черную грязь; сходила она с трудом, и я рукой еще повозил по земле, а когда мы поползли дальше, внимательно следил, чтобы снова не вляпаться.

Мы проползли еще метров сорок, и тут вдруг Пую схватил меня за локоть и шепотом велел подождать, потом еще и палец к губам приложил, дескать, тихо, молчи, будто я сам не знал, что нельзя разговаривать; мы замерли на некоторое время, потом я осторожно огляделся, не шевелится ли поблизости что-нибудь, но колосья стояли довольно плотно, ничего не было видно, так что мы просто подождали немного, тем более что знали: скоро должен начаться штурм; лежать на земле, опираясь на локти, было довольно утомительно, и я сделал Пую знак: давай обопремся спинами друг на друга, так сидеть все-таки удобней; мы сидели, прислонившись друг к другу, потом я на секунду приподнялся, но ничего не увидел: вокруг, куда ни глянь, колыхались тяжелые колосья, я опять спрятался, и мы стали ждать; стояла глубокая тишина; кто бы подумал, что вокруг нас на поле полным-полно народу; солнце все пригревало, чувствовалось, жара нынче будет еще та; я достал свою духовую трубку, вложил в нее пулю; на мгновение мне почудилось, что это вовсе не кусок кембрика, а настоящая духовая трубка из дерева и на острие пули — не какая-то булавка, а настоящий жабий яд, и что вообще это самая настоящая война, где снимают скальпы, где бьются не на жизнь, а на смерть; потом я взял свой ножик и представил, что это настоящий индейский нож для снимания скальпов, с острым как бритва лезвием, которым нужно провести ниже линии волос и потом одним резким движением сорвать скальп с черепа; но у моего перочинного ножика и лезвие-то — одно название, так что мне оставалось только жалеть, что нет уже у меня прежнего моего ножичка с рукояткой в форме рыбы, тот ножик тоже не слишком был острый, но хотя бы с нормальным стальным лезвием; тут вдруг Пую толкнул меня локтем в бок, я думал, он хочет что-то сказать, но он оттолкнулся от моей спины и упал вперед, животом в пшеницу, мне даже показалось, что в него попала какая-то секретная пуля, но он быстро повернулся и показал мне две сложенные ладони и прошептал: смотри, кого я поймал; я нагнулся к его рукам, он немного раздвинул ладони, я заглянул в щель между пальцами в кожаных перчатках и понял, что он не разыгрывает меня, как часто делал: в руках у него была маленькая мышь; она не шевелилась и походила на комочек серой шерсти, только хвост свисал у Пую между пальцами; Пую шепотом сказал: давай ей вскрытие сделаем; а по-моему, ответил я, надо с нее шкурку снять, она будет вроде как маленький скальп; но у Пую нормального ножика тоже не было, а какое-нибудь бритвенное лезвие нам в голову не пришло с собой захватить, так что мышь мы могли разве что проткнуть булавкой, которая торчала из кончика пули для духового ружья; Пую уже достал одну такую пулю и протянул мне — мол, давай; но

тут мы услышали крик Продана, мы знали, это боевой клич "революция победит", хотя слов нельзя было разобрать, потому что далеко было, и тогда наши с разных сторон заорали "ура", вскочили и побежали через пшеницу к опушке леса, где был край поля, и когда мы с Пую привстали, чтобы посмотреть, в какую сторону нам двигаться, мышь выскользнула у Пую из пальцев и исчезла в пшенице; но нам было уже не до мыши: мы увидели, что ребята с другой улицы тоже поднялись, их узнать было легко, у них боевая раскраска была красной; они стояли двумя рядами: впереди стрелки с рогатками, за ними метрах в десяти лучники; духовых трубок я ни у кого из них не заметил; они стали стрелять по нашим, а мы с Пую быстро спрятались и поползли вперед; вокруг шуршали камни, выпущенные из рогаток; попались нам и две стрелы, воткнувшиеся в землю, одну я вытащил: это была обычная стрела с оперением, только наконечником служил гвоздь, вбитый шляпкой вперед, так что стрела была тупая; правда, если такая по башке попадет, то ой-ой-ой; с разных сторон доносились крики, слышно было, что уже началась рукопашная; раньше, когда мы в войну играли, было правило: если тебя уложили на лопатки, ты должен лежать до конца сражения, потому что считаешься мертвым; но сейчас борьба была, кажется, беспощадной, ребята орали и матерились; мы с Пую, двигаясь к центру сражения, все больше прижимались к земле, я уже устал ползти, коленки и локти болели, картонный доспех давил спину, я уже жалел, что надел его, но снимать пока не решался, потому что знал: Пую тогда совсем меня засмеет.

Делать нечего, мы поползли дальше; стрелять уже никто не стрелял, слышно было только, что идет борьба врукопашную, все вопят кто что; совсем близко от нас кто-то закричал: сдаюсь, раненых не бьют; а потом еще громче: так нельзя, так нечестно; голос я не узнал и посмотрел на Пую, но тот тоже только головой затряс, и мы двинулись дальше; далеко ли еще до вышки, мы не знали, а высунуться боялись; я весь был мокрый от пота и очень жалел, что не взял с собой фляжку; у Пую воды тоже не было, и он тоже хрипло дышал; чувствовалось, что мы двигаемся вверх по склону, значит, вышка не так далеко: она стояла на опушке леса, там, где кончалось поле; и тут мы вдруг услышали, как кто-то у нас за спиной завопил не своим голосом, так, будто его убивают; мне даже не по себе стало, а Пую взглянул на меня и сказал: давай смываться отсюда, эти в самом деле, наверно, кого-то убили; но я ответил: да ну, вряд ли, погоди, сейчас я посмотрю, где мы, и быстро высунулся из пшеницы, и сразу увидел вышку, она была прямо перед нами, совсем недалеко, метрах в пятидесяти; я снова упал в пшеницу и шепотом сказал Пую: не бойся, мы в правильном направлении ползем, возвращаться отсюда уже смысла нет, и вообще вспомни, что сказал Продан; Пую ответил: плевать мне на Продана; но мы все-таки продолжали ползти, я впереди, он за мной; правда, к этому времени мы так устали, что ползли вовсе не по-пластунски, не так, как нас учили на уроках юного защитника Родины, а просто на четвереньках, я прокладывал путь, он за мной; к этому времени стало уже совсем жарко, пот лил с меня градом, но мы не останавливались, а все ползли и ползли по прямой; за спиной раздавались звуки сражения, иной раз над нами пролетала стрела, пить хотелось все сильнее и сильнее, пот заливал глаза; наконец я решил, что мы уже совсем близко от края поля; я лег, Пую подполз ко мне и тоже лег, ну, и когда мы

выглянули, то увидели вышку, а перед ней детскую голову, насаженную на копье, и пить хотелось нестерпимо, и Пую сказал, пусть все идет к чертям, а он пойдет назад, за своей фляжкой, потому что от этой дурацкой боевой раскраски во рту сплошная горечь; но на самом деле он, конечно, никуда не ушел, даже не пошевелился, и я видел, что губы у него трясутся, да мне и самому было ужас как страшно, так страшно, что лишний раз высовываться из пшеницы ой как не хотелось.

Какое-то время мы не шевелясь лежали на земле; потом я приподнялся на локтях — и почувствовал, как пот, смешавшийся с боевой раскраской, течет по шее и затекает под мышки, и мне подумалось, что если еще долго придется лежать на солнце, на припеке, то я стану похожим на зебру, и от этой мысли на меня нашел такой смех, что я еле-еле удерживался, чтобы не захохотать вслух, и тут Пую дернул меня за локоть и спросил шепотом, чего это со мной, чего меня разбирает, я отмахнулся, мол, ничего, потом прополз немного вперед и снова выглянул из пшеницы; над вышкой все еще кружили голуби, и я увидел, что пшеница вокруг вышки вытоптана на добрых тридцать метров, но часовых я нигде не видел, будто копье одно заменяло собой стражу, и тогда я посмотрел назад, туда, откуда доносился шум драки, но ничего не увидел, только колосья качались там, где ребята дрались; потом кто-то вдруг выскочил из пшеницы, поднялся во весь рост и бросился к вышке; сначала я решил было, что это Продан Младший, но потом разглядел: это был Янчи; но пробежал он немного — кто-то догнал его и, видно, подставил ножку, Янчи заорал, взмахнул руками и рухнул на землю; тут я снова лег и сказал Пую, что вышку никто, кажется, не охраняет, но за мячом, наверно, придется залезть наверх, и лучше, если он сразу отправится к вышке; но Пую тогда стал говорить, что вся эта война — обман сплошной, потому что на вышку вообще запрещается влезать, она принадлежит государственному охотничьему хозяйству, и подниматься на нее имеет право только тот, у кого есть охотничий билет, и отец ему говорил, что за вышкой из кооператива все время наблюдают в бинокль, чтобы туда браконьеры не забрались, и когда он это говорил, я видел, что он прямо весь бледный от страха, а солнце жарило так, что у меня в горле пересохло, но я все же собрал слюну, и сплюнул на землю черный сгусток, и сказал Пую: все, с меня хватит, а если ты обосрался, я сам пойду и влезу; а Пую ответил: чего орешь, знаешь ведь, что никуда не пойдешь, пока Продан сигнал не подаст; тут я снова почувствовал во рту поганый вкус жженой пробки, но уже и слюны не мог собрать, чтобы сплюнуть, и сказал: пускай Продан с его штыком идет в жопу, и поднялся на колени, и отбросил в сторону духовую трубку и патронташ, и вскочил, и что было сил побежал к вышке.

В тот момент, когда я вставал, я твердо решил про себя, что ни за что на свете не буду смотреть на копье вблизи; но когда я побежал, то не удержался, чтобы на него не взглянуть, и тогда увидел, что все древко сплошь покрыто кровью, и видно было, что в пластиковом мешке из-под минерального удобрения, завязанном снизу, кровь стоит в ладонь толщиной, но что там надето на копье, разобрать было невозможно, да мне и не очень-то хотелось на это смотреть, я даже голову отвернул, потому что боялся, вдруг у меня духу не хватит полезть на вышку, и подумал, что там, на копье, наверняка голубь или заяц, которого

они убили; тем временем я добежал до вышки и стал карабкаться вверх по лесенке.

Это была не настоящая лестница, а всего лишь толстая жердь с прибитыми перекладинами, и лезть приходилось осторожно, потому что шест качался, да и перекладины шатались и скрипели, так что надо было цепляться покрепче, чтобы не свалиться; и тут я вдруг увидел, что на вышке кто-то есть; это был Ремус Фрунза, он сидел в углу на связке веревок, и я видел, что он курит, и лицо у него все было красное от боевой раскраски, он курил и смотрел прямо на меня в щель между досками, и я очень удивился, потому что до той минуты был уверен, что он в поле вместе с другими, среди дерущихся, и я так опешил, что не мог ни звука произнести, и рука моя замерла на последней перекладине; Ремус Фрунза тоже молчал, просто смотрел на меня и моргал, и, когда он моргал, я видел, что у него даже веки вымазаны красным, а брови густо подведены черным, и на щеках и на лбу нарисованы черные полосы; он в самом деле выглядел устрашающе, у меня даже дыхание перехватило, я уже думал, не спуститься ли мне обратно, но не мог и шевельнуться, рука словно приросла к верхней перекладине, и тут раздался чей-то голос: ну, чего ждешь, залезай давай; это был Ромулус Фрунза, младший брат Ремуса, он тоже оказался на вышке, сидел на скамье, просто я его не заметил сначала; тут и Ремус кивнул, мол, влезай, но сказать ничего не сказал, только затянулся сигаретой и выпустил дым из ноздрей; ну, тогда я двинулся дальше и как-то поднялся до верха, но почувствовал, что ноги у меня совсем отяжелели, и тогда Ремус Фрунза вдруг протянул руку, и схватил меня за запястье, и молча втянул на вышку, а Ромулус спросил, как меня зовут, и я ответил, что Джата, и он кивнул и снова спросил: так это ты тот сирота? — а я ответил, нет, просто отец у меня на стройке, строит Дунайский канал; и тогда Ромулус махнул рукой и сказал: это все равно; и еще сказал: поздравляю, не думал, что кто-нибудь из ваших сюда доберется; потом спросил, что мне здесь надо, и тогда Ремус Фрунза тоже на меня посмотрел, вроде как тоже ждал, что я отвечу, и раздавил окурок в железной крышке от бидона из-под молока, а я не смел ничего сказать, и тогда Ремус Фрунза вынул свой ножик на пружинке, но не открыл его, а просто стал вертеть в пальцах, а Ромулус сказал: в последний раз спрашиваю, чего тебе тут надо, ты же знаешь, что на вышку залезать запрещено; я, конечно, не посмел спросить, мол, а они-то по какому праву тогда влезли, и сказал, что я за мячом пришел, и тогда Ромулус Фрунза сказал: ах да, в самом деле, вот уж никогда бы не подумал; слова эти он произнес с насмешкой, но улыбаться при этом не улыбался, а потом сказал: ладно, если уж ты здесь, садись, только осторожно, голуби тут все обосрали; и тут я посмотрел вверх и увидел, что под крышей прибиты крест-накрест доски, а на них сидят голуби, штук сорок, не меньше, перья чистят, шеями вертят; сесть, конечно, было просто некуда, скамью занимал Ромулус Фрунза; ну, рядом с Ремусом на веревочной бухте нашлось бы немного места, но туда я не посмел сесть, хотя Ремус свой нож на пружинке уже убрал; так что я сказал: спасибо, я только за мячом, я, если можно, пойду тогда; но Ромулус Фрунза на это ответил: никуда ты не пойдешь; и потом спросил: ты видишь здесь где-нибудь мяч? Я ответил: нет, не вижу; я в самом деле нигде его не видел, и, облизнув губы, сказал еще: так нечестно, договаривались ведь, что мяч будет

здесь, а это, выходит, обман; но Ромулус Фрунза сказал: знай, Джата, война — всегда обман, потому что главное на войне — победа, а не чтобы все честно было; и еще сказал, что уважает меня за храбрость, уважает, что я прямо ему в глаза говорю то, что думаю; и добавил: сейчас ясно станет, вправду ли ты такой храбрый или только на словах, у тебя сейчас будет возможность это доказать; и, когда он это сказал, Ромус повернулся, достал из-за веревочной бухты доску и положил ее на пол; в середине доски было какое-то коричневое пятно, выглядело оно как рука с раздвинутыми пальцами, и Ромулус велел мне стать на колени и положить правую руку на доску, и когда я положил, то вдруг догадался, что́ сейчас будет, потому что видел такое в одном фильме про партизан, и хотел было руку убрать, но было уже поздно, потому что Ремус снова вытащил нож, нажал на пружинку и, едва лезвие выскочило, вонзил его в доску между моими пальцами, безымянным и средним, и нож торчал дрожа, и я чувствовал, как лезвие касается кожи на безымянном пальце, а Ромулус сказал: у моего брата рука твердая, так что ты лучше не пытайся убрать руку, а то ведь кто знает, вдруг нож не так пойдет; Ремус же ничего не сказал, только взялся спокойно за рукоятку, вытащил нож из доски и стал неторопливо втыкать его между моими пальцами, я слышал, как острие со стуком вонзается в дерево, а когда Ремус вытаскивает нож, доска каждый раз поскрипывает: стук-скрип, стук-скрип; я смотрел на свою руку, и растопыренные пальцы казались мне такими слабыми и тонкими, и я думал, что они все-таки недостаточно тонкие, и Ремус в конце концов наверняка попадет в один из них, и я чувствовал, что вся рука у меня до самого плеча покрывается гусиной кожей, и не хотел смотреть на свои пальцы, не хотел видеть, как гуляет между ними стальное острие, и старался поднять голову, чтобы не нужно было туда смотреть, а когда поднял, то увидел, что Ромулус Фрунза смотрит на меня, улыбается и кивает; и тут он сказал: ладно, пока хорошо; и тут я услышал, что стук и поскрипывание стали немного быстрее, но все равно старался смотреть не на руку, а на Ромулуса, и тогда Ромулус спросил, уверен ли я, что хочу взять этот мяч, а я хотел сказать, мол, нет, не уверен, ничего я не хочу забрать, на черта мне сдался Проданов мяч, мне бы только руку убрать с доски; ладонью я чувствовал, как подрагивает доска под резкими ударами ножа, и так ничего и не сказал, только кивнул, хотя знал, что надо бы не кивать, а наоборот, покачать головой, мол, не хочу, и все же кивнул, и тогда Ромулус сказал: ну, ладно, но учти, от твоего упрямства не только тебе будет хуже, но и всей вашей улице; но если я выдержу, пока он брата не остановит, тогда так и быть, он скажет, где мяч, а если не выдержу, тоже ничего не случится, мне только нужно сказать "хватит, сдаюсь", и нож в руках брата в тот самый момент остановится, и я смогу уйти; а я в это время думал про копье, воткнутое в землю, и про то, что из мешка из-под минеральных удобрений медленно сочится кровь, и я чувствовал, что мне уже все равно, и тогда я заговорил; я сказал, что было бы справедливо, если бы Ромулус тоже положил руку на доску рядом с моей, но Ромулус на это даже не рассердился, только сказал, что здесь ему судить, что справедливо и что нет, и тогда я замолчал, я даже на Ромулуса не смотрел, а смотрел на стену, и тут я увидел, что на стене рядом друг с другом прибито много голубиных крыльев, и я почувствовал, что Ремус все ускоряет ритм, нож все чаще вонзается в доску; и

тут Ромулус вдруг спросил, давно ли мы не получали писем от отца, и я так удивился этому вопросу, что чуть не дернул рукой, и хотел сказать Ромулусу: это не твое дело, но потом все же ответил, что довольно давно, и на это Ромулус сказал: тогда знай, что ты уже наверняка сирота, как мы с братом; и тогда я сказал: нет, неправда, я не сирота, и опять стал смотреть на свою руку; нож Ремуса ходил теперь в таком ритме, что уже нельзя было понять, куда он воткнется на этот раз, удары и поскрипывания почти слились, а доска под моей ладонью дрожала без перерыва, и мне казалось теперь, что холодок лезвия я ощущаю сразу на всех пальцах, словно на руку мне надели большую, подрагивающую перчатку; я чувствовал, что уже весь покрылся гусиной кожей, мне подумалось даже, что у меня и волосы, наверно, встали дыбом, как в прошлый раз на уроке физики, когда ко мне присоединили электрическую цепь, и моя левая рука судорожно сжалась в кулак, и я чувствовал, что сейчас правой рукой попытаюсь схватить доску, и знал, что́ тогда случится: острие ножа пройдет сквозь мой палец, как сквозь масло, и поэтому изо всех сил старался не шевельнуть рукой, и посмотрел на Ремуса Фрунзу: он сосредоточенно смотрел на свой нож, сощурил глаза, кончик языка высовывался у него изо рта, и тут он, должно быть, почувствовал, что я на него смотрю, потому что поднял на меня глаза, и нож еще быстрее застучал по доске между моими пальцами; у меня мелькнула мысль: все, быстрее уже невозможно, значит, он сейчас остановится; и тогда Ремус вдруг ухмыльнулся и неожиданно закрыл глаза, и я увидел, что его зубы выкрашены в черный цвет, а веки — в красный, это была их боевая раскраска, а между бровями углом нарисован большой круглый третий глаз, и, когда я это увидел, я почувствовал, что опять начинаю потеть, я знал — все, конец, теперь, когда он продолжает работать ножом вслепую, он наверняка промахнется и всадит нож мне в палец; я знал, что долго не выдержу, крикну "хватит", и тогда я сжал зубы, потому что ни за что не хотел кричать, потому что знал: закричи я, и нож вонзится в самую середину моей ладони; я помню, так было в фильме, это было наказание для трусов, для слабаков, но в глотке у меня уже стал зарождаться крик, и я, стиснув зубы, захрипел сквозь сдавленное горло, и лицо у меня свело судорогой, да так, что каждая мышца по отдельности пульсировала и болела, но рука моя все еще была прижата к доске, и я все еще не закричал "хватит", правда, сейчас я и не смог бы ничего выговорить членораздельно; и тут Ромулус Фрунза ухмыльнулся мне, и вдруг вытянул руку, и положил свою ладонь на доску рядом с моей, а Ремус даже глаз не открыл, но каким-то образом все же почувствовал, что́ произошло, потому что нож его уже ходил между пальцами брата, вперемежку с моими; мой взгляд уже не успевал за мельканием лезвия, доска же так вибрировала и дрожала под моей ладонью, что мне казалось, вся вышка трясется вместе с ней, я уже не кричал, не хрипел, а лишь сипел громко, и тут Ромулус Фрунза вдруг сказал: ладно, я не думал, что ты выдержишь так долго, теперь ты только должен сказать правду, признать, что ты сирота, что у тебя тоже нет отца, скажи только, что ты знаешь, что отец умер, что он никогда не вернется, и я сразу скажу, где мяч; но я терпел и не говорил ничего, и тогда Ромулус снова заговорил и сказал: поверь, тебе самому будет лучше, когда ты это скажешь, ты увидишь, как тебе полегчает; и в тот самый момент, когда он закрыл рот, я догадался,

где спрятан мяч, и одного только не мог понять, как мне это раньше в голову не пришло, и я громко закричал: нет, ни за что, чтоб вы оба сдохли, и быстро отдернул руку, а коленом толкнул доску к Ремусу и кинулся к лестнице, но успел заметить краем глаза, что Ремус открыл глаза и по инерции еще всадил нож в доску, точно в то место, где должна была быть моя рука, а так как доска сдвинулась, то там оказалась рука Ромулуса, но я уже не увидел, воткнул он нож в руку Ромулуса или нет, в тот момент я уже спускался по лестнице, я только слышал, что один из них громко завопил, да так громко, что голуби, сидевшие под крышей, все взмыли в воздух, а я торопливо, как только мог, спускался вниз, и в конце перекладина все же выскользнула у меня из рук, и я плюхнулся задом на землю, но, к счастью, не очень ушибся; я взглянул вверх и увидел, что Ремус Фрунза по пояс свесился с вышки, и услышал, как Ремус хриплым, осипшим голосом кричит мне: беги, парень, изо всех сил, иначе конец тебе, если у тебя даже двести метров будет форы, все равно мы тебя догоним; и тут я почувствовал, что мне щиплет руку сразу во многих местах, я посмотрел на нее и увидел пятна крови, нож, видно, сделал много мелких порезов на пальцах, потому я и на перекладине не удержался: ладонь была скользкая от крови; до этого самого момента я не хотел брать мяч — черт с ним, пускай остается там, где он есть; но тут я подумал: нет же, не оставлю; и я вскочил, подбежал к копью, вырвал его из земли, сорвал с него мешок из-под минерального удобрения, копье отшвырнул, и с мешком в руке побежал через поле к Большому дереву.

Уже на бегу я почувствовал, что из мешка густой струей льется кровь, мешок от нее стал скользким, я едва удерживал его в руках; по весу чувствовалось, что там ничего нет, кроме мяча, и я уже понял, что кровь в нем — это голубиная кровь; тут я увидел, что Пую тоже выскочил из пшеницы, и тогда я крикнул ему: есть мяч, он у меня, побежали; но Пую стоял разинув рот и смотрел на вышку; подбежав к нему, я оглянулся и увидел, что Ромулус высунулся с вышки с пионерским горном в руке, а Ремус Фрунза стремительно спускается по лестнице, хотя держится всего одной рукой, а в другой у него — горящий факел; и тут мы услышали звук горна, Ромулус играл какой-то марш, мелодию я не узнал, но догадался, что это сигнал тревоги; и еще я увидел, что из пшеницы тут и там выскакивают ребята с другой улицы и бегут со всех сторон к вышке, я думал, это они за мной, чтобы мяч отобрать, и тут я снова оглянулся и увидел, как Ремус Фрунза подбегает к краю поля, там останавливается и подносит факел к земле, и тогда я вспомнил про деготь, полосы которого были пролиты в пшенице, и услышал, как он с шипением и треском вспыхивает, и я понял, что́ произойдет сейчас и почему Ремус крикнул, чтобы я бежал со всех ног; но пламя уже приближалось ко мне, я увидел, как полоса огня разливается по полю; пшеница сначала не вспыхнула, только деготь извилистой длинной дорожкой горел среди колосьев, и тут все принялись кричать, и наши ребята, и с другой улицы, все выскочили из пшеницы, полоса огня сначала раздвоилась, потом разветвилась, тут уже загорелась и пшеница, сухие колосья пылали высоким желтым огнем, дыма было немного, но все равно он закрыл и наши дома, и весь город, я слышал, как ребята кашляют, теперь уже и наши бежали, но не так дружно, как те, и не в одну сторону, а кто куда: кто к Большому дереву, кто к вышке; я же все еще мчался в ту

сторону, где был огонь, и изо всех сил прижимал к себе мешок из-под минерального удобрения, и звал Продана: эй, где ты, Продан, забери у меня этот чертов мяч; хотя, конечно, я понимал, что сражению конец и надо бежать совсем в другую сторону, долой с поля, потому что пшеница горит быстро и жарко, как солома, и все равно я не мог повернуть, и все равно я бежал к огню, и уже рот, грудь у меня были полны едким черным дымом, я чувствовал, что сейчас начну кашлять; кто-то, вопя и размахивая руками, пробежал мимо, я не понял, кто это, и все бежал в сторону огня, я знал, что надо остановиться, и знал, что не остановлюсь, а побегу прямо сквозь огненное море, и знал, что пробежать мне все равно не удастся; краем глаза я заметил, что невдалеке кто-то мечется в дыму, и вдруг вспомнил про Пую: где он сейчас? Вспомнил про мышь, с которой мы хотели снять скальп; я был уже совсем близко к полосе огня, уже слышал, как трещат в пламени сухие колосья, звук был точь-в-точь как пулеметные очереди в фильме про войну, я знал, что сейчас упаду и брошу к чертям мешок с мячом, брошу прямо в огонь, и тут вдруг услышал, как Ромулус Фрунза громко выкрикивает мое имя; он орал, что я сейчас сгорю, и передо мной вставала желтая огненная стена, и тогда я оглянулся через плечо и увидел, что Ромулус сидит на плечах у брата, а Ремус мчится ко мне и тоже кричит, что мне конец, а Ромулус крутит над головой лассо, я услышал свист петли и бросился прямо к огню, но, когда я прыгнул, петля обвилась вокруг моей головы и потом обхватила шею, остановила меня в прыжке, я упал на спину, мешок из-под минерального удобрения вылетел у меня из рук и укатился вместе с мячом в пылающую пшеницу, я же обеими руками попытался ухватиться за веревку, сжимавшую горло, и услышал, как Ремус громко орет "ура", и видел, как он бежит обратно к вышке, а брат все еще сидит у него на плечах, меня же они на веревке волокли за собой, я извивался, пытаясь снять с шеи петлю или хотя бы встать на ноги, но в руке была невыносимая боль, и земля выскальзывала из-под ног, а пламя уже трещало вовсю, со стороны кооператива слышался какой-то грохот, и, когда я его услышал, я вспомнил, что говорил Пую про жатву и про газойль; наверно, газойль тоже загорелся, теперь и там пожар, и я снова увидел, как в огне и дыму движется что-то большое, я хотел крикнуть, мол, сюда, сюда, скорей, но только хрипел, а грохот все усиливался и все больше напоминал гром, только был оглушительным; братья Фрунза тащили меня за собой, у меня задралась футболка, я чувствовал, что картонный доспех наполовину вылез наружу, одной рукой я потянулся было к нему, чтобы снять и выбросить, и от этого веревка еще туже сдавила мне шею, я чувствовал, что сейчас потеряю сознание, и вдруг увидел, как слева из пшеницы кто-то выскакивает, это был Продан, своей футболкой он обвязал себе рот и нос и, подняв свою духовую трубку в форме пистолета, бежал к братьям Фрунза, и я увидел, что его штык привязан к длинной палке, и думал, что Продан собирается воткнуть штык Ремусу в спину, но Продан вместо этого отскочил в сторону и подставил Ремусу ножку, тот на всем бегу рухнул на землю, Ромулус тоже скатился у него с плеч и улетел куда-то в пшеницу, я же схватился за веревку и наконец сорвал ее с шеи; правая рука у меня болела так сильно, будто с нее совсем слезла кожа; я закашлялся, поднялся на колени и увидел, как Продан бросается на Ремуса со штыком, и тут вдруг раздалось оглуши-

тельное шипение, и все закрыл густой черный дым, он был куда более горьким, чем даже горелая пробка; я боялся его вдохнуть и попытался встать, чтобы убежать из этого дыма и вернуться к вышке, а грохот еще усилился, но я все равно слышал, что вокруг со всех сторон трещит огонь, и я уже точно знал, что не смогу подняться, так и останусь на коленях, когда меня охватят языки пламени.

А шум стал меж тем таким нестерпимым, что я подумал было, у меня что-то с головой, дыма наглотался; но в грохоте я вдруг словно бы различил голос Пую: он выкрикивал мое имя; когда я снова попробовал встать, дым вдруг колыхнулся, и в просвете я увидел несколько огромных машин, которые медленно приближались к нам; это были комбайны с прицепами, за ними ехала пожарная машина, и кто-то, стоя на подножке, поливал горящую пшеницу водой из шланга; приехали еще два грузовика, кузова их были уставлены бочками, и люди плескали на пшеницу воду из ведер; один из комбайнов вел отец Пую; когда он проезжал мимо меня, я услышал, что он не переставая матерится; меня вдруг потянуло кашлять, да так сильно, что слезы из глаз потекли; потом я увидел, что прицепы, которые ехали за комбайнами, полны ребятни, на одном из прицепов был Пую, это он меня звал оттуда; когда они подъехали ближе, я увидел, что там среди них и отец Продана; заметив меня, он перегнулся через борт прицепа и, схватив меня за плечи, поднял в кузов; я слышал, как он говорит: ну, я тебе сейчас покажу войну; я еще не перестал кашлять, когда он закатил мне две увесистые оплеухи и сказал: будь ты моим сыном, я бы тебя вообще убил; и тут я увидел Продана Младшего: со вспухшей физиономией он сидел возле бочки; и тогда дядя Продан спросил, не знаю ли я, где его Нику; я сказал, где видел его в последний раз, но не думаю, что он понял, что́ я говорю, потому что я все еще не мог избавиться от кашля и чувствовал, что от оплеух у меня во рту что-то кровоточит; в это время мы уже были на краю поля, и отец Продана не переставая кричал, зовя сына: Нику, Никусор, но Продана нигде не было видно; правда, пожар уже был погашен, сгорела по крайней мере треть огромного пшеничного поля, вокруг были обгоревшие, затоптанные колосья, поблескивали черные лужи; кое-где пшеница стояла как ни в чем не бывало, но немало еще поднималось вокруг столбов дыма.

Когда мы подъехали к сторожевой вышке, комбайн остановился; я слышал, как отец Продана говорит: счастье еще, что пожар на лес не перекинулся; Пую протянул мне жестяную кружку с водой, чтобы я напился и умыл лицо; конечно, вода была горькой от копоти, но я все же выпил ее, думая: хорошо все же, что Пую рассказал своему отцу о войне; я вытирал лицо изнанкой футболки и тут услышал, что отец Продана опять громко зовет сына; тут все другие тоже стали выкрикивать имя Продана; я посмотрел в ту сторону, куда смотрели все, и увидел: метрах в пятидесяти от нас медленно вылезает из пшеницы Продан; он огляделся, увидел комбайн с прицепом, видно, и отца узнал, потому что вскочил и, хромая, побежал к лесу; отец стал кричать еще громче: эй, лучше остановись, а не то убью, шкуру спущу, ремней из спины нарежу, в кусочки изрублю; отец Пую тем временем снова завел комбайн, на нем мы и погнались за Проданом и вот-вот уже догнали бы, но тут Продан оглянулся — и остановился сам и так стоял, повернувшись к нам и опус-

тив руки; видно было, он знает, что́ его ждет; отец же спрыгнул с прицепа, подошел к сыну и отвесил ему с размаху такую затрещину, что Продан упал чуть не под колеса комбайна, и из носу у него пошла кровь, но он тут же встал и повернулся лицом к отцу; штык все еще был у него в правой руке; отец сказал, чтобы Продан просил прощения, потом размахнулся и изо всех сил ударил его в поддых, так что Продан икнул и сгорбился, и изо рта у него потекла черная слюна; и тогда отец снова занес кулак, но Продан сделал шаг назад и сказал, что просит прощения; казалось, сейчас он потеряет сознание, штык выпал у него из руки, воткнувшись в землю у ног; я посмотрел и увидел, что штык весь в крови; отец Продана тоже, наверно, это заметил: он нагнулся, поднял его, вытер обе стороны лезвия о рукав, потом спросил: где эти два антихриста, братья Фрунза? Продан махнул в сторону леса и ответил: убежали; и тогда отец Продана снова вытер штык о рукав, посмотрел на сына и сказал: если еще раз увижу, что ты трогаешь мои солдатские вещи, честное слово, изобью в кровь и буду бить, пока ты будешь шевелиться. Продан на это ничего не ответил, глядя через плечо отца на лес; отец отвернулся, и я увидел, что он улыбается.

Африка

Почти год уже прошел, как отца увезли; вестей же от него никаких не было больше четырех месяцев — ни писем, ни даже тех открыток, на которых заранее написано: живу хорошо, с гордостью сообщаю, что мне каждый день удается перевыполнять производственную норму; в общем, мы ничего не знали о нем, и напрасно я спрашивал маму, что это все значит, как она думает, почему отец нам не пишет, почему даже на наши письма не отвечает; вот и в эту субботу опять мы напрасно открыли почтовый ящик; я увидел, как у мамы окаменело лицо, а когда мы поднимались по лестнице, мама закашлялась, да так сильно, что ей пришлось ухватиться за перила; я увидел, как у нее трясутся плечи и как она низко-низко нагибается к перилам, и догадался, что она вовсе и не кашляет, а плачет, только не хочет, чтобы я это заметил, не хочет, чтобы я испугался; тогда я понял: наверняка она думает, что отец навсегда сгинул, погиб там, на строительстве канала; хотя я-то знал, это неправда, потому что, если бы с ним что случилось, я бы это точно почувствовал; и еще потому, что пускай не всегда, но по утрам, когда я по дороге в школу смотрю на его фотокарточку, которую отклеил с его военного билета, я чувствую, что там, на строительстве Дунайского канала, отец тоже думает обо мне; ну, и потому еще, что, когда его забирали, он мне твердо пообещал, что обязательно вернется и повезет меня к морю; словом, я видел, что мама плачет, но притворился, будто не замечаю этого, и даже пару раз хлопнул ее по спине, будто в самом деле поверил, что она кашляет, так что, когда мы поднялись на пятый этаж, она уже не плакала, а достала платок и вытерла себе щеки, а мне сказала, что поперхнулась, но теперь все в порядке; я ответил: вот и хорошо, только смотри, у тебя от кашля слезы потекли и краска размазалась на глазах, так что глаза тоже вытри; она кивнула и сказала: ступай к себе в комнату, почитай немного или учебник открой, ну, иди же, будь послушным; а я вовсе

не думал не слушаться, мне как раз надо было проверить, подойдут ли тому оловянному солдатику, которого я в школе выменял, доспехи, сделанные мной из жестянки, которую нашел на мусорной куче; очень мне хотелось, чтобы они подошли, потому что только у меня одного до сих пор не было настоящего полководца для военной игры, в которую мы играли с ребятами из нашего подъезда; вон у Фери — полководец так полководец: отец Фери специально отлил его из свинца и даже раскрасить помог, а мне помогать некому, мама про эту игру вообще ничего не знает, она после того, как мы в войну играли, когда чуть все пшеничное поле за домами не сгорело, вообще запретила мне всякие игры с насилием; в общем, я не стал ей ничего говорить, а просто ушел к себе в комнату, как она велела, и даже выложил на стол тетрадь и учебник по математике: если она вдруг войдет, то пускай видит, что я занят уроками, как она сказала.

Дверь своей комнаты я все же закрыл неплотно, оставил щель небольшую, так что слышал, как мама идет в спальню, потом выходит, идет на кухню; скрипнула дверца буфета: наверно, она достала стакан, потому что вслед за этим зашумела вода, льющаяся из крана; мама подождала, пока вода станет похолоднее, долго пила, остаток выплеснула в мойку, потом подвинула табуретку, села; я тем временем осторожно присел возле письменного стола, тихо-тихо вытащил нижний ящик, поставил его на ковер; под ящиком, в пустом пространстве, я хранил то, про что маме ни к чему было знать: орден, что дедушка мне подарил, консервную банку с карбидом, рогатку, томагавк, всех своих оловянных солдатиков, пустые гильзы, в которых еще сохранился запах пороха, и завернутые в тряпицу доспехи; доспехи я вытащил вместе с тряпицей, потом вставил ящик на место; из кухни не доносилось ни звука; интересно, что делает мама; правда, за мной она никогда не подглядывала, но все-таки — вдруг войдет? Мне не хотелось, чтобы она случайно узнала про мой тайник; поэтому ящик я задвинул так же осторожно, как выдвинул; потом поднялся, сел к столу, положил рядом с тетрадью цветные карандаши, линейку, будто и вправду делаю домашнее задание, и только тут вынул из кармана оловянного солдатика; а когда разворачивал тряпицу с доспехами, мне показалось, что табуретка на кухне скрипнула, и я испугался, что мама сейчас придет ко мне посмотреть, что я делаю, так что я быстро зажал оловянного солдатика между коленями, взял карандаш и стал писать на листе: "Домашнее задание"; и тут услышал, что мама рыдает; но это было всего минуту, а потом она, должно быть, зажала себе рот руками, и снова стало тихо, но я и в тишине слышал, что мама плачет, и так сильно стиснул карандаш, что пальцам стало больно; я не хотел думать о маме и все-таки видел ее перед собой, видел, как она сидит, поставив локти на стол, и прижимает руки ко рту, и по лицу ее текут слезы; и я знал, что, если даже закрою глаза, все равно буду видеть это, а если пойду к ней, если скажу, не плачь, то она на меня накричит, а потом, ночью, все равно будет плакать; так что лучше, если она не узнает, что я слышал, как она плачет; но я знал, она все равно не выдержит, все равно слезы снова вырвутся у нее, а после этого она будет на меня сердиться, а ведь я-то не виноват в том, что я слышал, но она все равно меня заругает; так что я подумал, лучше все-таки убрать оловянного солдатика, убрать назад, в ящик, иначе точно будет скандал; правда,

мне очень хотелось узнать, подойдут ли ему доспехи, и я принялся осторожно разворачивать тряпицу левой рукой, зажимая солдатика коленями, а в правой руке держал карандаш, вроде я домашнее задание делаю; и вот разворачиваю я промасленную тряпку и вдруг слышу, как у мамы в самом деле вырывается плач, такой громкий, как никогда раньше; я так испугался, что у меня рука дернулась, и я так нажал на карандаш, что грифель сломался; тут я услышал, мама резко отодвигает стул, и встает, и бранится вслух, говорит: черт бы побрал, черт бы побрал эту проклятую жизнь, — и потом звон какой-то, и я понял, мама швырнула на пол стакан, и тут я в самом деле очень-очень испугался: уж если мама швыряет что-то об пол, значит, дела совсем плохи; раньше, до того как отца забрали, она никогда ничего не разбивала, даже дверью не хлопала никогда, даже когда они с отцом ссорились; потом я услышал, как мама хлопнула дверью, да так сильно, что декоративные тарелки над дверью звякнули; потом она пошла в прихожую, к столику с телефоном, и я слышал, как она глубоко дышит, а потом схватила трубку и стала набирать какой-то номер, очень торопливо, даже не могла дождаться, пока диск вернется на место, и возвращала его пальцем, так что аппарат подпрыгивал на столике; потом стало тихо, мама, видно, ждала затаив дыхание, я почти слышал, как в трубке раздаются гудки, наконец к телефону, видимо, подошли, и мама громко заговорила, раза три произнесла "алло", а потом сказала: если взяли трубку, так говорите, что это за привычка, брать трубку и молчать, я же слышу, как вы там дышите, говорите же, или вы голос собственной снохи не узнаете; она кричала все громче, и я слышал, как скрипит телефонный столик: видно, мама нервно толкала его коленом; я понял, она в самом деле очень тревожится за отца, иначе бы она ни за что не стала звонить дедушке, потому что дедушка и бабушка с ней разговаривать не желают, особенно с тех пор, как отца забрали, потому что считают, это мама во всем виновата, так прямо и говорят: если бы не она, отец никогда бы не подписал ту бумагу с протестом, а подписал он потому, что это мама его уговорила; тут я услышал, что мама замолчала и столик больше не скрипел, а потом через некоторое время мама заговорила уже тише, но сухо и резко, как она говорила, когда очень злилась; она сказала: хорошо, я тоже могу вас попросить, товарищ секретарь, чтобы вы не о чести своей думали, а о жизни вашего сына; и, сказав это, мама замолчала, и опять минуту-другую было тихо, и я тогда вытащил доспехи и оловянного солдатика, и развернул доспехи, и попробовал надеть их на нераскрашенного швейцарского гвардейца без алебарды, но доспехи были слишком велики, никак не надевались на гвардейца, и тут мама снова заговорила и сказала: да, речь идет именно об этом, а вы что думали, о чем еще может идти речь между нами — конечно, об этом; я рассматривал своего солдатика: Фери отдал мне его потому, что он был бракованный, отлит неудачно, верхняя часть получилась сплюснутой, я и подумал, под доспехами этого не видно будет, а так он мне тоже не нужен; в прихожей опять скрипнул телефонный столик, мама, видно, снова оперлась на него и сказала: не лгите, товарищ секретарь, я очень хорошо знаю, у вас сохранились связи, вы достаточно долго были секретарем, чтобы многие вам остались чем-то обязаны, только назовите кого-нибудь, кто мог бы помочь; и тут мама некоторое время молчала, потом набрала в грудь побольше воздуха, так,

что он входил в горло булькая, как вода, и очень громко заговорила в трубку; она сказала дедушке: не буду я ждать, понимаете, не стану я ждать, и я сейчас же, понимаете вы, сейчас же... мама уже просто кричала, и я знал, что сейчас она швырнет трубку, и в самом деле, в ту же секунду она швырнула трубку на рычаг, да с такой силой, что аппарат жалобно задребезжал, а мама продолжала кричать: все, с меня довольно, мне плевать, пора уже старому хрену что-нибудь сделать для сына; и я услышал, что она идет в сторону моей комнаты, но, сделав два шага, остановилась, и тогда я быстро прикрыл солдатика и доспехи учебником математики, а мама что-то швырнула, что-то мягкое, и я сначала не мог понять, что́ это, но потом услышал, как она расстегивает молнию на юбке, и еще услышал, как она бранится вполголоса, потому что юбка зацепилась где-то, слишком уж торопливо она пыталась ее снять, и я понял, что перед этим она блузку швырнула на пол, и тут я услышал, что мама на одной ноге скачет к моей комнате и зовет меня, чтобы я помог ей, а то петля на чулке поползет, и я открыл дверь и увидел, что мама, в лифчике, в самом деле стоит на одной ноге, а на другой ноге, согнутой, висит снятая до половины юбка; когда я подошел, мама сказала, чтобы я ее поддержал, а то она упадет, и я обнял ее за талию и увидел, что лицо у нее все в слезах; мама наклонила голову и стала осторожно стягивать чулок, а я держал ее за талию и чувствовал, как сильно бьется у нее сердце, и думал о дедушке: что такое он сказал маме; но спросить я не решился; и тут мама сняла наконец юбку и чулок, и тогда я ее отпустил; она стояла передо мной в трусиках и лифчике, до сих пор я видел ее так только на пляже, я не хотел смотреть на нее, но не мог не смотреть; тут мама отвернулась, подняла юбку, вытерла ею лицо и сквозь юбку сказала, чтобы я шел к себе в комнату и надел праздничную одежду, потому что мы пойдем кое-куда; я хотел было ей сказать, что не хочу надевать тот отвратный вязаный жилет, но мама как раз опустила юбку и так посмотрела на меня, что я не стал ничего говорить, а молча повернулся и пошел к шкафу одеваться и даже не спросил, куда мы идем.

Мама надела свой самый нарядный костюм, красный, и туфли на шпильках, которые я до сих пор на ней не видел; когда мы спускались по лестнице, она один раз даже оступилась, и ей пришлось уцепиться за перила, как раз когда я собрался спросить, мол, мы сейчас зачем идем: хлопотать, чтобы отца отпустили домой, или просто за тем, чтобы точно узнать, что с отцом случилось; но я и рот не успел открыть, как мама сказала, чтобы я помолчал, потому что ей надо подумать, собраться с мыслями, так что я шел рядом с ней и помалкивал, даже не пытался угадать, куда мы идем, вместо этого шаги считал, и, когда мы подходили к какому-нибудь углу, каждый раз загадывал про себя, сколько шагов будет до следующего угла; но шли мы не по прямой, а все время сворачивали, и угадать мне удавалось редко: мы все время сворачивали раньше, чем я думал; а потом, когда мы пришли в новый жилой район, построенный на окраине города, я уже и загадывать не пытался, потому что улицы тут были до того одинаковыми, что и не различишь.

Мы входили то в один подъезд, то в другой, мама читала фамилии жильцов на почтовых ящиках, и мы уходили; я видел, что мама все сильнее нервничает, и подумал: может, мы заблудились, или она адрес забыла; но я молчал, потому что помочь ей все равно не мог; мы вошли уже

в четвертый подъезд, и тут мама, видно, нашла, что искала: она остановилась возле одного почтового ящика, посмотрела на табличку с фамилией, кивнула, потом вынула из сумочки зеркальце и губную помаду, прямо там, в подъезде, накрасила губы, убрала все обратно в сумочку, поправила мне галстук, воротник рубашки, жилет, послюнявила себе пальцы и пригладила мне волосы, потом сказала: сейчас мы поднимемся на пятый этаж к товарищу послу, постарайся вести себя хорошо, говори, только если тебя спрашивают, на вопросы отвечай вежливо, и не бойся, увидишь, все будет в порядке. Я кивнул и сказал: ладно, постараюсь; а когда мы были уже на втором этаже, спросил маму: правда ведь, мы из-за отца пришли, потому что хотим ему помочь? Но мама на это сказала только: нет, мы сюда пришли веселиться; потом облизнула губы и велела мне замолчать.

Когда мы поднялись на пятый, я сначала своим глазам не поверил: тут было не четыре двери, как на всех других этажах, а всего одна, и на бетонном полу лежал большой половик, так что лестничная площадка походила не на лестничную площадку, а на прихожую; но мама совсем не удивилась, а подошла прямо к двери, посмотрела на медную табличку и решительно нажала кнопку звонка, потом взяла меня за руку и крепко стиснула ее, я даже подумал, что она хочет что-то сказать; но тут дверь открылась.

На пороге стоял высокий человек с седыми волосами, в светло-коричневом костюме, в котором его лицо казалось еще бледнее; мама, увидев его, сразу заговорила: извините, товарищ посол, не хочу вам мешать, но просто не знаю, к кому обратиться, и обещаю, больше двух минут у вас не отниму. Посол оглядел маму; глаза у него были холодные, серые, но потом он улыбнулся и сказал: я вижу, мадам, вы все хорошеете и помолодели с тех пор, как я вас видел, по крайней мере на десять лет; когда он заговорил, я увидел, что во рту у него много золотых зубов; потом он посмотрел на меня и опять улыбнулся, но глаза его уже были гораздо строже; он спросил: а ты, мальчик, кто? Я ничего не ответил, но мама сжала мне руку и сказала: ответь товарищу послу, как тебя зовут, — как будто мне было всего лет пять; я назвал свое имя, товарищ посол кивнул и сказал: чудесно, чудесно, тебя, значит, зовут так же, как дедушку, да ты и похож на него, правда-правда, похож, даже больше, чем на отца; я помалкивал, а сам думал: поцелуй меня в жопу, товарищ посол, я вовсе на отца похож, а не на дедушку; и тут посол опять посмотрел на маму и спросил: чему я обязан этим нежданным визитом? Мама поправила брошь на костюме и сказала: если не возражаете, может, об этом не на лестнице; и посол кивнул и сказал: прошу прощения, сам не пойму, как это я, в самом деле невежливо, ну разумеется, входите, входите; и тогда мама сказала мне, чтобы я хорошо вытер ноги, и мы вошли, а посол закрыл за нами дверь и сказал: идите вперед, прямо; я слышал, как у нас за спиной два раза щелкнул английский замок, и посол сказал: проходите, прошу вас, проходите; тут мы вошли в гостиную, и я прямо рот разинул, потому что гостиная была как настоящий музей: по стенам было полным-полно всяких зверей, там и сям рядом друг с другом торчали головы больших и маленьких антилоп, буйволов, каких-то черных медведей, леопардов, шакалов, в углу — огромная голова бегемота с разинутой пастью, а против входа, в середине стены, над ками-

ном, злобно смотрел на нас могучий лев со вздыбленной гривой; неподалеку на доске черного дерева торчали два больших носорожьих рога; все свободное место между охотничьими трофеями занимали ярко раскрашенные щиты, копья, пожелтевшие костяные мечи; еще там была большая фотография в широкой позолоченной раме, на фотографии — чернокожий человек в очках, видна была только его голова и плечи в военной форме с золотыми шнурами, а на голове красовалась маленькая меховая шапка из леопардовой шкуры, выглядел он довольно неплохо, только мне подумалось, что голова у него, наверно, сильно потеет в такую жару, да еще в леопардовой шапке; пока я все это рассматривал, я слышал, как мама говорит: товарищ посол, это же просто фантастика, такому богатству позавидует Этнографический музей, да и Зоологический тоже; посол, услышав это, заулыбался и сказал: что вы, что вы, это всего лишь так, скромная выставка, мне пришлось соединить четыре квартиры, и все равно удалось разместить здесь только небольшую часть коллекции, но в конце концов это все-таки тоже кое-что; потом он показал на кожаные кресла, стоящие в середине комнаты вокруг стеклянного столика и сказал: прошу, присаживайтесь; а когда мы сели, спросил, позволим ли мы ему чем-нибудь нас угостить, а мама ответила: нет-нет, что вы, не беспокойтесь; но посол уже вышел, а через минуту вернулся с серебряным подносом, на котором стояли хрустальные рюмки и четырехугольная бутылка; посол поставил поднос на стол, сел, налил в рюмки маме и себе какой-то густой жидкости и сказал, что это очень вкусный домашний вишневый ликер, и, не чокаясь, выпил свою рюмку, и только потом сказал "ваше здоровье", тут и мама выпила свой ликер, и посол наполнил ее рюмку снова, потом свою и опять выпил одним махом, а после этого не стал наливать, а откинулся в кресле и стал молча смотреть на нас, и я тоже тогда посмотрел на маму: по тому, как она держала свою рюмку, видно было, что она очень нервничает, и стояла такая тишина, что я не выдержал, посмотрел на посла и спросил: товарищ посол, а где вы были послом? Тогда он показал на стену, где висели охотничьи трофеи, копья, щиты, костяные мечи, и ответил: в Африке; на это я ничего не сказал, а посмотрел на пол и увидел: в самом деле, ковер на полу — это сшитые шкуры зебры, и тогда я опять посмотрел на посла и спросил: ага, товарищ посол, а где в Африке-то? И тогда посол ответил: везде, но больше всего — в сердце Африки, в самом сердце самой темной, самой черной Африки; и потом спросил: как ты думаешь, какая это страна? — и я без раздумий ответил: Заир; и посол заулыбался, кивнул и сказал: очень хорошо, я тобой доволен, вижу, географию ты знаешь на отлично, так что ты тоже заслужил немного вишневого ликера, в конце концов ты уже большой мальчик; и он взял третью хрустальную рюмку, и наполнил ее красным ликером, и дал рюмку мне в руки, и сказал: ну-ка, посмотрим, как ты это выпьешь, ну-ка, твое здоровье; и я взял ликер и посмотрел на маму, мама кивнула, и я послушно отпил немного ликера; он был очень сладкий, но в то же время щипал и грел горло; посол налил и себе и сразу выпил, потом поставил рюмку на поднос, и посмотрел на маму, и спросил: кстати, как поживает ваш муж? И тогда мама залпом выпила ликер, и положила ногу на ногу, и сказала: я сюда потому и пришла, что хотела бы это узнать, потому что четыре месяца уже от него никаких

вестей, я очень беспокоюсь, и я уверена, что вы, товарищ посол, с вашими широкими связями, за пару минут сможете выяснить, что с ним.

Посол кивнул, и потом налил себе еще ликера, и выпил, и опять посмотрел на маму, и потом спросил: почему вы так считаете? А мама сказала: не скромничайте, товарищ посол, мне ведь прекрасно известно, каким весом вы, с вашим прошлым и вашими заслугами, все еще обладаете, для вас это в самом деле сущий пустяк, вы и гораздо более важные вещи могли бы выяснить или уладить, если бы захотели; и посол снова кивнул и потом сказал: ну да, возможности у меня действительно довольно большие, и действительно я мог бы решить многие проблемы, если бы захотел, но детали лучше все-таки обсудить с глазу на глаз; потом он посмотрел на меня и сказал: будь так любезен, пойди в другую комнату, там масса всяких интересных вещей, всякие игрушки, впрочем, лучше всего, пожалуй, если я тебя сам туда отведу, квартира в конце концов довольно большая, еще заблудишься, как в свое время я в джунглях, чего тут хорошего; тут мама привстала и сказала: что́ вы, товарищ посол, это совсем ни к чему, он большой, умный мальчик, он нам не будет мешать; но посол уже вскочил и сказал: по́лно, по́лно, уж я-то детей изучил прекрасно, для них нет ничего скучнее и невыносимее, чем слушать взрослые разговоры, я от ребенка такого ни за что не потребую, потому что очень хорошо знаю, ребятишки твоего возраста готовы в футбол целый день играть или за девчонками бегать; и тут он подошел ко мне, схватил за плечо, поставил на ноги и сказал: пошли; мама на меня не смотрела, она опустила голову и разглядывала свою хрустальную рюмку, так что я понял, лучше мне идти, куда велят, и я не сопротивлялся, когда товарищ посол вытолкал меня в коридор. Прежде чем выйти следом за мной, посол еще раз оглянулся, посмотрел на маму и сказал: вынужден извиниться, я удалюсь на пару минут, но сейчас же вернусь; он показал на бутылку и сказал: а вам я советую выпить еще немного этого чудесного вишневого ликера.

В коридоре он снова взял меня за плечо и повел перед собой; мы довольно быстро прошли коридор, потом пересекли небольшую комнату, вышли в другой коридор, потом оказались еще в одной маленькой комнате, потом опять в каком-то коридоре; стены везде были уставлены и увешаны всякими штуками из слоновой кости, звериными шкурами, охотничьими трофеями, чучелами птиц; мы прошли еще две комнаты, и я как раз собирался спросить: значит, у вас, товарищ посол, еще три уборных, три ванных и три кухни? Но тут посол открыл дверь и втолкнул меня в очередной коридор; одна стена в нем была увешана персидскими коврами, другая — сплошь в фотографиях; когда мы мимо них проходили, я увидел, что на каждой из них снят посол, а с ним чернокожие женщины и целые кучи чернокожих ребятишек, и я так этому удивился, что так и шел, повернув голову к фотографиям; посол, должно быть, это заметил, потому что сказал: я ведь не зря говорил, что знаю детей, да будет тебе известно, что это все мои дети; и тогда я хотел было спросить его: если это его дети, то почему они все до одного такие черные; но тут мы как раз подошли к двери, посол открыл ее и втолкнул меня туда, а сам не вошел, а остановился на пороге и сказал, чтобы я был хорошим мальчиком и спокойно дожидался маму, и чтобы ничего при этом не трогал, а главное, ничего не украл, а то мне придется силь-

но пожалеть об этом; потом еще раз сказал, что детей изучил прекрасно и знает, что все они — наглые, бессовестные воришки, которым и на минуту нельзя ничего доверить; так что, добавил он, берегись, потому что там, откуда я все это привез, есть обычай: ворам выкалывают глаза. Я кивнул в ответ, а посол захлопнул дверь и ушел, и пока он шел по коридору, я слышал, как он ворчит, что, ох, уж он-то знает детей, знает это подлое, воровское племя; потом за ним захлопнулась следующая дверь, и стало тихо, теперь я не слышал его шагов и тут вдруг почувствовал, что у меня мурашки бегут по спине, словно на меня кто-то смотрит.

Сначала я так испугался, что не смел даже шевельнуться, но потом подумал, что это, наверно, охотничьи трофеи так на меня действуют, и наконец огляделся, но тут испугался еще сильнее: я увидел, что одна стена, от потолка почти до самого пола, вся увешана черепами и человеческими головами, укрепленными на деревянных пластинах; но когда я подошел ближе, оказалось, что это не человечьи головы, а головы шимпанзе, гиббонов, горилл; черепа тоже были не настоящие, настоящими в них были только одна-две кости, а остальное — из гипса, и возле каждого черепа висел небольшой рисунок, который показывал, как должны были выглядеть те первобытные люди или обезьяны, чьи черепа здесь висели на доске, и там же написано было их латинское название; но латынь я не стал читать, по спине у меня все еще бегали мурашки, все еще казалось, что на меня кто-то смотрит, и тогда я опять обернулся и увидел, что в противоположном углу комнаты в самом деле кто-то сидит у маленького столика с шахматной доской и в самом деле глядит на меня.

Это был старый, очень худой негр; он сидел у стены, по ту сторону столика, и оттуда следил за мной. Когда я заметил его, я опять немного испугался, но потом решил поздороваться; негр мне не ответил, только рукой поманил, чтобы я подошел ближе; я подошел, но он опять ничего не сказал, а показал на шахматную доску; тогда я сказал, мол, спасибо, но в шахматы я играть не люблю; но он снова сделал знак и снова показал на доску, так что я сел-таки на стул у столика и услышал, как скрипнул подо мной стул, и в ту же минуту старик негр протянул руку и взял пешку, которая стояла перед белым королем, и передвинул ее на две клетки вперед, а потом двинул вперед и пешку, которая стояла перед королевой, но только на одну клетку; я хотел было сказать, что раз уж он негр, то лучше было бы, если бы я играл белыми, а он — черными; но я ничего не сказал, а выдвинул вперед двух своих коней; такому началу меня еще дедушка научил: вдруг когда-нибудь пригодится; ну и как только я поставил второго коня, негр тут же сделал ход офицером, тем, который стоял около королевы, и, когда он поднимал руку, я услышал, что внутри у него что-то скрипнуло; и тогда я встал, и рассмотрел его получше, и только теперь понял, что играю не с живым человеком, а с куклой, автоматом; на математике мы учили, что уже в Средние века были автоматы, которые умели играть в шахматы, но я этому никогда особо не верил; но этот автомат, который сидел передо мной, был совсем как настоящий человек, как очень старый, очень худой негр; когда я встал, он повернул ко мне голову, потом опять стал смотреть на доску, я же подошел к нему совсем близко, чтобы понять, как он сделан, чем управляется, откуда получает энергию; я даже руку его пощупал, чтобы узнать, из

дерева она или еще из чего; но она явно была не из дерева, а из обычной кожи и на ощупь была точь-в-точь как человеческая рука, только холоднее гораздо, и когда я ее щупал, то почувствовал, как под кожей шевелятся кости и жилы, и опять услышал негромкий скрип: это, должно быть, скрипели суставы; и тут он отнял у меня свою руку и взял шахматную фигуру, это был белый конь; и только тут я заметил, что фигуры на доске тоже особенные: черные вырезаны из эбенового дерева, белые — из слоновой кости, и каждая фигура изображает какое-нибудь африканское чудище: белые были скелеты, а черные — демоны с человеческой головой, но со звериным телом, и каждый держал в руке или в лапе копье, или меч, или топорик, или нож с зазубренным лезвием, и на офицерах были ожерелья и пояса из черепов и костей, из человеческих ушей и человеческих рук, и все это было вырезано со всеми мелкими подробностями, а у белого короля лицо было точь-в-точь как у товарища посла, и выглядел он довольно устрашающе; одного я никак не мог понять: что двигает негра-шахматиста; я уж и со спины его осматривал, но нигде не заметил ни кабеля, ни приводного ремня; на нем была надета поношенная солдатская форма, но он был босой, и ноги его были сделаны так же, как и руки, выглядели очень худыми и очень старыми; и тогда я подумал, что, может, он двигается сам, может, он вовсе и не автомат, а в самом деле живой, или если не живой, то им движет какое-нибудь африканское колдовство, и я почувствовал, что меня переполняет холодный страх, да такой, что я пошевелиться не мог; но потом я посмотрел на камышовое кресло, на котором он сидел, и догадался, что электричество подводится к нему через ножку кресла, это электричество и приводит его в движение; я осторожно попробовал сдвинуть кресло, но оно в самом деле не сдвинулось, так что я понял, что так оно и есть. И я подумал, что, наверное, где-нибудь в животе у него находится маленький бесшумный электромоторчик, от него и идут передачи к суставам, сегодня это, со всякими боуден-кабелями и гидроусилителями, запросто можно сделать; так что я сел на свой стул и сделал ход: просто так, для понта, объявил ему шах конем; но он, конечно, сразу это заметил и съел моего коня и точным, хотя и со скрипом, движением поставил его возле доски, потом одну за другой принялся сбивать мои фигуры, и как я ни ходил, он отвечал сразу, даже ни на минуту не задумываясь, а когда я подставил ему своего офицера, чтобы потом взять его королеву, он офицера и не подумал есть, будто догадался, что́ я задумал; пока он со скрипом двигал рукой, в нем, видно, что-то нагрелось, потому что пошел такой запах, как от старого сливочного масла, и чем больше он загонял меня в угол и чем больше сбивал моих фигур, тем быстрее делались его движения, и даже голову он держал теперь немного по-другому, так, будто с трудом удерживался, чтобы не засмеяться; когда он съел мою вторую туру и сделал мне шах, я увидел, что мне конец: как я ни пойду, меня ждет мат; я смотрел на лицо негра, на его пыльную, сухую, серую кожу, и знал, что не должен сдаться, не могу допустить, чтобы он поставил мне мат, и тогда я протянул руку и снял с доски белого короля, автомат же попытался схватить меня за руку, но медленно, со скрипом, я был гораздо быстрее, и тогда автомат громко зарычал и посмотрел на меня, и я увидел, что глаза его сердито блеснули, но лишь на какую-то секунду, а потом он гневным движением, с пронзительным скрипом смел

с доски и со столика все фигуры, так что они разлетелись по комнате, и потом откинул голову назад, и широко раскрыл рот, и захохотал, и изо рта и из носа у него повалил дым, я же так быстро вскочил, что стул отлетел назад, и белый король все еще был у меня в руке, а негр-автомат все хохотал, да так громко, что стены дрожали, и даже пол дрожал; и тут я понял, что хохочет не автомат, а мама.

Да, я отчетливо слышал, что это мама хохочет; она хохотала очень громко, да еще и кричала, так, что сквозь все стены и двери отчетливо слышно было: браво, товарищ посол, великолепно, чудесно, не бойтесь, ударьте еще раз, ударьте изо всех сил, бейте на здоровье, и если думаете, что если способны ударить женщину, то станете мужчиной, тогда можете бить хоть до утра, пожалуйста, бейте на здоровье; она кричала и хохотала, да так громко, что я знал: у нее слезы из глаз текут, и тут я кинулся к двери, распахнул ее и помчался туда, откуда слышался хохот мамы, я бежал из комнаты в комнату, по каким-то коридорам и опять по каким-то комнатам, и каждая комната была набита предметами, и хохот мамы слышался отовсюду, и от него звенели хрустальные вазы и стеклянные рыбки, и фарфоровые солдатики, и бокалы, и винные бутылки, и там, где я бежал, от смеха мамы качались картины и фотографии в рамках, и фигурки из слоновой кости; и в пустых аквариумах двигались на медных проволочках засушенные и покрытые лаком тропические рыбки, двигались, будто плыли; и тряслись, звенели над дверями ручные и ножные медные браслеты, нанизанные на кожаные ремешки; и звякали на полках наполненные какой-то золотистой жидкостью пузырьки с печатью на горлышке, и раскачивались туда-сюда люстры: все дрожало и ходило, как во время землетрясения, и я опасался, что все эти охотничьи трофеи попадают со стен и накроют меня; я открывал дверь за дверью и уже боялся, что никогда не найду маму, но тут наконец распахнул очередную дверь и оказался в той же гостиной; мама стояла на одной ноге возле кресла и хохотала, журнальный столик был опрокинут, вишневый ликер разлился по зебровым шкурам, и рядом валялись осколки бутылки и рюмок, и одна голова антилопы упала со стены, и огромная львиная голова тоже висела косо, а под ней стоял посол, одной рукой поддерживая ее, чтобы она не свалилась в вишневый ликер, а второй рукой пытался надеть на себя рубашку и, когда увидел меня, стал кричать: ага, наконец-то явился, давно пора тебе убираться отсюда, вместе с твоей толстопятой мамашей, и вообще я не понимаю, чего это я пускаю к себе в квартиру кого попало, ведь мог бы догадаться, что́ вы за люди, и дед твой — дерьмо, а отца своего лучше забудь навсегда, потому что не видать тебе его как своих ушей, уж я вам гарантирую, что он там и сдохнет, где сейчас находится, там и останется, на стройке, и пусть еще радуется, что не попал в лагерь перевоспитания, и все равно вы его никогда больше не увидите; и я почувствовал, как у меня перехватило дыхание, но мама и над этими его словами только смеялась, и тут уж и я не мог не расхохотаться, потому что в самом деле просто умора была: на стене — огромная львиная голова с разинутой пастью, под ней скорчился товарищ посол в майке, одной рукой он держит морду льва и подпрыгивает, чтобы водрузить эту морду на место, а сам в то же время нервно пытается всунуть вторую руку в рукав рубашки; нет, на это в самом деле невозможно было смотреть без смеха; и тут мама повернулась ко мне, и

я увидел, что у нее кровь течет из носа, и тени под глазами размазались; и тогда мама сказала: пойдем, а сама все смеялась, и я обнял ее, и мы вышли из гостиной, а товарищ посол, конечно, все стоял под львиной мордой и все твердил свое, мы его слышали, даже когда я открыл перед мамой английский замок на входной двери, но потом, когда дверь за нами захлопнулась, мы уже не слышали, что там орет посол, но мама все хохотала и, хохоча, сказала, чтобы я ей помог, у нее каблук сломался, и она взяла меня под руку, так мы и спустились по лестнице на первый этаж. А когда мы были внизу, мама остановилась, одной рукой поправила на себе чулки, второй прижала к лицу носовой платок, и я видел, ее все еще трясет от смеха, а я сунул руку в карман и крепко стиснул белого короля, холодная слоновая кость так хорошо лежала в ладони, и я знал, что теперь, когда мы будем играть в войну, никто меня не победит, потому что рядом с таким полководцем даже самый красивый оловянный солдатик — жопа с ручкой.

Кино

Три болта вышли из своих гнезд легко, зато четвертый сидел как проклятый, даже не пошевелился; я уж и так и этак давил на разводной ключ, который Фери утащил у своего отца; потом я набрал побольше воздуха и еще раз рванул ключ; нет, болт опять не поддался, зато ключ сорвался с головки, и тут я услышал, как Фери шепчет: какого хрена ты там возишься, мать твою, вот дадут свет, и нам хана; будто я сам не знал, что вентиляционная ниша уходит в стену под экраном всего на полметра, и мы оба сейчас высовываемся из нее по пояс, так что, если свет загорится, вся школа увидит наши задницы; в общем, я ему ответил шепотом, чтобы он мать мою оставил в покое и чтобы поцеловал меня в жопу, и еще я лежа двинул его ногой и, должно быть, попал в ребра, потому что слышал, как он шипит от боли и ругается, и потом снова рванул ключ, а другой рукой еще и решетку дернул, сколько было сил, но решетка двигаться и не думала, а вот болт вроде скрипнул чуть-чуть, но держался все еще крепко; за спиной у нас, в зрительном зале, гвалт стоял сумасшедший, да еще топот и свист, а товарищ директор вопил, надрывая глотку, он тут где-то близко совсем стоял, перед первым рядом, и мы очень хорошо слышали, как он орет: все остаются на своих местах, сейчас поем патриотические песни, пока устранят поломку на линии, и никто чтоб не смел ничего бросать, а то я вам устрою веселую жизнь, и учтите, свет будет через пару минут, и сеанс продолжится, и если кого-нибудь не будет на месте, когда включат электричество, того я лично на кол посажу, четвертую на школьном дворе, сердце вырву собственными руками, вы еще узнаете у меня, бездельники и мерзавцы последние, запомните раз и навсегда, что такое дисциплина; я знал, что товарищ директор не просто орет, но еще и ходит туда-сюда и водит по залу лучом своего фонарика; но мне как-то не хотелось думать, что будет, если он случайно посветит сюда, под экран, в сторону вентиляционной шахты, или споткнется о наши вытянутые ноги; и я опять рванул разводной ключ, и болт опять не сдвинулся с места, и тогда я сказал Фери шепотом: дурость это, пошли лучше назад, на свои места, эта вентиляция все

равно никуда не ведет, нет тут никакого секретного зала, ну его к черту; но Фери съездил мне кулаком в бок и сказал: уходи, если хочешь, а я не отступлюсь, я здесь останусь, я все равно фильмы те запрещенные посмотрю, а ты давай жми на ключ, не валяй дурака, а то правда дадут свет, и не корчи из себя говнюка; я хотел ему сказать, что никого я из себя не корчу, сам иди в жопу, но ничего не сказал, а постарался еще плотнее наложить ключ на головку болта, уперся локтем в стенку вентиляционной шахты и налег изо всех сил на рукоятку, и тут головка вся, целиком отломилась, да так неожиданно, что я ключ чуть не выронил, и тогда Фери прошептал: ну наконец-то, теперь снимаем решетку, да поосторожней, а то места тут очень мало; а я ему, тоже шепотом, ответил: ты что-нибудь такое скажи, чего я не знаю, и потянул решетку на себя, и тогда решетка наконец вышла из рамы, в которой была закреплена, и мы с Фери взяли ее с двух сторон, но никак не могли повернуть, потому что она была большая слишком, так что нам пришлось почти совсем вылезти назад из ниши, только тут мы ее положили на пол; тем временем к директору подошел учитель пения, он, к счастью, стоял немного в стороне, не у самой ниши, а потому не заметил, как мы вылезали; и тогда мы осторожно положили решетку и задвинули ее в нишу; и я услышал, как учитель пения вполголоса говорит товарищу директору: если вы в самом деле хотите, чтобы было пение, то будьте добры, светите на меня, пусть дети видят, как я дирижирую; но товарищ директор ничего на это не ответил, только ругался не переставая, потому что кто-то попал ему в голову мелом; ну, тогда мы забрались обратно, пролезли через раму, в которой стояла решетка, и поползли по узкой вентиляционной шахте к секретному залу. Фери полз впереди; сначала я различал, как он сопит и стукается то коленом, то носком ботинка о пол шахты; но потом он, видно, уполз далеко, его уже не было слышно; зато я слышал, как в большом зрительном зале ребята орут и топают ногами. Лаз между тем становился все уже, я чувствовал, что плечи мои с двух сторон задевают за стенки трубы, и думал, вот сейчас я застряну, как было недавно, когда я полез в бетонную трубу за кожаным мячом Проданов; и в самом деле, я двигался на четвереньках вперед и чувствовал, что уже и спина моя трется о верхнюю часть шахты, и знал, что сейчас, даже если захочу, не смогу повернуться, так что я лез вперед и вперед и думал: лучше бы я не выиграл утром этот спор.

С Фери мы поспорили сразу после того, как товарищ директор пришел в класс и объявил, что первые три урока отменяются, вместо этого вся школа пойдет в кино, смотреть документальный фильм "Страна строится", о пятилетнем плане; ну, тут Фери сказал: давай спорить, выключится во время сеанса свет или не выключится; Фери считал, что не выключится, потому что на таком фильме выключить свет — это был бы саботаж, антигосударственный саботаж; а я с ним не согласился: саботаж — это наоборот, если не выключат, потому что электроэнергию надо беречь, с ней надо обращаться очень ответственно, ведь промышленное производство гораздо важнее показа патриотических фильмов; тогда Фери сказал: спорим; и мы поспорили; я обещал, если он выиграет, отдать ему свою рогатку из настоящей белой резины, а он сказал, что, если проиграет, покажет мне вход в зал для секретных сеансов, о котором ему дед рассказывал: там хранят ленты с запрещенными филь-

мами, которые в кинотеатрах никогда не показывают; там лежат все фильмы, про которые мы только слышали, но никогда не видели: и все шесть серий "Человека-паука", и про Тарзана, и про Зорро, и еще куча всяких фильмов про ковбоев и про индейцев. Мы ударили по рукам, а Янику попросили нас разбить, но не сказали ему, на что мы спорим; ну, и тогда Фери сказал: если свет в самом деле выключат, то можно попробовать в темноте пробраться в тот секретный зал; такая удача, что у него как раз был с собой отцовский разводной ключ: он его взял на тот случай, если драться будем, но ключ и тут пригодится, можно спокойно вывинтить болты, на которых держится решетка. Я тут же спросил, какая решетка, но Фери мне не сказал, потом, говорит, узнаешь, если электричество выключат, а пока посоветовал мне попрощаться с рогаткой, потому что есть у него такое чувство, что рогатка эта еще сегодня перейдет к нему.

Кинотеатр "Пламя революции", куда мы пошли, был самым большим в городе; раньше я часто туда ходил, но теперь уже больше года не был, потому что народное хозяйство переживало трудности, а особенно большие трудности переживала энергетика, так что никогда нельзя было знать заранее, в какой момент выключат электричество, и тогда приходилось сидеть в темноте, генераторы уже не работали ни в одном кинотеатре, потому что запас газойля везде был разворован, так что оставалось в полной тьме ждать, пока снова не дадут свет или пока не придут охранники или пожарные, чтобы вывести публику из зала, а мне это не очень нравилось, так что я вообще перестал ходить в кино. Конечно, с тех пор как отца забрали, у меня и денег почти не бывало, но попасть в кино я и без денег мог, это не трудно, просто надо немного потолкаться, надо знать, как в толпе устроиться; раньше я часто так проходил, когда не удавалось достать билет на "Родосский колосс", или на "Человека-паука", или на "Шерифа из космоса", или на "Геракл покоряет Атлантиду"; но те фильмы, которые теперь показывают, и без билета смотреть нет смысла, потому что идет всякая дрянь, вроде "Седьмого товарища", или "С головы до пят в железе", или "Долгая зима в городе слез".

Раньше мы в кино всегда старались устроиться где-нибудь подальше, в самом последнем ряду или в предпоследнем, но на этот раз Фери сказал: сядем с краю, чтобы не пришлось долго пробираться, если я окажусь прав и свет все-таки выключат; так что мы сели в четвертый ряд и втянули головы в плечи, чтобы сзади в нас не попали мелом или жеваной бумагой. Перед началом фильма товарищ директор вышел к экрану, велел всем встать, мы спели гимн, но потом сесть нам все равно не разрешили: товарищ директор произнес речь насчет того, какое это большое и важное мероприятие, киносеанс, и что кино — одно из величайших технических достижений нашей прогрессивной эпохи; потом он сказал, чтобы мы вели себя дисциплинированно и смотрели фильм с подобающим вниманием, и пожелал нам хорошего времяпрепровождения.

В фильме сначала говорили про всякие комбинаты и пшеничные поля, показывали тракторы, которые пашут, и комбайны, которые жнут; потом мы увидели, как прокладывают железную дорогу, которая пересечет высокие горы, как сооружают метро в столице, и какой-то то-

варищ в очках показал на карте, где будут станции; и еще нам показали, как внизу, под землей, роют туннель, там была огромная землеройная машина, она вгрызалась в породу, а следом за ней шли рабочие и бетонировали стены туннеля; камера приблизилась к машине совсем близко, и тут вдруг стало темно, и все принялись свистеть и кричать, а Фери сказал: ты выиграл, черт побери, поползли скорей, держись за мою ногу, а то в этой тьме с дороги собьешься; и тогда я ответил: погоди, может, просто лента оборвалась; но Фери сказал: если бы лента оборвалась, то горела бы табличка "Запасный выход", и вообще не было бы так темно; в самом деле, он был прав, так что мы поползли, сначала около рядов, потом по полу, пахнущему керосином, за спиной у директора, вперед, к середине экрана, потом Фери забрался в вентиляционную шахту, вход в которую был между полом и экраном, и шепотом сказал мне, чтобы я не возился долго и лез следом; потом, когда я уже лежал рядом с ним, он, опять же шепотом, сказал, что сейчас достанет разводной ключ, и надо будет только открутить болты и снять решетку, которая от крыс защищает, а дальше раз плюнуть.

Шахта стала уже до того узкой, что я едва мог двигаться; я хотел позвать Фери, чтобы он вернулся и помог мне, но темнота так давила, что я с трудом дышал; и тогда я вспомнил, что говорила мне мама, после того как пожарные вытащили меня из бетонной трубы и я по ночам боялся задохнуться под одеялом; она сказала: не надо думать о том, что ты задыхаешься, а надо, наоборот, представлять, будто ты стоишь на вершине горы, в рот и в нос тебе вливается свежий горный воздух; и сейчас я попытался это представить, но напрасно я закрывал глаза, все равно видел только тьму, и мне подумалось, если я застряну в этой трубе, то никто меня не найдет, я умру и останусь тут навсегда; и тогда я так испугался, что повернулся на бок и как-то все-таки сдвинулся с места, хотя стены даже сквозь школьную одежду царапали мне плечи, но я не обращал на это внимания и полз вперед; полз очень медленно, но все-таки продвигался понемногу, и тут вдруг услышал, как Фери где-то впереди говорит: где ты там, тут еще одна решетка, ее тоже надо снимать, и не бойся ты, шахта сейчас станет шире; и в самом деле, я еще немного прополз на боку, а потом смог встать на четвереньки; ползти пришлось недолго, я уже был рядом с Фери, и Фери сказал: тут шахта кончается, решетка у нас над головой, протяни руку, сразу наткнешься, я уже ее ощупал, она вроде не на болтах, довольно тяжелая, но вдвоем справимся, надо только ее поднять; и тогда мы взялись за решетку с двух сторон и напряглись одновременно, решетка сначала не шевельнулась, но потом все-таки приподнялась, и тогда я сказал Фери: только давай постараемся ее не уронить, а то грохоту будет, лучше сдвинуть ее в сторону, но осторожно, чтобы не шуметь; Фери сказал: ладно, и сдвигать надо не совсем, а только чтобы вылезти.

Я вылез первый; тут тоже было совсем темно, только где-то сбоку горел слабый красный огонек; я пошел в ту сторону, и споткнулся о решетку, и по отзвуку понял, что мы находимся в довольно большом зале; Фери тоже вылез из шахты, я слышал, как он идет за мной следом; вот он оказался рядом и сказал мне шепотом: ни за что бы не подумал, что мы сюда доберемся, я ведь сам не очень-то верил, что этот секретный зал существует, я думал, это легенда, как тот подземный ход, что ведет из

крепости через весь город к лесу и к глиняному карьеру; я сказал: помолчи, а если хочешь сказать что-нибудь, то не кричи, а скажи шепотом; а Фери шепотом ответил, что он и не думал кричать; тут мы подошли к красному огоньку: это была красная кнопка прямоугольной формы, она находилась в середине какого-то пульта; пульт был большой, со множеством кнопок, а на красной кнопке, которая горела в середине, было написано: запасной генератор, пользоваться только в случае крайней необходимости; и тогда Фери сказал: по-моему, это как раз крайняя необходимость, и прежде чем я успел схватить его за руку, он нажал кнопку.

Красный свет погас, стало совсем темно; я так испугался, что у меня горло перехватило; Фери, должно быть, тоже чуть в штаны не наложил, потому что даже не выругался, а молча стоял рядом в полной темноте. Так прошла, наверно, минута, потом мы услышали: где-то далеко, за стенами, что-то громко взревело; сначала это был совсем низкий булькающий звук, от которого пол дрожал, звук этот становился все выше и тише, он перешел чуть ли не в свист, потом что-то громко щелкнуло, и в зале вдруг вспыхнул свет.

Я посмотрел на Фери: он тоже сощурился; и тогда мы одновременно вздохнули, и я сказал ему: дурак ты, дурак; он только плечами пожал и отвернулся, и тут я услышал, как Фери присвистнул, и от того, что мы увидели, я тоже чуть не присвистнул. Это был вроде обычный кинозал, но тут стояли не ряды деревянных стульев, а очень большие кожаные кресла: в середине зала — два кресла рядом друг с другом, за ними с двух сторон, полукругом, еще штук десять, а напротив кресел всю стену закрывал огромный большой красный занавес. За двумя креслами в центре на небольшом шкафчике стоял проектор, и Фери направился прямо к нему и меня позвал: смотри, ты не поверишь, в него даже катушка с фильмом вставлена: когда я подошел, Фери уже открыл шкафчик, и я увидел, что в нем полным-полно плоских круглых металлических коробок, и Фери сразу сказал: ну, брат, ухватили-таки мы с тобой Бога за бороду, тут в самом деле все секретные и запрещенные фильмы, только осторожно, эти коробки жуть какие тяжелые, не бери их сам, будем брать вдвоем; тогда я сказал: не бойся, не возьму; он сказал: ладно, но ты мне помогай, сначала давай осторожно вынем верхнюю; но я сказал: не буду я тебе помогать, не хочу я их вытаскивать, и на фильмы эти мне наплевать, лучше сматываем удочки, потому что, если нас тут поймают, нам конец, такие секретные места считаются военными объектами, сюда забраться — все равно что государственная измена; но Фери только захохотал и сказал: да все будет в порядке, чего ты обосрался, и уж если мы тут оказались, то не глянуть, что это за фильмы, — чистая дурость, ты только представь, как здорово будет рассказать остальным, что случится в продолжении "Зорро"; но я и тут ответил, что мне на это плевать и лучше давай полезем обратно, пока что-нибудь не случилось; и тогда Фери спросил: ты что, в самом деле обосрался, даже не хочешь узнать, какие тут фильмы, давай хоть названия посмотрим, чтобы потом было что ребятам рассказывать; но я на это ответил: пошел ты с этими рассказами, нам и заикаться об этом будет нельзя, если не хотим, чтобы на нас донесли; но Фери уже вытаскивал одну из коробок и сказал: помоги, а то я себе на ноги ее уроню; а я ответил: не валяй дурака, не такая уж

она, поди, и тяжелая; но потом все же взялся за коробку, и мы вместе положили ее на кресло и стали поворачивать туда-сюда, потому что Фери сказал: снизу или сбоку бывает написано, что это за фильм и какая часть; но на этой коробке ничего не было написано, так что мы вытащили следующую, но на той тоже не было ничего; потом мы пересмотрели еще коробки три или четыре, и на одной были-таки следы наклейки, но сама наклейка была сорвана, только самый краешек остался, и на нем значилось: восемьдесят четыре; Фери сказал: не может такого быть, не бывает такого длинного фильма, чтобы в нем было восемьдесят четыре части; и я тогда снова сказал: мне наплевать, полезли обратно, если дадут свет, мы тут навсегда застрянем; и Фери тогда сказал: ладно, сейчас, но давай хотя бы посмотрим ленту, которая в проекторе; и стал рукой крутить нижнюю катушку, и лента перематывалась с верхней катушки на нижнюю, и когда я наклонился пониже, то увидел, что кадры задвигались, фильм можно было смотреть почти нормально, только название, имя режиссера и другие надписи прочесть нельзя было, они видны были задом наперед, да еще и двигались; и я увидел пустую комнату, потом медленно открылась дверь и вошла какая-то женщина, обошла комнату, села на кровать, потом встала, подошла к окну, открыла его, потом взяла со столика газету и стала этой газетой обмахиваться, вроде ей очень жарко; тут Фери спросил: ну, что там, о чем фильм-то? А я сказал: да ничего, скукота, какая-то баба бродит туда-сюда в большой комнате; и тогда Фери спросил: а она одна? А я сказал: да; и тут Фери тоже нагнулся поближе и продолжил крутить нижнюю катушку, и тогда женщина на пленке сняла жакет, потом юбку и осталась в блузке, нижней юбке и туфлях на высоких каблуках, но ей все равно было жарко, она все обмахивалась газетой, потом и блузку сняла, и ей все еще было очень жарко, и тогда Фери сказал: эх ты, никакая это не скукота, это очень даже интересно, это наверняка такой фильм, в котором бабы и мужики совсем голые, ты разве не слыхал про такие фильмы, и если крутить пленку дальше, то скоро увидишь, как эта баба сбросит всю одежду, даже лифчик и трусы; так что мы наклонились к ленте еще ближе и стали крутить дальше, и женщина в самом деле сняла нижнюю юбку, и на ней теперь были только чулки, лифчик и трусы, но чулки были не обычные — они доставали только до середины ляжек, а там их держали какие-то ленты, и они были привязаны к поясу на талии; примерно так держатся у индейцев щитки, закрывающие ноги; ну, и тогда Фери попробовал крутить ленту быстрее, и женщина уже не двигалась, а дергалась, но чулки все никак не снимала, просто бегала по комнате взад-вперед, потом уронила газету, нагнулась за ней, взяла сигарету и долго курила, и лицо ее было совсем близко, губы у нее были густо накрашены; и тут в зале огни вдруг замигали, и тогда я сказал Фери: осторожно, вроде генератор плохо работает; и я посмотрел на пульт, и в самом деле, большая красная кнопка в середине опять светилась красным светом, и тогда я сказал: давай кончать, полезли обратно, а то нам крышка — или генератор сейчас остановится, или свет дадут; Фери ответил, ладно, но сам и ухом не повел, все крутил ленту; я опять сказал: пошли, потому что красный свет мигал уже очень часто, но Фери сказал: заткнись, баба как раз лифчик снимает, лучше смотри туда, такого ты точно не видел; я ответил, что мне наплевать, хотя мне было совсем не наплевать, но я видел, что красный

свет мигает вовсю, и не мог ни о чем больше думать, только о том, что будет, если нас поймают; наверняка отправят в исправительную колонию; так что я снова сказал Фери: умоляю, пошли уже; но он теперь уже тянул ленту рукой и сказал: мне чихать, хочу увидеть, что у этой бабы в трусах; и я увидел, как он сунул руку в карман и вынул бритву; я спросил: ты что, совсем тронулся, ты что хочешь делать; а он сказал: баба сейчас разденется, и ему чихать, он себе вырежет этот кусок ленты; а я сказал: ты что, не трогай, нельзя, чтобы мы тут следы оставили; но Фери уже открыл бритву и уже поднес ее к ленте, но тут я схватил его за руку и сказал: тебе что, жить надоело, в исправилку хочешь попасть; но он ответил: отвяжись, и оттолкнул меня, но я не отпустил его руку и тоже его толкнул и сказал: мне плевать, я лезу обратно, я не хочу, чтобы меня поймали; и тогда Фери опять меня оттолкнул, теперь уже куда сильнее, я даже упал на одно из кресел, на то, в подлокотники которого были вделаны выключатели, и рукой попал на какую-то кнопку и даже почувствовал, как она щелкнула под моей ладонью, и тогда загудел какой-то мотор, и большой красный занавес на передней стене медленно разделился на две части и стал раздвигаться, а Фери закричал: дурак, ты что делаешь; а я ответил: сам дурак, это ты сделал; я попытался встать и нажал еще на какую-то кнопку, и тогда в зале погас свет, а из проектора вырвался яркий луч, и катушки проектора закрутились, и на экране появилось изображение, оно было нерезким, но все равно видно было, как женщина наклонилась и стала снимать лифчик, но это я видел на бегу, потому что я уже бежал к вентиляционной шахте, Фери бежал за мной, и тут женщина сбросила лифчик, и стали видны обе ее груди и соски на них, и камера придвинулась так близко, что груди заполнили весь экран, и тогда женщина села в кресло, и откинулась назад, и высоко подняла вытянутые ноги, и начала стягивать трусы, хотя чулки все еще были на ней, а мы с Фери были уже около вентиляционной шахты, и я знал, что пора, но все не лез в шахту, и Фери тоже не лез, мы стояли и смотрели, как женщина медленно-медленно стягивает трусы с задницы и с ляжек, и камера приблизилась к ее рукам и показала скрученные в узкую полоску черные трусы, и потом камера заскользила по ляжкам и вдруг оказалась у женщины между ног, и тогда женщина, сидя в кресле, широко раздвинула ноги, и в этот самый момент генератор выключился и стало темно, только слышно было, как в проекторе все еще крутится одна из катушек, и тут мы с Фери одновременно очнулись, и одновременно прыгнули в вентиляционную шахту, и одновременно поползли вперед, словно соревнуясь, кто первый окажется в трубе, Фери даже схватил меня за руку и сказал: пусти, но я не пустил, а наоборот, коленом двинул его в живот, так что он меня пропустил, и тогда я влез в трубу и торопливо пополз, и слышал, что Фери ползет за мной, и труба снова стала сужаться, но теперь я уже не боялся, а лег на бок и так двигался дальше, как только мог, и мне было наплевать, что стенки шахты сдирают кожу с моих ладоней, и вот уже слышно стало, как в зрительном зале вся школа громко орет песню о героях-шахтерах, которые все глубже и глубже врубаются в пласт, и тут я пополз медленнее, потому что понял, что электричество еще не дали, и если мы постараемся, то успеем вернуться на свои места еще до того, как закончится песня, и будем петь вместе с остальными, будто вообще с места не сдвинулись.

Вы прочитали пять глав (хотя они скорее выглядят как самостоятельные рассказы) из романа "Белый король", который вышел в 2005 году и сразу произвел, несмотря на молодость автора, фурор. Книга была удостоена трех венгерских премий: имени Дери, имени Броди, имени Мараи. Ее успели заметить в мире: нью-йоркский журнал "Paris Review" опубликовал главу из нее ("Прыжок", которая есть и в нашей подборке), американское издательство "Houghton Mifflin" готовит издание романа на английском языке, права на книгу купили многие европейские издательства. В 2008 году роман выходит на немецком языке в издательстве "Зуркамп".

Дёрдь Драгоман — из трансильванских венгров (родился он в 1973 году, в 1988 году перебрался в Венгрию), и в его прозе живут многие традиции трансильванской венгерской литературы: свежая, яркая, подчас почти сказовая образность, эмоциональная выразительность языка, склонность к мифизации даже в изображении самой что ни на есть заземленной реальности. В романе "Белый король" все это дополняется не вполне обычной точкой зрения: герой-рассказчик здесь — двенадцатилетний мальчик, в мировосприятии которого сочетается детский взгляд на вещи и вполне взрослое отношение к жизни. Взрослость эта вынужденная, ведь действие происходит в жестокой тоталитарной действительности Румынии 80-х годов. Мальчик живет вдвоем с матерью: отец за какую-то провинность арестован и отправлен в трудовые лагеря; жив он или нет, неизвестно. Даже в играх со сверстниками герой должен вполне серьезно бороться за доброе имя отца, за свое место в жизни, а порой и за самоё жизнь. Атмосфера в романе местами напоминает атмосферу "Повелителя мух" Голдинга — с той разницей, что здесь все пронизано восточноевропейскими реалиями и восточноевропейской ментальностью.

В конце книги, в главе, которая в нашу подборку не вошла, отец мальчика ненадолго появляется: на арестантской машине его привозят на похороны его собственного отца, бывшего партийного деятеля. Мальчик не зря, вопреки всему, верил, что отец жив. Но того увозят снова — назад, на стройку Дунайского канала, стройку, которая в маленькой Румынии выполняла примерно такую же функцию, как у нас лесоповал в Сибири. Со стройки этой мало кто возвращался живым; сегодняшний читатель, зная недавнюю историю, может лишь предполагать, что отцу мальчика повезет: он дождется краха режима Чаушеску и вернется к семье, к нормальной жизни...

Никита Нанков

Стихи

Перевод с болгарского и вступление Евгения В. Харитонова

Никита Нанков, к сожалению, известен в России крайне узкому кругу знатоков и специалистов. Между тем в словесности он отнюдь не новичок. Филолог-славист, специалист по творчеству А. П. Чехова и литературе постмодернизма, автор многих научных работ и нескольких монографий. Был научным сотрудником Института литературы Болгарской академии наук, а с 1992 года живет в США, где продолжает заниматься наукой — преподает историю мировой литературы в Auburn University (штат Алабама). А кроме того, Никита Нанков — художник, участник национальных и международных выставок; прозаик, пишущий как "взрослую" прозу, так и произведения для детей (его перу принадлежит несколько популярных в Болгарии сборников сказок). И, наконец, поэт, автор двух книг — "Это так" (2004) и "Обреченность слов: три с половиной коротких поэмы о любви" (2007).

Но для болгарской поэзии Никита Нанков — фигура не вполне обычная и, боюсь, не совсем понятая. Дело в том, что Нанков выступает как прямой наследник опыта русских футуристов, немецких дадаистов и отчасти французских творцов словесности комбинаторной (при этом, замечу, Никита в равной степени блестяще работает и в парадигме традиционной, силлаботонической поэзии). Как ни странно, при очевидном богатстве экспериментальных приемов в болгарском изобразительном искусстве и драматургии (в прозе в меньшей степени), авангард (по крайней мере в его самом радикальном, инновационном варианте) совсем не прижился в поэзии Болгарии. Некоторые критики приписывают аван-

© ЕИ LiterNet 2004
© Никита Нанков 2004
© Евгений В. Харитонов. Перевод, вступление, 2008
Редакция благодарит Никиту Нанкова за разрешение безвозмездной публикации его стихов на страницах нашего журнала.

гардное дыхание стремительной верлибризации поэзии Балкан — явлению общему для всей европейской литературы. Впрочем, сам Нанков не любит, когда его называют авангардистом. Ему симпатичнее определение "поэт-парадоксалист". Он и в самом деле выстраивает свою поэзию на парадоксах — языковых, смысловых. Используя прием повторов, тавтологий, он доводит до абсурда речевые или смысловые штампы, как, например, в стихотворениях "Богословские тонкости" и "Набокочеховиада" (последнее написано на русском языке в соавторстве с россиянкой Ольгой Тращиловой); жонглирует языками — реальными и вымышленными, уходит в заумь или вовсе освобождает синтаксис, уводя слово в звучарные выси. Прочитайте вслух стихотворение "барболинке барболинке барболинке" (это вымышленное слово очень созвучно — и, очевидно, не случайно — знаменитому хлебниковскому "Бобэобе"!), и вы непременно услышите, как, подскакивая, рассыпается с шорохом по полу бисер.

Нанков работает не только с заумным словом, не только со звуком (тут его поэзия напрямую отсылает нас одновременно к Хлебникову и Крученых, с одной стороны, и к немецким конкретистам от Хуго Балля до Рауля Хаусмана — с другой), но и с графикой стиха. Апокалиптическое и язвительно-ироничное стихотворение "И счастливого Нового года" (заголовок автор поместил не в начало текста, а в конец) литера за литерой, слово за словом, строка за строкой превращается в новогоднюю елку, опутанную ровными гирляндами бус, а макушку этой поэтической ели, как и положено, украшает звезда, которую автор соорудил из собственных имени и фамилии. В другом стихотворении словесная игра — "китайская пагода — русская непогода" — неуловимо выстраивается в изображение китайской пагоды с неожиданным, озорным НУ, ПОГОДИ! (со множеством восклицательных знаков), запрятанным у входа в храм. Эти два текста интересны не только с позиций языковых игр ("Пагода-непогода" написано автором на русском языке, поскольку ни в одном другом подобного метаграммного сочетания просто не существует), но и как незаурядные образцы поэзии визуальной.

Наконец необходимо сказать, что Никита Нанков, будучи полиглотом, пишет свои стихи не только на родном и русском (сын болгарского консула в Москве, Нанков много лет и сам провел в России), но также на английском и немецком языках, а нередко и вовсе соединяет языки в рамках одного стихотворного текста.

Предлагаемая вниманию читателей подборка составлена по принципу 3 плюс 2: три стихотворения даны в переводе, а два в "оригинале" — они изначально были написаны автором по-русски.

Н
ИКИТ
А
НАНКО
В

п
о
з
а
д
и
10
ог
рад
1 000
боди
гардов
100 000
телохра
нителей
10 000 000
секретных
агентов
1 000 000 000
глушилок
100 000 000 000
терминаторов
убийц
10 000 000 000 000
жандармов
1 000 000 000 000 000
радаров
100 000 000 000 000 000
скрытых камер
10 000 000 000 000 000 000
штабелей ракет
1 000 000 000 000 000 000 000
под землю упрятанных танков
100 000 000 000 000 000 000 000
вертолетов
10 000 000 000 000 000 000 000 000
бронемашин
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000
катеров
100 000 000 000 000 000 000 000 000 000
баррикад
10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
пушек трехсотдюймовых
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
биологического и химического оружия
100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
понтонов
10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
кнопок красных
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
прицелов
100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
авианосцев
10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
стратегических бомбардировщиков
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ядерных подлодок
100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
шпионских спутников
10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
межконтинентальных ракет
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
военных бюджетов
100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
штыков
10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
космических щитов
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
секретных тайн
100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
державных тайн
10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
к черту на рога
во веки веков
аминь

И СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА

2004

* *
*

барболинке барболинке барболинке
слы слы слы
шу шу шу
как как как
ты ты ты
сып сып сып
ле ле ле
шься шься
на на на
по по по
л л л
и и и
от от от
ска ска ска
ки ки ки
ваешь ваешь ваешь
как как как
рас рас рас
сып сып сып
авш авш авш
ийся
бис бис бис
ер ер ер
барболи барболин барболинк
е ке нке
барболинке

2005

Богословские тонкости

Бога нет.
Но есть Церковь.
Значит, существует и Бог.

Если Бог говорит:
нет Бога,
Церковь говорит:
Бог есть.
Значит, Бог и правда есть.

А если Бог скажет:
Церкви нет,
Церковь ответит:
и Бога нет,
который сказал, что Церкви нет.
А значит, Церковь есть.
А раз есть Церковь,
То и Бог тоже есть.

Бог есть,
даже если Церкви нет,
которая говорит: Бог есть.

Бога нет,
если Церковь есть,
которая сказала, что Бог есть,
который сказал, что Церкви нет,
которая сказала, что Бога нет.

Есть Бог,
раз Церкви нет,
которая сказала, что Бога нет,
который сказал, что Церкви нет,
которая сказала, что Бог существует.

2006

* *
*

к
ит
айск
ая пагода
р
ус
ская
непогода
к
ит
айск
ая погода
р
ус
ская
непогода
р
ус
ска
я погода
к
ит
айская
непогода
р
ус
ска
я пагода
к
ит
айская
непогода

Н Н
У У
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
П П
О А
Г Г
О О
Д Д
И Ы
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2005/2007

Набокочеховиада[1]

1

Набоков все меньше нравится,
Чехов все больше нравится.
Набоков все больше не нравится,
Чехов все больше нравится.

(И я не могу с этим справиться...)

2

Набоков может не нравиться,
Чехов не может не нравиться.
Набоков может и нравиться,
Чехов не может не нравиться.

Набокова меньше — нравится!
Чехова больше — нравится!
Набокова больше — не нравится!
Чехова больше — нравится!

Набоков будет ли нравиться?
Чехов всегда будет нравиться.
Набоков не будет нравиться?
Чехов не будет не нравиться.

(И с этим тебе не справиться...)

3

Все больше мне Чехов нравится,
Все больше Набоков не нравится,
Все больше и больше не нравится,
Больше, чем Чехов мне нравится.

Все больше мне Чехов нравится,
Все меньше Набоков мне нравится,
Все меньше и меньше нравится,
Меньше, чем Чехов не нравится.

(И с этим ему не справиться...)

1. В соавторстве с Ольгой Трацциловой.

4

Чем меньше Набоков мне нравится,
Тем больше Чехов мне нравится.
Чем больше Набоков не нравится,
Тем больше Чехов мне нравится.

Набоков все больше не нравится,
И меньше тоже не нравится.
Ни больше, ни меньше — не нравится.

Чехов все больше мне нравится,
И меньше тоже нравится.
Ни больше, ни меньше — нравится!

(И с этим всем вам не справиться...)

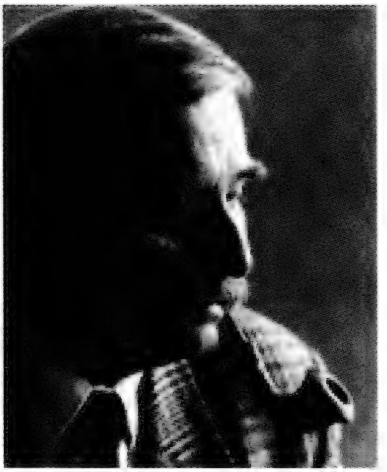
5

Набокову Чехов нравится.
Набоков Чехову нравится?

(Да знаю, знаю — не нравится!
И Бог даже с этим не справится...)

2007

Милорад Павич



Бумажный театр

Фрагменты книги

Перевод с сербского Ларисы Савельевой

Вступление автора

Что держит в руках читательница? Ее интересует не что, а кто написал. Она увидела, что вышла новая книга любимого писателя, и купила ее. Ей безразлично, роман это или что-то совсем десятое. И сейчас она читает эту книгу. Другие читательницы, которыми наш автор не столь любим, держат в руках что-нибудь другое. Думаю, что и этот выбор не так уж плох...

Что держит в руках читатель? Ему важно не кто написал, а что там внутри. Роман это или антология. Когда он увидел, что это роман-антология, он удивился, но тем не менее проглотил это, потому что речь идет об антологии.

Что до писателя, то он думал так: роман как единое целое держат две вещи — сквозная тема и личность автора. Этого в XXI веке для романа достаточно. В нашем случае сквозной темой стал современный мировой рассказ, а о личности писателя читайте то, что следует дальше.

В этом романе, в этой своеобразной антологии современного мирового рассказа, то есть в романе-антологии, читатель обнаружит тридцать восемь рассказов, а также биобиблиографические сведения об авторах этих тридцати восьми текстов, каждый из которых представляет какую-нибудь одну национальную литературу. Всех этих писателей и сведения о них выдумал Милорад Павич. Он же написал и все тридцать восемь рассказов.

Число взято не случайно. "Включенные" в книгу выдуманные писатели представляют реально существующие, конкретные страны, в которых публиковались переводы моих произведений. И это не только дань уважения к моим читателям

© Лариса Савельева. Перевод, 2008
Редакция благодарит Милорада Павича за любезно предоставленное право безвозмездной публикации фрагментов его книги на страницах журнала.

из этих стран (что, разумеется, тоже имеет место), но и стремление самому познакомиться с этими литературами ближе, чем с остальными. Это распространяется и на Швейцарию, где меня не переводили, но читали по-французски, по-итальянски и по-немецки. Кроме того, в Цюрихе и по сей день находится мой литературный агент.

Друзья, которым я по секрету рассказывал о своем новом романе-антологии, часто спрашивали, подражал ли я манере письма того или иного реально существующего в этих странах писателя. Нет ничего более неправильного, чем такое предположение. Обдумывая каждый из тридцати восьми рассказов, я старался в те литературы, к которым якобы относятся выдуманные мной рассказы, добавить некоторые звуки, которых в них нет, но которые мне бы хотелось в них слышать. Эти рассказы — мое своеобразное приложение к этим литературам, если, конечно, трактовать приложение как один из гарниров к рыбе в ресторанном меню.

Пользуюсь возможностью поблагодарить поэта Рашу Ливаду, который несколько лет назад подал мне идею написать несколько рассказов под именами разных писателей. Самое большое удовольствие я испытал, выдумывая писателей этого романа, мужчин и женщин, выдумывая целую современную мировую литературу, названия книг, которые никогда не были написаны, жизни и судьбы людей, которые не существовали. Правда, при этом имена издательств, где печатались несуществующие книги несуществующих авторов, подлинные. Это те издательства, которые публиковали переводы моих книг. Я благодарен им и выражаю эту благодарность, поместив их в контекст моего романа[1].

Гане Сотироски
(Республика Македония)

Сотироски – поэт и прозаик. Изучал историю искусств в Скопье, Софии и Белграде. Его переводили на английский. Происходит из весьма многочисленной семьи Кие-Сотирачи из Прилепа, которая в прошлом подарила миру нескольких художников и писателей, а в наши дни дала много переводчиков и бизнесменов. Собрал и опубликовал в небольшом издательстве из Струмицы сборник "Диалоги". Вот один из примеров таких диалогов, под названием "Феминизм":

ОН. Я дам тебе денег, купи трусики.
ОНА. Трусики я не ношу.

Сотироски не уставал повторять, что во время распада государства Югославия его Македония была единственной республикой, где не пролилось ни капли крови.

1. Выдуманные Милорадом Павичем писатели "живут" в Англии, Швеции, Италии, Греции, Грузии, Канаде, Турции, Сербии, Японии, Израиле, Румынии, Франции, Украине, Германии, Македонии, Португалии, Словении, США, Болгарии, Испании (здесь два автора, один пишет на каталанском, второй – на испанском), Польше, Швейцарии, Китае, Литве, Аргентине, Венгрии, Бразилии, Словакии, Норвегии, Мексике, Финляндии, Чехии, Армении, Дании, Корее, Голландии, России.
"ИЛ" предлагает вниманию читателей пять из тридцати восьми выдуманных рассказов выдуманных авторов с выдуманными биографиями и библиографиями, составляющие новый роман Павича, создателя нового жанра романа-антологии. (*Прим. ред.*)

— Принесли?

— Принес. Она здесь.

— Можно взглянуть?

Этот разговор происходил между двумя мужчинами, под вечер, в корчме на окраине Битоля. Тот, что постарше, был в военной форме миротворческих сил Организации Объединенных Наций, второй — в рубашке из грубой некрашеной хлопчатобумажной ткани. Молодой достал из рюкзака какой-то предмет, завернутый в небольшой коврик, из тех, что делают в Пироте. Это была икона святого Димитрия. На ней, на золотой основе, был изображен святой — верхом на коне, он скакал галопом над морем и рубил саблей паруса крошечных суденышек, рассыпавшихся по глади залива. Вдали виднелся город, а в глубине был нарисован человечек, идущий за плугом, который тащила пара волов.

— Краденая? — спросил тот, что в форме.

— Разумеется, краденая, но я за нее заплатил, все как положено, того же жду и от вас. Так что вся сделка совершенно законна.

— Какого она времени?

— Семнадцатый век или немного позднее.

— Кто автор?

— Ну, это неизвестно. У нас авторы на иконах не подписываются.

— Вот как? Могу ли я задать вам один вопрос?

— Задавайте, думаю, я даже знаю какой.

— Почему вы ее продаете?

— Объясню с помощью совершенно другой истории. В Москве находится много наших старинных рукописных книг, считается, что в свое время их продал русским один наш знаменитый соотечественник. Многие ставят это ему в вину. Но я позволю себе спросить, что произошло с теми книгами, которые он не продал в Россию? Те книги день и ночь с берегов Святой горы сбрасывали в море янычары, подвозя их туда целыми тачками.

— А откуда ваша икона?

— В каком смысле — откуда?

— Известно ли, где она написана?

— Конечно известно, в Македонии.

— В какой Македонии?

— Как в какой? В этой.

— Откуда это известно, если она не датирована, не подписана и не указано место ее создания?

— Вы собираетесь покупать икону или рисунок Рембрандта? Есть масса способов определить все то, что вас интересует, но на иконе это отражено совершенно иначе, чем на полотнах, которые писали художники у вас.

— Неужели возраст иконы можно определить по золоту?

— Скажите, а могу ли теперь я задать вам один вопрос? Зачем вы покупаете эту икону? Чтобы перепродать ее и заработать? В таком случае, мне кажется, достаточно знать, что вы покупаете золотую основу, а все остальное, то есть икона, просто добавка, довесок, приложение к золоту.

— Нет, дело обстоит совсем не так. Действительно, я служу в миротворческих силах ООН, но по происхождению я из России, и мне хотелось бы по старинному русскому обычаю завести у себя дома, в Глазго, иконостас. А после моей смерти иконы отойдут местному музею.

— Так бы сразу и сказали, ведь тогда это совсем другое дело!

Тут молодой человек в светлой рубашке, обернувшись, крикнул в глубь корчмы:

— Медор, медор, медор, о-ли-ли-ли!

На этот крик официант тут же вынес блюдо с печеной тыквой и соленые семечки подсолнечника. Они заказали ему один салеп, одну бозу и две тарелки льняной халвы. Немного подкрепившись, молодой человек продолжил:

— Значит, смотрите, как обстоит дело с происхождением иконы. Она, как я уже сказал, из Македонии, точнее из Пелагонии. Существуют определенные типы икон этого и более раннего периода, о которых совершенно точно известно, что они написаны именно там. Например, Богородица Умиление с маленьким Христом на руках, у которого с ножки упала сандалия. Она несомненно из Пелагонии.

— А эта, ваша икона?

— Насчет нашей иконы можно сказать, что она местная, на том основании, что на заднем плане, в глубине, изображен Королевич Марко, перепахивающий дороги.

— Что за Королевич Марко?

— Это Королевич из Македонии, и именно об этой сцене говорится в одной из сербских народных песен.

— Довольно сложно. Я слышал, что у каждой иконы есть предтеча, образец из прошлого. Это относится и к вашей?

— Разумеется. Старые иконы у нас хоронят, рядом с монастырями есть даже особые кладбища икон. Образцом для этой иконы была какая-нибудь греческая икона, такого же типа.

— Греческая? Откуда вы знаете?

— Все очень просто. Святой Димитрий — это греческий святой, защитник Салоник. Он изрубил саблей сербское войско, напавшее с суши на Салоники, а на иконе изображено, как он рассекает паруса турецких суденышек, которые угрожают его городу осадой с моря.

— И откуда же тогда икона?

— Оклад свидетельствует, что икону сделал клепта. На одежде видны украшения из их краев.

— Кто такой клепта?

— Это албанец до обращения в ислам.

— Не понимаю.

— Христианин из Албании.

— Выходит, икона из Албании?

— Трудно утверждать это с полной уверенностью. Для нее использована доска из болгарского кедра, она внизу, под золотым окладом. В такой древесине никогда не заводятся черви. Поэтому она всегда была очень дорогой, и поэтому икона сохранилась до наших дней.

— А золото откуда?

— Это не чистое золото, а глама, сплав золота с серебром, которые во времена сербского властителя Стефана Лазаревича добывали в Косово и в рудниках Боснии.

— Еще один вопрос. Слова "Святой Димитрий" написаны не по-русски и не по-гречески. Вы знаете, что это за язык?

— Трудно сказать. Скорее всего, это старый церковный сербский.

— Получается, что вашу икону создавали все народы, которые живут на Балканах.

— Верно. Поэтому она икона. В другом случае это была бы картина.

Себастьян Бургос
(Португалия)

Португальский писатель Себастьян Бургос родился в Эворе, там же закончил среднюю школу. Потом жил в Лиссабоне, занимаясь дизайном мобильных телефонов для разных фирм. Некоторое время увлекался живописью, причем его картины чаще выставлялись не в Португалии, а в Аргентине и Бразилии. Книги Бургоса выходили в издательствах "Дом Квиксоте" (Лиссабон), "Марко Зеро" и "Компанья дас летрас" (Сан-Паулу). Романы: "Ветер по имени Я" и "Ночная встреча двух собак". Составил собрание португальской сатирической прозы XVI века. Опубликовал "Антологию мирового рассказа". Все рассказы для этого издания он сочинил сам. Никогда не был женат. Большую известность получило его высказывание в беседе с одним журналистом: "Я больше не хожу на приемы. Меня там все знают, а я теперь не знаю никого". Умер в 2002 году.

Серебряный гребень

Я известный художник, а моя жена ведьма. Уже давно меня узнают прохожие на улице, независимо от того, Лиссабон это или Буэнос-Айрес. Время от времени мы с женой уезжаем на какой-нибудь далекий остров отдохнуть от обязательств, которые буквально душат нас. Вот и в этом году мы снова поехали на Азоры. Была зима, но в отеле, где мы обычно останавливаемся (в свое время я участвовал в его оформлении, и там висело много моих картин), был бассейн с подогретой морской водой. 33 градуса. Если пройти под каскадом падающей воды, то окажешься в открытой части бассейна, откуда виден Атлантический океан. Нечто подобное было в свое время в Карфагене. Меня нисколько не удивило, что на стене нашего номера висела одна из моих картин 2004 года.

Ужинали мы в ресторане отеля, потому что оплатили полупансион. В первый же вечер обнаружилось, что, сами того не ведая, мы оказались в отеле во время какого-то литературного форума, все участники которого, писатели, конечно же, знали меня, и нам нелегко было уклониться от проявлений их дружеских чувств. Решить проблему удалось, согласившись после ужина участвовать в общем чаепитии, хотя моей

жене Сандарии очень этого не хотелось, ведь и чаепитие было из разряда тех обязанностей, которые вынудили нас бежать на далекий остров.

После следующего ужина (чтобы не пришлось снова пить чай с теми, с кем мы отнюдь не собирались его пить) мы удрали в бар другого отеля. Там мы уселись в кресла и заказали текилу с тортильей, намазанной маслиновым пюре и луковым джемом. Потом огляделись по сторонам. В центре холла был великолепный бутик. Весь стеклянный, он в этом уютном, в отличие от большинства отелей, помещении напоминал сверкающий драгоценный камень. Бутик предлагал купить дорогой антиквариат и ювелирные украшения. За стеклами витрин виднелись дамские бюро для сочинения любовных писем из Вальядолида. Бюро стояли на тоненьких ножках, а над ними сияли деревянные с позолотой люстры XVIII века, повсюду был расставлен старинный севрский фарфор и разложены сделанные в Порте веера из африканской слоновой кости, которыми некогда обмахивались дамы, давно отошедшие в мир иной. На одной из стеклянных полок витрины мы увидели несколько австрийских колец в стиле бидермайер и обувной рожок из перламутра с ручкой в форме кисти человеческой руки, которой можно почесать себе спину. Здесь же лежал и божественной красоты серебряный гребень. А так как Сандария забыла в Париже в одном из бесчисленных ящичков свой любимый гребень (купленный на выставке в Бобуре), мне пришло в голову подарить ей этот. Бутик, однако, был уже закрыт до следующего утра. Так что в тот вечер мне не удалось заполучить эту прекрасную вещицу. Но мы его хорошо запомнили. В ручку, там, где она расширялась, было вставлено крохотное зеркальце. С его помощью Сандария могла проверять, как лежат причесанные волосы.

Наутро мы отправились на продолжительную морскую прогулку, так что зайти в бутик и рассмотреть гребень нам удалось только на третий день после того, как мы его увидели. Он был из Сетубы и сделан в конце XVIII века, поэтому стоил ужасно дорого. Я притворился, что купить гребень мы не сможем, но на самом деле решил непременно его приобрести. Просто хотел, чтобы для Сандарии это стало сюрпризом. Именно поэтому я не купил его тут же, а пошел за ним через несколько дней, перед самым возвращением домой. И никак не мог решить, удивить ли ее подарком дома, в Лиссабоне, или прямо сейчас, в отеле. Выбрал я второе, потому что человек я нервный, нетерпеливый и не умею ждать даже тогда, когда это в моих собственных интересах.

В последний вечер в нашем номере, перед тем как идти ужинать, я вручил Сандарии серебряный подарок. Он был красиво упакован и удивил ее, причем удивилась она гораздо больше, чем обрадовалась. Я не обратил на это внимания и, пока она одевалась к ужину, отправился на свою обычную прогулку вдоль берега моря. Была прекрасная погода, солнце только-только зашло, и песок лежал еще теплым, я слышал птиц, устраивавшихся на ночлег в кронах деревьев, подстриженных в форме шара. Погладив кошку, жившую при нашем отеле, я направился в ресторан. Там я испытал шок.

Сандарии за нашим столом не было. Я напрасно прождал ее некоторое время, а поскольку раньше ничего подобного не случалось, заволновался и позвонил в наш номер. Не было ее и там. Тогда я набрал ее мобильный, но тут же увидел, что Сандария сидит за столом с писателями, для

которых этот ужин был тоже прощальным. Она ела и пила вместе с ними. Я подошел к их столу. Дальше началось нечто совершенно невероятное.

Моя жена, Сандария, с серебряным гребнем в волосах была прекрасна, ее щеки разрумянились, глаза блестели. Но она меня не узнавала. Она вела себя так, словно мы с ней никогда не были в браке, словно в течение двух десятков лет не делили горе и радости, словно еще только сегодня утром не сидели вместе за завтраком и не собирались на следующий день отправиться в Лиссабон. Но и это еще не все. Когда я обратился к ней, она удивилась и повела себя так, словно я навязчивый незнакомец. Казалось, у этой женщины иссяк весь запас улыбок. Больше я ее с тех пор не видел.

В тот вечер мне пришлось принять еще один удар. К моему изумлению, меня не узнавал и никто из писателей, а ведь все они меня прекрасно знали. Я стал для всех незнакомцем.

Тогда я повернулся к ним спиной и с каким-то странным предчувствием направился на четвертый этаж, в наш номер, где, как вы помните, висела одна из моих картин, написанная в 2004 году. На стене я увидел неизвестную мне акварель. Она была несколько больше моей картины, а имени автора, указанного на ней, я никогда не слышал. Тут я вспомнил древнюю магическую формулу: "Если не смотришь ты, то не увидят и тебя". И подумал, что они не узнаю́т меня потому, что я забыл, как смотрят. Они больше не знают, кто я такой, ведь я перестал их видеть.

Екатерина Тютчева
(Россия)

Екатерина Тютчева родилась в Нью-Йорке в семье русских эмигрантов. К русскому поэту XIX века она не имеет никакого отношения. Изучала историю искусств в Швейцарии. В Советском Союзе никогда не была. После возникновения новой России приехала на родину своих предков и стала работать смотрителем музея Льва Толстого в Ясной Поляне. Опубликовала в Туле сборник рассказов "Я вернулась со снегом", а в петербургской "Азбуке" книгу "Фамилия не уходит вместе с мужем". Кроме того, ее издавали "Амфора" и "Зебра Е". Писала монодрамы для радио, две из которых ("Праздничная постель" и "Голубь, превращенный в ласточку") изданы на аудиодиске в исполнении Дарьи Мороз. Больше всего внимания она уделяла театру, ее интерактивные драмы "Ловушка для вас" и "Последний среди известных" шли на сцене МХТ имени Чехова, а также в Санкт-Петербурге, Воронеже и в Сибири. В интервью журналу "Иностранная литература" она сказала, что, живя в Америке, много читала Александра Гениса, а начав работать в Ясной Поляне, полюбила Б(ориса) Акунина. Умерла в 2003 году, в лесу, собирая землянику, и с ее кончиной связана одна небольшая история – свидетели смерти этой старой дамы говорят, что если бы кто-нибудь догадался проследить за взглядом ее широко открытых мертвых глаз, то увидел бы ангела, возносящегося к вершинам деревьев. Но никто не догадался.

Картины

Я родилась в Псковской губернии царской России, неподалеку от известного села Михайловское. Здесь в начале XX века у моих родителей было небольшое имение. Тот дом на берегу пруда, с колоннами по фасаду, я едва помню. Помню, что бóльшую часть года там было полно крикливых ворон, которые гнездились в окружавших дом деревьях, и что летом дом этот наполнял настолько сильный запах цветущих лип, что казалось, они о чем-то спрашивают, и если не получат ответа, то своим ароматом грозят свалить на пол какую-нибудь вещь в доме. Еще помню развешанные по стенам картины и железную кровать. Некоторые из картин были в гостиной, другие в остальных комнатах, еще одна висела над камином. Их я запомнила, лучше всего запоминаешь то, что в детстве у тебя каждый день перед глазами.

Вкус у моих родителей и у бабушки был довольно странным. Они не любили подписанных картин. Проще всего повесить у себя дома подделку, под которой накорябано какое-нибудь звучное имя. Поэтому наши картины были анонимными. Покупала их по большей части бабушка, а позже и родители, которым она "привила" свой вкус. Иногда они ездили в Брюссель или в Вену и оттуда, из магазина редких вещей, привозили какую-нибудь новую картину. Под конец, уже в мое время, в доме было пять работ иностранных художников и одна русского. Этот русский был самым необычным из всех. Но пойдем по порядку.

1

Наверное, стоит начать с самой старой картины. Она висела в гостиной над канапе в стиле необарокко, которое могло превращаться в кушетку, если опустить один из подлокотников и в горизонтальном положении закрепить снизу крюком. Как я уже говорила, подписи на картине не было. Написал ее, видимо, какой-то испанский мастер, скорее всего, в XV веке, на границе готики и Ренессанса. Это была Мадонна с маленьким, до самого горла застегнутым на пуговки Христом. Ее голову венчали короной ангелы. Во время давней — непрофессиональной — реставрации ангелы остались без ног, которые теперь оказались где-то под рамой картины. И Мадонна и младенец были в одежде с большими кружевными воротниками. Настоящие испанцы. Христос — испанец! В руке у него была нераспустившаяся роза. Богородица не касалась младенца руками, но была готова в любой момент удержать его от падения или защитить от любой другой опасности. Мой отец говорил, что такое положение рук называется иерархическим. Плащ Богородицы был усыпан мелкими вышитыми цветами, что вообще характерно для готики. Два ангела, парящих над головами Марии и младенца Христа, были маврами. Я чаще всего рассматривала именно ребенка на коленях Богородицы. В отличие от мавров, которые заботливо смотрели на него, он был бледен, а его взгляд был так выразителен, что остался в моей памяти, хотя все остальные детали картины поблекли. Еще мне запомнилось, что волосы у него были темными, очень короткими, а залысины слишком большими для ребенка.

2

Следующая картина висела над камином в самой большой комнате. Это была работа итальянского мастера эпохи Ренессанса, "Мистическое венчание святой Катарины". Скорее всего, художник был венецианцем и принадлежал к школе Тициана, потому что одежда одного из персонажей картины была "тициановского" золотистого цвета. Я имею в виду святую Цецилию, которая вместе с Богородицей и святой Катариной стояли вокруг младенца Иисуса. Этот же цвет, правда несколько иного оттенка, просматривался и в волосах святой Цецилии. Она была настоящей рыжеволосой, а точнее говоря, золотоволосой красавицей. Картина была овальной, но в прямоугольной резной раме, с углами, заполненными позолоченными цветами. Раму украшали и крупные деревянные листья. Тоже позолоченные. Богородица держала красивого маленького Иисуса со светлыми волосами. По одну сторону от нее стояла уже упоминавшаяся святая Цецилия с пальмовой ветвью в руке, по другую – коленопреклоненная святая Катарина, которая принимала от Младенца обручальное кольцо. Она была в монашеском одеянии пепельно-серого цвета. Я этой картины боялась, что, вероятно, было предзнаменованием моего неудачного брака (относящегося к значительно более позднему времени).

3

Больше всего я любила маленькую картину (все остальные были гораздо больше нее, предметы и люди на них были почти в натуральную величину). Ее автором был какой-то французский художник XVIII века, а оборотная сторона была забрызгана чем-то похожим на кровь. Кровь я обнаружила, когда в доме делали ремонт и картины составили на полу в комнате, повернув лицом к стене. Изображала картина семейную сценку в галантном стиле. За круглым столом, уставленным чашками, сидел господин (бритый, но по-старому, то есть так, как брили в те времена, когда еще не умели устранить растительность с лица до полной его гладкости). Сейчас про такого мужчину сказали бы, что он недостаточно хорошо выбрит. Рядом с ним расположились две дамы, сильно декольтированные, в широких шелковых юбках. Одна молодая, одна старая.

Самым прекрасным было нечто такое, чего я до конца понять не могла и потому постоянно возвращалась к этой детали. Сидели они за столом возле открытого окна. Через окно был виден изумительный зеленый лес. Прямо чувствовалось, как он шелестит. Художник очень искусно выписал раму окна, она была прозрачной, сделанной как будто бы из стекла, а не из дерева, и у зрителя создавалось впечатление, что лес через оконный проем проникает в комнату, что его запахи смешиваются с запахом чая или какого-то другого напитка. Из леса в небо взлетало нечто неясное, вроде клочка тумана или пара от реки, но очень компактное, напоминавшее расплывчатую фигурку. Когда бы я потом ни попадала в лес, я всегда видела эту картину. И вижу до сих пор.

4

Меньше других картин я любила мужской поясной портрет в натуральную величину, который из флорентийской рамы тыкал пальцем в комнату и в каждого, кто на него смотрел. Лицо мужчины было красным, он был в парике, с горностаями на плечах, под подбородком у него белел пластрон священника. Властный и требовательный, он нарушал покой небольшого салона для рукоделия. И всегда казалось, что он куда-то спешит. Это был какой-то немецкий курфюрст в парике XVIII века, хмурящийся уже триста лет. Я прозвала его "Торопыга". Одним словом, я гораздо больше любила позолоченную раму, из которой он выглядывал, чем его самого. Помню, что его реставрировали, и к общему изумлению оказалось, что картина написана на квадратном куске холста, хотя выглядела овальной и была заключена в овальную раму. Он был из тех, кому нельзя доверять.

5

И наконец, русский художник. На его картину я смотрела дольше всего в жизни. Быть может, даже все мое детство. В доме моих родителей у меня была своя комната, и я спала на железной кровати, одна из спинок которой (та, что оказывается перед глазами, когда ляжешь, то есть та, что в ногах) была расписана. И тоже без подписи. Но картина, изображенная на спинке кровати, была просто волшебной, волшебной она кажется мне и сейчас, когда я ее вспоминаю. Там была зима, был лес и маленькая заснеженная деревенская церковь, внутри которой горел свет. Казалось даже, что оттуда, через распахнутую настежь дверь, доносится пение и запах ладана. Виднелись горящие под иконами свечи. Перед входом только что остановилась тройка разгоряченных гнедых лошадей, запряженных в сани, где сидели двое. Он был в цилиндре, она — в шубке с поднятым воротником, над которым в морозном воздухе блестели глаза. Я всю свою жизнь была влюблена и в нее, и в него больше, чем в кого бы то ни было из реально существовавших людей.

* * *

А теперь я расскажу, что было с этими картинами позже, по ходу течения моей жизни. Я выросла и жила отдельно от родителей, когда они расстались. Мать забрала с собой "Мистическое венчание святой Катарины", и эту картину я никогда больше не видела. Как и свою мать. Началась война, потом революция, потом опять война.

Когда вспыхнула революция, большевики отобрали наш дом, и некоторые картины пропали — на барахолках, в сараях. Так случилось с курфюрстом, который хмурился с XVIII века, и его мне не было жалко. Но меня приводило в отчаянье, что где-нибудь в сарае или на чердаке пылится, портится от сырости и в конце концов пропадет испанская Богородица с Младенцем Христом и ангелами-маврами. Прежде чем в наш дом сразу после экспроприации ворвались соседи, мне удалось спасти самую маленькую картину, единственную, которую я смогла завернуть в шаль и вынести, — ту, французского художника, с лесом, заглядывающим в комнату через окно.

Когда во время Второй мировой войны немцы оккупировали Украину, мне пришлось бежать из городка, бросив свое жалкое пристанище с висевшей на стене картиной. Вскоре после войны я туда вернулась, но не нашла ни картины, ни дома, в котором когда-то жила.

Железную кровать с нарисованной церковью и с той парой, в которую я была влюблена, я долго искала по барахолкам и помойкам. Но и эту картину я не нашла. Она вместе с другими сохранилась только в моих воспоминаниях.

Но и мои воспоминания скоро угаснут, поэтому память обо всех наших картинах я передаю читателю — пусть бережет их, покуда жив.

Эдмундо Портильо Крус
(Аргентина)

У драматурга из Аргентины, писавшего на испанском языке, удивительная судьба. Родился он в Мендосе, образование получил в Буэнос-Айресе и Саламанке, в Испании. Там же, в Испании, начал публиковать свои первые драмы: "Женщина, которая так и не приехала", "Большие поля шляпы". И вдруг все изменилось. Пришло время сказать "да" или "нет". Портильо Круз заболел и вернулся в Аргентину. Время от времени он назывался кем-то другим и писал в такие периоды как тот, другой. Как некий Франсиско Мор. Неизвестно, действительно ли эти книги рассказов писал Франсиско Мор или все-таки сам Крус. Неизвестно, были ли это разные люди или один человек. Новые сборники рассказов "В защиту ночной жизни" и "Посиделки вдвоем" вышли под фамилией Крус. Под этой же фамилией, – Э. П. Крус, – были опубликованы и переводы на испанский язык античных поэтов Вергилия, Катулла и Овидия. Здесь мы публикуем один из рассказов сборника "Ночь, когда мы умерли".

Пуговица на штанине

У меня был пес, рыжая такса, правда, без родословной. Я сравнивал свою жизнь с его бытием и учился у него, как нужно жить, хотя он был младше меня и раньше, чем я, покинул этот мир.

Я долго, много лет искал разницу между ним и мной. Разницу в понимании жизни. У него были три главные страсти: он любил есть и пить, любил оседлать какую-нибудь сучку и любил спать. Кроме того, он был набожен. Да, набожен. Кто был его бог? Ответ лежал на расстоянии вытянутой руки, и я его знал: его богом был я. Меня он не смел тронуть даже тогда, когда я посягал на его миску с едой. Всех остальных он кусал. Возможно, его иногда смущало, что я, его бог, думаю и реагирую медленнее, чем он. Но он над этим особо не ломал голову. Важно было превосходство. Мое над ним. Я для него был тайной. Таким образом, у него было определенное отношение к тайне. Страх и любовь к тайне, то есть ко мне. Кроме того, он, возможно, чувствовал, что тайна существует не толь-

ко во мне, но и в нем. Поэтому он имел представление о страхе. О таинственном чувстве, которое возникает из отношения к тайне. К смерти.

Мне иногда приходило в голову, что между моим псом и мною существует важное различие. У меня, кроме всего перечисленного, в жизни было еще нечто неотъемлемое: работа. Люди в наше время работают все больше, чтобы работать все меньше. Стараются отбить первый же мяч любой ценой, и если перехватывают лишь второй, то считают это поражением... Было ли для него работой, когда он дрался с другими псами, когда добывал себе еду, если ему хотелось больше, чем давал ему я? Не знаю.

Ничего не могу сказать и о самом главном — знал ли он, что такое *время?* Не тайминг, а время. Тайминг у него был получше моего. Итак, речь идет о времени. С временем тесно связана и скука. Скучал ли он иногда?

Моя жена боялась глобального потепления, солнечного ветра и космического катаклизма. К ней цеплялся послеполуденный грипп и уикэнд-ветер. Ко мне — нет. Что бы я ни делал, о чем бы ни думал, надо мной всю жизнь висела дымка страха времени. Я много раз думал, что нужно сделать только одно: устраниться от всего. Однако всегда возникал вопрос о времени. Избыток свободного времени. Что будет с этим временем, если от всего устраниться? Что делать с праздностью? Играть в карты с компьютером? Я не могу представить себе персону, или Персону, которой не надоело бы время — от сотворения мира и до наших дней. Ни у кого нет иммунитета ко времени. Меня охватывает ужас от скуки, которую несет с собой время, если представить его себе во всей цельности, до и после нас. Глубокий, бесконечный тоннель впереди и сзади.

Постарев, я заметил, что время может течь быстрее и медленнее. И тогда я кое-что понял о времени. Я узнал, что время может перенести только тот, кто перестает ждать. Высшая мудрость состоит в том, чтобы перестать ждать смерть. Только молодые не верят в смерть. Все остальные ее дожидаются.

Понял я и еще кое-что. Время всегда дышит как корова — вдыхает людей и их поселения, а выдыхает будущее. Никто не смог бы выдержать на своих плечах столько времени, — оно прибывает и прибывает, причем непрестанно. Столько свободного времени. За исключением разве что Того, у Кого руки постоянно заняты работой. Но эти руки должны быть страшно сильными, чтобы не сломаться в течение стольких миллионов веков бегства в работу от скуки. Весь мой труд, вся работа были бегством от скуки, от экзистенциальной скуки, если у меня есть право так говорить. Как только я чувствовал, что скука подступает, я садился делать свою работу и таким образом спасался. Специалисты говорят, что показателем здоровья является желание работать. Не знаю. Может быть, Мир и возник именно из-за того, что Некто работой спасался от скуки?

Вы помните историю Да Винчи о пятнах? Глядя на пятна на стене или где-нибудь еще, рассматривая облака на небе, человек может представить себе такие картины или лица, которые никогда не смог бы выудить из своей памяти. Такие пятна словно приводят в какую-то другую, иную реальность. Похоже обстоит дело и с литературой. В книгах вы видите и переживаете такие вещи, которые в реальности именно в таком виде никогда не встретите. Давайте вспомним: толкователь пятен возвращается в жизнь, в свою жизнь. Из воображаемого облака, описан-

ного в книге, вы в своем переживании создаете настоящее облако. Можем ли мы на основе такой двоичности сделать вывод, что это наше живое время на той, другой стороне, то есть в пятнах, иначе говоря в литературе, не существует? Там какое-то другое время. Какая-то иная реальность. Наше живое время существует только в том, кто эти вещи наблюдает. Итак, я наблюдающий.

Иногда в этом живом времени я лежу ночью и вспоминаю мать, неловкую как-то по-своему, и отца, неловкого по-другому. И вспоминаю себя, неловкого и по-матерински, и по-отцовски...

Иногда ночью я лежу в этом живом времени и в своей пустой комнате. Здесь есть только голые стены и один-единственный роскошный подсвечник; он бы мог пролить свет на все, что меня окружает, но в нем нет масла.

Иногда ночью я лежу в этом живом времени и слышу: в моем старом теле скулит моя молодая душа. Замурованная. Где я?

Время, окружающее меня, имеет только одну особенность: оно проходит. Все остальное оно берет в долг...

Иногда я пытаюсь забыть об этой скуке и ищу спасения в маленьких повседневных удовольствиях. Я думал и продолжаю так думать даже сейчас, что радость — это самое древнее, что есть во вселенной. Она представляет собой характерный признак жизни. Это — еда, теплая постель, женщина, в меньшей степени дети, особи мужского пола их почти не замечают. Затем, но не потом, работа, которую любишь, прогулки (в случае с моим псом это бег), путешествия, красивые дома, музыка, картины... Одним словом, все, что приносит радость. Радость, что ты жив.

Но тогда мне на ум приходит, что эта медаль имеет третью сторону. Кроме времени со скукой в себе и, с другой стороны, радости и работы, на ребре этой монетки возникает, обвив ее как змея, представление о вечности. Нет ничего более ужасного, чем представить себе вечность. Представить (хотя это трудно) огромное, неизмеримое количество скуки, которую несет в себе вечность. Вечность, которая грызет свой собственный хвост. Должно быть, Будда учился тому, как избежать этой скуки в вечности...

Наблюдая за своим псом, я понял, что он не имеет никакого понятия о вечности. Равно как и она о нем. Я понял, что он для вечности представляет собой нечто совершенно неважное, ну, примерно то же, что и пуговица на моей штанине, если она там есть. И тогда я понял, что и я для вечности тоже всего лишь пуговица на штанине, если она там есть.

Симеон Бакишеци
(Армения)

Бакишеци – поэт, он преподавал в школе древнюю армянскую поэзию. Опубликовал учебник ашугской литературы, написанной на языке ашхарабар. Писал для радио на русском языке. Сборники его рассказов – "Тигр со слепым сердцем" и "Нос". Был женат на русской. Пока Армения входила в состав Советского Со-

юза, он раз в год ездил в Ленинград. Когда Армения стала независимой, продолжал писать для радио, но теперь уже не на русском, а на армянском. Опубликовал одну книгу в издательстве "Урта". Развелся и жил один со своей старой служанкой, родом из долины Аракса. Он научил ее писать и считал лучшей из всех своих учеников, хотя она ему в матери годилась. Считается, что она не только писала стихи, но и сочиняла прозу. Нельзя с уверенностью сказать, принадлежит ли публикуемый здесь текст перу Бакишеци, или над ним трудилась его служанка. Он был уверен, что умрет в 2007 году, и в течение двух лет везде, где требовалось указать дату, указывал 2006 год вместо того, который был на самом деле. Умрет в 2009-м.

Бумажный театр

– Поиграем в театр? – спросил Хачатур у своей сестры.

– Не хочу! – ответила она, и Хачатур знал почему. Сестра была на два года старше и всегда на все отвечала "нет". Поэтому ему пришлось самому готовить все, что нужно для игры в театр. Он знал, что, когда все будет сделано, сестра не выдержит, присоединится. И быстро найдет новый повод упрямиться и перечить.

Разговор происходил в Вене, в армянском монастыре Святого Духа. Отец детей был звонарем монастыря и помощником в типографии мехитаристов, которая работала при святой обители. Все они были армяне. Театр, о котором говорили дети, был бумажным, складным. Они получили его в подарок на седьмой день рождения Хачатура. Театр нужно было еще собрать, поэтому Хачатуру пришлось порядочно потрудиться. На сцене были декорации для оперы "Похищение из сераля", но Хачатур и его сестра приспосабливали бумажные кулисы и декорации к любым своим играм.

Прежде всего они сохранили билеты, после того как побывали на спектакле в настоящем театре. По моде того времени на билетах изображались исполнители главных ролей – герой и героиня. Дети их вырезали, приклеили на картонную основу и прикрепили к ним проволочки, с помощью которых можно было передвигать бумажных актеров по сцене. Сцена этой настольной игры, то есть бумажного театра, представляла собой большой холл с расположенными вдоль стен двумя лестницами, которые вели на верхний этаж и соединялись там на огражденной перилами площадке, откуда имелся вход в комнату. Хотя декорации были бумажными, выглядели они прекрасно, был хорошо виден и верхний этаж, и холл внизу. Декорация напоминала в общих чертах копию холла и лестницы в венском дворце Ауэрсперг. Да и вообще многие хорошие дома города, в том числе и их жилище при монастыре. Чтобы придать сцене своеобразие, дети добавили портрет Григора Нариекаци, поэта X века, вырезанный из одной книги, изданной армянской типографией, и икону святого Николая из церковного календаря. Для большей убедительности мальчик изобразил на одной из стен холла стеллаж с книгами. Точно такой, какой стоял в настоящем холле рядом с дверью в монастырскую типографию. Он даже точно подсчитал, сколько там было книг, а было их тридцать шесть, то есть столько, сколько к настоящему моменту удалось напечатать, а потом аккуратно

нарисовал все тридцать шесть книг на полках своего переносного бумажного театра. Рисуя, он спросил у сестры:

– Ты все эти книги прочитала?

– Нет.

– Я спрашиваю не про те, которые я рисую на бумаге, а про настоящие, со стеллажа.

– Все книги напечатаны на бумаге. Я их не читала. И не собираюсь читать, пока их делают из бумаги. А потом посмотрим.

– Будем играть в "слепую бабушку"? – снова спросил Хачатур, когда все было готово к игре. Он знал, что сестра ответит "нет", но именно на это и рассчитывал. У него уже созрел план, как наказать ее за это надоевшее "нет".

"Я заставлю ее хоть раз сказать 'да', хочет она того или нет!" – решил мальчик.

– Не хочу! – сказала она, но тут же схватила женскую фигурку, наклеенную на картон, и приготовилась играть.

Игра состояла в том, что она отдавала команды картонному герою, а мальчик был обязан перемещать его в соответствии с этими командами и во всем следовать им. Это правило было обязательно и для нее: она тоже должна была слушать все распоряжения брата и, выполняя их, передвигать свою, женскую, фигурку.

– Давай играть в прятки, – предложила она.

– Кому первому прятаться? Тебе?

– Нет! – сказала сестра.

– Прятаться будем в холле?

– Нет, на втором этаже.

Так она постоянно перечила младшему брату, не давая ему возможности отдать хоть какое-нибудь распоряжение, чтобы представление шло так, как он того хочет.

– Тот, чья сейчас очередь, должен пойти по левой лестнице? – спросил он.

– Нет. Он пойдет по правой лестнице, – ответила сестра, и мальчик, которому сейчас предстояло прятаться, повел свою фигурку по правому ответвлению лестницы, сделанной из раскрашенной под мрамор бумаги.

– Ему сейчас прятаться в комнате? – хотел узнать Хачатур.

– Нет! – отвечала сестра. – Пусть прячется на площадке, за перилами.

– Но там же негде прятаться! – закричал мальчик.

– Есть! – отрезала сестра. – Он может перелезть через перила и спрятаться за ними.

– А вдруг он упадет?

– Не упадет! – ответила она.

И когда, играя в прятки на бумажной сцене, она нашла мужскую фигурку, спрятавшуюся с внешней стороны ограждения лестничной площадки, куда, выполняя команды, ее привел брат, сестра помогла этой фигурке, насмерть перепуганной, перелезть обратно через перила и успокоиться. Так было дело с картонным человечком.

"Отлично! – подумал Хачатур. – Пока она помогает картонному человечку перелезть через перила обратно, кто-нибудь может толкнуть ее

и она свалится в холл и сломает себе шею. Просто нужно превратить декорации бумажного театра в настоящую лестницу и настоящий холл".

— Вот это здорово! — произнес он вслух и решил перейти от замысла к делу.

* * *

Как-то после обеда, когда отец и мать спали, Хачатур предложил сестре:

— Давай опять поиграем в "слепую бабушку"?

Он сидел в холле их жилища при монастыре, на армянском ковре под портретом Ованеса Туманяна. И знал, что сестра сейчас скажет "нет", более того, именно на это он и рассчитывал. Странным, однако, было то, что бумажный театр еще не был готов для игры, сцена не была установлена, а налепленные на картон участники спектакля лежали где-то в ящике шкафа.

— Нет! — сказала она, но почувствовала, что начинается какая-то другая игра. Без кулис и декораций, без картонных фигурок. Настоящая игра. Они сами, брат и сестра, станут главными действующими лицами, а дому, где они живут, будет отведена роль сцены.

— Давай играть в прятки, — предложила сестра.

— Кто будет прятаться, мы сами или бумажные фигурки? — спросил он невинным тоном.

— Не фигурки, а мы.

— А где мы будем прятаться, в холле? — спросил он как обычно, хотя перед ними не было бумажной сцены, отчего вопрос его прозвучал довольно странно. Но сестра ответила решительно и без запинки:

— Нет, прятаться будем на втором этаже.

— А тот, кому сейчас прятаться, пойдет наверх по левой лестнице?

— Нет. По правой, — ответила сестра, и мальчик, которому предстояло прятаться и на этот раз, направился к лестнице. Сейчас, когда у них не было ни бумажной сцены, ни картонных фигурок, он сам поднимался по настоящей каменной правой лестнице. На стене висели литографии Абовяна и Ширванзаде в металлических рамках, напечатанные в монастырской типографии.

— Мне прятаться в комнате?

— Нет! — ответила сестра. — Там спят папа и мама. Спрячься на площадке, за перилами.

— Но там негде прятаться!

— Есть! — отрезала сестра. — Перелезь через перила и спрячься за ними.

— А вдруг я упаду? Вдруг мне станет страшно?

— Не упадешь. Я тебе помогу, так же как в тот раз помогла картонному человечку вернуться обратно на площадку и прийти в себя.

Хачатур едва дождался, когда она кончит говорить, и перелез через перила, чтобы спрятаться. Он ждал, что сестра начнет искать его, найдет, испугается и потом, когда игра закончится, поможет перебраться через перила обратно на площадку, в безопасное место. Вот, думал он, тогда и придет удобный момент столкнуть ее. И она наверняка сломает себе шею...

С такими мыслями стоял он на узеньком карнизе с внешней стороны лестничного ограждения. Тут, как это и бывает в прятках, сестра нашла Хачатура и проговорила, толкая его вниз:

— На этот раз упадешь ты!

? ? ?

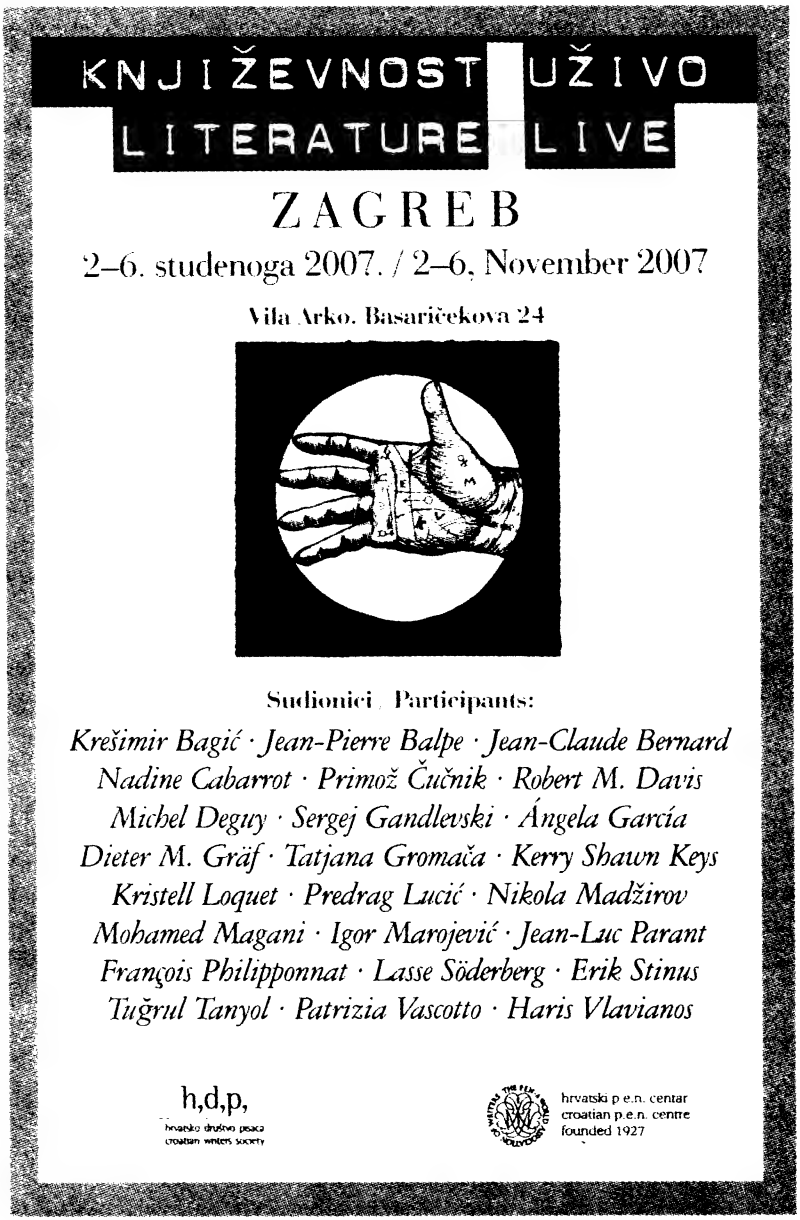
После ста лет раскаяния и двух мировых войн сестра Хачатура решилась наконец признаться в своем злодеянии. Она шепнула как-то своей внучке, которой было уже около двадцати:

— А ты знаешь, как погиб мой брат Хачатур?

— Какая мне разница, как погиб тот, кого я никогда в жизни не видела?

В тот момент внучка снимала на свой мобильный телепередачу об электронных книгах в Японии, и ей было не до бабушки. Она, в отличие от многих других, не считала, что книге грозит смерть. Ее беспокоило не это. Она была озабочена судьбой новых электронных книг, которые шли на смену бумажным. Девушка предчувствовала, что им грозит опасность. В перспективе мир ожидает дефицит пресной воды, а без воды невозможно изготовить чип электронной книги.

Поэтический фестиваль в Загребе, ноябрь 2007 года



© Сергей Гандлевский. Вступление, 2008
© Ирина Кузнецова. Перевод, 2008
© Алексей Прокопьев. Перевод, 2008
© Лев Оборин. Перевод, 2008
© Марина Букулова и Глеб Арсеньев. Перевод, 2008
© Мария Томашевская. Перевод, 2008
© Жанна Перковская. Перевод, 2008
© Натэлла Горская. Перевод, 2008

Всем, кого это касается, известно: любовь к поэзии вышла из моды. У этого явления, вероятно, имеются самые серьезные социокультурные причины, но у меня нет возможности в пределах короткого вступления вдаваться в предпосылки случившегося, и, честно говоря, я совсем не уверен, что сама тема мне по силам. Историк и социолог культуры мог бы написать по этому поводу пространную статью — и не одну; наверняка они уже и написаны. Замечу только, что времена обостренного и массового интереса к поэзии вовсе не свидетельствуют о расцвете самой поэзии. Бывало по-разному.

О следствиях же угасания интереса к поэзии — во всяком случае, о тех, что на поверхности, — сказать можно. С одной стороны, в каком-то экспериментальном смысле даже и неплохо, что поэзией утрачен былой престиж: в поэтическом цеху остались, главным образом, авторы со способностями или неисправимые графоманы — бесталанных, но вменяемых честолюбцев и карьеристов поубавилось, какая уж тут карьера! Более или менее пропорциональное сокращение численности должно было произойти и в читательской среде: книжки стихов на полке перестали означать что бы то ни было, кроме того, что владелец библиотеки неравнодушен к стихам — ничего более. Случайные люди толпой проследовали за модой или честно и поодиночке разбрелись по своим нынешним интересам. Вольному воля.

С другой стороны, мода, конечно, — всего лишь мода, но она пусть утрированно и аляповато, но привлекает внимание к явлению — ставит о нем в известность, в том числе и людей, которые могли бы стать искренними, а не суетливыми поклонниками чего-либо, в нашем случае — поэзии. Могли бы... но не стали — просто в силу неосведомленности.

Можно было бы пойти в перечислении следствий отпадения поэзии от моды еще дальше и добавить, что поэзия, разумеется, излишество, а не предмет первой необходимости, но она аккумулирует идеализм, нехватка которого, скорее всего, очень ощутимо отзовется в самом недалеком будущем — и уже наверняка ощущается. Но в эти дебри культурной экологии я забираться не хочу: нет, повторюсь, ни места, ни склонности к прогнозированию.

Короче говоря, на данный момент обстоятельства таковы, что культурные позиции поэзии довольно слабы. Они нуждаются, во-первых, в материальном покровительстве гражданского общества (причем снова же не столько по альтруистическим соображениям, сколько из здорового инстинкта культурного самосохранения и выживания); и, во-вторых, в разумном поддержании интереса к поэзии.

Одна из форм такой поддержки — всякого рода фестивали. Мне выпала честь быть участником некоторых — и международных и отечественных, и громких и не очень, — и я обратил внимание на два стиля, что ли, проведения таких мероприятий. Можно даже говорить о двух стратегиях.

Первая состоит в том, чтобы привлечь как можно больше слушателей (а по существу — зрителей) почти любой ценой. Так, во время одного очень авторитетного фестиваля по холлу огромного, отданного на неделю под мировую поэзию здания бродили девушки в балахонах со свечами, символизируя что-то очень поэтичное. Предполагалось, что к ним присоединятся и лирики (кстати, особенно раскованные или дисциплинированные и присоединялись). Имелись и другие аттракционы с более или менее поэтическим уклоном. И организаторы своего добились: было многолюдно и оживленно.

Вторая стратегия куда менее выигрышная. Съезжаются приглашенные авторы, читают по очереди в течение нескольких дней, знакомятся, гуляют, глазеют

на достопримечательности. Публики немного, главным образом профессионалы: филологи, местные поэты, переводчики, студенты.

Дело вкуса, естественно, но мне, как оказалось, милее поэтические сборища второй разновидности. Здесь поэзия не прикидывается тем, чем она в принципе не является, — чем-то очень экстравертным, занятным и общедоступным.

Именно такая атмосфера — приветливая и дружественная, но сдержанная и достойная — отличала Загребский поэтический фестиваль. Он проводится с 2004 года и организован хорватским ПЕН-центром и Сообществом хорватских писателей[1].

Организован он безупречно — и в собственно профессиональном, и в бытовом смысле. К его открытию отпечатываются книжечки "мини-избранного" в несколько сот строк (редактор серии — Милош Джурджевич), представляющие каждого автора на двух языках — его родном и хорватском. (Я был приятно удивлен, когда обнаружил, что коллега Фикрет Цацан перевел мои стихи с соблюдением размера и рифмовки: отечественные лирики привыкли довольствоваться за границей прозаическим изложением содержания собственных опусов.)

Фестиваль не роскошествует, но заботлив и предусмотрителен в мелочах. К примеру, было получено официальное разрешение гостям сборища бесплатно пользоваться городским транспортом, включая фуникулер, что и трогательно, и кстати.

Такие профессионализм и предупредительность — заслуга президента хорватского ПЕН-центра, писаной красавицы поэтессы Сибилы Петлевски и ее сотрудников. Спасибо.

В завершение не могу не сказать, что Загреб, как нарочно, создан для такого рода "слетов". Город очарователен, убедительно стар, но ухожен. Загребцы приветливы и учтивы. Осень была выше всяких похвал: синее небо, разноцветный листопад, элегический перезвон трамваев. Хорошо, если у кого-нибудь из участников фестиваля все эти впечатления отольются, как говорится, в чеканные строки. А не отольются — тоже не беда.

"ИЛ" публикует несколько стихотворений из двуязычных "мини-антологий" некоторых участников Загребского фестиваля 2007 года. В своем выборе мы руководствовались не оценкой оригинальных произведений, а переводческими вкусами и удачами. Этим и только этим и объясняется отсутствие текстов остальных авторов — гостей Загребского фестиваля.

Сергей Гандлевский

1. Гостями фестиваля в прежние годы были: Herta Müller, Peter Waterhouse, Tahar Ben Jelloun, Pascal Bruckner, Abdellatif Laâbi, Yang Lian, Jack Hirshman, Jo Shapcott, Francine Prose, Mauruzio Cucchi, Willem van Toorn, Grigory Kruzhkov, Tomaž Šalamun, Irvine Welsh, Claude Ber, Casimiro de Brito, Sylvestre Clancier, Stewart Conn, Craig Czuri, Robert Dickson, Louis Dubost, Shaip Emmërlahu, Boris Evseev, Väirïe Kirstina, Eduard Kovač, Ben Porter Lewis, Maram al Masri, Kevin McEneaney, Brane Mozetič, Boris A. Novak, Iztok Osojnik, Pascal Rebetez, Mustafa Stitou, Matthew Sweeney, Gjacumu Thiers, Hans van de Waarsenburg, Jean-Luc Wauthier, Péter Zilahy и многие другие.

Мишель Деги

Поищем истину

Поищем истину, ищи, ищите
И поднимается в душе переполох
Как изменилась детская игра в веселую когда-то угадайку!
Поищем истину, ищите, ты ищи

Душа
Как кухня с низким потолком
На ферме в августе после вечерни
Где чуть попахивает пригорелым жиром
Речь мух загадочна и будоражит ум
Медово-вишенными тайнами заката

Душа
Бессмертный вереск где собаки
Больших фазанов ставят на крыло
Душа
Как Дон Кихот
Который клятву дал
Что больше ни за что во все воронье горло...
Линяет он, меняет кожу слёг
Велел наклеить в комнате обои
С изображеньем мельниц ветряных

Перевод с французского Ирины Кузнецовой

Лассе Сёдерберг

Скелет

Он находится внутри меня, и я знаю это, хотя он не говорит ни слова. Я сажусь – и он тоже удобно откидывается на спинку стула, я бегу – вместе со мной мчится и он. Словно внутренняя тень, он подражает самому незначительному моему жесту. Он никогда не покидает меня, и я не могу без него.

Слепой и изможденный, этот слуга в ливрее всегда поддерживает меня, но пряча злобную улыбку, которая будет видна только после смерти. И тогда настанет час его торжества – он освободится от хозяина и станет фантастической арфой, на которой будут играть подземные воды.

Перевод со шведского Алексея Прокопьева

Роберт Мюррей Дэвис

В *чужой стране*

Порой мне снится сон:
передо мной в моем привычном доме
неведомые двери открывают
другие комнаты, всё новые и новые —
я не хочу их обживать.

Таким же чувством — только глуше — веет
из аккуратно замкнутых пространств:
вы, стены Йорка, площади Парижа,
дворы-колодцы Будапешта
и скверы сонных городков Техаса —
пустые сцены для несыгранных сюжетов.
Я в них не буду занят.

Купание в пыли

Площадь Энгельса, Будапешт

Орнитологи бы сказали,
что воробей купается в пыли, чтобы избавиться от паразитов.

Теологи считают,
что эта птица — символ суетности и сладострастья,
Божье око глядит на нее с укоризной.

Здесь, в этом асфальтовом Эдеме, мы просто скажем,
что воробей резвится в пыли,
которую находит у ствола бесплодного дерева.

Перевод с английского Льва Оборина

Тугрул Таньол

Река забвения

душа моя дверь между здесь и там
водный поток, текущий к тебе.
мы будто тихонько входим в лес
тень тонет в ручье,
дерево наклоняется поднять эту тень
и она превращается в бестелесность, вытащенную на берег.

я повернул лицо к земле,
к равнинам, льющимся по эмали твоих рук
вопросительный знак в зеркалах, где я искал твое лицо,
растянулся на холмистой пустоши
рассеялся как крыло птицы
когда лощина заполнилась твоей любовью.

Ирис на ветру, и я испил из твоего кувшина
рот мой оплетен словами, тонущими в собственной лжи
девять лет, девять рек
как айят оплели ночь

Боже, не забудь меня
когда я забуду
переплыв
воды Леты.

В*торник*

Вы когда-нибудь видели такое небо
я не видел
на улицах желтый дождь
будто пыль
и вторник тихонько капает
из клетки на балконе
вы когда-нибудь видели такой вторник

Пью чай
из стакана в серебряной оправе
и внезапно становится тепло от твоей любви
на небе облака с тяжелыми крыльями
и только одна летящая птица

В такой день одиноко
в кристальной тишине
проходит время
вы когда-нибудь видели такое время

Дым от сигареты кольцами
карандаш в моей руке становится тенью
и внезапно гаснет свет у изголовья
вы когда-нибудь видели такой свет

Потянувшись к безмолвию дома
оглядываю сумерки
сегодня случаются непривычные вещи
и разные и все же похожие

я тоскую по небу
вот вторник, накрытый дождем
дрожит на ветру
вы когда-нибудь видели такой вторник

Перевод с турецкого Марии Букуловой *и* Глеба Арсеньева

Харис Влавианос

Из цикла "Завет Паскаля"

Не сразу глаз
невидимое видеть привыкает,
ведь нужен опыт, чтобы видеть вещи
в тот миг, когда их смысл вот-вот исчезнет,
в тот миг, когда земное их обличье
утрачивает свой священный ореол.

Тени есть и у мертвых[1]

Есть несколько способов
победить смерть.
Лука Синьорелли
пять столетий назад
искусно украсивший
собор в Орвьето
эпизодами Дантовой "Комедии"
выбрал способ достойный живописца.

Далеко за полночь он трудился в своей мастерской
как вдруг на пороге возникли два его друга
на руках у которых он видит родного сына
только что убитого в уличной стычке —
на улицах по ночам неспокойно.

Отец положил безжизненное тело
на длинную скамью,
сел на придвинутый стул
и рисовал мертвого всю ночь,
бросая в огонь
эскиз за эскизом.

1. В третьей песни "Чистилища" среди душ умерших один лишь Данте — так как он живой — отбрасывает тень, ведь чтобы тень возникла, свет должен падать на тело плотское. А Синьорелли, воспроизводя этот эпизод из "Чистилища", нарисовал и мертвых с тенями, как будто верил в существование жизни после смерти. (*Прим. автора.*)

С этой ночи
всем ангелам кисть его придавала
одни и те же черты.

Перевод с новогреческого Марии Томашевской

Дитер М. Грэф

Фельтринелли[1] дарит пепельницу на свадьбу
оранжевую, огромную, во весь стол, пепельницу
преподнес Джанджакомо Фельтринелли
в качестве свадебного подарка
Вальтеру и Ренате Хёллерер[2], словно им так уж не терпелось,
чтоб их потушили об нее, как сигареты, вот-вот,
стать пеплом в авангардном
интерьере: уже покойники, хотя еще никто не стрелял.
"На элегантное кресло небрежно брошен
ремень с висящими на нем тяжелыми
пистолетами". Ремень теперь в Гаване, "в небольшой,
около восьмидесяти квадратных метров,
квартире" — квартире Фиделя. Диктатор болтает и болтает,
как книга, которая никогда не выйдет в свет, и
Инге — отныне она за "La Feltrinelli" — фотографирует его
в пижаме, наверняка он и сейчас любит ее надевать.
Джанджакомо родился в счастливой рубашке и выглядел
странно, когда наконец-то от нее отделался.
Он бродил по лужайкам (зубы уже совсем пропали),
пока не придумал, как использовать сушёные бобы.
Набухая в воде, они увеличиваются в объёме, так что
давят на жестяную пластинку — и та поднимается
все выше, приводя в действие нехитрое
взрывное устройство: надо только смешать таблетки калия хлорида
(продаются в аптеке) с сахарной пудрой или жидкий
парафин с опилками и добавить наструганного
хозяйственного мыла. Издательство заблистало всеми цветами
радуги — от желто-кадмиевого до тёмно-зеленого
и сигнально-красного. Он
мало-помалу погребал себя под ним, узнать его можно было лишь
по жёлтым от никотина пальцам, щедро отсчитывавшим денежки,
но все-таки нечестно утверждать, что ему же и принадлежал
земельный участок, на котором

1. Джанджакомо Фельтринелли (Джанджи, Освальдо; 1926—1972). Родился в Милане. В 1943 г. вступил в антифашистский Освободительный корпус. Некоторое время состоял в Итальянской коммунистической партии. Организатор "Групп партизанского действия". Занимался издательским бизнесом; создал институт изучения рабочего движения, финансировал маоистские коммунистические организации. Известен также как первый издатель романа Б. Пастернака "Доктор Живаго". (*Здесь и далее – прим. переводчиков.*)
2. Вальтер Хёллерер (1922—2003) — немецкий поэт, писатель, литературный критик, издатель. С 1954 г. принимал участие в собраниях литературной группы "47".

он пытался взорвать опоры ЛЭП и взорвался сам.
Нелегко столь низко пасть, хотя и был в этом какой-то смысл, но
как тут будешь хорошо выглядеть!
"Он взял в руки патроны, хромированные и блестящие,
закругленные навершия их сияли. Я попросил его
подарить мне один" (Валерио Моруччи[1]).
Пепельница (прошло уже сорок лет) все еще
жива в Шарлоттенбурге в Берлине
на Хеерштрассе, но только ее держат на полу, как собачью
миску, из которой никогда не ела ни одна собака.
В нее складывали почтовые марки, наклейки, но и это —
красивые, никому не нужные безделушки.

Перевод с немецкого Алексея Прокопьева

Предраг Луцич

Голоса из толпы

В Гевгелии[2] есть человек,
который был человеком и человеком остался,
даже когда полагалось быть
хорв. или серб.,
макед. или алб.

Ну и что тут такого,
скажет один.
Что может быть проще,
добавит другой.

И в этом ропоте
я опять не услышу,
пытался ли быть человеком
кто-то из них.

"Ю*гославия с фильтром*"

На красной пачке "Югославии с фильтром"
табачного комбината "Прилеп"
тем же шрифтом написано новое имя
не "Югославия" —
"Ориентал"

1. Валерио Моруччи (р. 1949) — террорист, глава Римской колонны "Красных бригад", один из главных участников похищения Моро (с 1974 по 1976 гг. — премьер-министр Италии).
2. Гевгелия — город в юго-восточной части Македонии, в трех километрах от границы с Грецией.

Как теперь объяснить тем ребятам,
что тешут прочные колья
и от Гевгелии до Подкорена[1]
вонзают их в мертвую землю

что теперь невозможно в табачном киоске
спросить "Югославию" и коробку спичек
потому что уже никто
не поймет
эту старую шутку

И надо оставить в покое сей пепел и прах
ведь Югославия больше
нигде не значится
и ничего не значит
и ничего не может
даже быть обращенной в дым.

Перевод с хорватского Жанны Перковской

Никола Маджиров

После нас

Однажды кто-то сложит наши одеяла,
Чтоб их в химчистку отнести,
чтоб вывести последние крупицы соли,
и — не пытаясь вникнуть в содержанье —
по датам наши письма подберет.

Однажды кто-то мебель переставит в спальне,
как шахматы перед началом партии другой,
распотрошит коробку из-под старых туфель,
где мы хранили осыпь пуговиц пижамных,
полуживые батарейки и свой голод.

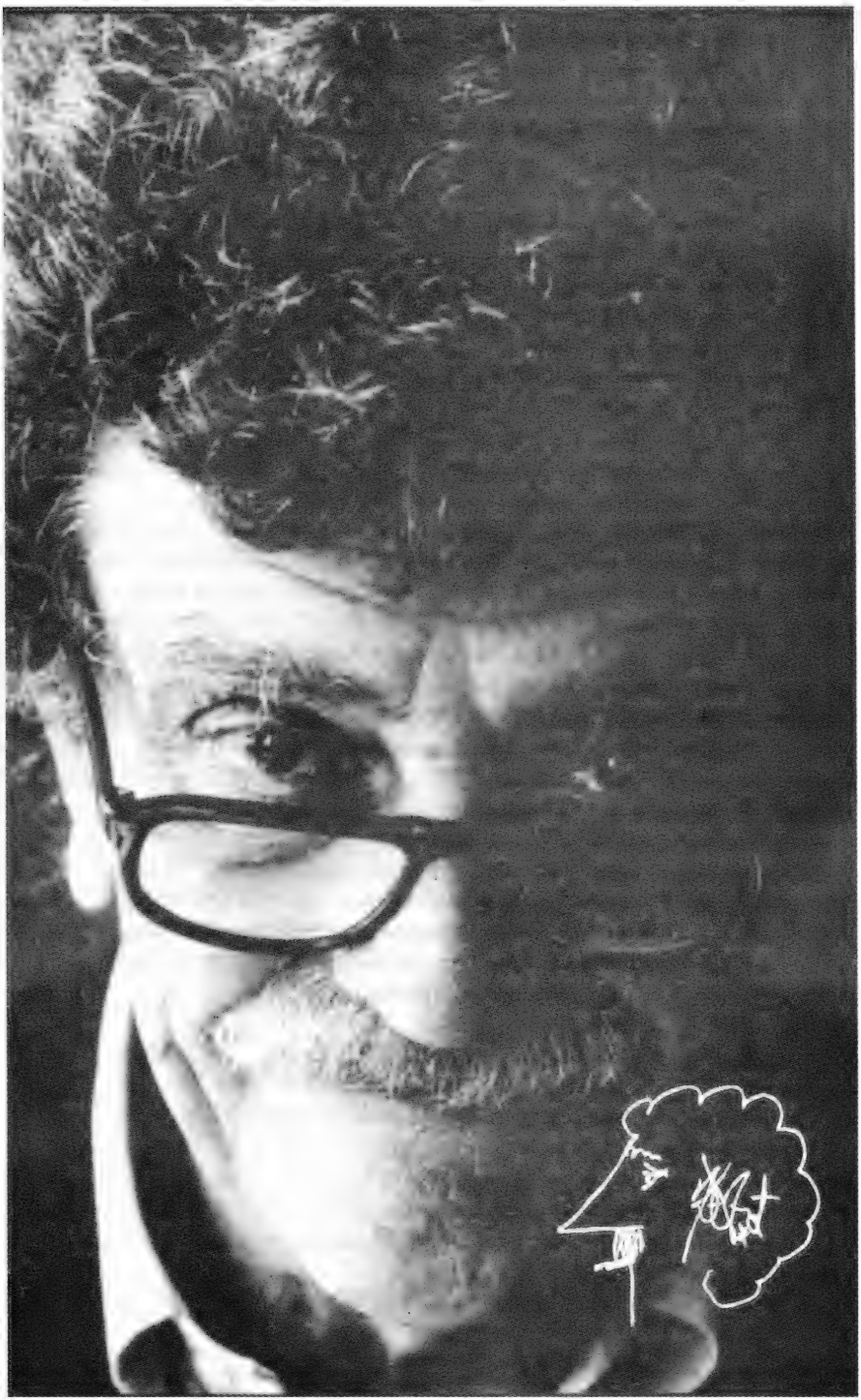
Однажды боль опять пронзит нам спину —
от тяжести гостиничных ключей,
от неприязненного взгляда хмурого портье,
нам давшего дистанционный пульт.

И чья-то скорбь пойдет за нами следом,
как лунный луч за потерявшимся ребенком.

Перевод с македонского Натэллы Горской

1. Подкорен — город в северо-западной части Словении, вблизи границы с Австрией и Италией.

Курт Воннегут



Александр Ливергант

Курт Воннегут: "служба оповещения"

Прошло больше года со дня смерти Курта Воннегута. Одного из самых здраво и оригинально мыслящих людей своего времени, любившего строить из себя шутника, простака, маргинала, даже юродивого. Создателя своих alter ego — парадоксалиста и фантаста Килгора Траута, незадачливого филантропа Элиота Розуотера, духовного странника Билли Пилигрима. "Первооткрывателя" планеты Тральфамадор, этого рая для конформистов, "где все должны делать именно то, что они делают". Изобретателя "боконизма", философии "динамического напряжения" между добром и злом, а также "гранфаллонов" — заведомо ложных "великих целей", способных сплотить миллионы людей и породивших монстров вроде создателя смертоносного "льда девять" Феликса Хонникера. Неутомимого борца с "прогрессом — нашей главной продукцией", девизом "Дженерал моторс", корпорации, в которой Воннегут, выпускник Массачусетского технологического института, проработал несколько лет и которую высмеял в своем первом романе "Механическое пианино" — книге с названием весьма симптоматичным: своим *механическим* — по инерции — существованием, скажет Воннегут спустя тридцать с лишним лет в "Галапагосах", человечество по собственному почину, целенаправленно готовит свое исчезновение с лица земли.

Из всех американских писателей первой величины Курт Воннегут всегда считался у нас самым популярным. Его "Колыбель для кошки" или "Бойня номер пять" в 70-е годы были ничуть не менее известны и широко читаемы, чем "Старик и море" Хемингуэя или "Деревушка" Фолкнера — в 50-е. Теперь, когда Воннегута нет, имеет смысл задаться вопросом, чем объясняется его громкая и стойкая слава в России. Едва ли не более громкая, чем на родине.

То ли тем, что Воннегут принадлежал всему миру, не грешил бытописательством, был "оторван" от чужой и не всегда понятной американской реальности: в последней своей книге, отрывки из которой мы печатаем в этом номере вместе с двумя рассказами, Воннегут так и называет себя — "человек без страны".

То ли тем, что Воннегут создал свой "фирменный" жанр, который, хоть и называется романом, к роману, строго говоря, отношения не имеет: в книгах Воннегута нет ни характеров, ни описаний, ни стилистического единообразия — более того, оно регулярно и сознательно нарушается. Сам писатель не без всегдашней иронии называл свои произведения, эту "гремучую смесь" фикшн и нон-фикшн, коллажем, "кукольным театром", в котором он выступает и как автор, и как режиссер, и как главный исполнитель.

© Александр Ливергант, 2008

То ли тем, что автор "Галапагосов" написал много книг во всенародно любимом у нас жанре научной, а чаще — "ненаучной" фантастики, за которой явственно проступают проблемы земные, злободневные. "Колыбель для кошки" — точно так же, как "Вино из одуванчиков" Брэдбери или "Понедельник начинается в субботу" Стругацких, — становится, по точному определению самого Воннегута, своеобразной "службой оповещения".

То ли тем, что Воннегуту, как, пожалуй, никакому другому современному американскому писателю, "повезло" с переводчиком: Р. Райт-Ковалева отлично чувствовала американского шутника и неисправимого парадоксалиста, которому принадлежит ставшая классической фраза из "кисло-сладкой" философии Боконона: "Все истины, которые я хочу изложить вам, — гнусная ложь".

Возможно, популярность Воннегута объясняется его склонностью к импровизации, вроде бы не требующей серьезного отношения. Эдакой "балаганностью" (одна из книг Воннегута так и называлась "Балаган, или Я больше не одинок"), которая, казалось бы, не сочетается со столь непопулярными у читателей философски-назидательными обобщениями. Его отменным юмором, которому, по собственным словам, Воннегут учился в молодости у знаменитых американских комиков и который не покидал писателя ("Любой предмет — повод для смеха") даже в самых мрачных раздумьях и описаниях: комическое и трагическое в его прозе (в частности, в двух публикуемых здесь рассказах) нерасторжимо. "Шутка, — замечает писатель в 'Человеке без страны', — единственный способ подключиться к взрослому разговору". А разговор Воннегут на сцене своего "кукольного театра" ведет отнюдь не детский: темы его книг, даром что фантастических, были равно актуальны, животрепещущи и для американского, и для русско-советского читателя. И для любого другого.

Не потому ли, наконец, мы с таким удовольствием читали и продолжаем читать Воннегута, что он, в отличие от знавших себе цену "высоколобых" Сола Беллоу, Апдайка или Филипа Рота, относился к себе, а заодно и к читателю, с иронией, столь ощутимой и в "Человеке без страны"? С писателями, как и вообще с людьми, относящимися к себе несерьезно, иронично, вести диалог (а что такое чтение, как не диалог с автором?) всегда проще, приятнее, интересней. Прочитайте в "Человеке без страны" рецепт Воннегута, как надо сочинять художественную прозу, и вы поймете, что я имею в виду.

Впрочем, не будем преувеличивать всегдашнюю веселость, беззаботность Курта Воннегута. В последней книжке писателя, своеобразной пародии и на автобиографию, и — отчасти — на литературное завещание, в самом деле немало смешного, однако беззаботной ее никак не назовешь. Воннегут и здесь, как и в других своих фантазиях, любит повеселить читателя, припрятать серьезное за смешным, что вовсе не отменяет печальных жизненных итогов этой короткой "автобиографии", уже, кстати сказать, четвертой по счету. До "Человека без страны" были "Вербное воскресенье" (1981) с подзаголовком "Автобиографический коллаж", "Судьба хуже смерти" (1991) и "Времятрясение" (1997), которое Воннегут назвал "обзором столетия" и в котором, словно на прощание, свел воедино всех своих героев.

В "Человеке без страны" Воннегут, как и всякий большой писатель, предъявляет своей стране счет, и немалый. Почему в мире не любят Соединенные Штаты? Может ли Америка стать "человечной и разумной"? Осуществилась ли американская мечта? В чем состоит столь раздражающее остальной мир американское высокомерие? Кто выиграл, а кто проиграл войну во Вьетнаме и нынешнюю иракскую? Что стоит за словами "всеобщее процветание" и "общество потребления"? Что угрожает единообразно мыслящему человечеству? Вопросы, которыми задается писатель в своей последней книге, согласитесь, не праздные.

Было бы, однако, досадным заблуждением считать, что "во всем виновата" Америка – скепсис Воннегута не в пример глубже. Писатель убежден, что "человечным и разумным" не бывать не только Соединенным Штатам, но и всему человечеству. Эта вроде бы беспечно написанная тоненькая книжка переполнена, как и другие книги писателя, невеселыми мыслями, имеющими отношение, и самое прямое, к нам с вами. О том, например, что духовная свобода, с точки зрения современного конформиста, не только не нужна, но и опасна, ибо угрожает социальной стабильности. О том, что человеческая цивилизация, периодически впадающая в коллективное безумие, находится на грани гибели и что, "совершенствуя неразумную природу", мы сами приближаем исчезновение всего сущего на земле. О том, что мы живем в эпоху роботов, встречающих в штыки любое отклонение от стандарта.

Так есть ли противоречие между мрачными прогнозами Воннегута и его завидным весельем, какой-то, я бы сказал, несколько даже нарочитой, маниакальной беспечностью? Сам Воннегут полагает, что нет. "Самый громкий смех, – заметил однажды писатель, – основан на самых больших разочарованиях и самых худших страхах". Таким нам и запомнится Курт Воннегут – глубоко разочарованным и громко смеющимся.

Курт Воннегут
Два рассказа

Перевод с английского А. Перекреста

Дольметчер

В 1944 году, когда боевые действия были в самом разгаре, меня, к невероятному моему удивлению, назначили батальонным переводчиком (переводчик по-немецки "дольметчер") и решили заслать в дом бельгийского бургомистра, который, между прочим, находился на расстоянии одного артиллерийского выстрела от линии Зигфрида[1].

Никогда прежде я не думал, что обладаю хоть малейшими способностями к переводу. О своем новом назначении я узнал, ожидая переброски на линию фронта. Злосчастные строки из стихотворения о Лорелее Генриха Гейне появились в моей жизни еще в студенческие годы благодаря соседу по комнате в общежитии, который и научил меня произносить этот непонятный набор звуков. И вот однажды, абсолютно случайно, командир нашего батальона услышал, как я пытаюсь их воспроизвести. Полковник (в мирное время служивший охранником гостиницы в Мобайле) тут же спросил у старшего офицера (продавца галантерейных изделий из Ноксвилла), на каком языке я говорил. Последний, правда, сумел ответить только после того, как я героически преодолел "Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein".

— Это он по-ихнему, — наконец выдал тот.

В эти строфы умещались все мои познания в немецком, и переводились они так: "Не знаю, о чем я тоскую, / покоя душе моей нет, / забыть никак не могу я / преданье далеких тех лет. / Дохнуло прохладой. Темнеет. / Струится река в тишине. / Вершины горы пламенеют / над Рейном в закатном огне"[2].

Наш полковник был убежден, что любые решения нужно принимать сколь молниеносно, столь и бесповоротно. Парочкой своих, мягко скажем, поспешных приказов он прославился еще до того, как вермахту задали жару, однако в тот день превзошел самого себя. "Ну так если он знает по-фрицевски, то какого черта чистит сортир?" — поинтересовался полковник, и уже спустя два дня ротный писарь сообщил, что мне придется сложить лопаты и ведра и приступить к своим новым обязанностям — батальонного переводчика.

© 1999 by Kurt Vonnegut. Used by permission of G. P. Putnam's Sons, a division of Penguin Group (USA) Inc.
© А. Перекрест. Перевод, 2008

1. Западный вал, позиция Зигфрида, — система германских долговременных укреплений, возведённых в 1936–1940 гг. на западе Германии, в приграничной полосе от Клеве до Базеля. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Перевод С. Я. Маршака.

Приказ о переезде на новое место службы не заставил себя долго ждать. Вышестоящие чины не имели ни малейшего желания выслушивать мои жалобы на абсолютное отсутствие какого-либо опыта перевода. "Да ты шпаришь будь здоров, – ободрил меня старший офицер. – А вообще там, куда мы идем, болтать много и не придется", – добавил он и со словами "вот что сделает за тебя всю работу" дружелюбно похлопал по стволу моей винтовки. Старший офицер, во всех своих взглядах поразительно схожий с полковником, полагал, что бельгийцам, которым только что изрядно досталось от американцев, никак нельзя доверять. По его мнению, моей единственной задачей в доме бургомистра будет следить, как бы тот чего не удумал. Ну а заключил он свою речь такими словами: "Да и кроме тебя тут по-ихнему никто больше не может".

К дому бургомистра я ехал на грузовике, сопровождаемый тремя жителями Пенсильвании голландского происхождения, которые пребывали в крайне дурном расположении духа, поскольку вот уже несколько месяцев тщетно ожидали, что их используют в качестве переводчиков. Впрочем, когда я им дал понять, что не собираюсь отбирать у них хлеб и вообще надеюсь, что уже через двадцать четыре часа закончу свою карьеру на этом поприще, они стали немного поприветливее и сообщили, что отныне я – как это называется по-немецки – "дольметчер". Затем они еще раз расшифровали для меня отрывок из "Лорелеи" – так я получил в свое распоряжение около сорока немецких слов (примерно столько составляет словарный запас двухлетнего ребенка). Хотя, конечно, моих знаний все равно не хватало даже на то, чтобы элементарно попросить стакан воды.

С каждым новым поворотом дороги у меня созревал новый вопрос: "А как по-немецки сказать "сухопутные войска"? Как мне спросить, где здесь туалет? А как будет "больной", "колодец", "тарелка", "брат", "ботинок"?" Устав от этих расспросов, один из моих флегматичных учителей протянул мне брошюру, предназначенную для быстрого освоения языка в полевых условиях.

Уже когда грузовик остановился перед домом бургомистра и я спрыгнул на землю, мой благодетель предупредил: "Некоторых страниц здесь нет – они пошли на самокрутки".

Совсем еще ранним утром я постучал в дверь дома бургомистра. Я чувствовал себя словно ожидающий выхода на сцену статист, чья роль вмещалась в одно лишь слово, вокруг которого в эту минуту крутились все мысли. Дверь открылась, и я представился: "Дольметчер".

Бургомистр, сухощавый пожилой человек, встретил меня в ночной рубашке и проводил на второй этаж в мою спальню. Дежурные фразы приветствия он сопровождал жестами, так что мои лаконичные реплики, состоявшие исключительно из фразы "Danke schön"[1], вполне органично вписывались в наше общение. Но я понимал, что в скором времени он, весьма вероятно, захочет завязать со мной разговор на более отвлеченные темы, и уже заранее подготовил способ пресечь его попытки на корню. В ответ я намеревался продекламировать "Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin"[2], после чего он, несо-

1. Большое спасибо (*нем.*).
2. "Не знаю, о чем я тоскую, покоя душе моей нет" (*нем.*).

мненно, ушел бы спать в полной уверенности, что присланный ему переводчик не только превосходно говорит по-немецки, но и полон сострадания ко всему окружающему миру. Однако прибегать к подобным уловкам не потребовалось: бургомистр вскоре оставил меня одного, дав возможность еще раз осмыслить свое положение.

Помочь мне во всем этом должна была та самая изуродованная коллегами брошюра. Я внимательно прочитал ее, бережно переворачивая уцелевшие страницы, и поразился, как просто переводить с английского языка на немецкий. Вооружившись этим пособием, я должен был всего лишь найти в левой колонке английское выражение, которое требовалось перевести, а затем попытаться воспроизвести тот загадочный набор звуков, который был напечатан напротив. Например, вопрос "Сколько у вас гранатометов?" переводился как "Ви филь гранатверфер хабен зи?", а лучшим вариантом перевода для "Где ваша головная колонна танков?" был "Во зинд ойре панцер шпитцен?" Я старательно проговаривал фразы "Где находятся ваши гаубицы?", "Сколько у вас пулеметов?", "Сдавайтесь!", "Не стреляйте!", "Где спрятан ваш мотоцикл?", "Руки вверх!", "Из какой вы части?"

Брошюра оборвалась крайне неожиданно, что резко испортило мне настроение. Этот голландец из Пенсильвании скурил страницы с тыловыми шутками и всю первую половину брошюры, оставив мне лишь ту часть, где описывалось общение в ближнем бою.

Заснуть никак не удавалось: в моей голове разыгрывалась драма, в которой, вполне возможно, мне предстояло в скором времени принять участие:

Переводчик (*обращаясь к дочери бургомистра*). Не знаю, о чем я тоскую, покоя душе моей нет. (*Обнимает ее.*)

Дочь бургомистра (*робко к нему прильнув*). Дохнуло прохладой. Темнеет. Струится река в тишине.

Переводчик берет дочь бургомистра на руки и относит в свою комнату.

Переводчик (*нежно*). Сдавайся.

Бургомистр (*направив на него парабеллум*). Руки вверх!

Переводчик и дочь бургомистра. Не стреляйте!

Из нагрудного кармана бургомистра выпадает карта, на которой изображено расположение частей и подразделений Первой американской армии.

Переводчик (*в сторону, по-английски*). А что у этого якобы дружественного нам бургомистра делает карта расположения частей и подразделений Первой американской армии? И вообще, почему это я должен разговаривать с бельгийцем по-немецки? (*Выхватывает из-под подушки пистолет 45-го калибра и направляет его на бургомистра.*)

Бургомистр вместе с дочерью. Не стреляйте! (*Бургомистр бросает на землю свой парабеллум, съеживается. На лице у него подобострастная улыбка.*)

Переводчик. Из какой вы части? (*Бургомистр угрюмо молчит. Дочь бургомистра становится с ним рядом и начинает тихо всхлипывать. Пе-*

реводчик обращается к ней.) Где спрятан ваш мотоцикл? (*Затем опять поворачивается к бургомистру.*) А сколько у вас гаубиц? Где ваша головная колонна танков? Сколько у вас гранатометов?

Бургомистр (*с невероятным трудом выдавливая из себя слова*). Я... я сдаюсь.

Дочь бургомистра. Покоя душе моей нет.

Патруль в составе голландцев из Пенсильвании, осуществляющий обычную проверку, входит как раз в тот самый момент, когда бургомистр и его дочь признаются, что они фашистские агенты, которых забросили в тыл американских войск.

Сам Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер не смог бы лучше распорядиться имеющимися у меня словами, а, как известно, иными я не располагал. Но мне было ясно, что у меня нет ни единого шанса справиться с этой работой и уж тем более получить от нее хоть какое-то удовольствие. Стоял декабрь, а я, батальонный переводчик, не знал даже, как пожелать счастливого Рождества.

Я застелил постель, затянул потуже вещмешок и, отодвинув маскировочную штору, незаметно вылез через окно в ночь.

Часовые, которые, похоже, отнеслись ко мне с излишней настороженностью, направили меня в штаб батальона, где большинство наших офицеров сосредоточенно изучали карты или заряжали оружие. Чувствовалось всеобщее предпраздничное возбуждение, а старший офицер точил свой 40-сантиметровый охотничий нож, напевая что-то себе под нос.

— Разрази меня гром! — воскликнул он, заметив меня в дверях. — Это же наш "шпрехен зи дойч"! Эй, парень, а почему ты не у мэра?

— Это бесполезно, — ответил я. — Они говорят на нижнем диалекте немецкого, а я — на верхнем.

Мои слова произвели на него сильное впечатление.

— Ты слишком хорош для них, да? — Он провел пальцем по лезвию своего ножа. — Но, думаю, уже очень скоро кое-кто поболтает с тобой на первоклассном немецком, — сказал он, а затем добавил: — Мы окружены.

— Мы отделаем их так же, как в Северной Каролине и Теннесси, — храбрился полковник, который никогда не терпел поражений в учениях у себя на родине. — А ты оставайся здесь, сынок, — обратился он ко мне, — как мой личный переводчик.

И через двадцать минут я опять с головой погрузился в переводческую работу. Прямо у нашего штаба остановились четыре немецких танка "Тигр", и из них высыпало десятка два пехотинцев, вооруженных автоматами.

— Ну-ка скажи им что-нибудь, — приказал мне полковник, до последнего старавшийся сохранить лицо.

Я пробежал глазами левую колонку в брошюре и, наконец, нашел фразу, которая наиболее точно соответствовала моему пониманию ситуации.

— Не стреляйте, — сказал я.

Командир немецкого танка неторопливым шагом подошел поближе, чтобы рассмотреть своих пленников. В руке у него тоже была брошюра, только еще тоньше, чем моя. Он спросил:

– Где находятся ваши гаубицы?

Сувенир

ДЖО Бейн содержал ломбард. Этот лысый неповоротливый толстяк, казалось, все время щурился, словно по привычке разглядывая мир вокруг себя через увеличительное стекло. Жил он один, ничем особо не выделялся. Наверно, такая жизнь уже давно бы ему опостылела, если бы не игра, занимавшая его шесть дней в неделю, кроме воскресенья. В этой игре он не знал себе равных: буквально за гроши покупал вещи, которые затем перепродавал за несоизмеримо бóльшие деньги. Игра полностью им овладела; только благодаря ей он мог хоть в чем-то превзойти своих приятелей. Деньгам же значения он не придавал, подсчитывая их, скорее, для статистики.

Утром в понедельник, когда Джо Бейн открыл ломбард, на долину опустились черные тучи, придавив город к земле тяжелым влажным воздухом. Осенний гром то и дело прокатывался сквозь дымку по склонам холмов.

Не успел Джо Бейн снять пальто, шляпу и галоши, поставить на место зонтик, включить свет и плюхнуться всей своей тушей на табурет за кассовым аппаратом, как в ломбард робко вошел молодой человек в фермерской одежде. Этот смуглый, как индеец, худощавый фермер был явно беден, да к тому же в городе чувствовал себя не в своей тарелке. С собой он принес роскошные карманные часы, за которые попросил всего пятьсот долларов.

– Нет, сэр, я хотел бы их продать, а не заложить, если кто-нибудь согласится на мою цену, – вежливо сказал молодой человек. Он долго не решался расстаться со своим сокровищем, бережно держа часы в огрубевших руках, но в конце концов все же положил на черный бархат, чтобы Бейн их осмотрел. – Конечно, я бы их сохранил, а потом сынку старшему оставил, но нам позарез нужны деньги.

– Пятьсот долларов – большая сумма, – проговорил Бейн тоном человека, не раз страдавшего из-за собственной доброты.

Он рассмотрел драгоценные камни в часах, стараясь не выдать своего восторга. Вертел часы в руках, глаза его жадно ловили отблески света в рубиновом наконечнике заводной головки и в четырех бриллиантах, крестом располагавшихся на циферблате. "Одни эти камешки стоят раза в четыре больше, чем хочет этот фермер", – подумал Бейн.

– Такие часы будет нелегко продать. Ну, дам я тебе пятьсот долларов, а что потом? Будут пылиться в ожидании своего покупателя?

Он пристально всматривался в загорелое лицо посетителя и видел, что часы удастся получить куда дешевле.

– Таких во всей округе не сыщешь, – пытался торговаться фермер.

– О том я и говорю, – возразил Бейн. – Ну кому, скажи на милость, здесь могут понадобиться подобные часы? – (Самому Бейну, впрочем, они были очень нужны, и он уже нисколько не сомневался, что сможет

их заполучить.) Он нажал на кнопочку сбоку и погрузился в урчание крошечного механизма, в хрустальный перезвон маленьких колокольчиков, возвещавший о начале нового часа.

— Так вы берете или нет? — спросил фермер.

— Постой, чего спешить? В таком деле важно все хорошенько взвесить. Мне бы хотелось побольше о них узнать.

Бейн открыл крышку на тыльной стороне часов. Внутри была выгравирована какая-то надпись на иностранном языке.

— Что здесь написано? Как думаешь? — спросил Бейн.

— Школьная учительница у нас дома сказала, что это вроде немецкий.

Бейн приложил поверх надписи папиросную бумагу и стал тереть листок обратным концом карандаша, пока на нем не проступил оттиск. Получившуюся копию и десять центов в придачу он отдал слонявшемуся без дела мальчишке — чистильщику обуви, чтобы тот отнес ее хозяину соседнего ресторанчика — немцу по происхождению.

Потихоньку начал накрапывать дождик, и первые капли оставили просветы на грязном, запачканном сажей оконном стекле.

— Полицейские очень строго следят за всем, что ко мне поступает, — как бы невзначай бросил Бейн.

Фермер покраснел.

— Это мои часы. Они у меня с войны остались.

— А ты заплатил за них пошлину?

— Пошлину?

— Естественно. За все драгоценности, которые перевозятся через границу, надо платить пошлину. Иначе это контрабанда.

— Я... я просто положил их в рюкзак и привез домой. Все так делали, — пробормотал фермер. Слова Бейна подействовали: фермер забеспокоился.

— Это незаконно. Все равно что краденая вещь, — сказал Бейн и тут же поспешил успокоить посетителя жестом. — Я от них не отказываюсь. Но дельце рискованное. Вот если бы ты согласился на сто долларов, я, возможно, и купил бы... Я всегда стараюсь помогать участникам войны.

— Всего сто долларов?!

— Не всего, а целых сто долларов! Да и то, пожалуй, я сегодня слишком добрый. Подумай сам, это же шальные деньги, парень. Ты ж, небось, стянул эти часы у пленного немца или под развалинами нашел...

— Нет, сэр. Все было куда трудней.

Бейн очень хорошо знал человеческую психологию и видел, что фермер, вспоминая историю этих часов, стал обретать привычную уверенность в себе, которая пропала, как только он покинул ферму.

— Мы с моим другом Баззером, — начал фермер, — были в лагере для военнопленных где-то в Германии. Вроде в Судетах — так нам потом сказали. И вот однажды утром Баззер меня будит и говорит, что война кончилась, охранников нет и ворота открыты.

Джо Бейну поначалу не очень-то хотелось выслушивать эту историю. Но малый рассказывал так ярко и выразительно, что перед глазами Бейна, большого охотника послушать про чужие приключения за отсутствием собственных, словно наяву предстали два пленных солдата, выходящие из открытых ворот лагеря, а затем спускающиеся вниз по

проселку весенним утром 1945-го года — солнечным утром, когда закончилась Вторая мировая война.

Молодой фермер Эдди и его друг Баззер вступили в новую жизнь — жизнь, в которой не было войны. Они исхудали, заросли грязью, до дыр сносили одежду, но зла ни на кого не держали. Они пошли на войну из гордости, а не от отчаяния, и теперь, когда дело сделано, хотели вернуться домой. Между ними был год разницы, но они походили друг на друга, как близнецы.

Для начала решили предпринять небольшую экскурсию по окрестностям лагеря, а потом вернуться и подождать вместе с другими прибытия освободителей. Однако этот план был начисто забыт, когда двое канадцев, тоже военнопленных, пригласили друзей отпраздновать победу за бутылкой бренди, найденной в брошенном немцами грузовике.

Готовые признаваться в любви каждому встречному, ощущая тепло внутри отощавших животов и легкое головокружение, подвыпившие Эдди и Баззер вдруг оказались в гуще уныло бредущих немецких беженцев, заполонивших всю дорогу в долине между горами. Сзади неотвратимо приближался гул советских танков, которые, не встречая сопротивления, спешили занять этот последний клочок немецкой земли.

— Почему мы бежим? Война ведь кончилась, — спросил Баззер.

— Все бегут. Думаю, и нам лучше с ними, — ответил Эдди.

— Да я даже не знаю, где мы, — продолжал Баззер.

— Канадцы сказали, в Судетах.

— А где Судеты?

— Там, где сейчас мы, — сказал Эдди. — Эти канадцы, видать, знают, о чем говорят.

— Эй, вот что я сейчас скажу этому миру, — воскликнул Баззер. — Я всех люблю! Красота! Эх, была б у меня сейчас та бутылка бренди, я б надел на нее соску и неделю не вставал с кровати!

Эдди тронул за локоть шагавшего рядом высокого мужчину с короткими черными волосами, одетого в штатский костюм, который был ему явно мал. В его глазах читалась тревога.

— Куда мы все бежим? Разве война не кончилась? — спросил у него Эдди. Мужчина бросил на него не очень приветливый взгляд, что-то пробурчал и резко отшатнулся.

— Он по-нашему не понимает, — сказал Эдди.

— Ну так и говори по-ихнему. Ты же голова! Давай вон с тем парнем пошпрехай!

Они подошли к небольшому черному "родстеру", который стоял на обочине дороги. Молодой блондин атлетического телосложения, с квадратной челюстью, копался в заглохшем моторе. На кожаном переднем сиденье автомобиля сидел человек постарше. На его лицо, которого уже несколько дней не касалась бритва, была надвинута шляпа.

Эдди и Баззер остановились.

— Ну ладно, — сказал Эдди, — вот, смотри. Wie geht's? — обратился он к блондину с единственной фразой, которую знал по-немецки.

— Gut, gut, — пробормотал молодой немец в ответ. Затем, очевидно, осознав абсурдность этой машинальной реплики, добавил с глубокой горечью: — Ja! Geht's gut!

— Он говорит, что у него все хорошо, — перевел Эдди.

— Здорово у тебя получается, — восхитился Баззер.

— Не зря же я столько путешествовал, — сказал Эдди.

Неожиданно пожилой человек в автомобиле очнулся и резко, даже угрожающе крикнул что-то своему спутнику.

Блондин побледнел и с удвоенным усердием продолжил копаться в моторе.

Глаза пожилого немца, до этого несколько затуманенные, вдруг прояснились и ожили. Проходившие мимо беженцы, повернув головы, следили за происходящим. Немец окинул их презрительным взглядом и, казалось, готов был что-то сказать, но вдруг передумал и, с грустью вздохнув, закрыл лицо руками.

— Что он сказал? — спросил Баззер.

— У него диалект какой-то не такой, — ответил Эдди.

— Да он, верно, из простолюдинов, — уточнил Баззер. — Я с места не сдвинусь, пока кто-нибудь не объяснит, что здесь происходит. Мы же американцы, и мы победили. Что мы здесь делаем вместе с этими фрицами?

— Да-да, вы американцы, — сказал неожиданно блондин на весьма неплохом английском, — теперь вам придется с ними драться.

— Ну наконец хоть кто-то говорит по-английски! — обрадовался Баззер.

— И к тому же сносно, — подтвердил Эдди.

— Вот и хорошо. И с кем же нам придется драться? — спросил Баззер.

— С русскими, — не без некоторого удовлетворения ответил блондин. — Они и с вами расправятся, если вы им попадетесь. Они всех на своем пути убивают.

— Чушь! Мы за них, — возразил Баззер.

— Думаешь, это надолго? Лучше бегите-ка, и поскорей. — Блондин выругался и в сердцах швырнул гаечный ключ в двигатель. Затем повернулся к пожилому немцу и что-то сказал ему дрогнувшим от страха голосом.

Пожилой немец разразился потоком брани, но, быстро устав, замолчал, вылез из машины и захлопнул за собой дверцу. Затем они посмотрели в сторону, откуда шли танки, и пошли вниз по дороге.

— Эй, куда же вы? — поинтересовался Эдди.

— В Прагу. Там американцы.

Эдди и Баззер зашагали вслед за ними.

— По-моему, у нас сегодня многовато всякой географии, да, Эдди? — спросил Баззер и, споткнувшись, чуть было не упал, но Эдди его подхватил. — Эта штука, которую мы пили, похоже, дала мне по башке.

— Черт с ней, с этой Прагой, — согласился Эдди, у которого тоже в глазах стало мутнеть. — Или на машине, или никак.

— Правильно. Мы просто сейчас посидим в тенечке и подождем русских. Стоит нам только показать свои жетоны, как они такую пирушку закатят!

С этими словами он засунул палец под воротник и вытащил жетон, висевший на цепочке у него на шее.

— Да уж, конечно, — сказал блондин, все это время внимательно прислушивавшийся, — настоящую пирушку.

Колонна беженцев, которая постоянно замедляла шаг, все более и более уплотняясь, теперь совсем остановилась и недовольно загудела.

– Нас что, баба какая-нибудь ведет? – возмутился Баззер.

Тут из головной части колонны донеслись выкрики, которые эхом покатились по всей ее длине, и через несколько мгновений напряженного ожидания стало ясно: колонна столкнулась с другой такой же, двигавшейся в противоположном направлении. Весь район был окружен советскими войсками, и эти две колонны, столкнувшиеся посередине маленькой деревеньки, слились в один хаотичный водоворот, который охватил не только главную дорогу, но и боковые тропинки, вплоть до склонов ближайших холмов.

– Далась мне эта Прага, – сказал Баззер, сошел с дороги и присел около калитки в ограде какой-то фермы. Эдди последовал его примеру.

– Послушай, Баззер, может, нам никуда не идти? Останемся здесь, откроем оружейный магазин, – предложил он, махнув рукой в сторону валяющихся на земле винтовок и пистолетов. – Ну, пули там, всякое такое...

– А и впрямь отличное место для магазина, – сказал Баззер. – Они тут в Европе просто помешаны на оружии.

И, не обращая внимания на растущее волнение в окружающей их толпе, Баззер задремал: выпитое бренди дало о себе знать. Эдди тоже с трудом боролся со сном.

– А вот и наши американские друзья, – послышалось со стороны дороги. Эдди поднял голову и увидел ухмыляющиеся физиономии того самого здоровенного светловолосого немца и его вспыльчивого пожилого товарища.

– Привет, – ответил Эдди. Эйфория, наступившая после бренди, проходила, уступая место недомоганию и тошноте.

Блондин открыл калитку и пригласил их зайти:

– Идите сюда, мы хотим вам кое-что сказать.

– Скажи здесь, – ответил Эдди.

Блондин наклонился к нему и сказал:

– Мы хотим вам сдаться.

– Чего, чего?

– Мы сдаемся. Мы ваши военнопленные, военнопленные армии Соединенных Штатов.

Эдди рассмеялся:

– Что, правда? – Затем он ткнул ногой своего спящего дружка: – Эй, Баззер, послушай только!

– Ну что там?

– Мы только что захватили в плен пару немцев.

Баззер открыл глаза и покосился на двух стоящих перед ним людей.

– Да ты еще больше моего надрался, раз до сих пор берешь кого-то в плен. Эдди, придурок, война же кончилась. Отпусти их, – сказал он и великодушно махнул рукой в сторону немцев.

– Проведите нас мимо русских в Прагу в качестве американских военнопленных, и вы станете героями, – сказал блондин, а затем, понизив голос, добавил: – Это знаменитый немецкий генерал. Подумайте: у вас есть шанс взять его в плен.

– Он и вправду генерал? – переспросил Баззер. – Хайль Гитлер, папаша!

Пожилой немец поднял руку в кратком приветствии.

— А у него еще осталось пороху, — заметил Баззер.

— Я так понял, нам бы самим через русских пройти, какой там генерал...

Грохот приближающихся танков Красной Армии все нарастал.

— Хорошо, хорошо, — сказал блондин. — Продайте нам тогда свою форму. Жетоны оставьте себе, а одежду можете взять нашу.

— Уж лучше быть без гроша в кармане, но живехоньким, — сказал Эдди. — Верно, Баззер?

— Подожди-ка, Эдди, — ответил тот. — А что вы нам дадите взамен?

— Пошли во двор. Здесь мы этого вам не можем показать, — сказал блондин.

— Я слышал, здесь можно нарваться на фашистов, — проговорил Баззер. — Показывайте прямо тут.

— Вы что, нас за дураков принимаете? — не сдержался Эдди.

— Надо же нам знать, от чего отказываемся, чтобы внукам потом рассказать, — добавил Баззер.

Блондин порылся в карманах и вытащил оттуда увесистый рулон немецких марок.

— Оккупационные деньги! — воскликнул Баззер. — Что еще у вас есть?

Вот тут-то пожилой немец показал им свои карманные часы, золотые с четырьмя бриллиантами и рубином. Стоя посреди толпы беженцев самых разных мастей, блондин заверил Эдди и Баззера, что они получат эти часы, если зайдут во двор и обменяют свое отрепье на немецкую гражданскую одежду. Они подумали, что американские солдаты — идиоты!

Все это выглядело очень нелепо и странно! Эдди и Баззер были здорово пьяны. Что они расскажут, когда вернутся домой? Им не нужны никакие часы, они всего лишь хотят добраться до дома целыми и невредимыми. И тут, посреди этой толпы беженцев самых разных мастей, блондин вытащил небольшой пистолет, как будто и его хотел обменять.

Но продолжать разговор теперь было бессмысленно — слова утонули бы в адском грохоте. Земля сотрясалась, воздух рвался в клочья: по дороге с ужасным лязгом катили победоносные советские танки, сопровождая свое продвижение пушечными залпами. Кто мог, старался убраться с их пути. Те, кому это не удалось, были мгновенно раздавлены, растерты, перемолоты.

Эдди и Баззер оказались вместе с двумя немцами во дворе за каменной оградой, где, по мнению блондина, можно было без помех переодеться. В адском шуме, когда каждый мог сделать что угодно и никому не было дела, что происходит рядом, блондин выстрелил Баззеру в голову. Затем повернулся к Эдди и тоже выстрелил, но промахнулся.

Скорее всего, таков и был их план — убить Эдди и Баззера. Но на что надеялся пожилой немец, совсем не знавший английского, если хотел выдать себя за американского солдата? Шансов на успех у него не было. Другое дело блондин. Сейчас их могли схватить в любую секунду, и старику оставалось только одно — покончить с собой.

Эдди перемахнул через ограду, укрываясь от пуль блондина. Но тому уже было не до Эдди. Ему нужен был Баззер, точнее, то, что на нем. Жив ли он еще? Эдди выглянул из-за стены и увидел, как блондин стягивает с Баззера одежду. Пистолет был в руке у пожилого немца. Эдди видел, как тот вложил ствол себе в рот и спустил курок.

Блондин ушел, надев форму Баззера и взяв его жетон. Баззер так и остался лежать в исподнем. Теперь его нельзя будет даже опознать. На земле между телами пожилого немца и Баззера Эдди увидел часы. Они шли и показывали верное время. Эдди подобрал их и положил в карман.

Дождь за окнами ломбарда Джо Бейна прекратился.

— А когда я вернулся домой, я написал родным Баззера, что он был убит в бою с немцами, хоть война уже закончилась. Командиру доложил то же самое. Я не знал, как называлось место, где он погиб, так что его не нашли и не похоронили, как положено. Мне пришлось оставить приятеля там. Кто бы ни хоронил его, наверно, так и не узнал, что хоронит американского солдата, если, конечно, не догадался по белью. Ведь Баззер мог быть и немцем, мог быть кем угодно.

Вдруг Эдди выхватил часы буквально из-под носа у Джо.

— Спасибо, что дали мне осознать, как много для меня эти часы значат, — сказал он. — Пожалуй, сохраню их себе на память. Как сувенир.

— Пятьсот долларов, — поспешил предложить Джо Бейн, но Эдди уже направлялся к выходу.

А спустя десять минут вернулся мальчик с переводом надписи. Она гласила: "Генералу Хайнцу Гудериану, начальнику Генерального штаба сухопутных войск, который будет биться до тех пор, пока последний вражеский солдат не покинет священную землю Третьего рейха. АДОЛЬФ ГИТЛЕР".

Курт Воннегут
Человек без страны

Фрагменты книги

Перевод с английского Анны Парра

1

В детстве я был самым младшим в семье, а младший ребенок в любой семье всегда шутник, потому что шутка — единственный способ подключиться к взрослому разговору. Моя сестра была на пять лет старше меня, брат — на девять, а родители оба любили поговорить. Так что за ужином, за семейным столом, когда я был очень маленьким, всем остальным было не до меня. Они не хотели выслушивать глупые детские рассказы о том, как я провел день. Им хотелось поговорить о действительно важных событиях, которые произошли в школе или, может быть, в колледже, или на работе. Так что я мог встрять в разговор, только сказав что-нибудь смешное, никак иначе. Думаю, впервые у меня это получилось случайно, просто я ненароком выдал афоризм или что-то в этом роде. А затем обнаружил, что шутка — это способ ворваться в разговор взрослых.

Когда я подрос, комедия в нашей стране была в расцвете — это было время Великой депрессии. На радио выступало огромное количество комиков высочайшего класса. И, без всякой задней мысли, я их изучал. Всю свою молодость я каждый вечер по меньшей мере час слушал выступления комиков и очень заинтересовался тем, что такое шутка и как она работает.

Когда я смешу, то стараюсь никого не обидеть. Не думаю, что многие из моих шуток были очень уж низкого пошиба. Не думаю, что я многих смутил или огорчил. Единственный способ произвести сильное впечатление, которым я от случая к случаю пользуюсь, — это крепкое словцо. Но есть вещи, над которыми нельзя смеяться. Я не могу представить себе юмористическую книжку или скетч, к примеру, об Аушвице. И не считаю для себя возможным пошутить на тему смерти Джона Ф. Кеннеди или Мартина Лютера Кинга. А больше, пожалуй, нет таких тем, на которые я не позволяю себе шутить. Как продемонстрировал нам Вольтер, тотальные катастрофы ужасно комичны. Взять хотя бы Лиссабонское землетрясение — смешно ведь.

Я видел разрушение Дрездена. Я видел город до налета, а затем, выйдя из бомбоубежища, увидел его после, и, конечно, единственным

© 2005 by Kurt Vonnegut
© Анна Парра. Перевод, 2008

откликом стал смех. Бог знает, наверное, душа таким способом ищет облегчения.

Любой предмет — повод для смеха. Полагаю, у жертв Аушвица смех был кошмарным.

<...>

3

Вот как надо сочинять художественную прозу.

Первое правило: не используйте точек с запятой. Это перекрасившиеся гермафродиты, абсолютно ничего собой не представляющие. Они всего лишь свидетельствуют о том, что вы учились в колледже.

Я понимаю, что некоторым из вас непросто разобраться, шучу я или нет. Так что отныне я буду говорить, когда шучу.

К примеру: вступите в Национальную гвардию или в морскую пехоту и учите демократии. Шучу.

Со дня на день на нас нападет Аль-Каида. Размахивайте флагами, если они у вас есть. Это, кажется, должно их отпугнуть. Шучу.

Если вы хотите по-настоящему огорчить своих родителей и у вас не хватает духу стать голубым, самое малое, что вы можете сделать, это заняться искусством. Я не шучу. Искусством нельзя заработать на жизнь. Это всего лишь очень человеческий способ сделать жизнь более сносной. Постоянные занятия любым искусством, независимо от того, насколько хорошо или плохо это вам удается, — способ заставить душу развиваться, прости меня Господи. Пойте в ванной. Танцуйте под радио. Рассказывайте истории. Напишите стихи другу, пусть и скверные. Старайтесь по мере своих сил делать это хорошо. Вы почувствуете колоссальную отдачу. Вы что-то создадите.

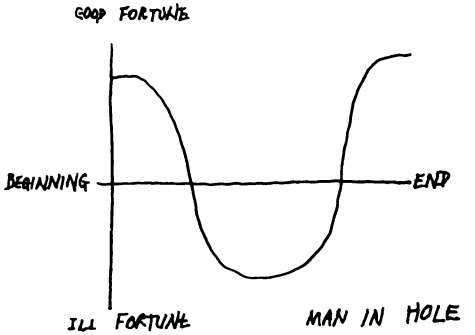
*

Хочу поделиться с вами тем, что я узнал. Нарисую это на доске, чтобы вам было легче следить за ходом моих мыслей [*чертит на доске вертикальную линию*]. Это ось У–Н: удача — неудача. Внизу — смерть, ужасная бедность, болезни, наверху — процветание, отменное здоровье. Промежуточное положение дел вот здесь, посередине [*соответственно указывает на точки внизу, наверху и посередине оси*].

Это ось Н–Э. Н — начало, Э — энтропия. О'кей. Не каждую историю можно облечь в очень простую, очень симпатичную форму, какую даже компьютер поймет [*чертит горизонтальную линию, начинающуюся от середины оси У–Н*].

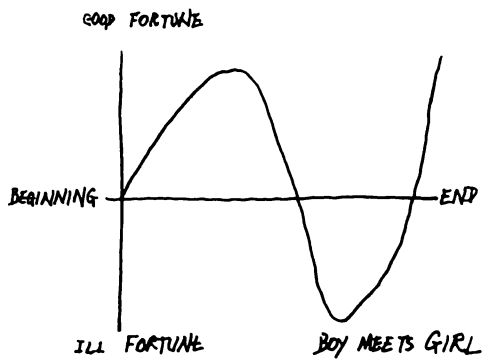
Теперь позвольте дать вам совет из области маркетинга. Люди, которые могут себе позволить покупать книги и журналы и ходить в кино, не любят слушать о бедных и больных, так что начинайте историю здесь [*указывает на верхушку оси У–Н*]. Подобные сюжеты вам встречаются на каждом шагу. Люди их обожают, и на них не распространяется закон об авторских правах. Скажем, рассказ называется "Человек в заднице", но в нем вовсе не обязательно речь идет о человеке или о заднице. Просто: кто-то попадает в беду и в очередной раз из нее выпутывается

[*чертит линию А*]. Не случайно линия заканчивается выше, чем началась. Это ободряюще действует на читателей.



Другая история называется "Мальчик знакомится с девочкой", но совсем не обязательно, чтобы мальчик там знакомился с девочкой [*начинает чертить линию Б*]. Просто: некто, обыкновенный человек, в какой-то день, похожий на все остальные, натыкается на нечто совершенно чудесное: "О боже, какой удачный день!"... [*чертит линию, идущую вниз*]. "Черт!"... [*снова ведет черту вверх*]. И опять возвращается наверх.

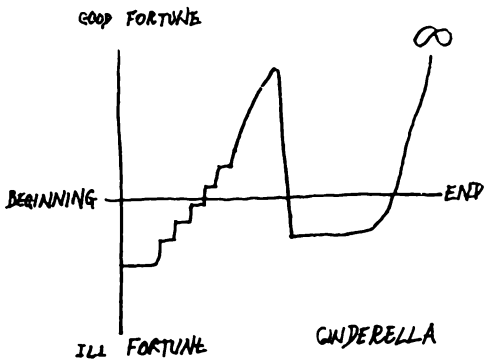
Мне, собственно, не хочется вас запугивать, но после того, как я изучал химию на предпоследнем курсе Корнелла, уже после войны, я поступил в Чикагский университет, изучал антропологию и в конце концов получил диплом магистра наук. На этом же факультете учился Сол Беллоу, и ни один из нас ни разу не побывал в экспедиции. Хотя, конечно, мы их себе воображали. Я начал ходить в библиотеку в поисках отчетов об этнографах, проповедниках и исследователях — этих империалистах, — чтобы выяснить, какие истории они собрали у примитивных народов. Я в любом случае ошибся, решив стать антропологом, потому что терпеть не могу примитивные народы — они такие глупые. Но как бы то ни было, я, одну за другой, читал эти истории, собранные у примитивных народов по всему свету, и убедился, что все они застыли на "мертвой" линии, будто на этой вот оси Н–Э. Ну да ладно. Примитивные народы со своими паршивыми историями заслуживают судьбы неудачников. Они и вправду отсталые. А теперь посмотрите на чудесные подъемы и спуски в наших историях.



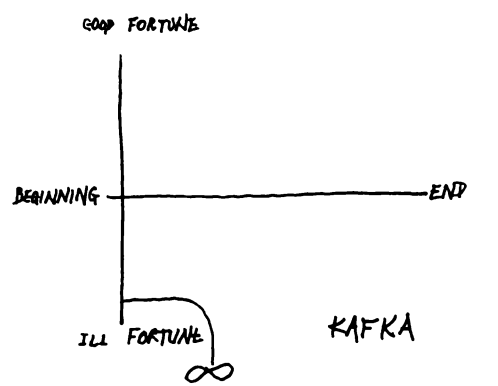
Одна из самых популярных историй, когда-либо рассказанных, начинается здесь [*ведет линию В из точки ниже оси Н–Э*]. Что это за человек, впавший в уныние? Это девушка лет пятнадцати или шестнадцати, у которой умерла мать, — как же ей не грустить? А ее отец женился почти сразу на отвратительной бой-бабе с двумя злобными дочерьми. Слыхали?

Во дворце планируется прием. Девушка должна помочь своим сводным сестрам и ужасной мачехе подготовиться к выходу в свет, но самой ей придется остаться дома. От этого она грустит еще больше? Нет, сердце этой малышки уже разбито. Достаточно того, что у нее умерла мама. Хуже не может быть ничего. Ну ладно, все уезжают во дворец. Появляется ее крестная — фея [*чертит поднимающуюся вверх линию*], дает ей чулки, тушь для ресниц и транспортное средство.

Во дворце нет никого краше нее, — она царица бала [*ведет линию вверх*]. Она так густо наштукатурена, что родственники ее даже не узнают. Но вот часы бьют полночь, и, как было обещано, все исчезает [*ведет линию вниз*]. Часам не нужно много времени, чтобы пробить двенадцать раз, так что линия стремительно опускается. До прежнего уровня? Ни черта. Что бы ни случилось после, девушка будет помнить, что в нее влюбился принц и она была царицей бала. Так что она продолжает мыкаться на новом, значительно более высоком уровне, а там и туфелька приходится по ноге — девушка безмерно счастлива [*ведет линию вверх и затем рисует знак бесконечности*].



А теперь рассмотрим рассказ Франца Кафки [*начинает вести линию Г к нижней точке оси У–Н*]. Молодой человек довольно непривлекателен, внешность его нельзя назвать хоть сколько-нибудь примечательной. У него несимпатичные родственники, и он много раз менял работу без всякой надежды на повышение. Его жалованья не хватает на то, чтобы пригласить девушку на танцы или сходить в пивную выпить пива с приятелем. Однажды он просыпается, пора опять идти на работу, а он превратился в насекомое [*ведет линию вниз, а затем рисует знак бесконечности*]. Это пессимистичная история.

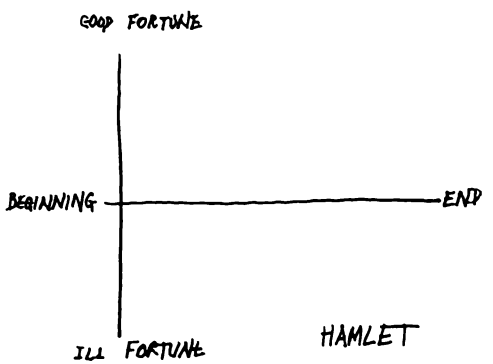


Вопрос в том, помогает ли разработанная мною система в оценке литературы? Возможно, настоящий шедевр нельзя распять на кресте такой конструкции. Как насчет "Гамлета"? Я бы сказал, это очень недурная штука. Кто-нибудь хочет поспорить, что это не так? Новую линию рисовать незачем, потому что ситуация Гамлета сходна с ситуацией Золушки, только они поменялись полами.

У него только что умер отец. Он подавлен. А мать тут же выскочила замуж за его дядю, ублюдка. Так что Гамлет опускается до того же уровня, что и Золушка, и вдруг к нему приходит его друг Горацио и говорит: "Гамлет, слушай, тут какая-то странность появилась на бруствере, думаю, тебе стоит пойти с ней поговорить. Это твой папа". Ну, Гамлет подхватывается и заговаривает с этим, как вам известно, довольно-таки реальным призраком. И тот говорит: "Я твой отец, меня убили, ты должен за меня отомстить, это проделки твоего дяди, вот как".

Ну, хорошие это новости или плохие? По сей день мы не знаем, был ли тот дух действительно отцом Гамлета. Если вы когда-нибудь пользовались планшеткой для спиритических сеансов, вам известно, что вокруг носятся зловещие духи — они могут наплести все что угодно, но верить им нельзя. Мадам Блаватская, которая знала о мире духов больше, чем кто бы то ни было, сказала, что только дурак всерьез относится к призракам, потому что часто они злые и нередко это духи людей убитых или совершивших самоубийство, или тех, кого так или иначе жутко обманули в жизни, и они жаждут мести.

Так что мы не знаем, была ли эта "странность" отцом Гамлета и плохие это были новости или хорошие. И Гамлет не знает. Но он говорит: "Ладно, я придумал, как это проверить. Найму актеров, чтоб разыграли сцену, где, как сказал призрак, дядя убивает отца, поставлю такой спектакль, и посмотрим, как поведет себя дядя". И он ставит спектакль. Но это вам не Перри Мейсон[1]. Его дядя не сходит с ума и не говорит: "Я... я... ты поймал меня, поймал, это я сделал, я". Провал. Ни хороших новостей, ни плохих. После этой неудачи Гамлет разговаривает с матерью, и тут вдруг слышит шорох за ковром, он думает, что там его дядя, и говорит: "Ну хорошо, хватит, надоело быть таким чертовски нерешительным" — и протыкает шпагой ковер. Ну, и кто выпадает? Этот пустозвон Полоний. Этот Раш Лимбо[2]. Шекспир относится к нему как к дураку и как к персонажу, от которого можно избавиться.



Знаете, недалекие родители думают, что совет, который Полоний дал своим детям, когда они уезжали, — именно то, что родители всегда должны говорить своим отпрыскам, а совет этот глупейший, и даже Шекспир считал его смехотворным.

"Не занимай и не ссужай"[3]. Но из чего состоит жизнь, как не из того, что мы бесконечно занимаем и ссужаем, даем и берем?

1. Герой романов Э. С. Гарднера, адвокат по уголовным делам. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Известный американский радиокомментатор.
3. Здесь и далее "Гамлет" цитируется в переводе Б. Пастернака.

"Всего превыше: верен будь себе". Будь самовлюбленным эгоистом!

Ни хороших новостей, ни плохих. Гамлета не арестовали. Он принц. Он может убивать, кого захочет. Он продолжает действовать, в конце концов ввязывается в дуэль, и его убивают. Ну и что, в рай он попал или в ад? Разница приличная. Золушка или насекомое Кафки? Не думаю, что Шекспир верил в рай или в ад больше, чем я. Так что мы не знаем, хорошие это новости или плохие.

Я только что продемонстрировал вам, что Шекспир такой же плохой рассказчик, как и любой арапахо[1].

Но мы признаём, что "Гамлет" — шедевр, по одной причине: Шекспир сказал нам правду, а люди на этих подъемах и спусках [*указывает на доску*] редко говорят правду. А правда в том, что мы очень мало знаем о жизни и на самом деле толком не разбираемся, что такое хорошие новости и что такое плохие.

Если я умру — боже упаси, — мне бы хотелось попасть в рай, чтобы спросить того, кто там командует: "Слушайте, какие в конце концов новости были хорошими, а какие плохими?"

<...>

7

11 ноября 2004 года мне стукнуло восемьдесят два. Что чувствуешь, когда тебе столько лет? Я начисто разучился парковаться за стоящей впереди машиной, так что, пожалуйста, не смотрите, когда я пытаюсь это сделать. И с силой притяжения, раньше куда более благожелательной, управляться стало намного труднее.

Когда вы доживете до моего возраста — если вы доживете до моего возраста, — и если у вас есть потомство, вы обнаружите, что задаете своим детям, которые уже сами в годах, вопрос: "Что же такое жизнь?" У меня семеро детей, трое их них — осиротевшие племянники.

Я задаю свой главный вопрос о жизни моему сыну, педиатру. Вот что ответил доктор Воннегут своему плохо соображающему старику-отцу: "Папа, мы здесь, чтобы помочь друг другу пройти через все это, чем бы оно ни было".

Независимо от того, насколько коррумпированными, жадными и бессердечными могут стать наше правительство, наши крупные корпорации, наши средства массовой информации, наши религиозные и благотворительные организации, музыка по-прежнему останется прекрасной.

Если я когда-нибудь умру, боже сохрани, пусть моей эпитафией будет это:

ЕДИНСТВЕННЫМ НЕОБХОДИМЫМ ЕМУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ
СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА
БЫЛА МУЗЫКА

1. Одно из индейских племен.

Во время нашей чудовищно идиотской войны во Вьетнаме музыка становилась все лучше, лучше и лучше. Между прочим, ту войну мы проиграли. Порядок в Индокитае восстановился лишь после того, как нас оттуда вышвырнули.

Та война всего лишь превратила миллионеров в миллиардеров. Сегодняшняя война превращает миллиардеров в триллионеров. Вот это называется прогресс!

И как так получается, что люди в тех странах, куда мы вторгаемся, не умеют воевать как подобает леди и джентльменам? Где их мундиры, танки, боевые вертолеты?

Но вернемся к музыке. Она заставляет практически каждого любить жизнь больше, чем они бы ее любили, если б в их жизни музыка отсутствовала. Даже военные оркестры, хоть я и пацифист, всегда улучшают мне настроение. Мне очень нравится Штраус, Моцарт и им подобные, но бесценный дар, который афроамериканцы преподнесли всему миру еще будучи рабами, был столь велик, что сейчас это почти единственное, за что многие иностранцы еще более-менее прилично к нам относятся. Дар этот — специфическое лекарство от охватившей мир эпидемии депрессии — называется блюз. Вся сегодняшняя эстрадная музыка: джаз, свинг, бибоп, Элвис Пресли, "Битлз", "Стоунз", рок-н-ролл, хип-хоп и так далее и так далее — происходит от блюза.

Дар миру? Один из лучших ансамблей стиля ритм-энд-блюз, который я когда-либо слышал, — три парня и девушка из Финляндии, игравшие в клубе в Кракове, в Польше.

Прекрасный писатель Альберт Мюррей, среди прочего историк джаза и мой друг, сказал мне, что в эпоху рабства в нашей стране — чудовищного злодеяния, от последствий которого мы никогда полностью не оправимся, — уровень самоубийств на душу населения среди рабовладельцев был намного выше, чем среди рабов.

По мнению Мюррея, дело тут в том, что рабы знали способ, как справляться с депрессией, неизвестный их белым хозяевам: они играли и пели блюз и так отгоняли Старика-Суицида. Есть у него еще одно, по-моему, верное, наблюдение. Он говорит, что блюз не может полностью очистить дом от депрессии, но загоняет ее в угол в любой комнате, где звучит. Так что, пожалуйста, запомните это.

Иностранцы любят нас за наш джаз. А ненавидят вовсе не за провозглашаемую нами всеобщую свободу и справедливое правосудие. Сейчас они ненавидят нас за наше высокомерие.

Когда я учился в начальной школе в Индианаполисе (школа Джеймса Уиткомба Райли № 43), мы, бывало, рисовали дома завтрашнего дня, корабли завтрашнего дня, самолеты завтрашнего дня — в общем, всякие свои представления о будущем. Как раз в то время в стране все остановилось. Заводы остановились, началась Великая депрессия, и популярным стало волшебное слово "Процветание". В какой-то момент наступит Процветание. Мы готовились к нему. Мы мечтали о домах, в которых должны жить в будущем люди, — об идеальных жилищах, идеальных средствах передвижения.

Сегодня все в корне изменилось. Моя дочь Лили, которой только-только исполнился двадцать один год, обнаружила, что ей, как и вашим

детям, как и Джорджу У. Бушу, который сам ребенок, и Саддаму Хусейну, и так далее и так далее, достались в наследство совсем еще недавняя — ужас! — история человеческого рабства, эпидемия СПИДа, ядерные подводные лодки, дремлющие на дне фьордов Исландии и в других местах, чьи команды готовы по первому приказанию с помощью ракет и бомб с термоядерными боеголовками запустить конвейер по превращению мужчин, женщин и детей в радиоактивный пепел и костную муку. Наши дети унаследовали технологии, побочные продукты которых, будь то военное или мирное время, стремительно разрушают нашу планету — систему, обеспечивающую человека жизненно неоходимыми водой для питья и воздухом для дыхания.

Любой, кто когда-либо изучал научные дисциплины и общается с учеными, легко заметит, что над нами нависла ужасная угроза. Человеческие существа, как в прошлом, так и сейчас, черт-те что творят с нашей Землей.

Надо взглянуть в лицо важнейшей сегодня истине — после этого, вероятно, над моими шутками вообще перестанут смеяться, — а именно: вряд ли людей волнует, продолжится жизнь на нашей планете или нет. Мне кажется, будто все живут, как участники программы "Анонимные алкоголики": абы день прошел. Еще пару дней прокантуемся — и хватит. Я знаю очень немногих людей, которых заботит, какой мир они оставят своим внукам.

Много лет назад я был весьма наивен и полагал, что мы сможем стать человечной и разумной Америкой, о которой мечтали множество моих ровесников. Мы мечтали о такой Америке во время Великой депрессии, когда у нас не было работы. Затем мы боролись — и многие умирали — за эту мечту во время Второй мировой войны, когда в мире не было мира.

Но сейчас я знаю: нет ни малейшей надежды на то, что Америка станет человечной и разумной. Потому что власть развращает нас, а абсолютная власть развращает абсолютно. Человек — это шимпанзе, до помешательства упивающееся властью. Не рискую ли я, называя наших правителей помешанными на власти шимпанзе, подорвать боевой дух наших солдат, сражающихся и умирающих на Ближнем Востоке? Нет, их боевой дух уже уничтожен — как уничтожены и многие из этих солдат. С ними обращаются — мне такого никогда не довелось испытать, — будто с игрушками, которые избалованный мальчик получил в подарок на Рождество.

<...>

12

<...> Чертовски трудно придумывать удачные шутки. В "Колыбели для кошки", к примеру, очень короткие главки. На каждую из них уходил день работы, и каждая — шутка. Если бы я писал о трагической ситуации, не было бы необходимости выверять текст, дабы убедиться, что он мне удался. С трагическими сценами редко случаются осечки. Они обязательно тронут читателя, если в них есть все надлежащие компоненты.

Но придумывать шутки — все равно что мастерить мышеловку из ничего. Приходится изрядно потрудиться, чтобы она сработала в тот момент, когда должна сработать.

Я по-прежнему слушаю комиков, но удачные шутки попадаются не часто — разве что, когда повторяют старую викторину Граучо Маркса[1] "Ставка — жизнь". Я знал писателей-юмористов, которые перестали быть юмористами, превратились в серьезных людей и потеряли способность шутить. Взять хотя бы Майкла Фрейна, английского писателя, автора "Оловянных солдатиков". Он стал очень серьезным человеком. Что-то у него в голове перевернулось.

Юмор — защита от жизни, способ отгораживаться от ее кошмарных сторон. Но когда очень устаешь, а новости слишком ужасны, юмор тебе отказывает. Марк Твен, например, считал, что жизнь довольно страшна, и шутками отгонял страх, но в конце концов, потеряв жену, лучшего своего друга, и двух дочерей, сдался и прекратил шутить. Что поделаешь: если вы живете достаточно долго, многие из ваших близких умрут раньше вас.

Может быть, и я больше не способен шутить — защитный механизм стал давать сбои. Одни люди умеют смешить, другие — нет. Я умел, но, возможно, все это в прошлом. Возможно, я пережил столько потрясений и разочарований, что юмор мне больше не защитник. Возможно, я становлюсь ворчуном, потому что за жизнь повидал так много оскорбительного для себя, что справляться с новыми напастями с помощью юмора не могу.

Да, такое вполне могло произойти. Я правда не знаю, насколько еще изменюсь. Просто еще поживу и погляжу, что станется с моим телом и мозгами. Меня до сих пор изумляет, как это я стал писателем. Не думаю, что я могу управлять своей жизнью или тем, что пишу. Каждый второй из известных мне писателей считает, что контролирует себя, у меня же такого чувства нет. Я просто плыву по течению.

Единственное, что мне в самом деле всегда хотелось делать — это смехом облегчать людям жизнь. Юмор может принести облегчение, как таблетка аспирина. Если через сто лет люди еще не разучатся смеяться, я, конечно, буду очень рад.

Я приношу свои извинения тем из вас, кто является ровесником моих внуков. Многие из читающих эти строки, вероятно, и впрямь их ровесники. Всеми вами самым распрекрасным образом управляют наши корпорации и правительство поколения "бэби-бумеров".

Да, на нашей планете творится черт-те что. Но так было всегда. Какие там "старые добрые времена!" — были просто "времена", да и только. И я говорю своим внукам: "Не оглядывайтесь на меня. Я только что сюда попал".

Всегда найдутся старые олухи, которые скажут, что ты не станешь взрослым, пока, подобно им, не переживешь какой-нибудь страшной катастрофы типа Великой депрессии, Второй мировой войны, Вьетнама, чего угодно. Ответственность за этот разрушительный, если не сказать

1. Граучо Маркс (1890–1977) — один из трио знаменитых комиков — братьев Маркс, в 50-е годы ведущий телеигры "Ставка — жизнь".

самоубийственный, миф несут сочинители. Вновь и вновь в разных историях после какой-нибудь жуткой заварухи персонаж может сказать: "Отныне я — женщина. Отныне я — мужчина. Конец".

Когда я вернулся домой со Второй мировой войны, мой дядя Дэн похлопал меня по плечу и сказал: "Теперь ты мужчина". Поэтому я его убил. Не взаправду, но чувствовал себя так, будто это сделал.

Дэн — мой плохой дядя, поскольку сказал, что человек мужского пола не может стать мужчиной, пока не побывает на войне.

Но у меня был и хороший дядя, уже покойный дядя Алекс, младший брат моего отца, бездетный выпускник Гарварда, честно служивший агентом по страхованию жизни в Индианаполисе. Он был начитанный и мудрый. Главной его претензией к другим людям было то, что они часто пропускают момент, когда им хорошо. Так что, к примеру, когда мы, потягивая лимонад летом под яблоней, лениво болтали о том о сем, можно сказать, жужжали как пчелы, дядя Алекс вдруг прерывал милую болтовню и восклицал: "Ну, если *это* не прекрасно, то уж и не знаю, как это назвать".

И теперь я делаю то же самое — как и мои дети, и мои внучата. И вас призываю: пожалуйста, замечайте, когда вам хорошо, воскликните, пробормочите или подумайте в какой-то момент: "Ну если *это* не прекрасно, то уж и не знаю, как это назвать".

Мы не рождаемся с воображением. Его нужно развивать — и этим должны заниматься учителя, родители. Бывали времена, когда без воображения было очень трудно обойтись: оно служило основным источником развлечения. Если бы вам было семь лет в 1892 году и вы прочли историю — очень простую историю — о девочке, у которой умерла собака, разве вам не захотелось бы заплакать? Разве вы бы не поняли, что́ чувствует эта девочка? Или, предположим, вы прочли другую историю — о богаче, который поскользнулся на шкурке от банана. Разве она бы не вызвала у вас смех? Так в вашей голове начинает действовать, будоража вас, воображение. Ну а если вы идете в художественную галерею, где висит испятнанный красками квадрат, который сотни лет оставался неподвижен и не издает ни звука? Что тогда?

Можно научить воображение откликаться на самые незаметные сигналы. Книга — это композиция из двадцати шести фонетических символов, десяти цифр и примерно восьми знаков препинания, но, заглянув в нее, люди могут представить себе извержение Везувия или битву при Ватерлоо. Сейчас, правда, учителям и родителям незачем развивать ваше воображение. Для этого теперь существуют профессионально поставленные шоу с превосходными актерами, очень выразительными декорациями, звуком и музыкой. Имеется, так сказать, информационный хайвей. Воображение нам нужно не больше, чем представление о том, как ездить на лошади. Тем же из нас, у кого воображение развито, достаточно посмотреть кому-нибудь в лицо, чтобы увидеть целую историю; для всех остальных лицо это будет просто лицом.

Обратите внимание: я только что поставил точку с запятой, которыми в начале призывал вас никогда не пользоваться. Специально подчеркиваю: я это сделал. Смысл вот в чем: правила — даже хорошие — не всегда обязательно соблюдать.

Михаил Шишкин
Как сделан рай

Отрывки из книги "Монтрё–Миссолонги–Астапово. По следам Байрона и Толстого. Литературная прогулка от Женевского озера в Бернские Альпы"

Перевод с немецкого Ольги Козонковой

"Швейцария расположена почти в самом центре Европы, и меня весьма удивляет, что она, по всей видимости, так мало известна: бóльшая часть простых людей не имеет о ней ни малейшего понятия, и даже некоторые мужи, воспитанные для дипломатической службы, не знают названий кантонов или какую религию там исповедуют" – так начинается книга "Отчет о Швейцарии" англичанина Абрахама Стеньена, опубликованная в 1714 году.

И теперь, спустя почти три столетия, в сущности, мало что изменилось. Только ленивый или нелюбопытный не бывал сегодня в этой таинственной стране, но мало кому удалось заглянуть внутрь упаковки, проникнуть в глубь фотографии, запечатлевшей путешественника перед люцернским львом или на горнолыжном курорте. И речь сейчас вовсе не о том, что туристы недовольны усердно создаваемым имиджем Швейцарии как каникулярной страны (вездесущий рекламный слоган: "Наконец-то отпуск – Швейцария Ваша"). Тот, кто захочет увидеть не только Швейцарию, выставленную на продажу, кто решит познакомиться с ее историей, понять ее психологию, менталитет швейцарцев, очень скоро натолкнется на невидимые, но очень крепкие стены. Эта страна четырех языков открыта для всех, но только до определенного предела, по достижении которого вам вежливо укажут на всех этих языках: "Просьба не входить!"

Швейцария – страна за семью печатями. Так же как и Россия. Страна только для посвященных.

В этом есть нечто иррациональное, невыразимое словами. Василий Розанов, рассуждая о своей родине, превосходно описал это: "Ты внимательно смотришь на русского... Он внимательно смотрит на тебя...

И все понятно.

И не нужно слов.

С иностранцем так никогда не получится".

В этом швейцарцы похожи на нас. Прежде чем они заговорят с тобой, включается механизм распознавания: свой или чужой? От ответа на этот вопрос зависит, как с тобой будут говорить и как отнесутся к твоему мнению о Швейцарии.

© Михаил Шишкин, 2002
© Ольга Козонкова. Перевод, 2008

Зарубежный визитер интересен для швейцарцев лишь до тех пор, пока не начнет восхищаться их страной, причем по традиционному образцу: везде чистота, природа красива, все безупречно организовано, часы можно сверять по трамваям и так далее. Иностранец, до того показавший себя весьма занимательным собеседником, становится невероятно банальным, когда речь заходит о Швейцарии. Его вежливо слушают со снисходительной улыбкой взрослого, которая, собственно, означает: "Только мы здесь что-то понимаем, куда уж ему? Мы заранее знаем, что́ он собирается сказать, мы знаем, что сейчас он примется восторженно разглагольствовать о райском уголке, и эта эйфория уже очень скоро сменится жалобами на скуку!" В то же время от иностранца и ждут чего-то в этом роде, ждут похвал и энтузиазма, как в ресторане, где принято делать комплименты повару.

Если же турист, вопреки ожиданиям, станет ругать Швейцарию, реакция будет примерно следующей: "Ну и ладно, да ради бога, он же дальше своего носа не видит, нашу настоящую жизнь ему все равно не понять, это все стереотипы и клише". Однако мнение иностранца в любом случае выслушают внимательно. По отношению к зарубежным посетителям здесь действуют те же правила поведения, что и по отношению к клиенту, который, как известно, всегда прав: потенциального покупателя продавец бутика обслуживает с вежливой улыбкой, скрывающей в лучшем случае снисходительность, в худшем — презрение.

А вот своим не прощают. Местным "очернителям" жизнь отравляют безжалостно, как, например, Максу Фришу.

Кому-то хватает отпуска, чтобы составить мнение об этой стране, а я вот живу здесь уже несколько лет, и вроде разобрался в своих впечатлениях. Но нет, не все так просто.

Что-то здесь не так.

К Швейцарии можно привыкнуть, но поверить, что она действительно существует, не получается. По одной простой причине: Швейцарию можно придумать, но нельзя воплотить в жизнь. Лучшие общественные системы рушатся из-за человеческого фактора, так почему же не рушится Швейцария? Или: почему она до сих пор не рухнула?

Я не верю в чудеса, и долгое время мне казалось, что меня хотят разыграть, обмануть. Я хорошо помню, что прошло довольно много времени после моего приезда сюда, прежде чем исчезло странное чувство, что все происходящее вокруг нереально, какой-то бал-маскарад. Я помню, как потом это чувство сменилось доверчивым удивлением: да, это все существует на самом деле, это не обман зрения, железная дорога — не игрушечная, ландшафт — не нарисован, а дома и коров на нем не расставляли по заранее продуманному плану.

Я приехал сюда из России, где все время обещают чудеса, где их все ждут и уверены, что рано или поздно чудо случится, и в то же время всем ясно, что чудес не бывает.

Здесь чудом можно считать все, начиная с того, что стрела Телля не попала его сыну в горло или живот, и заканчивая самим фактом существования этой страны.

Мировые войны пощадили ее — разве это не чудо? Как если бы фарфоровый сосуд в посудной лавке остался цел и невредим, несмотря на то, что туда с топотом ворвалось стадо слонов и устроило побоище.

Эта страна — географический нонсенс. Естественные преграды здесь не формируют границ. Границы проходят там, где их быть не должно, и отсутствуют там, где они естественным образом могли бы возникнуть, обусловленные водными преградами и климатическими условиями, различиями в языках, менталитетах и культурах.

Здесь все существует вопреки человеческой природе. Различные вероисповедания, разница темпераментов, вкусов и пристрастий, словом, все, что обычно порождает ненависть и почти неизбежно ведет к кровопролитию, не мешает здесь терпимости, пониманию и взаимоуважению. Создание этого государства было делом, по сути, невозможным, и все-таки оно существует, и это нам по привычке кажется само собой разумеющимся. Во всем мире столетиями изгоняли инакомыслящих, здесь же — снова и снова принимали изгнанников. Принадлежность к меньшинству — недостаток повсюду — а здесь становится достоинством. Эта страна включает три различные культуры, ее культурные векторы центробежны, и все же она не распадается. Никто не стремится отделиться, не требует суверенного государства, не организует партизанских отрядов, не создает освободительной армии, не взрывает бомб.

Что-то здесь не то, так не бывает. Никто не поверит, если рассказать. Слишком все это напоминает идеальное государство, грезу эпохи Великих географических открытий, как будто речь идет о Городе солнца, о царстве не от мира сего.

И если существует Некто, выдумавший такое, можно ли предположить, что этот Некто нуждается в столь противоестественном образовании, защищает его, холит и лелеет?

Так фокусник показывает нам вещи, которых нет и не может быть, но которые все же существуют. И я вижу это собственными глазами. Я — часть этого удивительного фокуса, я вижу то, чего быть не может, и этим утверждаю реальность невозможного. <...>

Путь хорошо обозначен. Обычай заботиться о путниках зародился давно, как я узнал из книги Бриделя Филиппа-Сириса "Прогулка по горам Юра", вышедшей в 1794 году. Уже здесь упоминаются такие немые проводники: "Трудно перехвалить дружескую заботу о путешественнике, которого на этом труднопроходимом пути сопровождают укрепленные на столбах деревянные таблички в форме руки с указующим перстом".

Неудивительно, что здесь так трогательно заботятся о туристах, ведь туризм играет ключевую роль в создании образа Швейцарии, живущего в сознании не только иностранцев, но и самих швейцарцев.

И при сотворении Швейцарии "в начале было слово". Страну создали описания путешествий, слова наложились на реальность.

Швейцария возникла как противоположность тому, что было знакомо до отвращения. Создавая Швейцарию, пишущие дивились не столько ей, сколько своей прежней жизни. Иное, неожиданное повергало в изумление. Так, для Симплициссимуса, героя знаменитого романа Гриммельсгаузена, попавшего в Швейцарию из разоренной Германии, уже одного того, что он не столкнулся здесь с ужасами войны, было достаточно, чтобы полагать, что он очутился в Эдеме: "Все в этой стране показалось мне весьма дивным, не как в других немецких землях, словно бы я очутился в Бразилии или в Китае. Я узрел, как там в мире и тишине

всяк занят своим ремеслом, хлевы полны скотиною, мужицкие дворы кишат курами, утками и гусями; улицы безопасны для путешественников, в трактирах полным-полно людей, предающихся веселию. Там живут, не ведая страха перед неприятелем, опасения грабежа и заботы лишиться своего добра, здравия, а то и самой жизни; всяк живет беспечно среди своих смоковниц и виноградников и, ежели сравнить с другими немецкими землями, в полном довольстве и радости, так что я почел сию страну земным раем, хотя по своим обычаям она казалась порядком грубой"[1].

Один из краеугольных камней в сотворение мифа о Швейцарии заложил Альбрехт фон Галлер. Сын бернского патриция, позже профессор медицины, он в 1729 году предпринял путешествие по высокогорью вместе со своим другом, цюрихским ботаником и поэтом Иоганном Геснером. В путешествии он написал поэму "Альпы", где противопоставил "испорченным нравам" обитателей городов и княжеских дворов мир благородных убеждений и чистых помыслов. Следующие строки из этого стихотворения стали для многих поколений литераторов чем-то вроде обращения в "швейцарскую веру":

> Взгляни на презренный народ, что смеется в трудах и заботах,
> Пойми, что счастливым тебя может сделать Природа[2].

Существование золотого века, однако, связано с одним неизбежным условием – наличием непроницаемой стены, непреодолимых препятствий, преграждающих вход.

Обитатели швейцарских гор, идеализированные Галлером, конечно же не имели ничего общего с настоящими бедняками из кантона Берн, родины поэта. Его земляки из плоти и крови, покидавшие по причине крайней бедности их Богом забытые долины и нанимавшиеся на солдатскую службу, не годились для идиллических эклог и другой буколической поэзии.

Поэма "Альпы", написанная двадцатилетним Галлером под впечатлением образовательного путешествия в тогда еще едва открытые горы, известна достаточно, но кто слышал о том, что в своем зрелом творчестве он обратился к России? И что при этом продолжил развитие альпийской темы? Его идеальная Швейцария не выдержала натиска научного освоения Альп и устремившихся туда туристов. Сам Галлер по политическим причинам покинул родину и долгое время жил изгнанником в Германии. Он внимательно читал отчеты о не знакомых ему местностях России и много писал о ней. На книгу своего друга Гмелина о Сибири он отреагировал с таким же пафосом, с каким когда-то воспевал Альпы.

> Где у пределов земли Россия кончается
> И с Западом крайним граница Востока сливается,
> Куда не проникло еще любопытство людское,
> Где чудные звери народам неведомым служат,
> Где руды сокрытые ждут поколенье другое,
> Где дикие травы лишь с ветром и радугой дружат,
> Природа там спрятала новый, неведомый мир,
> Пока Гмелин его не открыл[3].

1. Ганс Якоб Кристоф Гриммельсгаузен. Симплициссимус / Перевод А. А. Морозова. – Л.: Наука, 1967. С. 293.
2. Перевод М. Куличихиной.
3. Перевод М. Куличихиной.

Здесь Россия воспевается как таинственный новый мир, и чувствуется та же тоска по неиспорченной жизни, что и в "Альпах". Русский материал, который Галлер почерпнул в книге Гмелина, он использовал в романе "Узонг" (1771), где изображается образцовое государство, расположенное на просторах России, где-то за Уралом. Повернувшись спиной к Альпам, республиканец Галлер вновь противопоставил швейцарской и европейской действительности иной мир: он представил своим читателям идиллию, он создал идеальную картину просвещенного абсолютизма, деспотии с человеческим лицом в далекой и недоступной восточной стране. А миф о Швейцарии давно уже шел своей дорогой.

В XVI и XVII столетиях английская культурная элита не включала Швейцарию в маршрут образовательных путешествий. Лишь изредка путешественники — по пути к итальянским сокровищницам искусства — ненадолго заезжали в Женеву, чтобы вдохнуть кальвинистского воздуха и мельком взглянуть на местную жизнь. Для большинства Швейцария была только транзитной остановкой в классическом гранд-туре, а часто ее и вовсе объезжали стороной. Однако в середине XVIII века ситуация изменилась. Когда Казанова посетил Галлера, на закате жизни вернувшегося в Берн, и поинтересовался его мнением о появившейся в 1761 году "Юлии, или Новой Элоизе", то услышал в ответ, что это "самый велеречивый из романов и потому самый плохой". Вскоре, однако, именно благодаря роману Руссо, несмотря на его излишнее, по мнению швейцарского просветителя, красноречие, на швейцарские Альпы перестали смотреть просто как на неудобство в пути.

После окончания Семилетней войны и подписания мира в Хубертусбурге больше ничто не препятствовало толпам паломников из всех стран Европы отправляться в Швейцарию — вслед за Руссо к местам действия "Новой Элоизы". (Долгое время это были преимущественно англичане, совершавшие гранд-тур по Европе: в середине XVIII века на двадцать путешественников приходилось четырнадцать англичан.)

Однако и Руссо не столько описывал Альпы и реальную Швейцарию, сколько создавал их. И природа, которую он так страстно искал, тоже выдумана: "Тот, кто говорит о естественном состоянии, тот говорит о состоянии, которого больше не существует, которое, возможно, никогда не существовало и, вероятно, никогда не будет существовать, но которое тем не менее нужно себе представить, чтобы лучше понять настоящее". По мнению Руссо, Швейцарию населяла особая порода людей. Этим горцам, далеким от искусств и наук, ничто не мешало жить согласно их естественным ощущениям. Философ наделил их качествами, которым не было места в салонах Парижа и Лондона, где, как он полагал, тщетно искать чистые нравы, честность, благородство, свободолюбие и прочие добродетели. И не важно, встречались ли эти качества в реальных альпийских хижинах чаще, чем при дворах. Швейцария неудержимо превращалась из реальной страны в эстетический континуум.

Поток паломников из самых разных стран вскоре вызвал потребность в книгах, указывающих путь к "святым местам". Во второй половине XVIII века появление новых книг о Швейцарии можно сравнить с извержением вулкана. Но путевая проза расцвела не оттого, что многочисленные читатели враз захотели окунуться в увлекательное путешествие. Скорее так случилось именно потому, что далеко не каждый мог се-

бе это позволить. Большинство довольствовалось тем, что в тишине своей каморки с помощью воображения и слов переживало мысленно путешествие, которое другим удалось совершить на самом деле.

В круг обязательного чтения входили опубликованные в 1779 году "Заметки о природном, гражданском и политическом состоянии Швейцарии" британского писателя и историка Уильяма Коукса; они не только неоднократно переиздавались, но и существовали в переводах на многие языки и выходили все снова и снова в переработанной, списанной и переписанной форме. С полным правом можно утверждать, что эта книга, в ее французской версии, сформировала представление о Швейцарии в умах более или менее образованных европейцев того времени. Она представляет собой детальный отчет о путешествии и содержит описание различных пешеходных путей – что-то вроде энциклопедии страны скорее мифической, нежели реальной.

Если какая-то книга о Швейцарии имела успех, запускалась цепная реакция. Как грибы, появлялись описания путешествий. Все переписывали друг у друга, формировались определенные каноны, нарушать которые было нельзя. Например, в каждом путеводителе воспевалась красота девушек из Мейрингена, в самом восторженном тоне восхвалялась любовь швейцарцев к свободе, выражалась растроганность простыми и благочестивыми изречениями на крестьянских домах, на вершине горы возносилась благодарственная молитва Всевышнему (кстати, эта традиция восходит еще к Петрарке). То, что в литературе было названо достойным посещения, привлекало все больше туристов; колесо, однажды приведенное в движение, вращалось своим ходом. Всевозможные литераторы навещали описанные в книгах места, а затем воспевали их и сами. Новые тексты вызывали к жизни новые волны туристов и новые поколения литераторов, которые в свою очередь снова писали о Швейцарии. Авторы путевой прозы давали что-то вроде негласной клятвы на лугу Рютли, участвуя таким образом в создании виртуальной конфедерации.

Каждая из великих европейских культур располагает собственными вехами на пути к швейцарской утопии. В английской поэзии не кто иной, как Уильям Вордсворт, преданный почитатель Руссо и усердный путешественник, еще до Байрона во многом определил образ этой страны. В 1790 году он в течение многих месяцев пешком странствовал по Франции и Германии, проходя за день не менее тридцати миль. Он, конечно, следовал по маршруту, предписанному Уильямом Коуксом. Свои впечатления девятнадцатилетний лирик отразил в "Описательных заметках", где тщательно отполировал образ свободолюбивого швейцарца:

> Ничей не раб, но господин зверей,
> Идет с мечом и с книгой он, и с флейтой верною своей[1].

Россия увидела Швейцарию глазами Николая Карамзина. Именно Карамзин, заложивший основы нового русского языка, переписал миф о Швейцарии в русской тональности. "Письма русского путешественника", результат его путешествия по Швейцарии в 1789 году, можно назвать своеобразным видом на жительство, данным этому мифу в рус-

1. Перевод М. Куличихиной.

ском культурном пространстве. В отличие от своих западноевропейских коллег-писателей той эпохи Карамзин не мог при изображении Швейцарии опираться на предшественников, в русской литературе подобной традиции не существовало. Еще не было русской Швейцарии.

Русская литература XVIII века напоминала мальчика, уже давно достигшего школьного возраста, который, однако, начал учиться очень поздно и страстно хочет догнать своих далеко ушедших вперед товарищей. Карамзин жадно перенимал жанры, вкусы, литературные моды и слова. Уже невозможно представить, сколько слов и выражений, звучащих сегодня совершенно по-русски, вошли тогда в обиход благодаря Карамзину, будучи заимствованиями из немецкого или французского.

Карамзин был прилежным школяром и позже освободился от влияния своих учителей, как это рано или поздно делает каждый талантливый ученик. Он был уже в зрелом возрасте, когда превзошел их и создал первую многотомную историю России. А в 1789 году двадцатидвухлетний московский дворянин из старинного рода отправился путешествовать по Европе и написал затем свои "Письма", причем так, как будто ему нужно было сдать экзамен на знание западноевропейской культуры. Экзамен он сдал без труда, ибо тщательно к нему подготовился и много чего прочел. Например, он хорошо изучил французское переложение книги Уильяма Коукса, познакомился с "Путешествием в Альпы" швейцарского естествоиспытателя Ораса Бенедикта де Соссюра и, конечно, знал наизусть Руссо. Для работы над "Письмами" Карамзин использовал также около дюжины томов немецкой путевой прозы. Поэтому он на все вопросы дал правильные ответы: в Мейрингене воспел красоту девушек, на вершине горы вознес молитву Всевышнему, в восторженном тоне похвалил свободолюбие швейцарцев, растроганно улыбнулся простым и набожным изречениям на крестьянских домах, отправился – конечно, с "Новой Элоизой" под мышкой – почтить своим присутствием святые места, запечатленные Руссо, и так далее и тому подобное.

Трудно переоценить значение книг Карамзина, их новизну и тогдашнюю актуальность в контексте бесконечного русского спора о том, "куда идти России": отправиться ли ей туда, где она примет всечеловеческие "западные" ценности, или найти дорогу к самой себе и при этом утвердить особую, пусть даже "варварскую" своеобычность. Что же касается образа Швейцарии, то Карамзин целиком и полностью перенял литературный стереотип, сложившийся в Западной Европе. Ему нужен был уже существующий миф, чтобы использовать его в отчаянной борьбе "русских идей". Швейцария стала подручным средством при строительстве русского дома.

Насколько сильно различаются Швейцария как эстетическая конструкция и Швейцария как реальная страна, видно по разнице между изображениями "швейцарца" в литературных текстах, предназначенных для широкой публики, и в менее отшлифованных личных письмах и дневниках.

Возьмем, например, Вордсворта, английского романтика, который с увлечением воспел "литературного швейцарца". В сентябре 1790 года он писал своей сестре из Гриндельвальда: "Что касается поведения жителей этой странной страны, то впечатления, получить которые нам представилась возможность, были неблагоприятны; но нельзя забы-

вать, что мы встречались почти исключительно с хозяевами постоялых дворов и им подобными, испорченными постоянным общением с чужестранцами. <...> Моя любовь к Швейцарии, вызванная ее природными красотами, позволяет надеяться на учтивое поведение жителей; но в то же время я часто вынужден сравнивать их с французами, и, сколько я мог заметить, швейцарцы очень сильно проигрывают при таком сравнении". Как видим, реальные швейцарцы были скорее помехой в сотворении литературной Швейцарии.

Разница между воспетой Швейцарией и тем, что Гёте увидел собственными глазами, подвигла его в "Фрагментах путешествий Вертера" высказать следующие сомнения: "Как? Швейцарцы свободны? Свободны эти зажиточные граждане в запертых городах? Свободны эти жалкие бедняги, ютящиеся по отвесам и скалам? На чем только человека не проведешь! Особливо на такой старой заспиртованной басне"[1]. Но эти слова были смыты мощным валом литературной традиции, воспевавшей свободолюбивого потомка Телля.

В стороне от литературного мейнстрима, идеализирующего Швейцарию, стоял и Август Вильгельм Шлегель. У него была возможность познакомиться со страной изнутри: в 1804 году он стал секретарем, домашним учителем и переводчиком Жермены де Сталь и вплоть до ее смерти жил в принадлежавшем ей поместье Коппе под Женевой. В эпоху наполеоновских войн и смут поток туристов иссяк, и реальный Бернский Оберланд начал чахнуть, бедность и нужда обрушились на провинцию, многие далеко не идиллические пастухи и пастушки уезжали, чтобы не умереть с голоду. Шлегель увидел страну свободолюбивых швейцарцев совсем с другой стороны: он и мадам де Сталь вынуждены были мириться с кружащими вокруг шпионами, докладывавшими в Париж о каждом их шаге и каждом слове; и из страны, где, как они надеялись – увы, напрасно, – Наполеон их достать не сможет, они бежали дальше, в Россию. В своей работе "Швейцария в целом" (1808) Шлегель высказывает лишь удивление по поводу мифа о Швейцарии: "Когда люди, следуя моде, действуют, не руководствуясь собственным умом и чувством, место истины занимают перевернутые воззрения и напускное умиление. Швейцарские красоты хвалили преувеличенно и чрезмерно. Неприступные вершины есть и в Савойе, прелестные озера у подножия гор – и в Ломбардии, Тироль и Зальцбург могут похвастать не менее дикими горными пейзажами".

Байрон был одним из тех, кто своими "швейцарскими" произведениями, "Шильонским узником" и "Манфредом", энергично приложил руку к популяризации Швейцарии, что не следует понимать как всего лишь метафору. Он сделал это и в буквальном смысле: каждое лето тысячи туристов отправляются в Шильонский замок, чтобы увидеть его имя, когда-то нацарапанное им на одной из колонн в застенке Бонивара. Сначала я сомневался, не вырезал ли эти защищенные стеклом буквы какой-нибудь сотрудник туристического бюро, но в письмах Байрона часто встречаются упоминания, что подобным образом он увековечил себя и в других местах. Например, он и его друг Хобхаус во

1. И. В. Гёте. Письма из Швейцарии / Перевод А. Габричевского // И. В. Гёте. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 6. – М.: Худож. лит., 1978. С. 105.

время их восточного путешествия нацарапали свои имена на колоннах одного дельфийского храма. <...>

Изображение Альп и Швейцарии в литературных произведениях Байрона безупречно вписывается в традиционные клише, чего нельзя сказать о его наблюдениях, которые он позволял себе в общении с друзьями по поводу другой, не литературной Швейцарии: "Швейцария — чертовски эгоистичная, свинская страна грубиянов, расположенная в чрезвычайно романтической части этого мира. Я всегда терпеть не мог ее жителей и еще меньше — их английских визитеров".

Уже в тридцатые-сороковые годы XIX века возникло подозрение, что швейцарцы и сами приложили руку к упрочению мифа о себе и своей стране. Идиллию, ради которой приезжали туристы и которой, к сожалению, не было даже в Швейцарии, намеренно стали тщательно полировать, чтобы она отвечала требованиям рынка. Хозяева прилагали все усилия, чтобы не разочаровать клиентов и превратить их альпийское путешествие в паломничество к незамутненным истокам человечества, в событие духовного плана. Реальные швейцарцы предлагали себя легковерным туристам в качестве пастухов и пастушек, живущих естественной жизнью. Проще говоря, реальные швейцарцы зарабатывали тем, что работали идеальными швейцарцами. Это еще в 1843 году заметил Марко Миньетти, чью книгу "Обращение со Швейцарией" я хочу процитировать: "Мне кажется, что Оберланд и прежде всего Интерлакен испорчены приезжими. Во мне вызвали глубокое отвращение все эти пастухи, которые мерялись силами, борясь по старинным обычаям, а на самом деле были не кем иным, как гансвурстами на ярмарке; эти крестьянки, которые гнали коз на луга у скал, а на самом деле были парижскими кокотками. <...> С одной стороны, фальсификация, с другой — реклама. Это болезни нашего века (у каждой эпохи свое несчастье); пусть каждый постарается их избежать, и горе тому, кто попадется!"

Во время путешествия Толстого по Швейцарии серая, несколько сомнительная тень реальности падала уже и на страницы путеводителей. В середине XIX века "Бедекер" обращал внимание своих читателей на некоторые болезни цивилизации в этой стране: "Терпение и мелкая монета крайне необходимы в Бернском Оберланде. Любыми способами и под любыми предлогами здесь атакуют кошельки путешественников. Где-то предлагают ягоды, цветы и кристаллы, в других местах показывают серн и сурков. <...> Одна хижина высылает нищенствующих детей, другая — дерущихся пацанов; на каждом углу можно услышать альпийского виртуоза или квартет совершеннолетних и несовершеннолетних певиц, выстроившихся красивыми рядами; в перерыве предлагается сделать выстрел из пистолета, чтобы разбудить эхо; наконец, полдюжины детей ожидают чаевых за то, что помогают открыть многочисленные решетки. Нищенство превратилось в Оберланде в свободное искусство".

У Достоевского пропасть между двумя параллельно существующими странами — сочиненной и реальной Швейцариями — еще больше увеличилась. Привожу несколько отрывков из писем, отправленных им из Женевы и Веве в период работы над "Идиотом" (1867—1868): "О, если б Вы знали, как глупо, тупо, ничтожно и дико это племя! Мало проехать, путешествуя. Нет, поживите-ка! Но я не могу Вам теперь описать даже и

вкратце моих впечатлений; слишком много накопилось. Буржуазная жизнь в этой подлой республике развитее nec-plus-ultra[1]. В управлении и во всей Швейцарии – партии и грызня беспрерывная, пауперизм, страшная посредственность во всем. <...> Нравы дикие; о, если б Вы знали, что они считают хорошим и что дурным. Низость развития: какое пьянство, какое воровство, какое мелкое мошенничество, вошедшее в закон в торговле". Или: "И как здесь грустно, как здесь мрачно. И какие самодовольные здесь хвастунишки! Ведь это черта особенной глупости быть так всем довольным". И еще один пример: "О, если б Вы понятие имели об гадости жить за границей на месте, если б Вы понятие имели о бесчестности, низости, невероятной тупости и неразвитости швейцарцев. Конечно, немцы хуже, но и эти стоят чего-нибудь! На иностранца смотрят здесь как на доходную статью; все их помышления о том, как бы обмануть и ограбить"[2].

В романе "Идиот" образ Швейцарии подчиняется уже другим, литературным законам. Мир слов следует собственным неколебимым правилам. Достоевский неоднократно признавался, что он "вырос на почве Карамзина", на почве его "Писем русского путешественника". Князь Мышкин, главный герой романа, был задуман как "невинный" человек, чуждый любым порокам, олицетворяющий простодушие и открытость, то есть все те качества, что украшают "естественного человека" Руссо. "Естественный человек" и у Руссо, и у Достоевского – родом из Альп, так что вовсе не случайно князь Мышкин в начале романа возвращается домой, в русский "грешный" мир, именно из Швейцарии. Реальный Достоевский жил в реальной Швейцарии, его литературный герой, однако, мог вернуться только из литературной Швейцарии, которая считалась символом простых нравов, невинных чувств и неиспорченного сердца. Мир литературы имеет собственное прошлое и собственную реальность. Литературная традиция сильнее жизни.

Обе страны, реальная и придуманная Швейцарии, сосуществовали, то наслаиваясь друг на друга, то отдаляясь. Одна страна была только для своих, другая – для чужих. Чужому показывали лишь сцену с роскошными декорациями. За кулисами не было места для непосвященных.

Страна, жившая за счет этого мифа, прилагала все усилия, чтобы его сохранить, ведь благодаря ему приезжали туристы, обеспечивавшие существование. Обе Швейцарии больше не могли обходиться друг без друга. Реальная страна срослась со своим мифом, и от этого симбиоза никто не хотел и не мог отказаться. Обе Швейцарии питали и формировали друг друга подобно тому, как актер врастает в роль, становится на сцене Гамлетом или слугой, одновременно оставаясь собой. Он творит героя для сцены и театральной действительности, но, едва появившись, герой влияет и на актера, особенно если тот даже после представления все еще продолжает жить на сцене и не снимает грима.

Пьесу разыгрывали с учетом предпочтений публики, и репертуар составляли сообразно ее вкусам. Со временем форма менялась. Постепенно путешествие в виде долгой пешей прогулки, подобно любому

1. Дальше некуда (*лат.*).
2. Письма А. Н. Майкову от 31 декабря 1867 г. (12 января 1868 г.), 9 (21) октября 1867 г., 22 июня (4 июля) 1868 г. Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений в 30 т. Т. 28. Кн. 2. Письма 1860–1868. – Л.: Наука, 1985. С. 226, 243, 303.

культу, который, расширяясь, теряет сакральность и продолжает существовать только как ритуал, как пустая оболочка, изменилось; оно стало массовым, из занятия немногих посвященных превратилось в один из способов здорового времяпрепровождения. Путь внутрь, туда, где раньше надеялись отыскать в себе "естественного человека", со временем снабдили аккуратными табличками: "Предположительное время в пути 5 часов 55 минут". Молитва, которую когда-то возносили на вершине горы, сменилась обедом в ресторане на обдуваемых ветром высотах, с прекрасным видом на окрестности. <...>

Утро в отеле. Взгляд мой падает на рекламу, лежащую на ночном столике у кровати, — фестиваль Телля в летнем театре Маттена.

Уже сам факт, что на протяжении многих поколений сотни актеров-любителей из ближних деревень дважды в неделю — дождь ли, солнце ли — играют Шиллера, свидетельствует о том, что дело тут не только в сбыте товара или дополнительном заработке: существует своего рода местный культ, в котором горы исполняют роль алтаря, а человек с арбалетом занимает место святого. Как же не воспользоваться такой возможностью порассуждать о фигуре на носу швейцарского корабля!

Великий Никто. Выдуманная национальная идентичность. Несгибаемый борец за свободу, по приказу тирана целящийся в собственного сына. Стрелок, попадающий в цель без промаха, сам ставший мишенью во всевозможных идеологических и политических стрельбах. Словосочетание, несколько букв, которые создали новую реальность и повлияли на судьбы многих смертных. Духовный отец законопослушной нации и святой, покровительствующий палестинским и баскским террористам. Мужчина с арбалетом, которого понимали превратно и продавали на рынке, воспевали и почитали, которым восхищались, при этом злоупотребляя его именем, над которым насмехались и на которого клеветали...

О Вильгельме Телле написано очень много книг, и я уверен, что напишут еще не одну дюжину. Когда я пытаюсь вникнуть в суть размышлений авторов, мне приходит на ум, что они постоянно ломают голову над тем, как же все было на самом деле. Очевидно, они глубоко убеждены, что ответ на этот вопрос все объяснит. Если Телль только фантазия, кто же тогда убил Геслера? А если Геслера не было, кого отправили на тот свет? А если неверно и то, и другое, то что же произошло в действительности? При этом совершенно упускается из виду, что миф всегда существует в иной реальности, более реальной, чем сами историки. Историки создают свои труды и умирают. Миф — бессмертен, и то, что много лет назад было "реальностью", повредить ему не может. Даже если изобретательные ученые в будущей швейцарской лаборатории парка юрского периода однажды разработают метод, позволяющий достоверно реконструировать события прошлого, и выяснится, скажем, что у Телля был еще один сын, своего рода эрзац на случай промаха, это ничего не изменит. Миф никогда не существует в прошлом, он всегда жив именно здесь и сейчас.

Оставим в стороне происхождение Телля — сомнительное, нешвейцарское. Забудем о скандинавском лыжнике и борце за свободу, предке нашего Телля, — о том, кто после своего подвига умчался от преследователей на лыжах; проигнорируем авторские права датчанина Саксона

Грамматика с его стрелявшим по яблоку героем — Пална Токо; народные легенды, как известно, законом об авторском праве не охраняются.

Подойдем к истории с прагматической точки зрения. Телль, двумя точными выстрелами завоевавший полмира, — это порождение швейцарского пера. Эгидий Чуди в "Швейцарской хронике", составленной в XVI веке и опубликованной два столетия спустя, в 1734–1736 годах, придал всем известной истории о Телле каноническую форму. Из его хроники этот персонаж со всеми своими атрибутами — арбалетом, двумя стрелами, яблоком, мальчиком, а также с Геслером и его судьбоносной шляпой — перекочевал в "Швейцарскую историю" Иоганна фон Мюллера. Отсюда швейцарский герой начал шествие по европейским салонам и библиотекам, пока наконец уверенное перо Фридриха Шиллера не окрылило его и он не воспарил над миром.

Так что мы можем с удовлетворением подытожить: наш протагонист определенно получил вид на жительство в Швейцарии, и его сомнительное происхождение больше не должно никого смущать. Но один вопрос остался открытым: гражданином какой, собственно, Швейцарии является наш герой? Может быть, гражданином Швейцарии "для внутреннего пользования"? Или гражданином Швейцарии виртуальной?

Эта придуманная, желаемая, воображаемая Швейцария прижилась прежде всего за границей, и Телль — наиболее известный иностранцам швейцарец — немало постарался для создания имиджа своей родины. Телль стал почетным гражданином империи добродетели, дружбы и здравого смысла, о которой грезили многие путешественники, той страны, "где свобода гордо восседает на троне".

В эпоху, когда были опубликованы книги Чуди и Мюллера, роль законодателя мод в духовной сфере играла Франция; те идеи, которые зарождались в Париже, члены интеллектуального интернационала считали новаторскими и непреложными. Миф о Телле в Париже попал на благодатную почву: французские революционеры, преследуя собственные политические цели, жадно ухватились за историю борца против тиранов.

Швейцарец с арбалетом во Франции вошел в моду прежде всего благодаря трагедии Антуана-Мари Лемьера "Вильгельм Телль", которая в период революции шла с большим успехом по всей стране. Национальный конвент даже внес ее в официальный список театральных пьес, которые обязательно должны ставиться. Якобинцы сделали убийцу тирана из Ури и убийцу Цезаря — Марка Брута — своими величайшими героями. В революционной республике в период террора возник настоящий культ Телля, его бюсты соседствовали с бюстами Брута и Марата, его именем называли улицы и деревни. Убийца тирана был избран святым заступником, с его одобрения короля гильотинировали, а террор расцвел пышным цветом. Благотворительный комитет использовал изображения Телля в качестве правительственных подарков.

По мере того как революция превращалась в машинерию ужаса и смерти, переживал метаморфозу и революционный идол. Благодаря своим почитателям гроза тиранов сам стал тираном. А его старомодный самострел заменили более "прогрессивной" гильотиной.

Слова творят чудеса. Громогласная риторика, призывавшая солдат Наполеона защищать завоевания революции, завела французские шты-

ки в далекие Египет и Россию. В очередной раз мир поделили по-новому. Швейцария, которая в этой бесконечной шахматной партии долгое время находилась в центре доски, причем в месте самом безопасном (до тех пор, пока угрозы великих соседей колебались на разных чашах весов), теперь, когда европейское равновесие нарушилось, стала легкой добычей: французский слон побил загнанную в угол швейцарскую пешку и сцапал ее.

"Дети Телля не будут в оковах", – провозгласил Наполеон, не акцентируя внимания на том, что цель его похода – бернские сокровищницы. Французские войска вступили на территорию почтенной конфедерации.

Швейцарские интеллектуалы сами создали идеологическую базу для вторжения. Пропасть между реальной и воображаемой Швейцарией, зиявшая из каждого тома путевой прозы, совершенно не устраивала Фришей и Дюрренматов той эпохи. Например, Эрнст Гальярди писал в "Истории Швейцарии": "В абсолютистском Берлине Циммерман чувствовал себя в тысячу раз свободнее, чем у себя на родине или тем более в Берне, где практически ничего не публиковалось, кроме брошюр для солдат и мандатов. Отживший свое старый порядок, упорно отстаиваемый правительством, определял там всю общественную жизнь. Талантливому человеку, например, Бонштеттену, Швейцария представлялась порой клубком тираний".

Когда я читаю о "старом порядке" – о том, что в Женеве публично сжигали произведения Руссо, что в 1780 году казнили некоего Иоганна Генриха Вазера, который опубликовал документы государственного архива, сделав нелицеприятные факты достоянием общественности, что цюрихская цензура препятствовала изданию "Швейцарской истории" Иоганна фон Мюллера, – когда я читаю обо всем этом, мне нелегко понять, каким образом "клубок тираний" мог стать символом свободолюбия.

Благородное желание представителей швейцарской интеллектуальной элиты преодолеть пропасть между двумя Швейцариями создало основу для "морального трамплина", которым воспользовались французские генералы – в целях "спасения Швейцарии". Швейцарские интеллектуалы надеялись, что град французских пуль поможет им воплотить их идеалы свободы, но при этом сами они оказались пособниками и орудиями иностранных завоевателей. Швейцарский клуб в Париже стал центром пропаганды, а возглавлял его Фредерик Сезар де Лагарп[1], хорошо известный и в России.

Первыми, кто отведал сладких плодов с "деревьев свободы", возведенных на площадях всей страны, были женевцы, "спасенные" французами за несколько лет до того: в Женеве ввели систему террора по французскому образцу – со смертными приговорами и долгими сроками тюремных заключений. Красивы были речи, но красна кровь.

Телль, которого в Швейцарию доставили на остриях французских штыков, стал теперь символом Гельветической республики. Вторжение осуществлялось под прикрытием его имени, завоеватели вершили свое

1. Фредерик Сезар де Лагарп (1754–1838) – швейцарский генерал и политический деятель, приверженец идей Просвещения.

дело с боевым кличем "Да здравствует Вильгельм Телль!" По иронии судьбы Телль вернулся в Швейцарию в роли Геслера.

Интересно, что французская армия не обнаружила в Швейцарии практически никого, кого бы следовало "спасать". Всюду, куда приходили "освободители", подданные уже успели освободить себя сами, учреждения "старого режима" исчезли. Например, Ваадт, родина Лагарпа, самостоятельно освободился от бернского господства и провозгласил Леманскую республику. После создания Гельветической республики Вильгельм Телль стал ее логотипом и гордо красовался на правительственных декретах.

Удивительно, как похожи судьбы всех революционных обещаний свободы и равенства, как быстро после переворота несколько свиней, если прибегнуть к образу Оруэлла, оказываются "более равными", чем их собратья. Очень скоро новое правительство, в которое вошли такие прогрессивные и высокообразованные личности, как Лагарп, превзошло предыдущее в жестокости по отношению к инакомыслящим.

Ненависть Лагарпа к Берну, а заодно и ко всей немецкой Швейцарии была, кажется, сильнее его любви к демократии и свободе. Под интересами своей родины он в первую очередь понимал интересы Ваадта. Поводом для вторжения в Швейцарию стала докладная записка, которую он в декабре 1797 года по устному распоряжению Наполеона подал в Директорию и где говорил о желательности немедленного восстановления прав Ваадта. Франция, повторял он многократно, найдет здесь благодарного и преданного соседа. Он полагал, что на немецкую Швейцарию рассчитывать не следует, потому что там говорят на таком ужасном варварском языке и так вцепились в старые привычки и обычаи, что потребуется целая вечность, чтобы адаптировать ее к французским порядкам.

Лагарп оставил след и в русской истории, правда, к счастью, не столь опустошительный. Он был с 1784-го по 1795 год воспитателем в царской семье и оказал довольно существенное влияние на формирование либеральных взглядов своего ученика, будущего царя Александра I. Н. И. Тургенев писал в 1847 году в книге "Россия и русские": "Я часто видел, как прирожденные республиканцы, поселяясь в странах, где образ правления диаметрально противоположен их собственному, прекрасно к нему приспосабливаются, живут и благоденствуют при деспотизме; столь же легко они приноравливаются и к рабству, одна лишь мысль о котором возмущает республиканцев другого толка"[1]. Перчатки, которые Лагарп позже получил в подарок от Павла I, повелителя миллионного народа рабов, он заботливо хранил до конца своих дней и с благоговеньем показывал русским, навещавшим его в Лозанне.

В швейцарской истории есть моменты, которые мне как русскому кажутся довольно странными, они заставляют меня мысленно возвращаться на родину и сравнивать две страны.

О том, какую свободу приносят чужие штыки, нам хорошо известно, у нас есть образец *made in Russia*. Если французские пушки в качестве провозвестников прогресса должны были установить самый справед-

1. Н. Тургенев. Россия и русские / Перевод С. В. Житомирской. – М.: О.Г.И., 2001. С. 490.

ливый общественный порядок, то после пакта Молотова–Риббентропа в прибалтийские государства и в Польшу вступили советские войска, вдохновляемые не менее миссионерским духом: их защищала идеология, которая объявила себя самой прогрессивной. Как и в Европе, где Наполеона считали революционером еще долго после того, как он возложил на себя императорскую корону, некоторые "прогрессивные" западные интеллектуалы видели революционера в Сталине – даже тогда, когда по его приказу в России уничтожили всех революционеров.

Французские войска вторглись в Швейцарию, провозглашая свободу, равенство и права человека, но импорт "свободы и равенства" очень скоро принял форму экспорта государственного богатства. Даже символы Берна из медвежьей ямы вывезли в Париж.

Национальная швейцарская идея кантонального суверенитета была уничтожена, "малая родина" Телля – лесные кантоны – подверглась особому унижению: кантоны расформировали и создали из них одну административную единицу – кантон Вальдштеттен. Оккупанты раздробили страну, основываясь на собственном представлении о том, что́ ей пойдет на пользу; кантон Берн поделили на четыре части, одну часть французы присвоили себе, еще одну, Велтлин, отдали своим вассалам.

Новые власти рекордными темпами привели Швейцарию к краху: когда они решили ввести новую денежную единицу, символизирующую единство страны, оказалось, что в стране не хватает драгоценного металла – до такой степени опустошили ее "освободители".

Изнасилование довели до совершенства. Униженные и ограбленные швейцарцы должны были еще и демонстрировать свою лояльность оккупационным властям, а также собственному марионеточному правительству, принося торжественную клятву: "Я клянусь служить делу свободы и равенства до конца, <...> питая справедливую ненависть ко всякому произволу".

Почему же потомки Телля не проявили свою легендарную способность к сопротивлению? Как мало все это напоминает прием, оказанный французским солдатам в России, где народ не клялся в верности, но поднялся на борьбу, где крестьяне поджигали свои хижины и деревни, чтобы завоеватели не могли ими воспользоваться. Даже святую Москву ее жители предали огню. Мне ближе и понятнее поведение пастухов из Нидвальдена, решивших бороться до последнего, но то было исключение. Они отказались принести присягу, в тексте которой не упомянут Бог. Швейцарское правительство выслало против своих граждан карательную экспедицию, французские солдаты устроили кровавую баню – согласно декрету гельветической Директории, предписывавшему "немедленно принять строжайшие меры против всех бунтарей и зачинщиков беспорядков в Гельвеции, чтобы как можно скорее восстановить покой". Этот декрет украшало изображение Вильгельма Телля, который открывает любящие объятия спешащему ему навстречу ребенку, – очевидно, символ по-отечески настроенного правительства, желающего заключить народ-ребенка в свои объятия.

В мире больших идей происходили большие битвы, большие драчуны превратили Швейцарию с ее альпийскими перевалами в поле сражения, а потомков Телля – в мальчиков для битья. Власти приняли поистине соломоново решение – сделать Швейцарию ареной военных

действий: всегда предпочтительнее решать споры на чужой территории, а Швейцария для всех сторон была заграницей — и для австрийцев, и для французов, и для русских. Всем было выгодно сражаться в нейтральной области. Поэтому пару лет спустя маленькая страна превратилась в пустыню, которую уместно, наверное, сравнить с Россией после татарского нашествия.

Армии чужеземных господ соревновались, кто лучше ограбит швейцарцев, в то время как те едва успевали — правительства ведь все время менялись — отправлять в далекие столицы верноподданнические письма, такие, например, как послание из Шафхаузена царю Павлу I в Петербург. После того как чиновники этого города на Рейне устроили генералу Римскому-Корсакову великолепный прием, они почтительнейше обратились к "светлейшему, великодушнейшему и непобедимейшему Павлу I, русскому императору, самодержцу всея Руси, нашему всемилостивейшему князю и господину в Петербурге". "Бургомистр, малый и большой советы города и кантона Шафхаузен" велеречиво благодарили русского царя за "особую благосклонность" и "милостивое участие, которое Их Императорское Величество <...> полагает принять в судьбе нашего дорогого отечества", то есть за ввод русских войск на их территорию "с целью полного освобождения Швейцарии", ведь этот ввод отвечал желаниям многих членов совета, "с того несчастного момента, когда нам пришлось поменять нашу старую добрую конституцию на ненавистную французскую систему". "Невозможно выразить словами наши чувства, мы вынуждены удовлетвориться тем, что заверяем Ваше Императорское Величество в нашей безграничной преданности, нашем живейшем благоговении" — и так далее и тому подобное.

Остается только удивленно качать головой, когда убеждаешься, что потомки Телля и тех людей, которых разорили русские казаки, сохранили столь добрые воспоминания о Суворове, как если бы он был швейцарским национальным героем.

Гельветическая республика означала новый порядок, со скоростью ветра превратившийся в анархию. Едва Наполеон летом 1802 года вывел войска из Швейцарии, как разразилась гражданская война. Теперь хаос был тотальным — швейцарцы обратили оружие против швейцарцев. В течение короткого времени произошло несколько государственных переворотов.

Как мало общего имеет все это со страной, которая когда-то стала символом свободолюбия, порядка, стремления к независимости, искренности, честности, законопослушания, неиспорченных нравов, терпимости. Куда улетучились добродетели, которые швейцарцы считали национальными? Ведь подобное сочетание хороших качеств в одном народе, по всей вероятности, должно складываться на протяжении столетий. Если они когда-то наличествовали, то куда они вдруг исчезли? Если же все это было лишь видимостью, откуда бы этому взяться потом?

Карамзин, русский архитектор потемкинской альпийской деревни, в 1802 году опубликовал в одном журнале короткую заметку под названием "Падение Швейцарии". Автор, который, путешествуя по Швейцарии тринадцать лет назад, идеализировал эту страну, желая таким образом отдать дань литературной традиции, теперь писал: "Разврат швейцарских нравов начался с того времени, когда Теллевы потомки вздумали за

деньги служить другим державам; возвращаясь в отечество с новыми привычками и с чуждыми пороками, они заражали ими своих сограждан. Яд действовал медленно в чистом горном воздухе; но благодетельное сопротивление натуры уступило, наконец, зловредному влиянию. Дух торговый, в течение времени овладев швейцарами, наполнил сундуки их золотом, но истощил в сердцах гордую, исключительную любовь к независимости. Богатство сделало граждан эгоистами и было второю причиною нравственного падения Гельвеции"[1].

Предоставленные самим себе швейцарцы не сумели сдержать анархию. Порядок в стране уже невозможно было восстановить без французских войск. Наполеон воспользовался гражданской смутой и взял на себя роль посредника, "медиатора", — фактически диктатора. Эти события швейцарской истории известны как "период Медиации": "Враждующие стороны начали действовать с воскресшей яростью: швейцарская кровь проливалась швейцарскими руками. Вы ссорились три года, не понимая друг друга. Если вас и дальше предоставить самим себе, вы продолжите убивать друг друга еще три года и будете так же мало понимать друг друга. Ваша история учит, что ваши внутренние войны никогда не заканчивались без действенного посредничества Франции".

В такой обстановке в ноябре 1804 года появилась драма Шиллера "Вильгельм Телль" с посвящением:

> Когда народ, стада пасущий мирно,
> Кого добро чужое не прельстит,
> Сорвет ярмо, что терпит он безвинно,
> То даже в гневе человечность чтит,
> И даже в миг победы чужд гордыне —
> Бессмертен он и в песне прозвучит[2].

С настоящими Теллями 1804 года эти строки, конечно, не имели ничего общего. От свободолюбивого "швейцарского" духа, о котором писал Шиллер, в безвольных вассальных государствах и следа не осталось. Шиллер сделался еще одним, и уж точно не самым незначительным, сочинителем воображаемой Швейцарии.

Сценическому персонажу Шиллера — великому театральному памятнику, прославившему швейцарский миф, — очевидно, пошло на пользу то, что его создатель никогда в Швейцарии не бывал. Шиллер писал в "Телле", собственно, не о Швейцарии, а скорее о своей родине, где возрождался национальный дух и все больше людей присоединялось к освободительному движению против французской интервенции. Пример Вильгельма Телля должен был внести свой вклад в эту борьбу, подготовить — со сцены — будущую войну против Наполеона.

На подмостках "посредничества", Медиации, разыгрывалась в те годы совершенно другая пьеса. Медиатор диктовал "свободной Швейцарии", что она должна принять участие в бойкоте Англии, его злейшего врага. Услужливая Швейцария послушно выполняла парижские требова-

1. Н. М. Карамзин. Избранные сочинения. Т. 2. — М.-Л.: Худож. лит. С. 278–279.
2. Перевод М. Куличихиной.

ния, хотя это было равносильно экономическому самоубийству — или, если остаться в образном поле мифа, выстрелу в собственного сына. Эрнст Гальярди пишет в "Истории Швейцарии": "Тем временем экономическая жизнь была парализована. Все колониальные товары, необходимые для производства — сырье, хлопок, машинная пряжа, красители и так далее, — месяцами оставались на таможне. <...> Торговля, ремесла пришли в упадок. Тысячи прядильщиков и ткачей остались без куска хлеба. В Базеле, Цюрихе банкротства следовали одно за другим. <...> Тем не менее рождение римского короля швейцарцы отметили так, как если бы на свет появился их собственный кронпринц! Солотурн дал 50 залпов из пушек и отслужил торжественную мессу, в Берне проводились праздничные церковные службы и был устроен банкет, во Фрайбурге и Базеле — тоже. Ваадт поминал 'великодушного героя' вместе со 'светлейшим ребенком' в церковных молитвах. Горы Люцерна, лесных кантонов, даже Тессина отозвались эхом на гром орудий. Звонили в колокола и празднично иллюминировали улицы, как будто все ликовали. При этом торговля и ремесла из-за запретов продолжали хиреть. Трудности с получением сырья, удорожание всей продукции, снижающаяся покупательная способность все больше увеличивали нужду. <...> У семей прядильщиков из Гларна уже не было постельного белья и одежды. В переполненных комнатах с разбитыми стеклами роженицы и больные лежали прямо на досках. Четверть семей питалась лишь бульоном из цикория и картофелем. О мясе, даже о хлебе и молоке и речи не было. Все попытки добиться от Наполеона смягчения запретов оказались напрасными. На просьбу разрешить швейцарцам импортировать товары хотя бы в часть Британской империи ответа не последовало. Напротив, вышло предписание еще больше усилить контроль. Как следствие — невыносимый застой во всех областях хозяйственной жизни".

Согласно договору 16 000 Теллей должны были защищать французского Геслера, почти половина из них отправилась потом и в Россию и героически сражалась за своего посредника на Березине, большинству предстояло замерзнуть на снежных просторах. Выстрел в яблоко поразил собственного сына. <...>

Швейцарцы оставались покорными тирану, даже когда против него ополчилась вся Европа. Гальярди писал в "Истории Швейцарии": "Глава кантона, Ганс фон Рейнгард из Цюриха, человек боязливый и осторожный, избегал всего, что могло вызвать недовольство императора. Еще в апреле 1813 года ввоз кофе и сахара был полностью запрещен — таким образом, континентальная блокада достигла апогея". Всю последовавшую затем европейскую войну Швейцария сражалась на стороне Наполеона. Только "18 ноября 1813 года, спустя месяц после Битвы народов под Лейпцигом, — продолжает Гальярди, — заседание представителей кантонов (которые еще в июне, захлебываясь в изъявлениях благодарности, заверяли Медиатора в лояльности) объявило о своем нейтралитете, но все-таки не отозвало войска конфедерации из армии Наполеона. Нельзя же было терять прекрасные офицерские должности и пенсии!"

Началась новая глава европейской истории. Если до тех пор судьба швейцарского народа решалась в Париже, то теперь распоряжений ждали из Вены. <...>

Напряжение в стране не спало и после окончания Посредничества. В 1814 году в окрестностях Интерлакена вспыхнул открытый мятеж против господ из Берна. Берн хотел получить обратно кантоны Ваадт и Ааргау, созданные вследствие посреднической конституции; для запланированной военной акции требовались добровольцы. Галлати описывает тогдашние события так: "В церковной общине Гштайга, к которой принадлежали, кроме Унтерзеена, все общины Бёдели, 'из многих сотен мужчин' по своей воле вызвался 'только один'. Чрезмерно рьяный окружной голова Интерлакена Готтлиб Май арестовал патриотов-подстрекателей. После этого в Бёдели начались беспорядки. 28 августа в некоторые районы Оберланда ввели войска, и те, кого сочли виновными, были наказаны, частью даже избиты, о чем сообщает, например, Фридрих Зейлер, впоследствии член Национального совета: 'В Интерлакене, перед квартирой моего покойного отца на Хёэвег, схватили множество мужчин, уложили их на скамьи и приказали нанести каждому по двадцать пять, тридцать, сорок или даже пятьдесят ударов. Удары сыпались щедро, экзекуцию проводили солдаты, служившие прежде за границей. При каждом крике, который издавали эти бедняги, патриции выглядывали из окна, злорадно усмехаясь'". <...>

Солнце палит, со лба течет пот.

Я устроился в тени, подложив под голову рюкзак, и задремал. И приснился мне сон.

Мне привиделись странные существа, обитающие где-то в глубинах космоса. Каждое, правда, имело две руки, две ноги и голову, а хвоста с кисточкой не имело, но это явно были внеземные существа. Один из них давным-давно, в начале времен, убил своего брата — так началось всеобщее кровопускание, которое эти инопланетяне с тех пор не могли остановить. Они называли себя семьей народов. Большие братья спорили, кто из них больше, кто самый большой, и потому вели между собой большие войны. Они так любили своих младших братьев, что постоянно душили их в объятиях. В то же время они полагали, что планета, на которой они живут, цивилизованная, и тому находились доказательства: цивилизация действительно двигалась вперед семимильными шагами — от веревки к гильотине, от гильотины к электрическому стулу, от электрического стула (которому, к их сожалению, недоставало эстетики — из ушей казнимого шел дым) к безболезненному гуманному способу — умерщвлению посредством инъекции яда. Можно также вспомнить о переходе от примитивных стрелы и лука к управляемым бомбам, которые устремлялись либо к заранее запланированным объектам, либо — к незапланированным; случаи второго рода называли досадными недоразумениями.

Каждый из больших братьев уверял, что он защищает права всех инопланетян и знает, как установить наилучший порядок, а тот, кто не соглашался с этим, тут же получал по морде. Младшие братья клялись в верности то одному, то другому большому брату — до следующего конфликта; но при благоприятной возможности или под давлением необходимости нарушали клятву и приносили новую — тому, кто на этот раз оказывался сильнее.

Большие братья решили найти на своей планете надежное пристанище, чтобы хранить там то, что они награбили у своих и чужих, и что-

бы самим спрятаться, если придет такая нужда, — некое укромное, тихое место, где при известных обстоятельствах можно отказаться от стрельбы. Такое место, где большие братья были бы защищены от любых опасностей, где они могли бы отдохнуть и покататься на лыжах. То есть назрела необходимость придумать такое нейтральное место, вот его и придумали — и назвали Нейтралией.

Для Нейтралии нужно было найти на земле уютный уголок. И вот однажды, когда несколько больших братьев наголову разбили другого брата, они сослали его на остров Святой Елены, отобрали у побежденного клочок земли с горами и озерами и пришли к соглашению, что онто и должен стать таким местом, где нельзя набрасываться друг на друга, нельзя убирать с дороги дерзких конкурентов и где — так значилось в договоре — жителей нельзя обворовывать и избивать.

Так как Нейтралия представляла собой нечто вроде учреждения, жителей этого уголка тут же наняли на работу — в качестве нейтралов — и обязали строго следовать служебным инструкциям, предписывающим хорошее поведение и запрещающим вмешиваться не в свое дело — скажем, настойчиво интересоваться источником появления золотых зубов. Ожидалось, что нейтралы, стерегущие награбленное большими братьями богатство, будут демонстрировать независимость и безупречную нравственную чистоту, честность и порядочность, что они станут прямо-таки олицетворением всех добродетелей. От Нейтралии в первую очередь требовались стабильность и надежность: в этой стране ни в коем случае не должно быть революций или войн.

Новые служащие, радуясь предложенной работе, приложили все усилия, чтобы понравиться своим большим клиентам и, не дай бог, не потерять место: в других областях убийства, изнасилования и грабежи давно стали делом привычным, а здесь на награбленное честно и усердно начислялись проценты — разумеется, нейтралы и сами на этом зарабатывали. Большие братья хвалили нейтралов за добросовестное управление страной и за заботу о награбленном. Со временем нейтралы привыкли к лестным словам и научились гордиться своими добродетелями. А так как рабочие места передавались по наследству, нейтралы теперь принимали список служебных обязанностей за свои национальные особенности.

Нейтралы особенно гордились, когда кто-то из тех, кому они предоставили убежище в своем уголке, оказывался выдающимся людоедом: как, например, некий господин Ульянофф, который, начитавшись в библиотеках Нейтралии всяких книг, отгрыз головы доброй половине населения планеты. На дом, где он когда-то проживал, нейтралы прикрепили памятную доску и потом с гордостью рассказывали туристам о своем достойном подражания милосердии и любви к ближнему.

Иногда младшие братья в семье народов впадали в заблуждение, полагая, что Нейтралию придумали и для них; так случалось, например, когда большие братья начинали травить их циклоном Б, выдергивать у них изо рта золотые зубы и сжигать их самих в печах; но нейтралы останавливали этих неразумных на границе, ссылаясь на должностные инструкции: младших братьев, мол, можно пускать в Нейтралию только в виде расплавленных золотых коронок.

В стране были свои генералы, и так как войны на территории Нейтралии не велись, эти умники со временем стали утверждать: мол, враже-

ские армии потому не нападают на их страну, что боятся потерпеть поражение от них, генералов, ведь всем известно, что один из их предков очень умело обращался с арбалетом.

Когда один из братского сообщества народов мутузил другого в углу, норовя попасть сапогом по яйцам, нейтралы похвалялись тем, что они — порода особенная и служат для всего мира моральным примером. Но в действительности никого не интересовало, что нейтралы думают о самих себе, от них ждали сохранения тайны вкладов и молчания, а не самокопания.

Иногда один из больших братьев так сильно давал другому по морде, что все пугались и временно прекращали войны. И тогда этот большой брат впадал в заблуждение, полагая, что Нейтралия больше не нужна. И что в будущем никому уже не понадобятся ни банки Нейтралии, ни ее горы. Тогда этот большой брат вышвыривал нейтралов с работы. Все, дескать, уволены, рабочие места подлежат сокращению... Страну отправляли на пенсию.

Это очень задевало нейтралов: так нельзя, мы ведь лучше других, мы не от мира сего, мы — особый случай! В ответ большой пахан объявлял нейтралам, что они, напротив, даже хуже обычных убийц, потому что укрывали имущество, добытое преступным путем, то есть становились сообщниками; что на этой грешной планете не существует "особых случаев" — разве только тогда, когда в этом заинтересованы большие убийцы.

Обиженные нейтралы отправлялись на поиски новой идентичности. Но тут снова начиналась война, и их вновь принимали на службу. Так что скорее всего Нейтралия — если она еще существует — нейтралит и поныне.

Разговор с Анджеем Вайдой

18 и 19 марта в Москве был показан фильм Анджея Вайды "Катынь". Демонстрация в Доме кино 18 марта была организована Польским культурным центром и Домом кино Союза кинематографистов России, вечер в ЦДЛ 19 марта — Польским культурным центром и Международным обществом "Мемориал". Фильм был предоставлен его правообладателями — Польским институтом киноискусства и Польским телевидением. На обоих показах залы были переполнены, в Доме кино буквально не осталось не только сидячих, но и стоячих мест.

Представляя "Катынь" российской публике в обоих залах, 82-летний классик польского и мирового кино сказал, что фильм посвящен его отцу — пехотному капитану Якубу Вайде, взятому в плен советскими войсками в сентябре 1939 года, отправленному в Старобельский лагерь для военнопленных и убитому в Харькове весной 1940 года, и матери, которая так до конца жизни и не знала, жив ли ее муж, так как он не числился в списках жертв, найденных при раскопках в Катыни в 1943 году. "Сегодня я намного лучше понимаю тревогу, в которой она жила, и поэтому бóльшая часть фильма посвящена судьбам женщин, которые ждали своих мужей".

"Я очень счастлив, что на экране появляется прекрасный российский актер Сергей Гармаш, который не только сыграл в моем фильме, но и вложил в него всего себя, свою душу и сердце. Благодаря его участию я могу сказать, что это наш общий фильм", — сказал Вайда (на сцену Дома кино Сергей Гармаш вышел вместе с режиссером).

В Центральном доме литераторов после демонстрации "Катыни" состоялся разговор режиссера со зрителями.

От имени зрителей к Анджею Вайде обратилась Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинкской группы (подписавшая еще в апреле 1980 года обращение находившихся в эмиграции советских правозащитников к правительству СССР с требованием опубликовать все документы о Катынском преступлении).

Людмила Алексеева. Мы прожили одну и ту же эпоху, вы — в Польше, а я в Советском Союзе и в России. Мы переживали одни и те же события, но знали о них разные вещи. Если бы не вы, пан Вайда, мы не знали бы не только того, что было в Польше, но и многого о нас самих. В 39-м году мне было 12 лет. В очередной раз Польшу делили — на этот раз Советский Союз и фашистская Германия. А нам объясняли, как счастливы польские крестьяне и рабочие, что наконец-то к ним пришли Советы. В 45-м мне было 17. Про Варшавское восстание нам рассказывали: мы не успели помочь польским героям! Но увидев ваш "Канал", я узнала, что не очень-то мы и спешили на помощь. Спасибо вам за тот стыд, который я тогда испытала.

Потом был эпохальный фильм "Пепел и алмаз". Что мы знали о Польше? Была тогда такая шутка: Польша — самый веселый барак в соцлагере. А вы показали нам, как "весело" в этом "бараке" — по нашей вине.

И вот теперь "Катынь". Сегодня я смотрела этот фильм во второй раз. Я знаю, что вы делали его для поляков. Но и для нас! К тому ужасу, с которым его смотрят поляки, примеши-

Редакция "ИЛ" выражает благодарность Международному обществу "Мемориал" и Польскому культурному центру за предоставленные материалы.

вается наш ужас — и наш стыд, ведь это сделали наши соотечественники. А еще страшнее то, как мы про все это врали и врем до сих пор. Вы показали, как эта ложь продолжала убивать и ранить уже в мирное время.

Наш президент недавно сказал, что нам незачем и не у кого просить прощения. Я уверена, что те, кто сидит в этом зале, думают иначе. Нам есть у кого просить прощения — и у прибалтов, и у евреев, и у чеченцев, и у калмыков, и у чехов, и у венгров, и у тех, кто погиб от репрессий здесь, независимо от национальности.

Анджей Вайда. Я хотел бы сердечно поблагодарить за эти слова. Я должен сказать, что фильм не ставил таких вопросов и не выдвигал таких претензий. Поляки прекрасно знают, что с людьми так поступала сталинская система. Не только поляки были ее жертвами, гораздо больше жертв этой системы было у вас в стране. Этот факт — неотменимая правда. Когда мы, поляки, сегодня думаем о Катыни, мы понимаем, что та система ушла навсегда. Но чтобы дать чему-то действительно уйти в прошлое, нужно сделать об этом фильм. Мы старались создавать такие фильмы. Я думаю, что на эту тему еще появятся другие фильмы — и более талантливые, и более проникновенные. И кто-то снимет фильм с таким же названием — "Катынь".

Записка из зрительного зала. Действительно ли этот фильм основан только на реальных фактах?

А. В. Бóльшая часть того, что вы увидели на экране, главным образом почерпнута из воспоминаний женщин, ожидавших своих мужей, и их дочек. Я внимательно изучал документы, которые были найдены в 1943 году на телах убитых. Этих людей похоронили прямо со всем, что на них было. Эти документы хранятся в польских музеях — в Варшаве и Кракове. Последняя фраза, которая звучит в фильме: "Нас привезли в какой-то лес. Похоже на курортное место. 8 часов, по-польски 6. Что с нами будет?" — взята из дневника майора Сольского. А сцена на мосту — из мемуаров жены генерала, от которой немцы добивались, чтобы она выступила перед толпой. Так что большинство эпизодов, диалогов и ситуаций основано на реальных свидетельствах. Даже те кадры, которые кажутся цитатами из моих предыдущих фильмов, например, когда [советские солдаты] раздирают красно-белый польский флаг и красную половину оставляют, а белую пускают на портянки, — это правда. Когда я прочитал об этом, то подумал, что это очень точный образ Польши, брошенной всеми союзниками.

Записка. Расскажите, пожалуйста, как и когда вы узнали о смерти своего отца?

А. В. Я впервые поехал за рубеж, в Канн, со своим фильмом "Канал" и по дороге оказался в Париже. Там есть польское издательство "Культура". Оно выпустило книгу с предисловием генерала Андерса, участника тех событий (он сидел здесь, на Лубянке, с самого начала войны). Это был сборник документов, куда вошли и немецкие материалы, и отчет комиссии Бурденко. Из него делалось совершенно ясно, что случилось на самом деле. Я не знал, какова судьба моего отца, и именно тогда я понял, что с ним произошло.

О судьбе моего отца я не знаю до сих пор. Мне очень хотелось бы найти и получить документ, на основании которого его расстреляли. К сожалению, до сих пор такие документы не поступили в Польшу. Возможно, их вообще нет, но бывает, что в архивах находятся такие вещи. Это было бы наше самое большое желание.

Записка. Как получилось, что на роль капитана Попова вы выбрали Сергея Гармаша?

А. В. Это было не так трудно. Три или четыре года назад мы с моей женой Кристиной Захватович ставили спектакль "Бесы" в театре "Современник". Это старая постановка, которая еще в 70-е годы шла в Кракове, затем – в Америке в театре Йельского университета (трудно поверить, но Лизу в нем играла Мерил Стрип, которая тогда была студенткой этого университета). Когда мы перенесли эту постановку в Москву и капитана Лебядкина в ней сыграл Сергей Гармаш, я подумал, что обязательно еще должен встретиться с этим великолепным актером. Я был счастлив, что на первый же мой зов он ответил согласием, даже не зная сценария, роли и того, с кем будет играть. Он доверился мне. Я старался не разочаровать его.

Записка. Я слышал, что в Польше были и критические отзывы на ваш фильм. В чем вас упрекали?

А. В. Критические замечания относились к героям фильма. У многих людей свой собственный взгляд на произошедшие события, они видят в героях своих родственников и близких, поэтому им хотелось, чтобы были показаны и другие детали биографий действующих лиц.

Я понимал, что это первый фильм о Катыни, и в нем должно быть много информации, ведь не секрет, что наша молодежь не живет прошлым, как мы когда-то. Для них нужно было обрисовать исторический фон, но многие факты и детали пришлось опустить.

Записка. Музыку написал выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий. Расскажите, пожалуйста, как вы с ним работали?

А. В. Известно, что Пендерецкий не пишет музыки к фильмам. Но мне очень повезло. Мы с Кристиной были в Санкт-Петербурге в музее Достоевского, когда Пендерецкий дирижировал там одним из своих произведений на концерте, посвященном Достоевскому. Мы подошли его поприветствовать, и он тогда мне сказал: "Если ты будешь делать фильм о Катыни, я дам свою музыку". Я это хорошо запомнил и потом поймал его на слове.

Записка. Почему ваш фильм не вышел в широкий прокат в России?

А. В. Я надеюсь, что мы найдем прокатчика в России. Вчерашняя аудитория в Доме кино и сегодняшняя в ЦДЛ вселяют в меня надежду, что прокатчик может поверить в то, что и здесь фильм найдет своего зрителя.

Есть вероятность и того, что фильм появится на Общественном российском телевидении. Это будет прекрасный жест со стороны тех, кто принимает решения на ОРТ, потому что картину смогут увидеть даже там, где нет кинотеатров. Я уезжаю из Москвы, испытывая оптимизм по этому поводу.

Записка. Что значит для вас показ "Катыни" в Москве?

А. В. С моей стороны было бы отсутствием гражданской смелости, если бы я не встал перед вами на этой сцене и не выслушал того, что вы хотите мне сказать. (*Аплодисменты.*)

Катынь – часть нашей общей истории и общей трагедии. Я не хочу обвинять российское общество в этой трагедии. То хорошее, что есть в российском обществе, играет в фильме Сергей Гармаш. Он берет на себя ответственность за жену польского офицера, за ее жизнь. Но людям противостоит система, безличная и бесчеловечная, и не надо смешивать две эти вещи.

Ведущий этой части вечера кинорежиссер, журналист, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов читает очередную записку: "Никто не смог бы снять фильм о Катыни более талантливо и проникновенно, чем вы!"; пан Анджей кланяется, берет записку из рук Симонова и прячет у себя на груди: "Я буду хранить эти слова возле сердца!"

Записка. Вы считаете, что молодежь в России должна ощущать вину за Катынское преступление? И насколько близка трагедия Катыни польской молодежи?

А. В. Я думаю, что долг и обязанность молодежи — знать правду о прошлом, знать свою историю, потому что без этого знания она не может строить будущее. Что касается польской молодежи, то должен признаться — она приняла фильм лучше, чем я ожидал. Я задавал себе вопрос: если ты сделаешь фильм не в молодежном стиле, придут ли молодые зрители в кино? Но если бы я сделал его в том стиле, который нравится молодым, это был бы фильм о чем-то другом.

Для меня это был не просто фильм, а признание, и то, что молодые зрители его приняли, вселяет в меня надежду, что ворчание на тему "какая пошла молодежь, мы были совсем другими" не имеет оснований.

Кроме того, я веду киношколу и вижу, какие серьезные люди приходят учиться. Так что я оптимист.

Записка. В кадре перед самоубийством майора Ежи мелькнуло лицо, похожее на Збигнева Цибульского. Это случайность или автоцитата?

А. В. Когда появился этот молодой актер и возникла такая пара на экране, у меня, старого режиссера, забилось сердце. Я снял с ними еще несколько сцен и даже подумал: может быть, сделать фильм о них? Но потом вернулся к своей основной теме. Они плакали, потому что самые прекрасные сцены с их участием я вырезал. К сожалению, я понял, что фильм про таких ребят я уже снял. Он называется "Пепел и алмаз".

Записка. Обсуждали ли вы замысел фильма о Катыни с Папой Римским Иоанном Павлом II?

А. В. Я встречался с ним, когда он был еще архиепископом в Кракове, а потом имел честь показать ему свой фильм "Пан Тадеуш"[1]. Его святейшество больше слушал, чем смотрел, — возможно, потому, что сам когда-то играл в инсценировке этой поэмы. Он знал стихи наизусть и больше проникся их звучанием, чем "картинкой" фильма. Когда я подошел к нему после окончания, ожидая, что он скажет, — а задавать вопросы Папе не разрешается, это не принято, — он произнес: "Автор был бы доволен". Мог ли я ожидать лучшей оценки?

Обсуждать с ним тему Катыни я, конечно, никак не мог. При его жизни такого проекта даже не могло быть в моих планах — из-за цензуры. Согласно официальной версии, это было преступление немцев.

...Зал почтил минутой молчания память жертв сталинских убийств.

1. "Пан Тадеуш" (1834) — поэма Адама Мицкевича (1798–1855).

Пресс-конференция Анджея Вайды в Польском культурном центре

Накануне премьеры "Катыни", состоявшейся 18 марта, режиссер встретился с журналистами в Польском культурном центре и ответил на их вопросы. В пресс-конференции участвовал директор Польского культурного центра доктор Хероним Граля.

Марина Тимашева, радио "Свобода". Все знают, что история Катыни связана с вашей личной историей. Расскажите об этой связи и о том, почему только сейчас стало возможно сделать этот фильм?

Анджей Вайда. С 1945-го по 1989-й год в Польше существовала только одна версия этого преступления – официальная: оно совершено немецкими войсками в 1941 году. Естественно, до нас доходили сведения и исследовательские работы о том, что в 40-м году это преступление совершили спецотряды НКВД. Но поскольку советско-польская дружба должна была длиться тысячи лет, в ее истории не было места ни для чего такого.

И тут же возникает следующий вопрос. Ну хорошо, сразу после 1989 года можно было приступить к делу. Но уже 2008 год – почему же фильм появился только сейчас? Вскоре после войны польская киношкола создала немало фильмов, но они, как правило, делались на основе литературных произведений. Однако не появилось ни одного произведения – романа, повести или сборника рассказов – о Катыни, которые дали бы возможность сделать фильм по их канве. Хуже того, сценаристы, с которыми я работал и которых я уважал, ушли из жизни.

Несколько лет назад я начал работать с молодыми сценаристами, надеясь, что с ними мне удастся реализовать этот проект. Это были люди совсем не бесталанные, но тема была им не близка, и я не мог добиться от них того, чего хотел. За это время я прочел огромное количество самых разных воспоминаний, в том числе жен убитых офицеров и их дочерей, помнивших, чего все это стоило их матерям. Из этого всего я сделал сценарий, который дал мне возможность приступить к съемке. Вот почему фильм появился только сейчас.

Николай Гладких, общество "Мемориал". Есть ли в сюжете фильма эпизоды, связанные с вашей личной биографией, а не только с биографиями ваших родителей?

А. В. Дело не в том, что я хотел рассказать историю нашей семьи. Я понимал, что это первый фильм на эту тему, и в нем должно быть и определенное количество информации, и такой состав действующих лиц, чтобы тема была выражена самым явным образом. Прежде всего я хотел рассказать о мужчинах, среди которых был мой отец, и о женщинах, среди которых была моя мать. Поняв это, я нашел ключ к будущему фильму.

Пилар Бонет, газета "El Pais". Почему в Москве проходят только эти два показа и фильм не идет в широком прокате? Речь идет о запрете или об отсутствии коммерческого интереса?

А. В. Не могу ответить на этот вопрос, потому что это только первая наша встреча, и происходит она благодаря усилиям людей, которые хотели, чтобы эти показы состоялись. Российского прокатчика пока нет, но прокатчиков нет и во многих

других странах, потому что правообладатель – Польское общественное телевидение – только приступил к решению этого вопроса. Для меня было важно сделать первый шаг, и мне кажется, что эти два показа дадут всем почувствовать, что фильм был сделан с добрыми намерениями. А участие в фильме такого прекрасного российского актера, как Сергей Гармаш, и его роль также подтверждают эти намерения. Мне очень интересно, как фильм будет принят в Москве.

Хероним Граля. Если позволите, я дополню, поскольку на вопрос о прокате не обязательно отвечать самому мэтру. Хочу напомнить, что правообладатель – Польское телевидение – был связан договором с Берлинским кинофестивалем, согласно которому за пределами Польши фильм демонстрироваться не мог. Два показа, состоявшиеся именно здесь, в Москве, в прошлом году, имели характер закрытый, прошли они благодаря юридической "форточке", поскольку показ на территории миссии является показом на территории данного государства. Таким образом, мы обошли этот запрет. Сейчас, поскольку Берлинский фестиваль закончился, Польское телевидение имеет полное право предлагать фильм любым прокатчикам.

Хочу отметить еще одно обстоятельство. У нас не было никаких проблем с подготовкой и осенних, и сегодняшних показов, тем более что нас поддержала такая влиятельная организация, как Союз кинематографистов России. А запросы на показ фильма на различных ретроспективах и фестивалях как киношными, так и общественными организациями уже составляют в моей папке с надписью "Кинокартина 'Катынь'" около 60 страниц – столько поступило разных заявок. 31 марта фильм будет показан на кинофестивале в Санкт-Петербурге. Это значит, что картина уже вошла в культурную "циркуляцию" в России, и за этим показом последуют другие.

А широкий кинопрокат – это уже вопрос финансовых интересов местных дистрибьюторов. Насколько мне известно, представитель Польского телевидения приехал в Москву вместе с паном Вайдой не только для участия в первом публичном показе, но и для установления деловых контактов.

Евгения Квитко, газета "Новое русское слово". Какой реакции на фильм вы ждете от молодого поколения?

А. В. Вопрос, как будет реагировать на фильм молодое поколение, занимал меня с самого начала, как только я принял решение о съемках. Меня спрашивали: ты хочешь "достучаться" до молодого поколения? Я отвечал: да, хочу! Они мало знают о Катыни, а это неизгладимая страница истории нашей страны. И ты собираешься делать фильм в их молодежном стиле? Нет, говорю, ведь придут и взрослые, которые эмоционально причастны к этой теме. Ну так как же ты объединишь разные поколения? И я решил, что сделаю этот фильм так, как режиссер старый, но не забывший, что когда-то и он был молодым.

Константин Эггерт, Би-би-си в Москве. В сегодняшней России, особенно на высоком государственном уровне, не принято плохо говорить об истории страны. Как ваш фильм будет выглядеть в этом контексте и какой реакции вы ждете от официальных кругов?

А. В. Ответ на этот вопрос мы получим после двух показов, которые сейчас проходят.

Я не жду, что в России будет полное единомыслие по отношению к фильму. Однако нужно помнить, что почти 20 лет назад, когда свобода только пришла в наши страны, президент Горбачев в Кремле передал польским властям документы, свидетельствующие о том, что это советское преступление. Несколько позже по просьбе Леха Валенсы Ельцин в Варшаве передал более подробные материалы по этому делу. Так что здесь есть факты, которые не вычеркнешь.

Если говорить о себе, то я бы хотел получить документы, касающие-

ся моего отца. Увидеть, что́ в этих документах. За что его необходимо было убить?

Я понимаю, что может существовать сопротивление политического характера. Великой державе трудно признаваться в преступлении, которое совершила ее власть. Но я хотел бы отделить российское общество от государственной системы, от сталинизма. Думаю, наш фильм это различие показывает тоже. Это удалось благодаря великой душе и мастерству Сергея Гармаша, который сыграл, быть может, самую прекрасную роль в этом фильме.

Правду надо показывать, это необходимо для нашего дальнейшего сосуществования. И сцена с героем Сергея Гармаша является подтверждением того, что мы хотим понимания, что наша позиция правомерна.

Барбара Влодарчик, Польское телевидение в Москве. Знаете ли вы, пан Вайда, что на сегодняшнем показе ожидают приезда советника президента России Сергея Ястржембского? Ощущаете ли вы волнение от того, что чиновник столь высокого ранга может присутствовать на показе? Ведь в официальных кругах России многие считают, что нельзя принижать роль великой державы в истории, особенно в истории Второй мировой войны, и обращение к теме Катыни многими воспринимается как антироссийский жест.

А. В. Я очень рад, что на показе могут присутствовать высшие должностные лица. Я очень надеюсь, что этот фильм может сыграть важную роль в наших общих делах. Ведь я с 50-х годов езжу в Москву и в Петербург, где у меня много друзей, и было бы странно, если сегодня, когда мы живем в свободных странах, мы потеряли бы старую дружбу. Я счастлив, что мой фильм вызвал желание у кого-то из представителей власти прийти и посмотреть его.

Опасаюсь ли я, что он может помешать нашим отношениям? Нет! Я думаю, что эта тема должна жить хотя бы на экране, потому что, если бы за столько десятилетий вокруг нее не было нагромождено столько лжи, не потребовалось бы ни этого фильма, ни нашей встречи, ни этого разговора. Я уверен, что рано или поздно мы должны были ее обсудить. И, может, это тот самый момент?

Барбара Влодарчик. Волнуетесь ли вы?

А. В. Конечно. Показ "Катыни" в Москве — нечто совершенно особое. совсем не то, что в Берлине, Лос-Анджелесе или где-нибудь еще, потому что здесь сохранилось живое отношение к этой теме.

Для нас крайне важно, чтобы зрители поняли, что все показанное на экране не направлено против сегодняшней России. Дело в другом. События прошлого постепенно уходят из живой памяти, перемещаясь в книги, в историю. Поэтому важно снять их, пока еще есть свидетели.

Светлана Гаврилина, организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга". Буквально сразу после показа на Берлинском фестивале в нескольких петербургских газетах одновременно появились статьи о фильме, где с точностью до запятой повторялись советские штампы (Нюрнбергский процесс признал, что виноваты фашисты, и т. п.) и обвинения в адрес Польши. Только огромный поток писем и вмешательство Санкт-Петербургского "Мемориала" заставили газеты опубликовать опровержения. Сейчас фильм демонстрируется в России. Не кажется ли вам, что появится волна подобных публикаций и фильм невольно будет способствовать разогреванию антипольских настроений? Что делать в таком случае?

А. В. Как говорится, против лома нет приема. Этот фильм создавался для польского зрителя, и наша аудитория ждала его, ведь несколько десятилетий самого события как бы не существовало. 3 миллиона людей, посмотревших "Катынь", доказали, что им картина была нужна.

Я не мог предугадать реакцию всех зрителей за пределами Поль-

ши. Еще раз повторю: я сделал все возможное, чтобы фильм не был обращен против людей. Исключительно против системы. А со сталинской системой мы не соглашались и не мирились никогда — и никогда не примиримся!

Хероним Граля. Позволю себе кое-что добавить на правах историка, который 30 лет занимается историей российско-польских отношений. Все-таки голоса, которые время от времени появляются, взять хотя бы пресловутую публикацию господина А. Шандорова в "Невском времени" "Не мытьем, так 'Катынью'"[1], которая по своему слогу и аргументации напоминают нечто не только хорошо знакомое, но и очень противное. Это доказательство тому, что в обществе, которое декларировало свой сугубо светский, нерелигиозный характер, существует конфликт между верой и знанием, поскольку против многочисленных и пространных изданий российско-польских документов о Катыни выдвигается вера. Совсем недавно в вечерней телевизионной программе один человек в погонах уверял, что это фальшивка английской разведки, которая забросила ее в сейф генсека. Этот человек ради своей глубокой веры пожертвовал очень многим. В том числе убеждением, что у страны, которая родила Штирлица, лучшая разведка в мире. Он процедил сквозь зубы: да, английская была лучше. В этот момент у зрителей появилась мысль: вызывать комментатора или "скорую помощь"?

Юлия Анциферова, телеканал "ТВ Центр". Два документальных фильма о раскопках в Катыни — немецкий и советский — действительно существовали и были показаны в Польше?

А. В. Да. Это подлинные фильмы, но я включил их в очень сжатом виде. Советский идет почти час, немецкий гораздо короче. Почему они были мне важны? Невероятно, но одни и те же кадры комментируются прямо противоположным образом. Показывая следы от пуль в черепах, немцы говорят: таким методом убивал НКВД. Комиссия Бурденко показывает на те же отверстия и говорит: именно так убивали фашисты. Я хотел "столкнуть" их, потому что из этого хорошо видно, как манипулируют фактами. Под одну и ту же "картинку" можно подложить разные интерпретации, и люди будут им верить, считая, что все видели собственными глазами.

Я понимал, что можно было сделать фильм, показывающий всю политическую подоплеку Катынского преступления. И все же решил, что в первом фильме на эту тему не будет Сталина, Гитлера, Черчилля... Это правда, что все разыгрывалось между ними, но что они могли дать мне? Я делал фильм об отце, матери, об обычных людях. Не сомневаюсь, что будет создан фильм и такого рода, где будут показаны все пружины и причины, в силу которых это преступление было совершено.

Вопрос (задававшая не представилась). Мои коллеги уже час как запугивают режиссера. Ну откуда такое представление о российской публике? Не надо выставлять зрителей людьми, не имеющими ни знаний, ни совести. А вопрос у меня вот какой. Я с огромным удивлением увидела в материалах к фильму, что один из авторов сценария — Владислав Пасиковский. Это стало для меня чуть ли не сенсацией. Мы мало знаем сегодняшнее польское кино, но "Псы" Пасиковского время от времени идут по нашему телевидению. Это режиссер совершенно другой формации — и по идеологии, и по своему почерку. Мне очень интересно, как могли соединиться лед и пламень? Я знаю, что поиски сценаристов были долгими. Почему "победителем" оказался Пасиковский?

А. В. Да, это режиссер, который после 1989 года как бы начал создавать новый стиль в польском кино — "экшн", близкий к американскому стилю, и иронический взгляд на некоторые события, близкие нашему

1. http://www.nevskoevremya.spb.ru/mir/4068/nemitiemtakkataniu

сердцу. Пасиковский сделал то, чего в польском кино не было. Он показал тот аспект, который не был известен нашему зрителю — мир агентов, сотрудников службы безопасности, которые ищут свое место в новой Польше и уничтожают документы, показывающие преступления прежнего режима. Я всегда с интересом смотрел его фильмы, потому что считаю их мастерски сделанными и не циничными. Я подумал, что это серьезный человек, которому больше, чем другим молодым режиссерам, есть что сказать и который умеет вести диалог с сегодняшним зрителем. Именно такой сценарист и был мне нужен. Я попросил, чтобы он написал мне для этого фильма различные сцены и диалоги. И не ошибся. Думаю, из молодых кинематографистов, с которыми я работал, он помог мне больше всех. Я всегда буду об этом помнить.

Вопрос (задававшая не представилась). Расскажите, пожалуйста, как вы нашли Сергея Гармаша?

А. В. Мне выпало счастье в 60-е годы работать с театром "Современник", потом мы подружились, я видел их спектакли, застал их переезд с площади Маяковского на Чистые Пруды, дружил с Галиной Волчек и всегда интересовался, какой репертуар она формирует. Четыре года назад она предложила поставить в "Современнике" мой спектакль "Бесы", который почти 15 лет шел в Старом театре в Кракове. Я был очень рад снова поработать в "Современнике" вместе с моей женой Кристиной Захватович, которая была сценографом и делала костюмы. Именно там я встретился с Сергеем Гармашем, сыгравшим капитана Лебядкина.

Мне казалось, что в роли майора Попова самое главное — человек. И я считал, что Сергей Гармаш — и есть тот самый человек, он сумеет убедить в своей искренности польских зрителей. Это у него получилось.

Меня очень обрадовало, что он, не задумываясь, согласился играть, даже ничего не зная о роли. Но ему была известна тема фильма, и как очень успешный актер более чем кто-либо понимал, какую ответственность несет перед российскими зрителями.

Я ему полностью доверял. Прекрасно иметь друзей, "друзей-москалей"![1]

Пилар Бонет, газета "El Pais". Вы — человек, имеющий личное отношение к катынской теме. Что, по-вашему, необходимо сделать, чтобы тема Катыни перестала быть камнем преткновения в отношениях России с Польшей и вообще с Европой?

А. В. То, что мой отец там погиб, и то, что я делаю этот фильм в конце своей жизни, мне кажется важным. В этом фильме нет злости, нет агитации, и польские зрители тоже приняли его серьезно, с пониманием. Это по возможности объективное изображение реальных исторических событий.

Я показывал реакцию мужчин и женщин на события, которые оказались для них полной неожиданностью и не имели никакого разумного объяснения. Во-первых, офицеры и солдаты сдались в плен, потому что Польша не воевала с Советским Союзом. Во-вторых, никто и предположить не мог подобной судьбы. Действовало военное право. Военнопленных не расстреливали — даже Германия до конца войны содержала военнопленных в лагерях. Они думали, что будут участвовать в военных действиях против Германии, может быть, где-нибудь не на территории Польши или Советского Союза. То, что раньше или позже война между Германией и Советским Союзом начнется, представлялось им неизбежным. Так что это не только вопрос преступления, но и предательства.

Ирина Воробьева, радиостанция "Эхо Москвы". У польских героев в вашем фильме нет фамилий. Почему?

А. В. Я сделал это вполне сознательно, потому что, хотя фильм основан на исторических событиях и документах реальных офицеров и

1. А. Вайда имеет в виду стихотворение Адама Мицкевича "К друзьям-москалям".

их семей, я понимал, что, если назвать конкретные фамилии, близкие будут говорить: а с ними произошло еще вот это, а почему вы не показали то-то и то-то? Я отбирал факты, иногда соединял детали, относящиеся к разным людям, и подумал, что "анонимность" персонажей будет лучше принята теми зрителями, которые продолжают жить памятью о погибших.

Светлана Хохрякова, газета "Культура". Я видела вашу картину на Берлинском фестивале. Это сложный постановочный фильм. Очень ли трудно было над ним работать? Как определялись места съемок? И второй вопрос: вчера вы встречались с молодыми российскими кинематографистами, каково ваше впечатление от этой встречи?

А. В. Что касается постановочных трудностей, то это, наверное, мой пятидесятый фильм, так что у меня большой опыт и он мне помог.

Я жил в Кракове во время немецкой оккупации недолго, но очень хорошо помню его после 46-го года, когда там учился. Так что мне было легко представить его в те времена.

Сцена на мосту в 39-м году — реальный эпизод, описанный в одном из воспоминаний. С одной стороны мост заполняют люди, бегущие от немецкого наступления, а с противоположного конца навстречу им бегут другие люди, потому что там внезапно появилась Красная Армия.

Больше всего в работе я боялся за молодых актеров: как они найдут свое место в этой теме, столь далекой от них по времени? Но у них все получилось, ведь это и часть истории нашей страны, и часть их семейной истории тоже.

Расстрел происходил в лесу, а лес всегда одинаков. Сегодня там растут высокие деревья, но по снимкам, сделанным в 40-х годах, можно догадаться, как они выглядели тогда.

О вчерашней встрече. Мне очень жаль, что пришлось унести с собой целую гору записок, на которые я не успел ответить. Но мне понравились вопросы, они были совсем не такие, какие мне обычно задавали прежде. Раньше меня спрашивали все больше про технические детали, как делают фильм. Сейчас я вижу, что молодежь ищет ответы на мировоззренческие вопросы: о чем должно говорить кино? в каком мире мы оказались? Это мне очень понравилось. Я верю, что они найдут свои ответы на вопрос, что это за мир и какова их роль в нем. А поскольку нигде в мире нет такой школы, где учили бы, как делается кино, я смотрю на этих ребят с большой надеждой.

Эдуард Байков, ИА "Фактвидео". Не могли бы вы назвать людей и организации России, которые способствовали созданию вашего фильма?

А. В. Нет, таких не было. Я считал, что этот фильм должен был быть сделан в Польше, и никакие люди, организации или деньги из России в нем не должны участвовать, потому что это спровоцировало бы разговоры о давлении. Собственно, тем, что в съемках участвовал Сергей Гармаш, все началось и закончилось. Я не обращался за помощью ни к польским, ни к зарубежным организациям.

С "Мемориалом" мы встречались до того, как я приступил к съемкам, — меня интересовало, имеются ли какие-либо серьезные материалы, которых я не смог найти. Для меня было важно, чтобы на премьере "Катыни" в Варшаве присутствовали члены "Мемориала", кроме того, из Парижа приехала Наталья Горбаневская. Я хотел услышать реакцию друзей на фильм и обсудить, есть ли шансы на его показ в Москве. Как раз благодаря "Мемориалу" состоится завтрашний показ в Центральном доме литераторов.

Анастасия Кириленко, интернет-газета "Избранное". Насколько я знаю, родственники погибших в Катыни офицеров до сих пор не получили ни компенсаций, ни извинений от российской стороны; расстрелянные даже формально не признаны жертвами политических репрессий. Ожидаете ли вы каких-то дипломатических и юридических

действий российского правительства? Известно, что немецкое правительство совершило публичный акт покаяния перед Польшей.

А. В. Я ничего не ожидаю. Я не слышал, чтобы польское правительство выступало с какими-то заявлениями по этому вопросу, так что ничего не могу сказать на этот счет.

Марина Латышева, газета "РБК-Daily". В Берлине вы сказали, что больше не будете снимать фильмов о войне. Вы имели в виду Вторую мировую войну или войны вообще? И какие темы вас занимают сейчас?

А. В. Надеюсь, при моей жизни никакой новой войны уже не будет, мне кажется, свой "лимит" я исчерпал.

Мне бы очень хотелось сделать фильм о том, что происходит сегодня. Мне кажется, Европа поняла, что единственный способ обеспечить себе какое-то будущее — искать общность, договариваться. Но этот процесс искусство отражает очень мало. Может, это трудно. Может, это не так интересно, как изображение происходящего во время войны. Но будь я помоложе — а может, я еще молодой режиссер? (*смеется, аплодисменты*) — то обязательно сделал бы фильм о тех, кто ищет мирные, договорные решения острых вопросов. Опыт всех войн научил нас, что это не тот путь, с помощью которого можно действовать эффективно и достигать поставленных целей.

Я верю, что нас ждут прекрасные годы свободы, развития искусства, науки, если мы сумеем усмирить агрессивные инстинкты. А нам придется это сделать...

Марина Латышева. Какой была реакция немцев на ваш фильм? И как вы думаете, почему немцы уже сегодня могут себе позволить такие фильмы, как, скажем, "Мой фюрер", который является комедией только по форме?

А. В. Я лишь удивляюсь, чего немцы так долго ждали. Видимо, для них было нечто отталкивающее в этих темах? Почему только сейчас появились "Гудбай, Ленин" или "Жизнь других"? Ведь это можно было снять уже на следующий день после того, как была разрушена Берлинская стена и развалилась ГДР? Но, видимо, нет, нужно время для рефлексии.

Почему мы показали "Катынь" на Берлинском кинофестивале? Нам было важно, чтобы фильм заметили. У нас нет средств рекламировать его и показывать в кинотеатрах Европы и остального мира. Фестиваль — лучшее средство обратить на себя внимание, а Берлинский был ближайшим по времени. Почему вне конкурса? Мне не хотелось, чтобы фестиваль давал ему оценку, мне казалось, что это было бы неправильно.

Мы добились своей цели: фильм заметили. Зрители вели себя очень серьезно. Должен сказать, что реакция фестивальной публики не отличалась от реакции польских залов. Была полная тишина, люди поняли, что должны почтить молчанием память этих мужчин. И это был хороший знак для фильма.

Лев Рыжков, газета "Московский комсомолец". Пользовался ли Сергей Гармаш во время съемок какими-то особыми привилегиями по сравнению с польскими актерами?

А. В. Мы делали фильм среди друзей. Это в Лос-Анджелесе актеры стремятся добиться большего престижа, но главным образом этого добиваются их агенты. У нас такого не бывает — думаю, это прекрасно.

Я понимал, что у Сергея есть обязанности здесь, в "Современнике", и на съемочных площадках, и мы должны снять все быстро. Мы работали с утра до вечера, сколько было можно и нужно. Больше всего меня тронуло то, что польские актеры увидели в нем мастера. Увидели, что это такая личность, такая сила, такая выразительность, такая правда, к которым следует стремиться, которых нужно добиваться. Это был прекрасный урок сотрудничества.

Запись и обработка
Николая Гладких,
Международное общество
"Мемориал"

Тадеуш Любельский

Смерть отца

Перевод с польского М. Алексеевой

Два месяца назад в Брюсселе в рамках фестиваля "Европалия"[1] я провел семинар о творчестве Анджея Вайды для нескольких десятков студентов местной киношколы. Все шло по заведенному порядку: я произнес краткую вступительную речь, затем мы все вместе посмотрели "Канал" (кстати, в идеальных условиях: хозяева подготовили восстановленную копию с двойными титрами на голландском и французском языках), после фильма – разбор и обсуждение. Опыт оказался чрезвычайно любопытным прежде всего потому, что полностью перечеркивал наши стереотипные представления о якобы непонятном для посторонних, специфически польском "коде" творчества Вайды. Я с удивлением наблюдал за тем, как легко воспринимали молодые европейцы и эмоциональный, и общечеловеческий посыл этого фильма. Самым интересным им показалось то, что все пятьдесят лет своей творческой деятельности Вайда кружил вокруг темы смерти отца – студенты осознали это к концу нашей встречи, – чтобы наконец воплотить ее на экране в своем последнем фильме "Катынь", которым и завершилась наша брюссельская ретроспектива. Недавняя номинация картины на премию "Оскар" – хороший повод для разговора.

Процесс "созревания" темы растянулся у Анджея Вайды на десятилетия. Долгое время считалось, что первая попытка воплотить ее на экране окончилась для режиссера неудачей: "Лётна"[1] (1959) не только стала самой личной, наверное, среди ранних его лент, но и сыграла важную роль в становлении польского кино. Правда, и в других фильмах, обычно основанных на чужом литературном материале, Вайда вводит значительно больше автобиографических мотивов, чем считалось раньше. В военных буднях фильма "Поколение" он отразил свой личный опыт – опыт жившего случайными заработками юноши, которого оккупанты считают одним из недочеловеков. Снимая "Канал" и "Пепел и алмаз", Вайда словно бы проживал судьбу своего никогда не существовавшего старшего брата, сражавшегося в Варшавском восстании. С самого начала, как только Вайда взял за основу "Лётной" рассказ Жукровского[2], картина превратилась в его личное высказывание о смерти отца. Конечно не с точки зрения фактической – во время съемок он и сам еще ничего не знал ни о смерти капитана Якуба Вайды (а если бы даже и знал, все равно не мог бы рассказать), ни об обстоятельствах его ареста и отправки в лагерь в Козельск. "Лётна" – метафорическое повествование о гибели отцовского мира, мира благородной оборонительной войны, на которую отправляются из патриотических побуждений, идеального мира непобедимой кавалерии и "славы польского оружия".

Сегодня понятно, как поторопились те, кто раскритиковал фильм в свое время: сюрреалистические об-

© Tadeusz Lubelski, 2008
© М. Алексеева. Перевод, 2008
Печатается с незначительными сокращениями.

1. Впервые фестиваль "Европалия" состоялся в 1969 г. в Бельгии и с тех пор проводится там раз в два года. На каждом фестивале представлены высшие достижения культуры одной страны. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

1. Фильм о последних уланах польской армии, сражавшейся с немцами в сентябре 1939 г. Лётна (Летучая) – имя белой лошади, о которой мечтает каждый из кавалеристов, героев фильма. Все ее владельцы погибают, летя навстречу немецким танкам.

2. Войцех Жукровский (1916–2000) – прозаик, много писавший на военную тему.

разы "Лётной" и ныне поражают своей красотой. Однако картине не суждено было обрести того звучания, на которое рассчитывал режиссер. В отличие от "Канала" или "Пепла и алмаза", в "Лётной" не было героев, с которыми зрителям хотелось бы себя отождествить. Не было там и присущего другим фильмам Вайды очищающего чувства трагизма, благодаря которому, испытав сострадание и страх, зрители достигали внутреннего спокойствия. Поэтому Вайда, который воспринял "Лётну" как свое первое профессиональное поражение, с тех пор жил с ощущением, что должен рассказать преследовавшую его историю о смерти отца еще раз.

Этот свой замысел он смог осуществить лишь после 1989 года. Во-первых, созданию фильма о катынском преступлении уже не мешала цензура, во-вторых, стало доподлинно известно, как все произошло в действительности, и, кроме того, Вайда примерно в это же время узнал, при каких обстоятельствах его отец попал в плен. Тем самым открылась возможность воссоздать реальные события. Оставалось одно — найти сюжетный ход, благодаря которому фильм обрел бы убедительность.

Вот почему поиск формулы фильма о Катыни продолжался так долго. Вайда чувствовал, что, если центром повествования сделать лагерь, это не только прозвучит фальшиво, но и сведет на нет драматургическое напряжение. Окончательное решение пришло в конце 90-х, когда Ян Юзеф Щепанский[1] посоветовал режиссеру сделать лейтмотивом фильма не само преступление, а "катынскую ложь". Тогда зрители, которым сегодня правда уже известна (хотя, как показывают опросы, — далеко не всем), задумаются над тем, что нужно сделать, чтобы она вышла наружу и чтобы вследствие этого панихиду можно было отслужить открыто, сообща, всем миром.

Во время работы над сценарием (который Вайда писал вместе с Анджеем Мулярчиком, чья книга "Post mortem" появилась позже) у соавторов родилась идея, что правду — вместе со зрителями — должны искать две женщины, для которых нет ничего важнее в жизни. Обе появляются уже в первой сцене фильма, которая датируется 17 сентября 1939 года. Одна из героинь — Анна (Майя Осташевская), жена уланского ротмистра Анджея, того, который, находясь в плену, решил день за днем заносить все события, фамилии и факты в свою записную книжку. Вторая — жена генерала (ее играет Данута Стенка) — внутренне готова узнать правду и рассказать о ней, чего бы это ни стоило. Их судьбы переплетены. "Ваша обязанность, майор, давать показания", — говорит жена генерала чудом уцелевшему в Катыни Ежи, который прибыл в Краков с дивизией Костюшко[1]. Осознав, что показаний он дать не сможет, Ежи кончает жизнь самоубийством. Услышав о его самоубийстве, сотрудница тайного катынского архива (Кристина Захватович) передает семье ротмистра бесценную записную книжку. Таким образом, по логике сюжета, финал становится открытием правды: мы видим, как совершилось преступление.

Вот почему картина смерти отца (произошла ли она в подвале здания НКВД или на краю рва, а из имеющихся документов следует, что возможно было и то, и другое) стала последней сценой фильма "Катынь". "Если режиссер хочет, чтобы зрители восприняли то, что он пытается им сказать с экрана, он не может рыдать над собой, — сказал Анджей Вайда во время одной из дискуссий о фильме. — Он должен придумать, как показать то, что его волнует, чтобы это трогало и других".

1. Ян Юзеф Щепанский (1919–2003) — писатель, эссеист, репортер, киносценарист, переводчик. В "ИЛ" публиковались его произведения (1974, № 7; 1999, № 6; 2007, № 12; 2008, № 3).

1. Дивизия имени Тадеуша Костюшко была сформирована в СССР в 1943 г. Ее основу составляли поляки, репрессированные сталинским НКВД по политическим мотивам и освобожденные по договору с лондонским эмигрантским правительством.

Григорий Стариковский
По *Ирландии*

Записки путешественника

Слаще всего дышать
Воздухом у воды...

Ирина Ковалева

1. *Дублин*

Серые, грузные облака нехотя пропускают шероховатый солнечный луч. Здешним воздухом не столько дышишь — им насыщаешься. Он — вещественен; крепко просоленный, как будто ночью держат его в бочках из-под ирландской сельди....

Я люблю медленный, повисший в воздухе дождь, порожние, прихваченные ржавчиной траулеры — как быстро сходит с них даже самая въедливая краска. А еще — каменные мосты через Лиффи, в которой плавают ленивые чайки среди белесой, почти сплошной ряски сигаретных окурков, а на набережной жуют бутерброды заезжие поляки, расшаркиваясь друг перед другом подметками шершавых слов.

Вода здесь лишена своего основного свойства — зыбкости. Она иного замеса, — неприветливая, бледная, изможденная. И все-таки нет в ней вялости. Перед вами — жидкий базальт, охлажденный до предельной честности. Упорная ярость Лиффи. А еще чуть южнее, как внезапно уснувший рыцарь, покоится застывшая гладь Гранд-Канала, с обеих сторон обсаженного кленами. Сходство с московскими бульварами, только вместо центральной дорожки — узкая полоса заросшей кувшинками воды. Это — младший брат Лиффи, но даже там, среди древесной идиллии — обломком громадной суповой ложки — просвечивает оловянная сосредоточенность воды. Можно всю жизнь простоять на берегу, всматриваясь в воду, но вы никогда не увидите своего отражения.

***

Ясную погоду принимаешь как незаслуженный дар, на улицу выходишь, с опаской поглядывая на безоблачное небо. Неожиданная щедрость солнца, словно нувориш, налево и направо сорящий деньгами, наводит на город дешевый глянец, и с лица Дублина сходит хмельная одутловатость, кельтская отечность.

Не выходите в ясный день из дому, зашторьте окна, раскройте книгу и углубитесь в чтение. Ждите измороси. Не то влиться вам в толпу туристов, полусонно осматривающих местные достопримечательности, прихлебывающих "гиннесс" за столиками в *литературных* пабах близ Графтон-стрит, за которыми, как гласят путеводители, сиживали лет пятьдесят-шестьдесят назад известные теперь всему миру ирландские поэты и писатели. Не идите на поводу у гламурных путеводителей, расписывающих красоты Дублина и, как бабочку на иглу, нанизывающих дублинцев на утонченный язык газетной пошлости.

© Григорий Стариковский, 2008

Взгляните лучше на картины Уолтера Осборна, на лица его земляков. Вот, к примеру, "Рыбный рынок". Под навесом стоит девочка, похожая на мадонн из романских часовен. Девочка-свечка, она сгорит от чахотки или выйдет замуж за какого-нибудь Патрика или Брайана, который будет бить ее смертным боем на грязной трущобной кухне. Не идет торговля, никому здесь не нужна живая рыба... Я был в соборе Святого Патрика, там в каждом углу сквозь стены слышится чахоточный с кровью кашель. Это и есть Дублин.

Не заходите в бары близ Графтон-стрит, ради тех, кто здесь бывал, не заходите. Это светская, скотская потребность – посидеть за столиком, за которым встречались знаменитости. Быть литератором в Дублине шестидесятилетней давности – значит за гроши писать в бульварную газетенку, а потом плестись через весь город, качаясь от голода, и спиваться, запойно спиваться до смерти. Эти люди, по следам которых вы ходите, не умели, не хотели жить.

На берегу Гранд-Канала, в бронзовом пиджаке, закинув ногу на ногу, сидит Патрик Каванах и смотрит на воду. Из кармана торчит вчерашняя газета. Кажется, что поэт присел отдохнуть, отдышаться; скоро он встанет, перейдет Канал и двинется в сторону Болсбриджа, где начисто выметены тротуары, а над посольскими домами виснут конскими попонами намокшие иностранные флаги. Это мой любимейший памятник. Это памятник – человеку, его дыханию, терпкой нежности его стихов, лучшее из того, чем можно помянуть художника:

Заласканный листьями берег
и зелье
Воды избавляют от тяжести,
словно
Даруют свободу,
как кроткую зелень
Природы, плывущей
и дышащей ровно.
Вот ветер затерся
невидимым третьим
В объятья влюбленных,
и птица на сучьях
Свивает гнездо
из щепы междометий,
Чтоб Слово рождалось
и билось в падучей.
И новой охвачен судьбой –
по уставу
Волшебной травы,
исполинского вяза, –
Я страстно молюсь о кореньях
и травах
Растущему возле меня богомазу.
Душе не откажешь
в зеленой обнове
И в небе, его голубином покрове.

***

Путеводители по Дублину не жалеют патоки, расписывая архитектурные красоты города, указывая на *неотразимость* георгианской и викторианской застройки. Начнем с того, что оба этих стиля – георгианский и викторианский – отнюдь не стремятся к броскости, *неотразимости*. С приходом георгианства в архитектуре намечается *уход в себя*, несколько манерная *сосредоточенность на себе*, но уже готовая претвориться в непроницаемую кирпичную кладку викторианских домов. При всей избыточности городской *архитектуры*, Дублин, особенно в сравнении с другими североевропейскими столицами, на редкость непроницаем, недекоративен и поэтому – предсказуем, как может быть предсказуемой, например, форма стула или контуры растопыренной пятерни. Поэтому и прогулка по Дублину оборачивается архитектурным обмороком. Дело тут не в потенциальной узнаваемости – центральные кварталы напоминают Прибалтику, южный Манхэттен, старую Филадельфию. Вернее, эта узнаваемость – и тут Дублин выдерживает стиль лучше других городов – строений вообще, домов *как домов*, предметов как таковых, в высшем, платоновском понимании этих слов. Уникальность Дублина в том, что он предлагает вам всматриваться не столько в очертания домов (то есть в декорации к вашим прогулкам по городу), сколько созерцать бытие

этих насыщенных каменной плотью строений, воспринимая перспективу городских кварталов как некий посыл к самопознанию. Таковы здесь пропорции города и воздуха, что, если вы поймете, чем дышат эти дома, вы поймете, чем и зачем дышите вы. А если самосозерцание не дается с первой попытки, идите в Ирландскую национальную галерею и остановитесь перед картиной Рембрандта "Бегство в Египет".

Друг спрашивает: "Какую картину ты бы хотел взять с собой?" Я хотел бы взять с собой, носить за подкладкой этот на первый взгляд неброский рембрандтовский холст. На картине изображена ночь. Смутные очертания двух человеческих фигур, позади которых темнеют деревья, окутанные непролазной тьмой; на коленях у Марии — младенец, но о его присутствии скорее догадываешься, — слишком *нечетко* прорисована фигура сидящей матери. Они (Мария и Иосиф) сидят перед костерком, в который мальчик (слуга?) подкладывает хворост. Справа от мальчика стоит вол и глядит на огонь. Костер разожжен на берегу пруда (или реки). В воде слабыми бликами плывут отражения Марии, Иосифа, мальчика-слуги и вола. Вверху, над лесом, брезжит первый утренний луч. Сперва кажется, что огонь — ничтожен по сравнению с нависшей над ним ночью, заполнившей холст. О Господи, сколько ее, этой перемолотой мглы, наносов черноты. Траурный Рембрандт со всей присущей только ему прямизной взгляда и глубиной проникновения в человеческую душу. В переливах черного цвета, в углубленной перспективе ночи оживает мятущаяся человеческая душа; внезапно нарастает тревога, и одновременно возникает ощущение, что это — ваша душа. Взгляд заводит вас слишком далеко, за пределы вменяемости — в мутную глину, из которой вы сотворены. И все же мастерство Рембрандта заключается не столько в сгущении тьмы, сколько в умении эту сотворенную им же ночь — рассеять. Если долго всматриваться в "Бегство", видишь, как огонь начинает разрастаться, пока его свет, отраженный в воде и подхваченный в верхнем правом углу юным утренним лучом, не заполняет *всю* картину, подменяя одну — темную — перспективу другой — светлой. Это — торжество света над тьмой, пробуждение к жизни, явный намек на будущее. Там, в музее, вспомнился разговор с Мариной Георгадзе. Однажды я много и бестолково говорил о радостном, почти утробном уюте американского Рождества, о пряничном рождении Младенца. Марина оборвала мои разглагольствования словами: "Он-то родится, за Него не беспокойся. Вопрос в том, родимся ли мы". Рембрандтовское "Бегство" — это первый проблеск, обещание рождения. Надо только найти в себе этот едва уловимый источник света.

Недалеко от "Бегства" висит картина Вермера "Женщина, пишущая письмо, и ее служанка". Здесь много гениальной бутафории, начиная с черного полога занавеси, напоминающей театральные кулисы. Женщина, хозяйка, склонившись над столом, самозабвенно водит пером по бумаге. Она похожа на куклу, манекен — платье облегает кусок теста. Какие-то клочки бумаги, обломок красного сургуча, гребенка лежат на полу. Замысловатый, несколько мутный орнамент темно-красной скатерти. За спиной у нее картина. Потускневшая, мертвая вариация на тему "Нахождение Моисея". Две обнаженные фигуры. Женщина держит в руках ребенка. Она показывает младенца окружающим. Окружающие — в несколько манерных, прихотливых позах — делают вид, что выловленный младенец им любопытен. Обратите внимание на служанку, стоящую у окна. Да, у нее восковые руки, низко, на уровне талии (уж не ждет ли она ребенка?) лежащие одна на другой. Невзрачное, скрадывающее тёпло-серое, на вид почти глиняное платье. Не чета белолицей, которая пишет письмо. И все-таки служанка является центром картины. Единственная недекоративная деталь картины — поворот ее головы. Она смотрит в витражное окно. Оно,

как любая вещь у Вермера, прорисовано в мельчайших подробностях. Витражные его узоры, геометрически выверенные, расходятся лучами. Дымчатый солнечный свет сочится в окно. Ее лицо обращено к свету.

2. *Монахан*

Автобус кружит по монаханским холмам. На севере, ближе к Белфасту, сливаясь с облаками, клубятся горы. Единственный утренний автобус мчится в Иннискин, на родину Каванаха. Дорога узкая, извилистая, без обочин; живые изгороди вплотную подползают к асфальту. На дороге — никого, разве что изредка промелькнет встречная машина с развевающимся бело-голубым флагом графства. Останавливаемся в небольшом поселке, возле телефонной будки.

Музей Каванаха находится в действующей церкви. По субботам работает музей, а в воскресенье здесь служат мессу. Каванах вовсе не был набожным католиком и клириков недолюбливал. И все-таки есть внутренняя ирландская логика в том, что люди сюда приходят, чтобы поклониться Христу и Патрику Каванаху, выросшему в этой ирландской галилее и пахавшему здесь землю.

Поводья выпусти! К земле
Зерно летит — свободно — в ночь
Земли, как звезды
в черной мгле, —
К бессмертию апрельских почв.

Зерно — всесильное, как плод
Познанья в книге Бытия.
Пусть Бог-Отец коней ведет
В завете ветхого жнивья.

Не верь соседской болтовне,
Не оставляющей следа.
Судьба оправдана вполне,
Лишь зазмеится борозда.

Пусть шепчет червь, что от копыт
И острых зубьев нет житья, —
Тебя библейский пар роднит
Со всходом первым Бытия.

В единении лирики и религии можно уловить отголосок языческих кельтских поверий, времен, когда бардам поклонялись как избранникам богов. Поэтому нет в этом музее въедливой музейной пыли, и каждое оставшееся от Каванаха слово, каждая вещь поэта напоминает о Святых Дарах.

Церковный погост как бы карабкается вверх по холму. Я долго искал могилу Каванаха, пока мне не помог человек, высаживавший маргаритки. "А, вам к Пэди... Да вон там, чуть левее". Могила выложена камнями, взятыми с соседней дороги, когда та была еще брусчаткой и по ней гоняли на велосипедах стайки мальчишек.

Я стоял над могилой Каванаха, когда к церкви подъехала машина. Из нее вышла женщина. Она прислонилась к церковной стене и заплакала. К ней подошел молодой человек и взял под руку. Когда, уходя с погоста, я обернулся, они стояли на том же месте почти без движения, только женщина иногда утирала платком слезы. А на погосте кипела работа. Фермеры обсаживали цветами могилы родных. Почти пряно пахла свежевырытая земля. Крошась под лопатами фермеров, она казалась сосредоточенной на какой-то важной мысли. Я вдруг понял, что смерти нет, что не только душа Каванаха — бессмертна (поэты — не умирают), но и души лежащих там, на погосте, которым предназначены все эти цветы, эти вскопанные участки, тоже живы и находятся среди нас, вне зависимости от желания поминать ушедших. Живые тени, их можно нечаянно задеть локтем. Прав был Гераклит: в жизни есть смерть, но и в смерти есть данность жизни, породнившейся с землей, но не ставшей от этого менее ощутимой... Глубинная, земляная связь двух миров...

Автобус из Иннискина уходил только в пять вечера. Я решил идти в Карриксмергус, городок, находящийся в десяти милях к северу от Иннискина. Узкая лента дороги, асфальтированной, натертой до блес-

ка, без единой щербины. Проезжая часть плотно примыкает к живой изгороди. Здесь ты — либо водитель/пассажир по эту сторону изгороди, либо бык/корова/овца — по ту. Низкие, лезущие за пазуху облака. Иногда припускает дождик. Блеклый какой-то ландшафт. От машин уворачиваешься, повисая, как рваный целлофановый пакет, на живой (живой ли?) изгороди.

Прогулка по местным дорогам — это осязание взаимного отчуждения пространства и человека, пересекающего это пространство в надежде на свежие впечатления. Метафизика душного лабиринта, куда вступаешь, забыв положить в карман клубок ниток. Превращение (отдохни, Калипсо!) в птицу, улетевшую на юг, чтобы понять — там тоже север. Но все-таки идешь дальше, все меньше доверяя себе. Притупленная гордость, изжога честолюбия.

Постепенно забываешь, куда и зачем идешь. Понимаешь только, что приближаешься к чему-то важному для себя, долгожданному. Вспоминаешь Одиссея, изувеченного путешествиями. Одиссея не сказочного, не книжного, а живого, сущего (это, наверно, и есть высшее прочтение мифа, когда читающий отождествляет мифического героя с собой). Одиссея, назвавшего себя Никем в пещере Полифема. В этом ответе Одиссея Полифему видят сметливость, сообразительность героя — он, мол, нашел единственно возможные, увертливые слова в ответ на каверзный вопрос циклопа. Одиссея можно истолковать и по-другому... В них отразилось мгновенное понимание Одиссеем своей беспомощности перед одноглазым уродом, запредельного своего сиротства. Одиссеево тщеславие погибает на глазах читателя; ему вдруг открывается, что он действительно — *никто*, что никакая хитрость не вернет к жизни погибших (по его же вине) товарищей.

Это ощущение полнейшей никчемности, *целокупная* неприкаянность — не последнее по важности из данных нам ощущений. Взмокшее, чужое, обволакивающее пространство графства Монахан, одиссеева горькая осмотрительность на виду у мчащихся автомобилей, черные быки (они в этих краях вездесущи), с которыми не совладать никакому Ясону, — все это напоминает о собственной физической и душевной нищете. Здесь вы — наедине с собой, в максимально возможном приближении к тому, чем вы являетесь на самом деле — дождевой пылью, прелой землей, Никем.

***

Вымокший, злой, заходишь в придорожный шалман. Нервно выуживаешь из карманов мелочь. Хватает на стакан виски. Садишься в дальнем углу. Пьешь, отвоевывая похищенное дождем тепло. Давишься, кашляешь в рукав, но все равно пьешь. Спасение приходит изнутри. Снаружи — серая стена шалмана, увешанная старыми фотографиями. На фотографиях дети, ученики местной школы. Год выпуска — 1932-й. Юные веснушчатые лица. Копны соломенных волос. Воскресные пиджачки, брючки. На вычищенных ботинках застыла фотовспышка. Чем больше разглядываешь их физиономии, тем быстрее хмельное тепло сменяется горчайшим похмельем, становится еще хуже, чем прежде, под дождем. Ирландские души в аквариуме выцветшего фотоснимка. Прах земли, приложение к Давидовой "Псалтыри" или к пифийской оде Пиндара. Человек — лишь тень, которая снится тени. Тень, которая снится тени... Отчего висит здесь эта фотография? Что она увековечивает, увеча смотрящего? Каждая фотография — дань фаюмскому погребальному портрету. Каждый Ахилл хочет нагнать свою черепаху. Быстроногий, не теряя ее из виду, он мчится во все лопатки, пока летящая за ним стрела не пронзает его пяты и не насыщает всю плоть ядом времени. Ахилл падает. Душа, подобно шумной птице, исторгается из груди. Греческий трагик Эсхил погибает, когда ему на голову падает черепаха, выпавшая из

когтей летящего над ним орла. Фотография – та же черепаха. Вот оно, Аристотелево сострадание – к ним, что, пройдя свой земной путь, лежат на погосте рядом с Каванахом, зарывшись в землю. Фотография как маска (самка) времени. Фотография как заплачка, как вопль персидского царя Ксеркса, обращенный к многотысячному войску, построенному на берегу моря: "Ведь через сто лет никого из них не будет!" Что случилось с этими юными, насмешливыми лицами? Что будет с нами?

***

Каванах испытывал отвращение к людям, сидящим вокруг него, пьющим, судачащим о житейской всякой всячине. Почти животное отвращение... Они смеются, осушают пивные кружки, шумят, как будто собираются жить вечно, решив раз и навсегда не задаваться вопросами о предназначении человека, о своей судьбе. Есть в этом что-то жадно-тоскливое, наивное в высшей степени. Сидишь и думаешь – это и есть жизнь, соприкосновение с падалью? Жизнь как тошнота при взгляде на них, забывших раз и навсегда, кто они. Беззаботность придорожной падали... Каванах чувствует, что между ним и этими людьми – непроницаемая стеклянная стена. Они, эти люди, перед ним – как рыбы в иллюминаторе батискафа. Их слова непонятны, еле слышны. Поди разбери, о чем говорят рыбы... Брайан Бойль, Брайан Быль, Брайан Боль... Каванах напяливает отяжелевшее от дождевой воды пальто, поднимает воротник и выбегает из шалмана. Хлещет дождь.

Мава, осень 2007

В. Скороденко

Как пропагандировать духовное достояние

Заметки о работе одной иностранной организации

От редакции

Этой публикацией "ИЛ" начинает новую рубрику "Культурная инициатива", посвященную деятельности благотворительных организаций, которые поддерживают издание переводов и популяризируют зарубежную литературу. Редакция "ИЛ" благодарит Литературную биржу Ирландии (ЛБИ) за сотрудничество в совместном проекте журнала и Посольства Ирландской Республики в РФ — издании тематического номера "Ирландия: верность неутраченной традиции" (2007, № 6).

27 октября в "Доме Уэлсли" – там в 1769 году появился на свет Артур Уэлсли, будущий победитель Наполеона герцог Веллингтон, ныне же здание входит в комплекс самого роскошного и престижного в Дублине, если не во всей Ирландии, отеля "Меррион" – состоялся прием. Чествовали организацию "Литературная биржа Ирландии" (ЛБИ) в связи с выходом в свет при ее поддержке тысячного перевода на иностранный язык ирландской книги – романа Джозефа О'Коннора "Ридемпшен-Фоллз", переведенного на французский Карин Шишеро. На приеме выступили министр по делам искусств, спорта и туризма Ирландии Шеймас Бреннан, воздавший должное ЛБИ за продвижение в мире ирландской литературы, автор-"именинник" и его переводчик, а также директор ЛБИ Шинейд Макей, которая поведала о трудностях и радостях в работе организации.

В буклете, выпущенном ЛБИ на восьми языках, в том числе на русском, об этой работе говорится довольно сжато: "'Литературная биржа Ирландии' является государственным агентством для международного распространения ирландской литературы на английском и ирландском языках. Мы осуществляем это главным образом посредством *предоставления переводческих грантов* заграничным издательствам. Мы также назначаем *резидентские стипендии* литературным переводчикам, *организуем встречи с писателями и переводчиками* на международных фестивалях и *регулярно принимаем участие в крупных мировых книжных ярмарках*. Мы приветствуем заявления от ирландских издателей, которые хотят выпускать заграничную литературу в переводах". На последнюю фразу хотелось бы обратить особое внимание: деятельность ЛБИ, образно говоря, – улица с двусторонним движением, это действительно культурная биржа, на которой ведется обмен литературными ценностями, хотя, понятно, ирландская литература идет на ней по особому курсу.

ЛБИ – некоммерческая организация, ее финансируют Советы по

© В. Скороденко, 2008

делам искусств в Ирландии, фонд "Культура Ирландии" и Комиссия по книгам на ирландском языке. Биржа выделяет гранты на переводы художественной, детской, биографической и исторической литературы, драматургии, поэзии и литературной критики. Основанная в 1994 году, организация постепенно расширяла "географию" своей деятельности, а с приходом в апреле 2003 года на пост главы ЛБИ Шинейд Макей работа Биржи, как справедливо отметил министр, вышла на новый количественный и качественный уровень. В частности, ЛБИ осуществила масштабную "китайскую" программу, да и "русская" часть обогатилась, при том что после упразднения идеологической цензуры во второй половине 1980-х годов ирландских классиков-модернистов у нас начали переводить и издавать широко и охотно.

За скупым перечислением главных видов деятельности ЛБИ, приведенном в буклете, кроется огромный объем творческой, организационной и просто отчетно-бумажной работы, связанной с налаживанием контактов, разъездами, финансовыми и бытовыми хлопотами по устройству переводчиков, приезжающих в Ирландию по "резидентским" переводческим грантам, и т. д. и т. п. Разумеется, у ЛБИ есть свое Правление, своего рода попечительский совет, в котором представлены спонсоры организации и которое созывается на заседания по мере необходимости. Разумеется, она привлекает большой штат рецензентов и референтов. Но рутинная работа — она и остается рутинной. Это и постоянные контакты с рецензентами и референтами, и подготовка ежегодного выпуска рекомендательного каталога "Новинки ирландской литературы" с перечнем произведений, на которые ЛБИ приобрело переводческие права. Со всей этой работой успешно справляется маленькое агентство, состоящее из директора и двух сотрудников (на сегодняшний день — сотрудниц Доротеи и Риты) и занимающее всего одну комнату с отгородкой в офисном помещении в самом центре Дублина. Как они справляются? Вертятся как белки в колесе, в чем автор этой заметки сам имел возможность убедиться.

Результаты говорят сами за себя. За последние три года (2004—2007) ЛБИ направила ирландских писателей на литературные фестивали и встречи в Китай, Мексику, Хорватию, Боснию, Финляндию, Италию, Францию, Словению, Аргентину, Россию, Латвию и Индию. Поддержала переводческий семинар-практикум в Германии, литературные фестивали в Британии и Польше, ирландский ландшафтный проект "Сады Тейн" в Пекине, постановку в Словакии прогремевшей в Европе пьесы Марка О'Роу "Первогодок Хоуи". Приняла в Ирландии девять переводчиков по программе "резидентских" грантов.

Что касается перевода ирландских писателей на иностранные языки, то в одном 2007 году были опубликованы: на китайском — романы Джона Бэнвилла и Колма Тойбина; на японском — сборник рассказов Мэри Хини; на исландском — роман Йона Колфера; на финском — другая книга того же автора; на сербском — сборник сказок Оскара Уайльда; на словенском — роман Джона Бойна; на вьетнамском — "Изгнанники" Патрика О'Коннейра; на датском — роман Родди Дойла; на иврите — пьесы Сэмюэла Беккета; на литовском — его же роман; на македонском — сборник стихотворений Пэта Борана; на испанском — последний поэтический сборник Шеймаса Хини; на русском — сборник стихов и прозы того же автора. И, наконец, в Ирландии вышла в переводе на английский (с немецкого!) нашумевшая пьеса шведа Карла-Хеннинга Вийкмарка "Современная смерть"[1].

Внушительно. Тем более что тогда, когда писались эти заметки, от 2007-го оставалось еще полтора месяца, за которые, наверное, могли увидеть свет и новые названия.

1. "ИЛ", 2008, № 5.

В заключение просто нельзя не сказать о литературном событии, к которому следует отнестись как к настоящему подвигу и переводчика, и ЛБИ, – публикации на корейском языке практически непереводимого (и все же – переведенного!) неподъемного текста Джеймса Джойса "Поминки по Финнегану" (выпущены в 2002 году). Это ли не показатель уважительного отношения нации к своему литературному наследию, даже если оно заведомо недоступно обычному грамотному читателю и всецело принадлежит сфере узко специализированной филологии?

Но такова творческая политика Литературной биржи Ирландии по продвижению в мир ирландской литературы, по своему значению, влиянию и обилию талантов несоизмеримой с географической площадью островного европейского государства. Впрочем, достоинства ирландской литературы – тема разговора, выходящего за рамки этих сугубо конкретных заметок. Разговора, который "Иностранная литература" вот уже много лет ведет на своих страницах и, дай бог, и впредь будет вести для просвещения и удовольствия читателей журнала.

Прогулки с Мартином Эмисом

Мартин Эмис *Лондонские поля*: Роман / Пер. с англ. Г. Яропольского. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2007

В кругу расчисленных светил нынешней английской литературы Мартин Эмис, если верить рекламным аннотациям и восторженным заметкам в отечественной прессе, – прямо-таки беззаконная комета, осветившая унылые сумерки пост-пост-постмодернистской эпохи. Едва ли не каждая статья, посвященная Эмису, искрится хвалебными эпитетами и взрывается медийными шутихами: *Сын известного прозаика... Дебютный роман отмечен премией Сомерсета Моэма... Один из крупнейших писателей современной Англии... Центральная фигура в английской литературе сегодня... Миллион фунтов за еще не написанный роман... С своей пылающей душой... С своими бурными страстями... За курс лекций о литературном мастерстве в Университете Манчестера зарабатывает в час три тысячи фунтов стерлингов... Дэвид Кроненберг взялся за экранизацию "Лондонских полей"...*

Каюсь: хорошо зная о нездоровой впечатлительности и легковерности большинства наших газетных и гламурно-журнальных обозревателей (чье обожание литературного ширпотреба с лейблом "сделано в Англии" порой напоминает нездоровую галломанию грибоедовских княжон) и не видя прямой зависимости между количеством премий, величиной писательских гонораров и чисто художественными достоинствами произведений, я долгое время не поддавался на рекламные уговоры и не разделял восторгов по поводу "одного из самых модных и читаемых английских прозаиков последнего времени". Тем более что первые эмисовские опусы, появившиеся на русском, только укрепляли мой скептицизм.

"Ночной поезд" (1997; Пер. с англ. Е. Петровой. – М.: Махаон, 2000) оказался заурядным, на живую нитку сшитым детективом à la Маринина, в котором мужиковатая сотрудница убойного отдела по имени Майк Хулигэн ("крашеная блондинка сорока четырех лет с боксерским торсом, с мощными плечами и выцветшими голубыми глазами") шершавым языком околотарантинного чтива рассказывает о самом тяжелом деле из всех, какие ей довелось расследовать: "чистейшей воды мокруха заявилась на бал обряженной в платье самоубийства", причем жертва умудрилась укокошить себя *тремя* выстрелами в голову.

Вызвавшая острую полемику в англоязычной прессе книга Эмиса "Сталин. Иосиф Грозный"[1] (Пер. с англ. А. Голова. – М.: ЭКСМО, 2003) представляла собой не более чем запоздалый перепев нашей "перестроечной" публицистики и не добавляла ни одной живой и оригинальной черточки к портрету достопамятного Отца народов. Эдакое попурри классических работ Александра Солженицына, Роберта Конквеста, Дмитрия Волкогонова, Надежды Мандельштам, разбавленное автобиографическими интерлюдиями (признаниями в собственных "левых" заблужде-

1. "Koba the Dread – Laughter and Twenty Million", Cape, 2002 (букв.: Коба Ужасный – смех и двадцать миллионов жизней).

ниях, рассказами о превращении Эмиса-старшего из Савла в Павла, из коммуниста в коричневой масти консерватора, полемикой с другом юности, журналистом-троцкистом Кристофером Хитченсом) и сдобренное такими вот образчиками тонкого английского юмора: "Вопрос: в чем заключается разница между локомотивом коммунизма и агитатором коммунизма? Ответ: перед агитатором можно закрыть дверь"; "Вопрос: почему СССР и Америка — одинаково развитые страны? Ответ: потому что в СССР вы можете издеваться над Америкой так же свободно, как и в самой Америке".

Третий эмисовский роман, "Успех" (1978; Пер. с англ. В. Симонова. — СПб.: Симпозиум, 2004), с его зеркальной композицией и регулярной сменой двух героев-повествователей, названых братьев, живущих в одной лондонской квартире, но представляющих разные социальные типы, несмотря на внешнее жизнеподобие, неприятно поражал своей сюжетной заданностью и схематизмом: внешне утонченный Грегори (беззаботный транжира, эстет и сноб, призванный, по-видимому, воплощать пороки и слабости вырождающейся аристократии) нарочито противопоставлялся неказистому и приземленному Терри, выходцу из низов среднего класса. К концу вялого, то и дело буксующего на месте повествования (об одних и тех же незамысловатых событиях рассказывается дважды) братья, по щучьему веленью, по авторскому хотенью, меняются местами: счастливчик Грегори, перед которым в начале романа открывались радужные перспективы, оказывается у разбитого корыта, а его братец, преодолев всевозможные комплексы, делает неплохую карьеру и из замухрышки клерка превращается в преуспевающего яппи. Насколько можно судить по сдержанным отзывам британских критиков, в оригинале анемичное творение Эмиса хоть как-то оживлялось благодаря контрасту между повествовательными манерами братьев-антиподов: изысканно претенциозным стилем Грегори и дубоватым кокни Терри; однако в русском переводе все отличия сгладились, что сделало роман еще более тусклым и монотонным. А стилистические красоты, типа "богатая палитра его зубов, конусами торчащих из металлической гекатомбы его челюстей", также не прибавляли оптимизма и заставляли еще более недоверчиво относиться к тем безудержным похвалам, которые расточались автору на страницах рекламных изданий, вроде "Афиши" и "Книжного обозрения".

Я уже хотел поставить на Эмисе жирный крест, когда мне попался на глаза перевод его дебютного романа "Записки о Рейчел" (1973; Пер. с англ. М. Шермана. — СПб.: Амфора, 2005) — тот самый, который принес писателю престижную в Англии премию имени Уильяма Сомерсета Моэма. Вроде бы ничего особенного — "никакими экспериментами не выдающаяся подростковая проза, замешанная на гормональном взрыве, пубертатной агрессии и тинейджерском хамстве", как выразилась одна газетная обозревательница[1]. Перед нами стандартный набор: одержимый приступами мировой скорби и "осознанности бытия" инфантильный рассказчик, который порабощен "противопоставлением себя остальному миру" и показным цинизмом маскирует свои комплексы и фобии; неизбежные конфликты с родителями; "добросовестный ребяческий разврат" и первая любовь, щедрые россыпи вульгаризмов и обсценной лексики, все эти неизбежные "отходняк", "трахать",

1. Н. Бабинцева. Не ухом, а брюхом // Время новостей, 2005, 31 мая (№ 94).

"дрочить", "мудак", "старый говнюк" и т. п.

И все же многое в романе привлекало и говорило о незаурядном мастерстве автора: психологическая убедительность героев, меткость характеристик и яркость портретных деталей (чего стоит хотя бы проходной персонаж, "с необыкновенно большими коричневыми ушами, похожими на печенье, которое обмакнули в чай"), наконец, вспышки юмора и комического гротеска, расцвечивающие внешне заурядную историю о наивно эгоистичном девятнадцатилетнем балбесе. По прочтении "Записок о Рейчел" до полной реабилитации Эмиса было еще далеко, однако лед предубеждения был растоплен, и я решил ознакомиться с другими эмисовскими творениями, переведенными на русский язык. И не прогадал!

Роман "Деньги. Записки самоубийцы" (1985; Пер. с англ. А. Гузмана. — М.: Махаон, 2002) в полной мере оправдал те восторженные эпитеты, которыми принято награждать Эмиса-младшего. Несмотря на свои очевидные изъяны — интертекстуальные излишества (дань свирепствовавшей тогда, в середине 80-х, постмодернистской моде), рыхлость композиции, шаткость сюжетных мотивировок, художественно не оправданные игрища с авторским двойником, писателем по имени Мартин Эмис, без особой нужды появляющимся в ряде эпизодов, — книга читалась на одном дыхании, настолько завораживающим был саморазоблачительный монолог эмисовского антигероя Джона Сама — раблезианских масштабов развратника и пьяницы, чей гротескный образ олицетворяет современного "массового человека", с его безудержным гедонизмом, интеллектуальным убожеством и тупым самодовольством. Бытие Джона Сама определяется нехитрой формулой: "фастфуд, секс-шоу, журналы для мужчин, бухло, кабаки, драки, телевидение, дрочилово"; в его забубенной головушке "правят бал грех и преступность, мысли же все в вакууме, в свободном падении"; его "самая заветная мечта — огрести кучу денег".

Под стать карикатурному, но тем не менее удивительно достоверному протагонисту и другие персонажи: с виду преуспевающий американский продюсер Филдинг Гудни, "загорелый, в отменной физической форме, с улыбкой, за которую дантисту пришлось отвалить по меньшей мере королевский выкуп", соблазнивший Сама заманчивым кинопроектом, в итоге оборачивается аферистом, да еще и трансвеститом; отец героя-повествователя (оказавшийся отчимом) подается как "бездушный гедонист, эталон грубости и самонадеянности"; его любовница, которая "десять лет оттрубила на панели рядовым составом" и которой все же "удалось перескочить в высшую лигу" — сладостный мир порнобизнеса: в одной из сцен она с благоговейным восторгом демонстрирует потенциальному пасынку свои фото из второразрядного порнографического журнала, "ориентированного на скромные запросы и мозолистые ладони работников физического труда", и "подробно, с трепетом в голосе и со свежими слезами на кончиках ресниц" разъясняет, что "всегда была творческой натурой".

Пожалуй, в этом произведении Эмису удалось сделать невозможное: из бессвязного рассказа средней руки телерекламщика, помешанного на выпивке, сексе и порнографии и потому способного рассуждать только о порнографии, сексе и выпивке (ну еще и о деньгах — едва ли не единственной незыблемой ценности нашей релятивистской эпохи), из беспорядочных похождений и авантюр самодовольного пошляка, свято уверенного в том,

что он "не просто пассажир", а "один из пилотов жизни", писатель сумел воссоздать пугающе достоверную картину духовного оскудения и моральной деградации материально процветающей тэтчеровской Британии (к которой, как можно понять, не питал особой любви), да и всей западной цивилизации.

Роман впечатлял не только монументальным образом Джона Сама (которого смело можно ставить в один ряд с фолкнеровским Компсоном и льюисовским Бэббитом), но и своей языковой фактурой: гремучей смесью слэнга, просторечий и откровенной нецензурщины. К чести переводчика, он виртуозно использовал богатые ресурсы "великого и могучего" для передачи нюансов сногсшибательной эмисовской прозы и щедро (и почти всегда оправданно) сдобрил ее сочными цитатами из советского и постсоветского масскульта, типа: "волки позорные", "замуровали демоны", "орешек трудно расколоть, но мы не привыкли отступать" и т. д. Вряд ли Эмис смотрел в детстве киножурнал "Хочу все знать", но, думаю, объясни ему кто-нибудь суть дела, он оценил бы шутку переводчика — как и в случае с этим, явно незапрограммированным горьковско-гагаринским скетчем при описании авиарейса: "Со своим непременным номером выступили стюардессы — песня без слов безумству храбрых, пантомима о спасжилетах. <...> Поехали! — сказал я, когда с легкостью необыкновенной мы взмыли в воздух".

Следующий эмисовский роман, изданный в России, "Стрела времени, или природа преступления" (1991; Пер. А. Яковлева; Под ред. А. Гузмана, Р. Ирмашевой. — М.: ЭКСМО, 2004), хоть и не отличался языковым буйством "Денег", зато порадовал продуманной, стройной композицией и сюжетной изобретательностью. Альтер эго главного героя (если хотите, его душа, выполняющая функцию повествователя и постороннего наблюдателя) рассказывает "историю человеческой жизни, прожитой против часовой стрелки": от агонии на реанимационном столе до утробного существования. Словно в пущенной назад киноленте, перед нами предстает абсурдный "мир наоборот", в котором письма берутся из каминов или мусорных ящиков, проститутки платят клиентам, мертвый муравей оживляется давлением подметки беззаботного прохожего, на заводах "разделывают автомобили, превращая инструменты, детали, болты в уголь и железную руду", еда отрыгивается на тарелки, и после "рихтовки ножом, вилкой и ложкой" замораживается в холодильнике, "пока не придет пора отнести продукты в гастроном" и получить за них деньги. Соответственно изменяется и протагонист. По мере прокручивания сюжета американский пенсионер Тод Френдли воскрешается из мертвых и превращается сначала в преуспевающего врача, который калечит пациентов и тайком имплантирует зародыши, далее — в менее обеспеченного санитара-иммигранта, и наконец — в эсэсовца Одило Унфердорбена; пересекая океан, он поселяется в тихой Португалии и оттуда перебирается в Освенцим, где с помощью инъекций и газовых камер возвращает к жизни тысячи узников (после чего щедрые охранники одаривают их одеждой, обувью, часами и даже золотыми зубами, и отправляют в поезда, которые развозят их во все уголки Европы).

Конечно, черный юмор, окрашивающий произведение в тона мизантропической сатиры, пришелся по душе далеко не всем критикам (в Англии один литератор демонстративно вышел из состава Букеровского комитета, когда роман был номинирован на премию), да и сюжетный трюк, вос-

производящий принцип обратной съемки, был опробован задолго до Мартина Эмиса, — в рассказе кубинца Алехо Карпентьера "Возвращение к истокам" (1944), если не раньше, — однако "победителей не судят", а в том, что "Стрела времени", с ее гротескной образностью, остраняющими эффектами, вывернутой наизнанку фабулой и произнесенными наоборот, от ответа к вопросу, диалогами, — творческая победа писателя, у меня нет сомнений. Прием здесь художественно оправдан. Последовательно реализованная ключевая метафора — летящая вспять стрела времени — позволила запечатлеть абсурд безумного века, в котором перепутаны причины и следствия, благие намерения оборачиваются чудовищными преступлениями, а в мирных обывателях таятся бездны зла. Расщепляя главного героя на аморального Тода Френдли / Одило Унфердорбена и его прекраснодушного двойника, автор не только причудливым образом преломляет исторические реалии, но и придает всему повествованию дополнительное философское измерение. Благодаря все тому же наивному рассказчику, воспринимающему происходящее как должное, в роман вводятся мотивы "возвращения в невинность, искупления ошибок и грехов, очищения души от бремени опыта"[1], и звучит тема преодоления зла, его изживания в акте любви.

***

Увы, свежепереведенный роман "Лондонские поля" (1989) не может похвастать бесспорными достоинствами лучших вещей Эмиса, зато наглядно демонстрирует изъяны его творческой манеры.

Главный недостаток романа — надуманность сюжета, полного откровенных несуразностей и передержек, да к тому же построенного в архаичной манере — путем нанизывания однотипных эпизодов. Эмис и прежде был поразительно беззаботен насчет сюжетных мотивировок (в тех же "Деньгах", которые держатся главным образом за счет колоритного героя-повествователя и удивительной энергии стиля). В одном из интервью он самонадеянно заявил: "Сюжеты по-настоящему важны только в триллерах. В обычной литературе сюжет — это... Что это? Крючок. Читателю должно быть интересно, чем все обернется. В этом отношении 'Деньги' было гораздо труднее писать, чем 'Лондонские поля', потому что, по сути, это роман, в котором нет сюжета. Я бы назвал его романом авторского голоса. Если голос не работает, ты в пролете. В 'Деньгах' авторский голос был один, а в 'Лондонских полях' — четыре. Вместо того чтобы сложить яйца в одну корзину, я разложил их по четырем. Я почти не сомневался, что мой крючок — историю про женщину, которая организует свое собственное самоубийство, — проглотят. И хотя на протяжении пятисот страниц нет почти никакого действия, читателю все равно интересно — он хочет знать, чем все закончится"[1].

Как хотите, а неумение выстроить связный сюжет, способный направлять читательский интерес, но при этом избавленный от неувязок и достаточно достоверный по отношению к выбранной теме, — не самое большое достоинство "самого популярного романиста Великобритании". Один-единственный сюжетный крючок "Лондонских полей" крепится кое-как (что называется, держится на соплях) и не способен выдержать восьмисотстра-

1. О. Джумайло. За границами игры: английский постмодернистский роман. 1980–2000 // Вопросы литературы, 2007, № 5. С. 22.

1. Esquire, 2007, № 20.

ничную романную махину, где механически сцеплены несколько фабул и, словно в ирландском рагу, беспорядочно намешаны ингредиенты различных жанров: социально-бытовой сатиры, триллера, комедии положений и даже антиутопии — ведь время действия было перенесено Эмисом в ближайшее будущее, в 1999 год; на периферии сюжета бушует глобальный политический кризис, готовый вот-вот разрешиться ядерной войной, а заодно, так сказать, для полного счастья, маячит призрак вселенской катастрофы: "Астероид Аполлон, вырвавшись из пояса своих собратьев, направляется к нам со скоростью десять миль в секунду. Он так огромен, что, когда и если его передняя кромка врежется в Землю, задняя будет еще пребывать на той высоте, где летают самолеты. Уникальное взаиморасположение Земли, Луны и Солнца приведет к наводнению, которое накроет целое полушарие. Ожидаются 'солнцетрясения', грозы с молниями невероятной силы".

На этом мрачном фоне и разворачиваются события "Лондонских полей". Смертельно больной, изъеденный жизненными и творческими неудачами американский писатель Сэм Янг, волей случая поселившийся в роскошной лондонской квартире преуспевающего беллетриста Марка Эспри, пишет роман "Лондонские поля", в котором с первых же страниц задается зловещий лейтмотив — "Автомобиль, монтировка, убийца, поджидающий в машине, будущая убиенная, что приближается к нему, цокая каблучками", — и сообщается о неизбежной смерти сексапильной красотки Николь Сикс. Видите ли, "та, чье предназначение быть убитой" — так высокопарно именует ее бедолага переводчик, не найдя лучшего соответствия коварному "murderee", — разуверилась в любви, утратила вкус к жизни и решила уйти в мир иной. Но о том, что ей проще всего покончить с собой, ни она, ни Сэм Янг, ни сам Эмис даже не задумываются. Вместо банального суицида нам предлагается громоздкая и не слишком правдоподобная интрига с соблазнением и провоцированием двух случайно избранных потенциальных убийц.

Первый — кидала-неудачник, завсегдатай пабов и фанатичный поклонник игры в дартс Кит Талант, когда-то промышлявший рэкетом и грабежами, а теперь зарабатывающий на жизнь мелким мошенничеством. Наделенный всеми мыслимыми и не мыслимыми пороками, этот развратный, косноязычный и туповатый люмпен, чей умственный кругозор ограничен порнухой, таблоидами и, конечно же, телерепортажами об игре в дартс, получился у Эмиса едва ли не единственным живым характером, в котором теплится хоть что-то человеческое. Именно в нем воплощен дух "Лондонских полей", дух эмисовского Лондона, весьма далекóго от гламурных рекламно-туристических штампов: красочно и даже с любовью выписанный мир загаженных улиц, раскуроченных телефонных будок, малогабаритных квартирок и прокуренных пабов. Несмотря на простодушную наглость, непрошибаемый эгоизм и криминальные замашки (по сравнению с ним булгаковский Шариков — рафинированный интеллигент, а бёрджессовский Алекс — безгрешный ангелочек), Кит Талант обладает неотразимым обаянием, которое присуще преступным негодяям и плутам классической английской литературы (вроде шекспировского Пистоля или диккенсовского Джингля).

В качестве запасного варианта выбран его антипод — высокообразованный, утонченный богач Гай Клинч, ходячий набор политкорректных добродетелей и условностей, прису-

щих стопроцентному британскому джентльмену, у которого есть всё, чтобы казаться счастливым (отменное здоровье, два автомобиля, роскошный особняк в престижном районе Лондона), и еще бóльшее, чтобы вызывать читательское сочувствие: стерва-жена, вот уже год как отлучившая его от постели, и монструозный сынок Мармадюк, одержимый бесами насилия и разрушения. Это годовалое чудовище держит в страхе весь дом и периодически калечит присматривающих за ним нянек, не забывая время от времени наносить чувствительные раны любящему папаше. Натужно-юмористические описания семейных неурядиц Гая, вызванных злокозненным поведением его годовалого отпрыска, занимают добрую треть повествования; слабо связанные с основной сюжетной линией, они выглядят чем-то чужеродным, вроде необязательного комического балласта, и не столько потешают читателя, как, вероятно, рассчитывал автор, сколько утомляют своим однообразием. А постоянные шуточки насчет подспудных сексуальных желаний, якобы обуревающих Мармадюка, звучат откровенно пошловато: "Стоит отвернуться на десять секунд — и он уже либо лезет в огонь, вываливается в окно или совокупляется с розеткой... Бутылочку свою он сосет не хуже, чем самая дорогая в Лас-Вегасе девочка по вызову" и т. п.

В отличие от Кита Таланта, продолжающего блистательную галерею эмисовских антигероев, образ "хорошего парня" Гая Клинча вышел совершенно бесцветным, так что даже фиктивный автор "Лондонских полей" вынужден признать: "Он ни в чем не нуждался, но ему недоставало... всего. Он располагал несметными деньгами, <...> привлекательной внешностью, великолепным ростом, причудливо-оригинальным умом — но в нем не было ни капли жизни". К сожалению, таковы и другие обитатели "Лондонских полей", словно в комедиях классицизма наделенные говорящими именами и фамилиями. Им недостает не только жизненности и психологической глубины, но и художественной самостоятельности. Все они — лишь сюжетные функции, винтики затейливого, но довольно бестолкового механизма, работающего на холостом ходу. Две мещаночки-американочки, властная Гаева жена Хоуп (что в переводе значит "надежда") и ее сестричка Лиззибу (страдающая от безответной любви к Сэму Янгу и в качестве компенсации безостановочно поглощающая фастфуд), — типовые персонажи ситкома, взятые для комического оживляжа; многоречивый Сэм Янг, загромождающий свое "совершенно правдивое повествование" сетованиями на собственную профнепригодность, смертельную болезнь, трепетную любовь к малышке Ким, годовалой дочери Кита Таланта[1], а также другими, не слишком глубокомысленными отступлениями (о разновидностях поцелуев, о женском белье и т. д.), — не более чем знак авторского присутствия в тексте, своего рода авторская монограмма; его собрат по перу, богатый и удачливый плейбой Марк Эспри,

1. Здесь эмисовский повествователь вольно или невольно подражает Гумберту Гумберту. Характерно, что в прочувствованном предсмертном письме к ангелоподобной малютке Ким он почти буквально воспроизводит стиль прощального монолога набоковского нимфолепта. Профессиональные охотники за параллелями непременно должны обратить свое внимание хотя бы вот на эти отрывки. *Сэм Янг*: "Надеюсь, что ты живешь со своей матерью и что обе вы хорошо обеспечены. Надеюсь, что твой отец где-нибудь неподалеку — и обуздан. Начало твоей жизни было суровым. Да не будет столь же суровым ее продолжение. Я на это надеюсь". *Гумберт Гумберт*: "Надеюсь, что ты будешь любить своего ребеночка. Надеюсь, что он будет мальчик. Надеюсь, что муж твой будет всегда хорошо с тобой обходиться..."

к которому он питает смешанное чувство зависти и презрения, являет собой пародию на литературную персону, публичный имидж самого Мартина Эмиса (намеренное сходство их инициалов не заметит разве что ленивый); Николь Сикс — воплощение мужских сексуальных фантазий; психологизма в ней не больше, чем в "отфотошопленной" красотке с обложки глянцевого журнала.

В соответствии со своим хитроумным планом Николь (в недалеком прошлом — несостоявшаяся актриса) охмуряет обоих претендентов на роль убийцы, разыгрывая перед пресно положительным и зажатым Гаем роль восторженно-романтичной девственницы и недотроги, а перед его быдловатым антагонистом — эдакой "шикарной чмары", которая не прочь поразвлечься. Первого она изощренно истязает, распаляя его страсть, но решительно пресекая близость в самые решающие моменты; второго всячески ублажает (от показа тематических порнофильмов, разжигающих низменные аппетиты пациента, перейдя непосредственно к сеансам эротической акробатики). Наивному и доверчивому Гаю эта La Belle Dame Sans Merci[1] скармливает душещипательную историю о своей подружке по имени Энола Гей, которая якобы пропала без вести где-то в объятой гражданской войной Камбодже (о том, что так была названа атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, эмисовский интеллектуал, разумеется, не вспоминает), после чего выманивает у него крупные суммы денег — и тут же передает их вечно нуждающемуся и погрязшему в долгах Киту.

Ловко манипулируя обоими претендентами, преднамеренно сталкивая их лбами, "та, чье предназначение быть убитой", регулярно встречается с автором романа, доверяет ему свои интимные дневниковые записи и обсуждает с ним будущие перипетии сюжета, что, надо признаться, делает всю историю еще более условной и неправдоподобной. Сэм Янг, в свою очередь, то и дело тормозит развитие действия, путается под ногами персонажей и в соответствии с постмодернистскими канонами извергает порции скучноватой авторефлексии (в духе "Фальшивомонетчиков" или позднего Джона Барта), которая расхолаживает читателя и окончательно развеивает его иллюзии относительно описываемых событий.

Едва ли можно сопереживать персонажам, превращенным в сюжетные шестеренки, и послушно заглатывать "крючок" триллера после того, как тебя оглушили очередной ударной дозой метатекстуальных комментариев. Мартин Эмис, конечно, даровитый писатель, однако даже ему не рекомендуется злоупотреблять изрядно потасканными приемами метаповествования, поскольку они разъедают и без того скудную фабулу, обесценивают апокалипсическую тематику и превращают роман в тезаурус общих мест давно почившего "изма".

И если правда, что о писателе нужно судить по уровню его вершинных достижений, а не по творческим неудачам и срывам, то отложите прогулку по "Лондонским полям" до лучших времен. Дождитесь новых переводов Эмиса, либо перечитайте "Деньги" и "Стрелу времени" — те вещи, благодаря которым он останется в истории английской литературы XX века.

Николай Мельников

1. Название стихотворения Д. Китса. (*Прим. ред.*)

Информация к размышлению
Non-fiction

с Алексеем Михеевым

Насколько реальна география? Этим на первый взгляд несколько странным вопросом озаботились российские интеллектуальные журналы. "Логос" еще в 2006 году (№ 5) опубликовал перевод статьи **Иммануила Валлерстайна** 1991 года "Существует ли в действительности Индия?" А затем "Неприкосновенный запас" целый номер (2007, № 6) посвятил теме "Восточная/Центральная Европа: от изобретения прошлого к конструированию настоящего".

Суть проблемы в том, что привычное членение мира на регионы – это отражение не объективной реальности, а наших концептуальных (и во многом искусственных) представлений. Коренные жители полуострова Индостан в прошлом не мыслили свою страну в целом именно как Индию; "Индией" стали называть всю территорию, занятую англичанами в XVIII–XIX вв. Если бы, пишет автор, южная часть этой территории была оккупирована французами, то могли бы появиться не одна, а две страны: например, Хиндустан и Дравидия. Впрочем, после ухода англичан в 1947 году на месте большой Индии и возникли два государства – собственно Индия и Пакистан; от последнего, в свою очередь, впоследствии отделился Восточный Пакистан, ставший республикой Бангладеш. И неизвестно, что будет входить в объем понятия "Индия" (и будет ли существовать такое понятие вообще) через 200 лет.

Примерно так же обстоит дело и с Восточной Европой. С точки зрения географии к Европе относится и значительная часть России, однако в политическом отношении ее граница лежит значительно западнее (когда генерал де Голль в 1960-м провозглашал тезис "Европа от Атлантики до Урала", он фактически стремился устранить это противоречие между политикой и географией). Восточной Европой долгое время называли те страны, которые после Второй мировой войны были заняты советскими войсками и где, соответственно, к власти были приведены прокоммунистические режимы. В более давние времена, однако, "Восточной" Европой считали и всю Германию целиком, а после 1991 года появилось предложение называть так европейские республики бывшего СССР; недавняя "Восточная" Европа при этом естественным образом становится "Центральной". (Хотя для венгров, например, уже давно стало привычным мыслить свою страну как "центральноевропейскую").

Оказывается, что не только Россия (как принято считать) – страна "с непредсказуемым прошлым". Конструирование прошлого – это естественный социокультурный процесс, сопутствующий изменению политических границ. После распада в начале XX века самого большого государства на пространстве Восточной (Центральной) Европы – Австро-Венгерской империи – этот процесс активизировался во всех новых национальных государствах. Предметом же исследования авторов специального номера "Неприкосновенного запаса" стали не только события почти вековой давности, но прежде всего новая стадия того же, по сути, процесса, начавшаяся около двадцати лет назад.

Номер выстроен не без учета своего рода политкорректности: помимо общетеоретических статей, ре-

дакторы постарались посвятить отдельные публикации самым разным странам региона: Польше, Венгрии, Белоруссии, Румынии, Литве, Боснии и Герцеговине, Украине и даже, особо, бывшему Кёнигсбергу. При этом вполне похвальное желание дать "всем сестрам по серьгам" приводит отчасти к некоторой эклектичности целого: так, чех **Ян Кржен** и поляк **Марек Дабровский** пишут об общих социополитических проблемах региона, венгр **Балаж Тренчени** и белорус **Юрий Дракохруст** — об особом опыте своих стран, а литовец **Томас Венцлова** — об отдельной личности (пусть и о такой значительной, как Адам Мицкевич — на примере его текстов наглядно показана историческая неопределенность понятия "Литва", особенно в сопоставлении с Польшей). Впрочем, перед нами вовсе не академическая монография, а периодический журнал, которому показано быть пестрым и тематически разнообразным.

Тем же, кто хочет более внимательно разобраться в нюансах экономических проблем этого региона в последние полвека, стоит обратить внимание на книгу **Яноша Корнаи** "Силой мысли. Неординарные воспоминания об одном интеллектуальном путешествии" (М.: Логос, 2008. Перевод **Оксаны Якименко**). Корнаи — венгерский экономист, один из самых известных исследователей реального функционирования той системы, которую было принято называть социалистической, автор классических монографий с показательными названиями "Антиравновесие" и "Дефицит". Родившийся в 1928 году, сознательную деятельность он начал в послевоенное время и вместе со своей страной прошел весь долгий и непростой путь сквозь несколько исторических эпох — от попыток силовой индустриализации (по сталинскому типу) в конце 40-х и начале 50-х, через октябрьскую трагедию 1956-го и долгий (и неоднозначный) период правления Яноша Кадара вплоть до окончательного возврата в 90-е к принципам свободной экономики (в их современном преломлении). У Корнаи интересно прежде всего следить за тем, как конкретная личная судьба переплетается с общей историей и как они друг на друга влияют. Именно поэтому книгу можно посоветовать не только профессиональным экономистам, но и всем, кто знает толк и испытывает потребность в документальной литературе.

Янош Корнаи был одним из "пионеров" применения математических моделей в экономике. Однако в отличие от многих своих коллег, которые строили абстрактные теоретические модели, используя эмпирические факты как вспомогательный материал (по принципу "если факт не вписывается в теорию, тем хуже для факта"), Корнаи отталкивался прежде всего от анализа сложившихся экономических механизмов, уже на этой базе конструируя модели их реального функционирования. А ведь формальное описание того, как при социализме происходит "корректировка планов" или "выбивание фондов", — это задача практически иррациональная.

В годы перестройки российские реформаторы использовали работы Корнаи в качестве одного из теоретических обоснований перехода от экономики централизованного пла-

нирования к экономике рыночного типа. Однако о том, что эффективные модели — согласно тому же Корнаи — должны строиться на базе актуальной практики (в данном случае — с учетом конкретной российской ситуации начала 90-х), наверное, забыли — или просто не уделили этому должного внимания; итогом стало столкновение благих революционных намерений с инертной реальностью — со всеми вытекающими отсюда драматичными последствиями. Впрочем, и в самой Венгрии (если судить, например, по статье **Любови Шишелиной** "Грустное торжество, или Венгрия двадцать лет спустя" в том же номере "НЗ") все обстоит отнюдь не безоблачно.

В книге румынской писательницы **Аны Бландианы**[1] "после смерти, наутро..." (М.: Критерион, 2007. Составление, перевод и предисловие **Анастасии Старостиной**) об экономике нет ни слова. Это стихи и эссеистика — того субъективно-импрессионистического характера, для которого нетрудно найти общеевропейский контекст (например, в текстах немца Дурса Грюнбайна). Однако интересными здесь кажутся прежде всего региональные, собственно румынские мотивы. Вот что пишет Бландиана в эссе "Двойная география": "Меня всегда удивляло, зачем Фолкнер так старался — выдумывал воображаемую страну, снабжая ее картой и давая ей имя — Йокнапатофа, — когда довольно было бы описать свою собственную страну (в сущности, это у него и получилось), чтобы создать новый мир, неузнаваемый, столь мощно отмеченный печатью личности и столь цепко схваченный писательским глазом, что в реальности искусства, простирающейся во всю сцену истины, реальность жизни бледнеет и едва-едва проглядывает". Ана Бландиана так и поступает — и стереотипный образ страны, представляющей собой (см. статью в "НЗ" **Георге-Вадима Тиугеа** "Перспективы Восточной Европы и румынский опыт") "остров латинской культуры в славянском океане", становится осязаемым и более понятным в субъективном человеческом измерении. В эссе "Растительный народ" Бландиана несколько неожиданно относит румынский народ к "женским" — способным "отделять главное от второстепенного: рожать и растить детей, заботиться о пище, лечить раны, одним словом, хлопотать о поддержании жизни", — противопоставляя его

Ана Бландиана

«после смерти, наутро...»

страна родителей
старые ангелы
в чужом сне
по волнению луны
дворовый лагерь
тень травы

1. В "ИЛ" печатались "Эссе-миниатюры" Аны Бландианы (2006, № 6).

народам "мужским", испытывающим "страсть к завоеваниям, жажду власти, подчинения, тягу к войнам, грабежу, разрушению, риску, пусть и во имя рыцарства, веры, доблести, прогресса, движения". Обобщение, безусловно, спорное, однако ценное именно в силу своей индивидуально-поэтической (а не политической!) окраски: если так воспринимается страна "изнутри", значит, зерно истины в этом есть.

Ана Бландиана не боится заново формулировать тезисы, сегодня ставшие, казалось бы, уже банальными. О том, что "это не я пишу, а кто-то пишет через меня вещи, о которых я даже не думала и еще за миг до их написания даже не подозревала". Или (ссылаясь на Малларме и шумеров), что "то, что не записано, не имеет места быть, просто-напросто не существует". "И какой категорический императив, — восторгается Бландиана, — раз мир существует, чтобы попасть в книгу, книга, в свою очередь, должна существовать, чтобы попасть в мир". На самом деле императив этот можно выразить еще более категорично: книга не только попадает в мир, но благодаря ей мир становится таким, каким мы его себе представляем. Ведь авторы книг конструируют и поэтику этого мира, и его политику, и его историю. И даже географию.

По материалам зарубежной прессы

ROBERTO SAVIANO *Gomorra.* — Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 2006

Молодой журналист Роберто Савьяно (родился в 1979-м в Неаполе) написал документальный роман "Гоморра" об итальянской мафии, в подробностях рассказав о деятельности неаполитанской преступной группировки "Каморра". Книга мгновенно получила признание во всем мире, Умберто Эко назвал отчаянного писателя национальным героем, но главным подтверждением добросовестности проведенного расследования стали незамедлительно последовавшие угрозы в адрес Савьяно: один из главарей разоблаченных кланов недвусмысленно заявил, что собирается "убрать" удачливого автора, поэтому с октября 2006 года писатель живет под охраной итальянского правительства.

В "Гоморре" Савьяно не только выступает в качестве свидетеля беззаконных действий преступных группировок, стоящих во главе региона Кампания, — трафика оружия, наркотиков, токсичных отходов — он пытается понять, что происходит с людьми, для которых преступность становится обыденностью. Однако Италией дело не ограничивается: в интервью испанской газете "Эль Паис" Роберто Савьяно объяснил, что огромную часть нечестно заработанных денег некоторые члены "Каморры" вкладывают в андалузскую туристическую индустрию, скупая отели, рестораны и ночные клубы.

В документальном романе слово, подкрепленное фактами, обретает власть: "...Знать и понимать, — пишет Савьяно, — для меня жизненная необходимость. Только удовлетворяя ее, я чувствую, что все еще достоин дышать". По словам обозревателя французской "Кензен литтерер", трагическая эпопея "Гоморра", имеет отношение к каждому из нас, потому что повествует о преступности, принимающей глобальные масштабы.

Впервые на русском языке "Гоморра" выйдет в специальном итальянском номере "ИЛ" (2008, № 10).

HENRI MESCHONNIC *Ethique et politique du traduire.* — Paris: Editions Verdier, 2007, 185 p.

После выхода в свет "Поэтики перевода" (1999) — книги, целиком посвященной художественному переводу, теоретика языка, поэта, переводчика, эссеиста Анри Мешонника, ни одно исследование в области литературного перевода не обходится без ссылки на этот труд. В нем Мешонник прошелся по извечным краеугольным камням теории перевода: точности и вольности, "прозрачности" переводчика и его униженному положению в сравнении с автором и пр. Автор обратил внимание на эвристическую роль перевода, обнажающего языковые концепции переводчика, его взгляд на литературу.

В новой, написанной в прошлом году книге "Этика и политика перевода" Мешонник возвращается к излюбленной теме: "Мы бы ничего не поняли ни в поэтике, ни в искусстве интерпретации, если бы вообразили, что можно прочитать одну книгу о переводе (такую, как написал я) отдельно от моих ранних сочинений на эту же тему... Еще Гюго говорил о 'думающем читателе'. Чтобы осмыслить перевод, нужен думающий читатель. Торопливому читателю не стоит задумываться о переводе. Не стоит также размышлять о языке, с которым торопливый читатель составляет одно целое".

Таким образом, согласно автору, "Этика и политика..." является продолжением "Поэтики перевода".

Каждая из шестнадцати глав новой книги (в которой нет ни введения, ни заключения) посвящена отдельной теме (этика, ритм, политика, Библия...). Развивая ту или иную тему, автор последовательно критикует знак. Согласно Мешоннику, знак – главный враг теории языка, и, следовательно, – перевода. Знак – парадигма нашей языковой концепции. С точки зрения лингвистов, знак предполагает присущий каждому слову дуализм, четкое разделение на содержание и форму, на звучание и значение. Когда переводчик выбирает между обозначающим и обозначаемым, то чаще всего отдает предпочтение последнему. Торжество "духа" в ущерб "букве" – к этой извечной дилемме Мешонник подходит с неожиданной стороны: он предлагает отказаться от дуалистической логики знака и, переосмыслив процесс перевода, попытаться найти новые формы. Согласно одному из постоянных авторов исследовательского проекта "Фабула" (www.fabula.org), посвятившему "Этике и политике перевода" объемную статью, мешонниковские переводы Библии демонстрируют непривычный, новаторский подход к переводу и доказывают, что переводческая свобода до сих пор недооценена.

MARGUERITE YOURCENAR *Une volonté sans fléchissement. Correspondance 1957–1960. (D'Hadrien à Zénon, II).* – P.: Gallimard éd., 2007, 543 p.

К двадцатилетию со дня смерти выдающейся французской писательницы бельгийского происхождения Маргерит Юрсенар (1903–1987), первой женщины, избранной во Французскую академию, издательство "Галлимар" выпустило в свет очередной том писем с характерным названием "Несгибаемая воля".

"Предельная осторожность, несгибаемая воля", – добродетели, которыми писательница наделяет древнеримского императора Адриана (в 1957 году Юрсенар работает над романом "Воспоминания Адриана"), с равной долей справедливости можно отнести к ней самой, особенно если судить по переписке 1957–1960-х годов. В том вошли триста пятьдесят писем: большая часть написана в "Петит Плезанс", маленьком домике писательницы в США, остальные – во время многочисленных путешествий: в Канаду, в Италию, Испанию, Португалию. Письма Маргерит Юрсенар стали ее творческим дневником – в каждой строчке чувствуется авторская забота о тексте, над которым она работает: "Все больше убеждаюсь, что только с помощью мистическим образом сохранившихся в нас знаний о вселенной мы можем попытаться представить, что значили элевсинские обряды инициации для великих умов древних Греции и Рима..." Успех произведений никак не сказывается на их авторе; решив отдохнуть от составившего ее славу романного жанра, Юрсенар работает над многочисленными эссе, хлопочет об их скорейшей публикации, переводит древнегреческую поэзию.

"Мне хотелось... воспроизвести, насколько возможно, человеческую поэзию Истории" – эта строка из письма 1957 года вполне может служить эпиграфом ко всему творчеству Маргерит Юрсенар.

SALMAN RUSHDIE *The Enchantress of Florence.* – London: Jonathan Cape, 2008, 368 p.

Новый роман Салмана Рушди "Флорентийская чародейка" подхватывает темы его предыдущих книг, утверждают критики Великобритании. Столь важная для писателя тема сосуществования религий и культур находит отражение в образах двух героев романа – индийского императора Акбара и его наследника Салима, будущего императора Джахангира.

Еще один значительный мотив "Чародейки" – сила воображения, его волшебная власть над людьми. Главный персонаж книги, Никколо, выдает себя за мага, но его истинная магия кроется в умении рассказывать истории и пробуждать фантазию людей. Подобно Шахразаде, он зачаровывает императора своим рассказом

о "флорентийской чародейке" – то ли существовавшей в действительности, то ли выдуманной женщине, которая будто бы приходится Акбару теткой. Сам же император поглощен мечтой о еще одной воображаемой женщине – принцессе Джодхе.

Изобилие героев и тем в "Чародейке" Рушди вызывает различные отклики у критиков. Некоторые – например, Рут Морс, рецензент "Таймс литерари саплмент" – утверждают, что писатель не до конца справился с замыслом и за множеством деталей теряется содержание книги. Однако все рецензенты сходятся на том, что новый роман знаменитого автора заслуживает пристального внимания читателей.

Julian Barnes *Nothing to Be Frightened of.* – London: Jonathan Cape, 2008, 256 p.

В своей новой книге воспоминаний "Бояться нечего" Джулиан Барнс ведет речь в основном о смерти. Собственно мемуары соединены в книге с рассуждениями скорее эссеистического свойства, а также с историческими анекдотами и случаями из жизни друзей и близких писателя.

Начинается книга фразой "В Бога я не верю, но мне Его не хватает". Далее Барнс, по словам обозревателя "Таймс литерари саплмент" Брайена Диллона, начинает размышлять о том, "что же в Его отсутствие делать с фактом нашей смертности". Человеческое существование конечно, и писатель сразу же говорит, что он "против смерти", а вся творческая деятельность для него и есть способ "победить смерть или хотя бы с ней не смириться".

Однако, по мнению многих рецензентов (в том числе обозревателей "Таймс" и "Гардиан"), Барнс не приходит ни к какому окончательному выводу. Он будто не решается встретиться с предметом своих мыслей лицом к лицу и предпочитает упражняться в изяществе слога и иронии, становясь самим собой только в рассказе о своих ушедших родителях.

Jhumpa Lahiri *Unaccustomed Earth.* – New York: Alfred A. Knopf, 2008, 333 p.

Американская писательница индийского происхождения, лауреат Пулицеровской премии 2000 года Джампа Лахири издала в апреле 2008 года новый сборник малой прозы "Непривычная земля", который сразу привлек к себе внимание критиков. В сборник входят восемь рассказов, посвященных в первую очередь проблеме существования в чуждой культурной среде.

Герои Лахири – чаще всего семьи иммигрантов из Индии, которые оказываются отъединены и от родины, и от своего нового дома – семьи, в которых граница культур зачастую проходит между отцами и детьми, мужьями и женами. Обозреватель "Нью-Йорк таймс" Митико Какутани пишет в рецензии на эту книгу, что индийцы в Америке изолированы из-за языкового барьера и незнания местных обычаев, а их дети часто становятся чужими для всех, ведь они, принадлежа и индийской, и американской культуре, ни одну из них не могут назвать родной.

Взаимоотношения поколений и полов в ситуации культурного пограничья – главная тема рассказов Дж. Лахири. По мнению американской прессы, писательница демонстрирует в своих произведениях не только знание того, как живут ее герои, но и особенный талант описывать жизнь самых обычных людей.

Sara Mannheimer *Reglerna.* – Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2008, 175 s.

Первый роман молодой шведской писательницы Сары Маннхеймер "Правила" отмечен многими критиками как лучший дебют весны 2008 года. "Достаточно прочитать лишь несколько страниц, чтобы понять: перед нами блистательный дебют", – утверждает обозреватель газеты "Дагенс нюхетер" Оса Беккман.

Беккман пишет также, что "Правила" – это лирический роман о ста-

новлении человека, о "женщине, жаждущей творить", которая пытается выстроить для себя правила жизни, чтобы ее не лишил созидательной силы окружающий ее хаос. При этом роман полон бытовых подробностей: героиня – обыкновенная женщина, в ее жизни много самых привычных, повседневных проблем. Однако она все же ищет другой жизни, хочет, по ее собственным словам, "мчаться навстречу" миру. Впрочем, ее отчаянные поиски любви порой выглядят комично, и Сара Маннхеймер прибегает к мягкой иронии, чтобы создать привлекательный и запоминающийся образ современной женщины.

REINER KUNZE *lindennacht.* – Frankfurt a. M.: S. Fischer Verlag, 2008, 111 S.

"Я добавляю к миру еще одну маленькую частичку", – говорит немецкий поэт Райнер Кунце о своем творчестве в связи с выходом в свет нового сборника "ночь под липой" (Кунце отказывается от заглавных букв – и в написании существительных, вопреки немецкой графике, и порой в начале предложений). Тема роста над собой, изменения в количестве и качестве воплощена Райнером Кунце в образе липы – древа жизни, растущего и развивающегося вместе с лирическим героем. "И жизнь, и искусство суть рост, 'прирост бытия'", – повторяет поэт формулировку Г. Гадамера.

Критик Вульф Зегебрехт пишет в "Франкфуртер альгемайне цайтунг" о новой книге Р. Кунце: "[он] всегда говорит о главном, о наиболее общем, намечая его с помощью мельчайших деталей и выражая его в максимально компактной форме". Отсюда интерес Кунце к малым формам, все разнообразие которых представлено в сборнике "ночь под липой". Поэт обращается и к эпиграмме (в частности, на министерство культуры в связи с известной реформой орфографии), и к японскому хайку, и к античной надгробной надписи.

Последний жанр, стихи "на смерть", составляет отдельную часть сборника: это строки о таких людях, как Альбер Камю и Варлам Шаламов. Однако прошлое оживает еще и в стихотворениях Кунце о собственной юности; вновь поднимая актуальную для немцев тему вины и раскаяния, Р. Кунце анализирует свою роль "партийного поэта" в ГДР (до того, как его стали считать "неблагонадежным" и перестали печатать). В. Зегебрехт отмечает, что не всякий, кто когда-то "следовал за знаменем" той или иной идеологии, сможет рассказать об этом столь же искренне, как Райнер Кунце.

Подготовили А. ЛЕШНЕВСКАЯ, И. МОКИН

Фосфор или фосфóр

Уважаемый Александр Евгеньевич!

С большим интересом прочел Вашу статью "Живее всех живых" ("ИЛ", 2008, № 1). Позволю себе одно небольшое замечание.

Вы пишете: если собаку Баскервилей намазать фосфором, то она а) потеряет нюх, б) тут же все с себя слижет.

Действительно, в русском переводе собака намазана фосфором:

"Я дотронулся до этой светящейся головы и, отняв руку, увидел, что мои пальцы тоже засветились в темноте. – Фосфор, – сказал я". (Перевод Н. Волжиной).

Но "фосфор" в русском переводе – это ошибка переводчика. По-английски фосфор (химический элемент) – phosphorus, что можно проверить в любом словаре, хоть англо-русском, хоть русско-английском. В оригинале же "Собаки Баскервилей" фигурирует не phosphorus, а phosphor. Английский термин "phosphor" объясняется как "in physics – any substance that gives off light when subjected to radiation" (Webster's New Universal Unabridged Dictionary, Second Edition, 1983, page 1349) и переводится на русский как "люминофор" (светящееся вещество) или фосфóр (ударение на втором слоге):

Phosphor – люминофор, фосфóр (ударение на втором слоге), см. Англо-русский физический словарь, под редакцией Д. М. Толстого. Москва, Изд. Русский язык, 1978, стр. 496 или Англо-русский словарь по химии и технологии, под редакцией В. В. Кафарова. Москва, Изд. Русский язык, 1986, стр. 369.

Таким образом, в оригинале не фосфор, а какое-то светящееся вещество (substance), которому в русском соответствует фосфóр. Это, кстати, подтверждается словами Холмса: "Да, и какой-то *особый препарат*, – подтвердил Холмс, потянув носом. – Без запаха, чтобы у собаки не исчезло чутье". И далее "А вот эта паста в жестянке – тот самый *светящийся состав*".

Фосфóр – слово несколько устаревшее как в английском, так и в русском. В научной и технической литературе чаще применяют термин люминофор, но используют и фосфóр, см., напр., Химический энциклопедический словарь. Москва, Советская Энциклопедия, 1983, стр. 306. Неорганические люминофоры (фосфóры).

Возможно, что это даже не ошибка переводчика, просто переводчик написал фосфор с ударением, а постепенно ударение исчезло при редактировании или переизданиях.

Что же касается поведения собаки, то, лизнув белый фосфор, она бы сразу умерла – смертельная доза белого (светящегося) фосфора 1 миллиграм (!) на кг веса млекопитающего. Склонен думать, что врач Конан Дойл знал о высокой токсичности белого фосфора.

Такая вот химия и жизнь или, вернее, химия и иностранная литература.

С уважением

Иоффе Давид Владимирович.

Хайфа, Израиль. 01.04.2008

Иэн Макьюэн
Ian McEwan
[р. 1948]. Английский писатель. Лауреат премии имени Сомерсета Моэма [1976], Букеровской премии [2005], литературной премии Джеймса Тейта Блэка [2006].

Автор романов *Невинный, или Особые отношения* [*Innocent or The Special Relations*, 1990; рус. перев. *ИЛ*, 1998, № 12], *Амстердам* [*Amsterdam*, 1998; рус. перев. 2003], *Искупление* [*Atonement*, 2000; рус. перев. 2004], *Суббота* [*Saturday*, 2005; рус. перев. 2007].
Роман публикуется по изданию *On Chesil Beach* [London: Jonathan Cape Random House, 2007].

Мейвис Галлант
Mavis Gallant
Канадская писательница, журналист. С 1950-х живет в Париже.

Автор романов *Зеленая вода, зеленое небо* [*Green Water, Green Sky*, 1959], *Неплохие времена* [*A Fairy Good Time*, 1970] и др., сборников рассказов *Другой Париж* [*The Other Paris*, 1956], *Парижские истории* [*Paris Stories*, 2002], *Разновидности изгнания* [*Varieties of Exile*, 2003] и др. В *ИЛ* был напечатан ее рассказ *Поздневозвращенец* [2006, № 11].
Рассказ *Нездешний цветок* [*An Alien Flower*] взят из сборника *Избранные рассказы* [*The Selected Stories*. Bloomsbury, 1996], рассказ *Воспоминание* [*A Recollection*] — из сборника *На воздушном шаре: двенадцать парижских рассказов* [*Overhead in a Balloon: Twelve Stories of Paris*. Random House, 1985].

Зиновий Ефимович Зиник
[р. 1945]. Русский писатель, эссеист, редактор и ведущий радиообозрения *Уэст-Энд* Русской службы Би-би-си, автор лондонского еженедельника *The Times Literary Supplement*. С 1976 г. живет и работает в Лондоне.

Автор романов *Руссофобка и фунгофил* [Париж, 1984; экранизирован телевидением Би-би-си в 1994 г.], *Лорд и егерь* [М., 1991], *Встреча с оригиналом* [М., 1998] и др., сборника повестей *Русская служба и другие истории* [Париж, 1983], сборника английских новелл *Mind The Doors* [*Осторожно, двери закрываются!* New York, 2002], психологической драмы *My Father's Leg* [*Нога моего отца*, 2005], созданной по заказу Би-би-си, книги иронических эссе *У себя за границей* [М., 2007], ряда критических статей о литературе в эмиграции.

Дорота Масловская
Dorota Masłowska
Польская писательница. Лауреат премии *Ники* [2006].

Автор романов *Польско-русская война под бело-красным флагом* [*ИЛ*, 2005, № 2] и *Павлин королевы* [*Paw królowej*, 2005].
Пьеса *Dwoje biednych runinów mówiących po polsku* публикуется по изданию *Антология новой польской драмы* [*Antologia nowego dramatu polskiego*. TR Warszawa, 2006].

Дёрдь Драгоман
György Dragomán
[р. 1973]. Венгерский писатель.

Автор *Книги разрушения* [*A pusztítás könyve*, 2002].
Главы из романа *Белый король* публикуются по изданию *A fehér király* [Budapest: Magvető, 2005].

Никита Нанков
Никита Нанков
Болгарский литературовед, поэт, прозаик и художник. С 1992 г. живет и работает в США.

Автор монографии *В зеркальной комнате: Семь образов болгарской литературной провинции* [*В огледалната стая: Седем образа на българския литературен селоград*, 2001] и др., сборников сказок *Праздничные сказки* [*Празни приказки*, 2000], *Трехдневный* [*Триднев*, 2002, 2006] и *Чаще всего* [*Най-понякога*, 2007], двух поэтических сборников *Это так* [*Это така*, 2004] и *Обреченность слов: Три с половиной коротких поэмы о любви* [*Обреченост на думите: Три и половина кратки поеми за любовта*, 2007].
Публикуемые стихи взяты из сборника *Это так* и из авторской рукописи, любезно предоставленной автором.

Милорад Павич
Милорад Павић
[р. 1929]. Сербский писатель, литературовед, академик Сербской академии наук и искусств.

Автор поэтических сборников, сборников рассказов, в т. ч. *Русская борзая* [*Руски хрт*, 1979; рус. перев. 2001], *Новые белградские рассказы* [*Нове београдске приче*, 1981], романов *Хазарский словарь* [*Хазарски речник*, 1984; рус перев. *ИЛ*, 1991, № 3], *Пейзаж, нарисованный чаем* [*Предео сликан чајем*, 1988; рус. перев. 1991], *Внутренняя сторона ветра* [*Унутрашња страна ветра*, 1991; рус. перев. 1997], *Последняя любовь в Константинополе* [*Последња љубав у Цариграду*, 1994, рус. перев. *ИЛ*, 1997, № 7], пьесы *Вечность и еще один день* [*Заувек и дан више*, 1993; рус. перев. *ИЛ*, 1995, № 7]. В *ИЛ* были напечатаны также новелла *Шляпа из рыбьей чешуи* [1997, № 1], рассказы *Корсет* [1998, № 4], *Дамаскин* и *Стеклянная улитка* [1999, № 10], *Тунисская белая клетка в форме пагоды* [2002, № 2], пьеса *Кровать для троих. Краткая история человечества* [2003, № 3].
Фрагменты книги *Pozorište od hartije* публикуются по рукописи, любезно предоставленной автором редакции журнала.

Сергей Маркович Гандлевский
[р. 1952]. Поэт, прозаик. Лауреат нескольких литературных премий.

Автор книг стихов, эссе, прозы, среди которых – избранное *Порядок слов* [2000], роман <НРЗБ> [2002], стихи и эссе *Найти охотника* [2002].

Мишель Деги
Michel Deguy
[р. 1930]. Французский поэт, философ, эссеист. Лауреат многих литературных наград, в том числе *Большой национальной поэтической премии* и *Гран-при* Французской академии.

Автор поэтических книг *Бойницы* [*Les Meurtrières*, 1959], *Стихи полуострова* [*Poèmes de la presqu'ile*, 1961], *Желоба* [*Biefs*, 1964], сборников стихов и прозы *Образы* [*Figurations*, 1969], *Ответный дар* [*Donnant Donnant*, 1981]. Ему принадлежат эссе о поэзии *Гробница Дю Белле* [*Tombeau de du Bellay*, 1973], *Поэтический разум* [*La Raison poétique*, 2000] и др. В *ИЛ* печаталась *Беседа в редакции с Мишелем Деги и Ивом Бержере* [1987, № 6].
Публикуемый перевод выполнен по изданию *Стихи* [*Pjesme/Poèmes*. Zagreb: Special Edition on the Occasion of Literature Live Festival, November 2–6, 2007].

Лассе Сёдерберг
Lasse Söderberg
[р. 1931]. Шведский поэт, критик, эссеист и переводчик с испанского.

Автор книг стихов *Роза для революции* [*Ros för en revolution*, 1972], *Камни Иерусалима* [*Stenarna i Jerusalem/Stones in Jerusalem*, 2002] и др. Его стихи переведены на английский, французский, немецкий, испанский, сербский, хорватский и турецкий языки.
Публикуемый перевод выполнен по изданию *Стихи* [*Pjesme/Poèmes*. Zagreb: Special Edition on the Occasion of Literature Live Festival, November 2–6, 2007].

Роберт Мюррей Дэвис
Robert Murray Davis
Американский поэт, литературовед, эссеист.

Автор книг стихов *По ту сторону линий* [*Outside the Lines*, 1990], *Живой белый мужчина и другие стихотворения* [*Live White Male and Other Poems*, 2006], *Стихотворения* [*Pjesme/Poems*, 2007], автобиографической прозы *Внутри страны: Семейный альбом* [*Midlands: A Family Album*, 1992], книг эссе *Моджо среднего возраста: Руководство свежеиспеченного холостяка* [*Mid Life Mojo: A Guide for the Newly Single Male*, 2003], *Орнаментальный отшельник: Люди и места Нового Запада* [*The Ornamental Hermit: People and Places of the New West*, 2004] и др.
Публикуемый перевод выполнен по изданию *Стихи* [*Pjesme/Poèmes*. Zagreb: Special Edition on the Occasion of Literature Live Festival, November 2–6, 2007].

Тугрул Таньол
Tuğrul Tanyol
[р. 1953]. Турецкий поэт. Лауреат премии Неджатигюля [1985].

Автор сборников стихов *Подержи за руку день* [*Elinden Tutun Günü*, 1983], *Лабиринты августа* [*Ağustos Deblizleri*, 1985], *Феникс в воде* [*Sudaki Anka*, 1990], *Камерная музыка* [*Oda Müziği*, 1992], *Магия закончилась* [*Büyü Bitti*, 2000] и др.
Публикуемый перевод выполнен по изданию *Стихи* [*Pjesme/Poèmes*. Zagreb: Special Edition on the Occasion of Literature Live Festival, November 2–6, 2007].

Харис Влавианос
Haris Vlavianos
[р. 1957]. Греческий поэт, переводчик, историк.

Автор поэтических сборников *Иное место* [*The Other Place*, 1994], *Прощай* [*Adieu*, 1996], *Ангел истории* [*The Angel of History*, 1999], *Когда кончилась красота* [*After the End of Beauty*, 2003] и др.
Публикуемый перевод выполнен по изданию *Стихи* [*Pjesme/Poèmes*. Zagreb: Special Edition on the Occasion of Literature Live Festival, November 2–6, 2007].

Дитер М. Грэф
Dieter M. Gräf
[р. 1960]. Немецкий поэт. Член Немецкого ПЕН-центра.

Автор книг *Этюд об опьянении: Отец+Сын* [*Rauschstudie: Vater+Sohn*, 1994], *Дрейфующая голова* [*Treibender Kopf*, 1997] и *Край Запада* [*Westrand*, 2002].
Публикуемый перевод выполнен по изданию *Стихи* [*Pjesme/Poèmes*. Zagreb: Special Edition on the Occasion of Literature Live Festival, November 2–6, 2007].

Предраг Луцич
Predrag Lucić
[р. 1964]. Хорватский поэт, прозаик, журналист, театральный режиссер. В период войны в Югославии был военным корреспондентом.

Его проза, стихи и драматические произведения публикуются в ряде хорватских литературных журналов.
Публикуемый перевод выполнен по изданию *Стихи* [*Pjesme/Poèmes*. Zagreb: Special Edition on the Occasion of Literature Live Festival, November 2–6, 2007].

Никола Маджиров
Nikola Madžira
[р. 1973]. Македонский поэт. Лауреат нескольких национальных и международных премий.

Автор сборников стихов *Запертый в городе* [*Zaključan n gradu*, 1999], *Где-то нигде* [*Nekad nikad*, 1999], *Сдвинутый камень* [*Premješten kamen*, 2007].
Публикуемый перевод выполнен по изданию *Стихи* [*Pjesme/Poèmes*. Zagreb: Special Edition on the Occasion of Literature Live Festival, November 2–6, 2007].

Курт Воннегут
Kurt Vonnegut
[1922–2007]. Американский писатель, сатирик, художник. Дважды лауреат премии *Гуманист года* [1995, 1996], был удостоен чести называться *Писателем штата Нью-Йорк* [2001–2003].

Автор романов *Сирены Титана* [*The Sirens of Titan*, 1959], *Колыбель для кошки* [*Cat's Cradle*, 1963; рус. перев. 1970], *Бойня номер пять, или Крестовый поход детей* [*Slaughterhouse-Five, or The Children's Crusade*, 1969; рус. перев. 1970], *Завтрак для чемпионов, или Прощай, чёрный понедельник* [*Breakfast of Champions, or Goodbye, Blue Monday*, 1973; рус. перев. *ИЛ*, 1975, №1–2], *Малый Не Промах* [*Deadeye Dick*, 1982; рус. перев. *ИЛ*, 1986, № 9], *Галапагос* [*Galapagos*, 1985], *Синяя борода* [*Bluebeard*, 1987; рус. перев. 1992], *Времятрясение* [*Timequake*, 1997; рус. перев. 2000] и др.
Рассказы *Дольметчер* [*Der Arme* Dolmetscher] и *Сувенир* [Souvenir] взяты из сборника *Bagombo Snuff Box* [USA: Penguin Group, 2000]. Фрагменты книги *Человек без страны* публикуются по изданию *A Man Without a Country* [NY: Seven Stories Press, 2005].

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премии *Литературная мысль* [1997], обладатель диплома *зоИЛ* [2002].

В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Дж. Бэнвилла, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, П. Остера, И. Б. Зингера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, О. Голдсмита, У. Хэзлитта, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта, Л. Стерна, Т. Дж. Смоллетта и Д. Китса, дневники С. Пипса, путевые очерки Т. Дж. Смоллетта, Г. Грина и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Михаил Павлович Шишкин
[р. 1961]. Русский писатель. Лауреат премии журнала *Знамя* за лучший дебют [1994], Букеровской премии [2000] и премии *Национальный бестселлер* [2005]. С 1995 г. живет в Швейцарии.

Автор романов *Всех ожидает одна ночь* [1993], *Взятие Измаила* [1999], *Венерин волос* [2005], книги *Русская Швейцария. Литературно-исторический путеводитель* [2000]. Текст публикуется по изданию *Montrёe–Missolonghi–Astapovo. По следам Байрона и Толстого. Литературная прогулка от Женевского озера в Бернские Альпы* [*Montreux–Missolunghi–Astapovo. Auf den Spuren von Byron und Tolstoj. Eine literarische Wanderung vom Genfer See ins Berner Oberland.* Zurich: Limmat Verlag, 2002].

Тадеуш Любельский
Tadeusz Lubelski
[р. 1949]. Польский кинокритик и историк кино. Профессор Ягеллонского университета в Кракове. Заместитель главного редактора ежемесячного журнала *Кино*. Директор Краковского кинофестиваля [1995–2001, 2006].

Автор многих книг, в том числе биографии Анджея Вайды [*Wajda*, 2006], *Поэтика романов и фильмов Тадеуша Конвицкого* [*Poetyka powieści i filmów Tadeusza Konwickiego*, 1984], *Новая волна. Об одном приключении французского кино* [*Nowa Fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego*, 2000], редактор *Энциклопедии кино* [*Encyklopedia kina*, 2003]. В его переводе были изданы *Романсы и поэмы* Александра Вертинского [Aleksandr Wertyński *Romanse i poematy*. 1996].

Григорий Геннадьевич Стариковский
[р. 1971]. Поэт, переводчик, филолог-античник. С 1992 г. живет в США.

Автор книги стихов *На углу* [2005]. Переводил стихи Г. Тракля, Л. Арагона, Дж. Джойса, С. Беккета, Э. Хекта, Д. Махуна, античных поэтов и др. В *ИЛ* публиковались его переводы стихов Л. Арагона [2002, № 5], Л. Глик [2004, № 4], П. Каванаха [2006, № 3], Р. Крили [2006, № 4], Э. Берни [2006, № 11], П. Лейна [2006, № 11], М. Ондатже [2006, № 11], Д. Махуна [2007, № 6], П. Малдуна [2007, № 6], Л. Макниса [2007, № 6], Т. Лакса [2007, № 9], Дж. Грэм [2007, № 9], эссе Ш. Хини [2007, № 6].

Владимир Андреевич Скороденко
[р. 1937]. Критик, литературовед, кандидат филологических наук, переводчик с английского.

Автор многочисленных статей к изданиям на русском языке произведений британских, ирландских, американских, австралийских писателей. Составитель ряда антологий английской поэзии и английской новеллы. Переводил М. Спарк, А. Брукнер, С. Моэма, М. Р. Джеймса, Э. С. Гарднера, Р. Стаута и др. В *ИЛ* опубликован его перевод романа К. Исигуро *Остаток дня* [1996, № 11], главы из книги *Джеймс, каким мы его знали* [2005, № 10] и рецензия на книгу *Лучших строк поводырь, проводник просвещения, лучший читатель!: Книга памяти А. М. Зверева* [2007, № 10].

Николай Георгиевич Мельников [р. 1970]. Литературовед, критик, кандидат филологических наук.

Автор ряда статей и эссе по английской и американской литературе, многочисленных рецензий и интервью, редактор-составитель книг *Классик без ретуши. Литературный миф о творчестве Набокова* [2000], *Набоков о Набокове* [2002] и др.

Алексей Васильевич Михеев [р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премии *Человек книги* в номинации *Редактор* [2004].

В его переводе с польского напечатаны пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также опубликованы его статьи *МакКультура* [1996, № 1], *Неотмеченные юбилеи...* [1997, № 5], *До последней капли алфавита* [1997, № 6], *Вокруг, около и вместо...* [1999, № 5].

Александра Юрьевна Лешневская Переводчик с французского и английского языков. Аспирант ИВГИ РГГУ.

В *ИЛ* опубликована ее статья *Три "Гранде"* [2008, № 4].

Игорь Викторович Мокин [р. 1986]. Переводчик с английского и скандинавских языков, преподаватель. Аспирант филологического факультета МГУ.

В *ИЛ* опубликован его перевод рассказа Р. О. Фримена *Послание со дна моря* [2008, № 1].

Переводчики

Виктор Петрович Голышев [р. 1937]. Переводчик с английского. Лауреат премий *ИЛ* [1990 и 1993], *ИЛлюминатор* [1997], *Малый Букер* [2001] и *Либерти* за перевод [2003].

В его переводе издавались романы *Вся королевская рать* Р. П. Уоррена, *Свет в августе* У. Фолкнера, *Над кукушкиным гнездом* К. Кизи, *Амстердам* И. Макьюэна и др. В *ИЛ* напечатаны романы *Теофил Норт* Т. Уайлдера [1976, № 6—8], *Другие голоса, другие комнаты* Т. Капоте [1993, № 12], *Макулатура* Ч. Буковски [1996, № 1], *Железный бурьян* У. Кеннеди [1996, № 4], *Принц Вест-Эндский* А. Ислера [1997, № 11], *В опасности* Р. Хьюза [2002, № 8]; повести *Большой налет* и *106 тысяч за голову* Д. Хэммета [1988, № 7], *Когда я умирала* У. Фолкнера [1990, № 8], *Мальчишка Педерсенов* У. Гасса [1997, № 2], *Гей, на Запад!* и *Я забыл поехать в Испанию* [2004, № 4] и *Человек, который отказался от имени* [2007, № 5] Дж. Гаррисона, *Огонь в норе* Э. Леонарда [2007, № 1], рассказы Ч. Буковски [1995, № 8], Т. Капоте [2005, № 10], лекция В. С. Найпола и эссе С. Сонтаг [2007, № 12] и др.

Анна Асланян Переводчик с английского.

Переводила эссе и рассказы современных авторов, в том числе — З. Смит, Дж. Летема, Р. Лиддла, А. Смит и др. В *ИЛ* опубликован ее перевод рассказа М. Галлант *Поздневозвращенец* [2006, № 11].

Ирина Лаппо
Филолог-славист, преподаватель польского языка и литературы, переводчик с польского. Лауреат премии Польского посольства за лучший переводческий дебют [1992], обладатель диплома *зоИЛ* [2005].

Автор статей о театре, теории и практике перевода и этнолингвистике. В *ИЛ* опубликован ее перевод романа Д. Масловской *Польско-русская война под бело-красным флагом* [2005, № 2] и статья *Мрожек на русской сцене* [2008, № 6].

Юрий Павлович Гусев
[р. 1939]. Литературовед, переводчик с венгерского, доктор филологических наук. Лауреат премии Тибора Дёри [1997], европейской премии *Меч Балашши* [2008].

В его переводе были опубликованы романы *Вина* и *Милосердие* Л. Немета, *Старомодная история* М. Сабо, *Градооснователь* и *Соучастник* Д. Конрада, романы *Без судьбы*, *Кадиш по нерожденному ребенку*, *Самоликвидация* и повести *По следам*, *Английский флаг* и *Протокол* И. Кертеса. В *ИЛ* в его переводе были напечатаны повесть Д. Конрада *Тяжелый день* [1991, № 4], дневники Ш. Мараи [1993, № 12], рассказы М. Корниша [1995, № 3], Л. Дарваши [1997, № 2], Л. Краснахоркаи [2007, № 12], роман С. Эрдега *Безымянная могила* [1998, № 5], главы из романа *Гунны в Париже* Д. Ийеша [2003, № 7], стихи Д. Петри [1998, № 10], И. Оравца [2001, № 3], Б. Балашши [2006, № 4] и др.

Евгений Викторович Харитонов
[р. 1969]. Поэт, переводчик, историк литературы и кино. Заведующий отделом критики журнала *Если*, главный редактор журнала литературного и художественного авангарда *Другое полушарие* и альманаха саундпоэзии и видеоарта *ARTronic*. Лауреат более пятнадцати премий за критику и поэзию.

Автор поэтических сборников *Во! Ум* [1999], *НЕПрОЗА* [2002], *Внеклассное чтение* [2005], *Ямуямбурою* [2007], *Легко!* [2007], *Ми НА Ми Ра* [2008] и др.; монографий *Женский цех фантастики* [1995], *Фантастический самиздат* [1999], *На экране — чудо: Отечественная кинофантастика и киносказка* [2003] и др. В его переводах выходили произведения Л. Николова, А. Мелконяна, Х. Поштакова и др.

Лариса Александровна Савельева
Филолог-славист, переводчик с сербского и хорватского языков, лауреат премии Библиотеки журнала *Иностранная литература* [1997].

В ее переводе публиковались произведения Д. Илича, Д. Угрешич, В. Драшковича, М. Павича, Г. Петровича, Н. Тодоровича, Н. Фабрио и др., работы сербских и хорватских авторов по истории, социологии и политологии. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Ирина Исаевна Кузнецова
Переводчик с французского. Лауреат премий *Инолитт* [1997] и имени Мориса Ваксмахера [1999]. Награждена французским орденом Академической пальмовой ветви.

Переводила стихи Г. Аполлинера, А. Рембо, Ш. Кро, Б. Ноэля, А. Боске, прозу А. де Виньи, М. Пруста, Н. Саррот, Колетт, А. Камю, Х. Семпруна и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны повесть *Ни завтра, ни потом* В. Денона [1997, № 5], *Письма Симоны де Бовуар к Нельсону Олгрену* [1998, № 7], стихи и эссе М. Уэльбека [2001, № 5; № 2005, № 3], романы *Повинная голова* Р. Гари [2001, № 12], *Маленькое чудо* П. Модиано [2003, № 7], *Как я стал идиотом* М. Пажа [2005, № 7] и др.

Алексей Петрович Прокопьев
[р. 1957]. Поэт, переводчик с немецкого, английского и шведского языков. Лауреат премии журнала *Лик Чувашии* за переводы чувашского фольклора [1995].

Автор поэтического сборника *Снежная Троя* [2003]. В его переводах выходили стихи Р. М. Рильке, Г. Бенна, Г. Тракля, Г. Гейма, О. Уайльда, Дж. Мильтона, Э. Паунда, Т. Транстрёмера. В *ИЛ* в его переводе публиковались сонеты А. Грифиуса [2006, № 2], стихи Б. Хансона [2007, № 3] и М. Доути [2007, № 9].

Лев Владимирович Оборин
[р. 1987]. Студент историко-филологического факультета РГГУ. Поэт, переводчик с английского.

В его переводах публиковались произведения Ш. Сильверстайна, О. Нэша, Э. Лира, А. Э. Хаусмана. В *ИЛ* в его переводе напечатаны стихи А. Э. Хаусмана [2006, № 6], М. Дж. Солтер [2007, № 9], рассказ *Ханья, Крит* [2007, № 5] и эссе *Между благоговением и привычкой* [2007, № 12] С. Цейтлина.

Марина Георгиевна Букулова
Тюрколог, кандидат филологических наук.

В ее переводе публиковались произведения современных турецких поэтов. В *ИЛ* напечатан ее перевод рассказа О. Памука *Смотреть из окна* [2006, № 12].

Глеб Арсеньев [Юрий Александрович Сорокин]
Синолог, психолингвист, доктор филологических наук, профессор.

В его переводах публиковалась старо- и новокитайская поэзия, произведения А. Бретона, А. Мишо, Д. Керуака, Л. Ферлингетти, Г. Корсо, Томаса Дилана и др.

Мария Николаевна Томашевская
Филолог, переводчик с латинского, древнегреческого, новогреческого и английского языков.

Автор статей по античной литературе.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Жанна Владимировна Перковская
Переводчик со словенского, сербского, македонского и польского языков.

В ее переводе вышла книга М. Павича *Вывернутая рукавица* [в соавторстве с Е. Верижниковой; 2001], сборник поэзии А. Поповского [2003] и др. В *ИЛ* в ее переводе публиковались стихи А. Ихана [1999, № 4], А. Поповского [2000, № 2], Ф. Прешерна [2001, № 8], М. Есиха [2001, № 5], С. Макарович [2005, № 9], а так же рассказы Г. Петровича [2000, № 9] и П. Андреевского [2001, № 7].

Натэлла Всеволодовна Горская
Поэт-переводчик.

В ее переводе публиковались стихи А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Х. Л. Пачеко, Х. А. Гойтисоло, Р. Богранда, Ш. Каняди, Фаиза Ахмада Фаиза, Р. Тагора, С. Камали, И. Арифа, Я. Пилински, К. Ковича, А. Йожефа и др.
Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Александр Александрович Перекрест
[р. 1985]. Лингвист, переводчик с английского и французского языков.

В настоящее время — атташе Посольства Российской Федерации в Республике Мали.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Анна Александровна Парра
Переводчик с английского.

В *ИЛ* напечатан ее перевод рассказа Э. Маклеод *А солнце рождают птицы* [2006, № 11].

Ольга Козонкова
Филолог-германист, преподаватель Саратовского университета, переводчик с немецкого.

Ее переводы рассказов Роберта Вальзера напечатаны в Интернете. В *ИЛ* опубликован ее перевод рассказа Р. Вальзера *Симон. История одной любви* [2007, № 7].

Мадина Алексеева
Филолог-славист, переводчик с польского, украинского, английского и шведского языков.

В *ИЛ* публикуется впервые.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент фотоколлажа испанского художника Сальвадора Дали [1904–1989] *Феномен экстаза* [1933].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва, Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести: в редакции или в киоске "Новой газеты", расположенном по адресу: Страстной бульвар, дом 4; в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино по адресу: Николоямская ул., д. 1.

Подписаться на журнал "Иностранная литература" можно во всех отделениях связи. Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.

Можно оформить льготную подписку в редакции по адресу: ул. Пятницкая, 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") Подписка оформляется в понедельник, вторник, среду, четверг с 12.00 до 17.30.

(Справки по тел. 953-51-47).

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.6.2008
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 1606.
Тираж 9000 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

ПРÓ STORY

Литературный журнал on-line.
Новые ПРОSTORY художественного текста.

Публикуем
литературные переводы, оригинальные тексты, критику, эссеистику,
интервью с писателями и переводчиками.

Обсуждаем
художественный перевод и проблемы литературы.

Соединяем
литературное и визуальное пространства.
Рабочие языки: русский, украинский.

Периодичность обновления
3 раза в неделю.

Как нас найти?
http://www.prostory.net.ua/

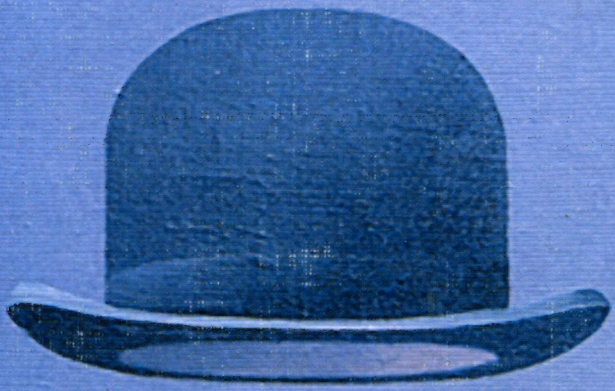
При поддержке Института Гёте на Украине и ERSTE Foundation.

---

[8] 2008

РОМАН ЯСМИНА ХАДРА "ТЕРАКТ" / ШЕРМАН АЛЕКСИ, РИЧАРД РАССО, МАЙКЛ КЕНТ, ДЕЙВ ЭГГЕРС И ДР. В РУБРИКЕ "АМЕРИКАНСКАЯ НОВЕЛЛА. XXI ВЕК" / СТИХИ ГЕОРГИ БОРИСОВА / ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ ЮБЕРА ВЕДРИНА "ПРОДОЛЖИТЬ ИСТОРИЮ" / ЛЕКЦИЯ У. Х. ОДЕНА "АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА" / НАТАЛЬЯ СТАРОСЕЛЬСКАЯ В РУБРИКЕ "ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ"

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература":
г.Москва, ул.Пятницкая, д.41

ISSN 0130-6545 ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА, 2008, №7, 1-304

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 08007
9 770130 654770